

12

Н О В Ы Й
М И Р

1958

Н О В Ы Й
М И Р

12

1958

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIV

№ 12

Декабрь, 1958 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Г. ТРОПОЛЬСКИЙ — Кандидат наук, повесть, отчасти сатирическая	3
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ — Два стихотворения (Из стихов 1958 года)	106
ИВАН БОТВИННИК — Человек идет вперед, повесть	108
С. МАРШАК — Из лирической тетради	148
ИЗ КАЗАХСКИХ ПОЭТОВ. Джубан Молдагалиев. Малый Турксиб. Двадцать пять.— Таир Жароков. Ала-Тау. Остановись! Верблюжий табун. Перевели с казахского Ярослав Смеляков, М. Луконин, А. Коренев	151
НОРА АРГУНОВА — Случай на линии, рассказ	160
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
НАЗЫМ ХИКМЕТ — В Ташкенте. Некоторые размышления, связанные непосредственно с конференцией писателей стран Азии и Африки, связанные с этой конференцией косвенно и вовсе не связанные с нею.	181
ПУБЛИЦИСТИКА	
ВАГРАМ АПРЕСЯН — На путях технического прогресса	188
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ЛАКШИН — Возмужание героя	197
МИХ. ЛИФШИЦ — «Философия жизни» И. Видмара	210
Н. ТРИФОНОВ — А. В. Луначарский в борьбе за развитие советской литературы (К двадцатипятилетию со дня смерти)	235
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	246
В. Швейцер. Начало пути.— А. Берзер. О старом бобре и молодой белке.— Инна Борисова. Когда герои свидетельствуют против автора...— А. Турков. Книга о великом сатирике.— Валентина Дынник. «Семья Тибо» и традиции реализма.	260
<i>Политика и наука</i>	
И. Пешкин. Кузнецкий металлургический.— Член-корреспондент Академии наук СССР А. Сидоров. Искусство редактирования.— Е. Немировский. Бизнесмены от литературы.— Кандидат исторических наук Вал. Зорин. Враг, о котором нельзя забывать.	269
А. Дементьев. По поводу «Реплики критику» М. Шкерина	271
КОРОТКО О КНИГАХ	274
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	277
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1958 год	277

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

★

КАНДИДАТ НАУК

Повесть, отчасти сатирическая

«**Ц**то же это ты пишешь о том, что было и чего уже нет? — скажет иной читатель.— Жизнь-то идет, а ты — о прошлом». У тебя, мол, речь-то о делах пятилетней давности. Согласен. Всякому груздю — свое время. Но чтобы предупредить подобные вопросы, автор счел необходимым сказать, почему книга не написана раньше.

Писал-писал я это сочинение, и все — никак. А почему — никак? Конца не было. Теперь увидел, что все, о чем писано, тоже имеет конец: дурная трава сорвана.

И еще могут спросить: «Почему сатира твоя касается только людей не очень большого ума?» Каюсь — так: сатирические типы, мягко выражаясь, довольно неумны. Этому тоже есть свои причины. В развитие этого пункта позволительно поставить ребром такой вопрос: что есть глупость в обычном понимании? Наиболее точное определение таково: недостаточность ума в той или иной мере. Эта глупость сравнительно безопасна для общества. Но глупость, возведенная в научную степень, может быть уже опасной. Стало быть, существенно необходимо произвести сатирическое извлечение дурного корня в сельскохозяйственной науке с таким расчетом, чтобы близкая нашему сердцу советская наука, рожденная в больших спорах, созданная великими тружениками, сделавшими великие открытия, была без пятен и чтобы к ней не присасывались карьеристы и блудословы.

Таковы причины, побудившие меня писать о том, что все больше и больше покрывается пылью истории...

Глава I

Турнир на чернильной крышке

Что можно сказать о характере и внешности Ираклия Кирьяновича Подсушки? Признаюсь, почти ничего особенного нельзя сказать, кроме одной детали: Ираклий Кирьянович Подсушка был настолько тощ, насколько может быть тощим человек. Совсем тонкий. Но это не от слабости здоровья и не от того, что он мало ел, а по природе такой. Что же касается пищи, то он употреблял ее в достаточном

количестве и очень, очень регулярно. Иные знакомые так и шутили: у Ираклия Кирьяновича душа тощая, поэтому для пищи остается внутреннего пространства гораздо больше, чем полагается. Он, конечно, принимал это не за очень чистую монету и в душе — именно в душе! — страстно желал растолстеть. А кто, спрошу я вас, не желает быть полным из тех, кто действительно тощ? Тут ничего удивительного нет в Подсушке.

Еще что? Ну, думал он, конечно, кое о чем. Даже глубоко задумывался. Например, сидя за столом небольшого научного учреждения, он, Подсушка, часто занимался проблемой. Мысленно он так и говорил: «Опять проблема лезет в голову». Что же это за проблема такая беспокоила его?

А дело в том, что у Ираклия Кирьяновича подохла кошка. Обыкновенная кошка. Ей-то что: подохла, и все тут. А Подсушке — проблема. «Не дай-то бог, заведутся мыши!» — с ужасом думал он. Боялся он мышей этих больше всего на свете. Искал он сначала котенка, но подходящего, трехцветного, так и не нашел. А надо обязательно, чтобы трехцветный был, — счастливый, значит. Так проблема встала перед ним во весь рост. На всякий случай он купил мышеловку и зарядил ее салом. Но мыши не ловились. Ираклий Кирьянович не поверил мышеловке и решил купить новую, более совершенной конструкции. Однако мышеловки везде были одинаковы: дощечка, пружина, сторожок. Суший примитив.

«И что же это ученые не могут выдумать настоящего прибора», — подумал он раздосадованно. С тех пор и засела ему в голову мысль: изобрести автоматический прибор по улавливанию мышей в домах, хранилищах и на полях. Назвал он будущее изобретение «автомышеуловитель». Много часов рабочего времени в своем учреждении он посвятил этой проблеме. Много разных проектов возникло в его многодумной голове. Он даже чертил на писчей бумаге карандашиком. Были у него проекты двух- и трехпружинных автоматов, были так называемые «лапохваты», были и такие, что мышь обязана была просто прилипнуть, как обыкновенная муха. Но самый последний проект абсолютно поглотил Ираклия Кирьяновича всего целиком. Этот проект назывался «фотоавтомышеистребитель». В принципе аппарат должен был иметь «фотоглаз». Если в поле зрения этого глаза попала бы несчастная мышь, то автоматически включался мощный вентилятор и через соответствующее сопло моментально втягивал мышь в соответствующий резервуар. При этом мышь обязана была бы умереть немедленно вследствие сильного удара о стенку резервуара (на какую-то можно было бы даже набить сапожных гвоздиков для надежности). Ираклий Кирьянович очень был обижен, когда ему сказали в какой-то артели инвалидов, что никакого соавтора ему не дадут, так как его проект суть фантазия, что нет ни системы, ни самого аппарата, что он предлагает только одну идею, которую никто осуществить не может. Ираклию Кирьяновичу казалось, что его «затирают». И ввиду того, что он лично считал свою идею наивысшим достижением в деле мышеистребления, то больше он изобретать не стал. Смирный был изобретатель, слабоват характером. Осталась только одна папка с надписью: «Смерть мыши!»

Вот о чем и думал он частенько. Мрачные воспоминания. А трехцветный котенок не попадался.

После таких неприятных мыслей Ираклий Кирьянович вздыхал, съедал бутерброд, брал латунную крышку с чернильницы, чистил ее некоторое время бумажкой. Все это делал не спеша, спокойно, зная, что посетители бывают очень редко, а бумаги, запланированные на эту неделю, написаны еще во вторник. Так что в субботний день можно

не спешить. И он не спешил. Почистив крышечку, ставил ее на «пуговку», воронкой вверх, и ловко запускал волчком. При этом он «засекал» время и, не выпуская часов из руки, следил за волчком. Милая сердцу тишина учреждения и ласковое журчание волчка располагали к ласковому же и безмятежному бездумью. Не хотелось в такие минуты думать о том, что он находится в учреждении, которое разрабатывает весьма серьезную сельскохозяйственную тему: «Что может есть лошадь и что она должна есть». И все-таки он думал, глядя на волчок и на часы. Трудное дело наука: всегда лезут всякие мысли в голову.

«В самом деле, что может есть лошадь? — думал Подсушка. — Овес? Сено? Эва! Это уже давно известно. Известно и за границей. А вот вопрос: что может есть лошадь, кроме овса и сена? Тут надо голову иметь, чтобы исследования были строго научными и вполне обоснованными».

Вторично запустил волчок Ираклий Кирьянович. И вторично думал: «В надежные руки попала тема «КК» («КК» означает — коню корм). В надежные. Карп Степаныч провернет! А я, Подсушка, обеспечу его кадрами на периферии, поскольку такое дело поручено мне, Подсушке». А волчок крутился, крутился и южал... Истинное наслаждение!

А кто такой Карп Степаныч? — спросит читатель. Это тот самый Карп Степанович Карлюк, который ведет тему «КК». Сидит он в той же комнате, где и Подсушка, слева от него, шагов за десять, за большим письменным столом. Во время первого запуска волчка Карп Степаныч смотрел в выдвинутый ящик своего стола и, казалось, сосредоточенно думал. Но это только казалось. В действительности же он читал роман «Королева Марго». Способ такого чтения представляет определенные удобства. Пришел, скажем, посетитель, тогда Карп Степаныч медленно отрывался якобы от задумчивости, дочитывая абзац, и задвигал ящик. Задвигал и веско говорил: «Я слушаю». Иной посетитель, может быть, и подумает: «Эх, не вовремя пришел. Человек мыслит, а я перебил».

В тот момент, когда крышка-волчок заюжала вторично, Карп Степаныч оторвался от чтения и поверх очков молча посмотрел на стол Ираклия Кирьяновича, своего подчиненного. Смотрел до тех пор, пока вращение не прекратилось и волчок не зазвенел по стеклу. Мягким баритоном Карп Степаныч задал вопрос:

— Сколько?

— Четыре минуты, — ответил Ираклий Кирьянович, улыбаясь.

— Ниже вашего рекорда. Много ниже... На целую минуту. — Но говорил он это, скрывая зависть, так как сам еле дотягивал и до двух минут.

Да, завидовал Карп Степаныч этому Подсушке: человек ниже его по всем статьям, а рекорда не сдает. Иной раз даже приходила мысль: «Не уволить ли его?» Но это только вспышка. Вообще-то он ценил Подсушку как незаменимого.

И вот Карп Степаныч встал из-за стола, потянулся, расправил плечи и медленно пошел к столу Подсушки. Шел с единственной решимостью: победить!

Интересный человек Карп Степаныч. Это вам не Подсушка — о нем можно кое-что сказать. Он был толст и кругл настолько, насколько может быть круглым человек. Никакого сравнения с Подсушкой! Но это не от очень хорошего здоровья и не от того, что он много ел разной пищи, а просто такая конституция организма получилась со временем. Не стоит также думать, что Карп Степаныч, будучи по предположению Ираклия Кирьяновича идеально полным, был меланхолическим или совсем неподвижным, лишенным обычных человеческих

чувств. Наоборот, Карп Степаныч бывал и добр, бывал и зол, а иногда просто даже и ласков, иногда же выражал и удивление, если к тому были основательные причины.

Во всех этих чертах характера начальника Ираклий Кирьянович разбирался очень тонко. Со стороны кажется, что круглое, пухлое лицо Карпа Степаныча с вросшими в жир мочками ушей остается неизменным при проявлении различных высоких чувств, а на самом деле это далеко не так. Предположим, Карп Степаныч находится в удивлении,— тогда маленькие толстые губы складываются трубочкой, брови поднимаются вверх, локти слегка отходят от туловища. А во гневе! Тут губы Карпа Степаныча вдруг становятся большими, рыхлыми, а брови делаются углом и впиваются концами в складки над переносьем. И он слегка сопит. Говорит в таком состоянии почти басом. Весь он во гневе становится как-то толще, могущественнее. А в ласке! Когда, например, высшее начальство говорит с ним по телефону, губы — те же губы! — становятся тонкими, ибо они то плотно сжимаются, то растягиваются. И он держит телефонную трубку стоя, слегка полусогнувшись. В такие ответственные моменты жизни он ласково улыбается, слегка потеет, голос его становится значительно тоньше обычного или — как бы это сказать получше? — голос становится мягче, в соответствии с размягчением душевным. Правду сказать, улыбался он чрезвычайно редко.

Итак, Карп Степаныч подошел к столу. Сел на поданный Подсушкой стул и произнес:

— Начнем?

— Пожалуйста.

— Жребий.

Ираклий Кирьянович взял две спички. Одну из них надломил, затем сложил концы спичек, зажал в двух пальцах и поднес Карпу Степанычу.

— Короткая — первый,— пояснил он лаконично.

Карп Степаныч потянул: досталась длинная. И вот Ираклий Кирьянович запустил. Да как запустил! Так запустил, что в течение пяти минут Карп Степаныч сопел (а мы уже знаем, что это значит). Запустил и Карп Степаныч и — только две минуты! Чепуха!

— Виноват! — сказал он торопливо.— Сорвался палец. Повторю.

— Да, да, я видел: сорвался палец,— подтвердил Ираклий Кирьянович, слегка кривя душой.

Но и вторично Карп Степаныч не дотянул до трех минут.

Если бы посторонний человек сидел за стеной и слушал, то вот что он услышал бы:

— Четыре,— говорит Карп Степаныч басом и сопит так, что слышно в соседней комнате. (У них правило: результат объявляет партнер.)

А по прошествии некоторого времени скрипучим голоском восклицает Ираклий Кирьянович:

— Три!

Снова южит волчок.

— Три,— говорит Карп Степаныч уже более мягким баском.

Мертвая тишина. Молчание. Южит волчок. И упавшим голосом говорит Ираклий Кирьянович:

— Три... Сравнялись.

— Три,— звучит голос Карлюка в большой комнате.

— Три,— ржавой петлей скрипит Подсушка.

— Две...

— Ваша — три! — взволнованно восклицает Ираклий Кирьянович.

— Только две,— уже с явной радостью говорит Карп Степаныч.

— Ваша победа! — сокрушенно произносит в заключение Ираклий Кирьянович.

Зная характер начальника, он постепенно сбавлял свое время до тех пор, пока не оказался побежденным.

— Ой! — воскликнул Ираклий Кирьянович. — Уже десять минут седьмого!

— Вот так всегда, — сказал Карп Степаныч. — Никогда не вырвешься с работы вовремя.

Расстались они на тротуаре. Карп Степаныч пошел вразвалку в одну сторону, а Ираклий Кирьянович засеменил домой, в другую сторону, быстро переставляя длинные ноги. Он был доволен: вчера получил зарплату, сегодня рабочий день кончился, завтра воскресенье.

Глава 2

Вечер слез

Суббота есть суббота. Хороший день — суббота. Карп Степаныч зашел домой за бельем и отбыл в баню. Искупавшись, возвратился на квартиру, где его ждала кругленькая, с таким приятным пухленьким подбородочком жена Изида Ерофеевна. Она сложила руки по-наполеоновски и, казалось, сосредоточенно смотрела на мужа. А Карп Степаныч был в расположении духа. Тут, конечно, сказалась и победа в турнире на чернильной крышке, и добрая баня, и предвкушение вечернего принятия пищи.

— Ну-с, Изида Ерофеевна, — заговорил он, раздеваясь, — значит, с легким паром нас. Выкупались знатно.

Изида Ерофеевна и бровью не повела, а не то чтобы как-нибудь реагировать на добродушие мужа: то ли она расстроена была чем, то ли подозрение какое-то тяготило ее, но она молчала. Всегда она была веселой, а сегодня молчала и будто намеревалась придраться к чему-то, будто уже искала, к чему бы это придраться.

— Ну, Иза! В чем дело? — спросил Карп Степаныч в тревоге.

Мягким, по-кошачьи вкрадчивым голосом она произнесла два слова:

— Сними рубашку.

Это был приказ. Знал Карп Степаныч, что чем мягче у жены голос, тем беспрекословнее требуется подчиняться. И он, пыхтя, снял рубашку. Изида же Ерофеевна еще раз и тем же тоном сказала одно слово:

— Подойди.

Карп Степаныч подошел. Она потрогала пальцем его голую грудь, спину, обошла вокруг, ткнула пальцем в живот и уже грубым, скрипящим голосом заключила в качестве придирки:

— Не смог уж вымыться чисто. Эх ты!

— Что? — нерешительно спросил муж.

— Неряха, — утвердила она, глядя снизу вверх в лицо мужа (ростом она была много ниже).

— Изида Ерофеевна! — Карп Степаныч засопел, губы стали толстыми, брови сошлись, и он повторил еще более грозно: — Изида Ерофеевна! Не позволю! Я все-таки кандидат сельскохозяйственных наук...

— Только и всего — не больше. Дальше-то ума не хватает.

— Ничего подобного! — И Карп Степаныч двинулся на супругу, полуголый, тучный, красный после бани и от крайнего возбуждения нервов. Он был страшен, но... не для жены.

И вдруг Изида Ерофеевна преобразилась — руки в боки, ноги расставила и, чуть пригнувшись, завопила:

— Ты! Раззява! Масловский семь тысяч защитил, а ты все на трех кандидатских сидишь. Неумеха! Há! Читай! Сейчас только принесли. Há! — Она бросила ему скомканную телеграмму и горько заплакала.

А Карп Степаныч победнел всем телом. Он второпях надел сорочку, поднял телеграмму, разгладил ее ладонью на столе и прочитал:

«Из Одессы. Масловский двенадцатого защитил докторскую не пропустите случая поздравить точка через два дня возвращаюсь. Привет. Чернохаров».

— Иза! — позвал он упавшим голосом.

— Что? — сквозь рыдания спросила Изида Ерофеевна.

— Подойди.

Она подошла. А Карп Степаныч обнял ее и дрожащим голосом заговорил:

— Не расстраивайся. Успокойся. Не надо завидовать... Наука — святое дело! Наука требует от человека всей его жизни целиком, каждого часа, каждой минуты! — Он помолчал. — Будет и у нас... семь тысяч. Будет.

Изида Ерофеевна верила: будет. Это была мечта и его и ее. Да и кому же больше мечтать с ними, если они вот уже двадцать лет живут вдвоем. А родные забыли их почему-то. Единственное утешение у них — Джон, кобель спаниэлевой породы, куцый, с лопатистыми ушами, коротконогий. Ласковый кобелек, сообразительный, понимающий.

Джон подошел к хозяевам, сел на задние лапы, поскулил. Понимает, значит, что у хозяев что-то неладно.

— Ах, Джон, Джон! — сказал Карп Степаныч и вздохнул, а затем сел за вечерний прием пищи.

Они ели и молчали. Молчали и ели. Наевшись, супруга думала-думала и легла спать, а Карп Степаныч сел за письменный стол и устался на телеграмму. Что-то надо было делать, а что — он будто бы никак не сообразит. Сидел и думал.

Часам к двенадцати ночи он решил. А раз решил — ночь просидит до рассвета, а сделает. Характер у него был очень трудолюбивый и прямой. Он и сам говаривал иногда: «Там, где наука, я — весь! Ничем не поскоплюсь!» Так и в тот вечер: сел и написал после размышлений бумагу, которую мы приводим полностью.

«Заявление

Дорогие товарищи! Во исполнение личных и общественных побуждений, подчиняясь голосу гражданской совести, памятуя о преданности партии и Советской власти, оберегая сельскохозяйственную науку от проникновения вредных социализму идей, в целях борьбы с низкопоклонством перед буржуазной наукой, имея в виду служение науки народу, считаю долгом своим сообщить нижеследующее.

Нам стало известно, что некий кандидат сельскохозяйственных наук. Масловский Герасим Ильич, в свое время защитивший кандидатскую диссертацию, защитил уже докторскую. Каждому гражданину приятно, когда в нашей научной семье нарождается новый член в почтенном возрасте. Масловский работал на теме «Проблемы кормодобывания и селекция кормовых культур». Тема, конечно, общего порядка, не специализирована на одном виде животного (что было бы существенно необходимо в целях конкретизации и комплексирования, а также и наиболее желательной калорийности). Но не в этом только дело.

Кто такой гражданин Масловский?

1. Нам доподлинно известно, что он был женат на дочери бывшего помещика, а следовательно, так или иначе связан с классом эксплуататоров и паразитов жизни. Идеологическое его настроение, исходящее из

родства, выразилось в следующем: он, Масловский, будучи кандидатом наук, отнюдь не был предан учению Вильямса о травопольной системе, а более того, на одном из ученых советов говорил о том, что из этой системы мы якобы сделали шаблон. Нашу государственную, единственно правильную систему преобразования земли и создания плодородия для получения ста центнеров пшеницы с га он, Масловский, считает шаблоном! И такому человеку дали проникнуть в недра науки с присвоением степени доктора.

2. Нам также известно доподлинно, что Масловский, хотя он это и скрывает, всегда был, есть и будет до конца жизни менделистом и морганистом и тем самым всегда склоняется к буржуазным теориям в науке. И такому буржуазному человеку дали степень, будто у нас нет людей лучше. Не стыдно ли нам, кто честен и предан, терпеть такое? Можно ли об этом молчать? Нет, надо принять меры.

Как противника травопольной системы земледелия, как скрытого менделиста Масловского надо не допустить в лоно науки в качестве доктора, пусть побудет кандидатом, пока проверят его и всю его жизнь.

Кроме того, сообщаю, что защита диссертации состоялась в Одессе двенадцатого сего месяца, а следовательно, еще не утверждена высшими инстанциями.

Прошу вас оградить науку, пока не поздно.

К сему...»

Карп Степаныч думал-думал и подписал так:

«Доброжелатель Советской власти».

Это заявление он переписал, запечатал в конверт, запер в ящик письменного стола. Черновик сжег. Затем, облегченно вздохнув, снова стал смотреть на телеграмму. И чем больше смотрел, тем все больше и больше умилялся. Глаза у него стали влажными от прилива высоких чувств. Он взял ручку и написал:

«Одесса Масловскому

Дорогой Герасим Ильич восклицательный знак радуюсь вашей удаче поздравляю сердечно обнимаю точка слезы радости восхищения благодарности за вклад сельскохозяйственную науку освежают мою душу точка живите долго на благо народа Карп Карлюк».

Он достал носовой платок, вытянув для этого ногу. Чистая, как у грудного ребенка, слеза упала на телеграмму. Карп Степаныч плакал. Очень уж он сильно растрогался.

Глава 3

Понедельник — день тяжелый

После воскресенья всегда бывает только понедельник. И это ни у кого не вызывает удивления. Но Ираклию Кирияновичу очень хотелось бы, чтобы понедельник не было совсем, чтобы сразу вторник. Понимаете, какая у него установка? С самого раннего детства он был убежден, что понедельник — день тяжелый. Об этом он слышал еще от своей матери, и от отца, и от соседей. Хотя он и не ходил уже в церковь, но в свое научное учреждение являлся в понедельник всегда с какой-то тягостью. Он в понедельник ожидал неприятностей, был уверен в этом и каждый раз думал, входя: «Ну, что-то сегодня еще стряется? Ох, уж эти понедельники!»

В тот самый понедельник Ираклий Кириянович пришел, как и обычно, первым. Разделся, повесил пальто на вешалку, осмотрел его, почистил ногтем пятнышко; затем уже снял кашне, аккуратно свернул его, поло-

жил в шляпу, которую и поставил на полочку, доньшком вниз. Делал он все это не спеша. В учреждении было тихо. Он прошелся по комнате, осмотрел давно знакомые диаграммы успехов в области кормления лошади, постоял у стола Карпа Степаныча и вслух произнес, указывая сухим пальцем на несгораемый ящик, стоящий тут же, около рабочего места руководителя: «Тут мысль. Тут докторская — под этим чугуном». И покачал головой. Так уж сложилось в жизни, что судьба определила ему не защищать ученые степени, а только помогать другим достигать их. Он всегда только держал за хвост скользкого выюна научной славы, пока кто-либо другой не ухитрялся все же его выпотрошить. Попробовал Иракий Кириянович учиться заочно — ничего не получилось. Но он дважды побыл на курсах (не то двухнедельных, не то двухмесячных) и на этом основании в анкете, в графе образование, писал: «Шесть классов гимназии и высшие курсы».

Походил-походил Иракий Кириянович по комнате в ожидании понедельничных невзгод и остановился у правил внутреннего распорядка. Остановился и подумал: «Кто бы догадался? А я вот сообразил».

Что же такое сообразил Иракий Кириянович Подсушка? А дело было так. При организации данного учреждения, Межоблкормлошбюро, куда был назначен Карп Степаныч Карлюк в качестве руководителя, Подсушка тоже выехал за назначением в качестве замзаммежоблкормлошбюро. Пришлось ему быть и в министерстве сельского хозяйства. И, конечно, он ознакомился с правилами внутреннего распорядка. А ознакомившись, переписал их и привез в Межоблкормлошбюро. После перепечатал на машинке, вывесил их в золоченой рамке за подписью Карлюка. Хотя в данном научном учреждении и было всего только четыре человека (Карлюк, Подсушка, бухгалтер и уборщица), но правила распорядка придавали внушительность всей комнате. Подсушка гордился: он это сообразил! И часто перечитывал. Он был вполне удовлетворен тем, что о верчении чернильной крышки в правилах ничего не сказано, и, подумав об этом, даже улыбнулся.

Так начался один из июньских понедельников тысяча девятьсот пятьдесят третьего года в Межоблкормлошбюро.

Часы пробили восемь. Подсушка сел за свой письменный стол. Он всегда садился точно, выполняя распорядок дня, и начинал работать.

В соседнюю комнату, за перегородку, вошел бухгалтер и оттуда приветствовал:

- Иракий Кирияновичу!
- Привет, — равнодушно ответил Подсушка.
- Ну как, жизнь идет?
- Идет.
- Почты не было?
- Нет.

Видно было, что бухгалтеру Щеткину хотелось поговорить. Но сверх того, что они сейчас произнесли, не было сказано ни единого слова за весь рабочий день. Иракий Кириянович отвечал бухгалтеру с достоинством, лаконично, как лицу, стоящему ниже его. Но при упоминании о почте его покорило, и он подумал: «Ох, уж эти понедельники! Не знаешь, где ждать неприятности».

И в это самое время вошел в комнату человек в кирзовых сапогах и новеньком ватнике. Он снял треух, поправил зачесанные назад волосы и сказал:

- Здравствуйте!
- Привет, — ответил сухо Подсушка, не отрываясь от бумаги.
- Здесь Обллош... меж... корм? Или как там? Простите, не выговарю.

— Здесь Межоблкормлошбюро,— ответил Ираклий Кирьянович с расстановкой.

Тень улыбки прыгнула на губах вошедшего. Чтобы скрыть ее, он потрогал короткие черные усики пальцем и продолжал допытываться:

— А Карлюка могу я видеть?

Тут только и поднял Ираклий Кирьянович взор на посетителя и ответил:

— Скоро будет. По какому вопросу?

— Да вот... Слышал, будто вам нужны агрономы.

— Нам нужны агрономы, работающие или работавшие в колхозах.

— Я из колхоза.

— Фамилия?

— Егоров. А вы Подсушка?

— Совершенно правильно: Подсушка. Вы, видимо, запомнили мою подпись на той бумаге, что мы разослали по периферии?

— Точно, читал. Запомнил.

Подсушка побарабанил пальцами по столу и многозначительно сказал:

— Та-ак.

— Ну так как же насчет места? — спросил Егоров.

— Мое дело найти кандидатуры, а принимать будет Карп Степаныч Карлюк. Оставьте анкету и заявление.

— А он скоро?

— Не знаю.

— Подожду,— сказал Егоров и сел без приглашения.

Ираклий Кирьянович писал. Егоров сидел, усмешка не сходила с его губ. Он спросил:

— А в чем будет заключаться моя работа?

— Если примут,— подчеркнул Подсушка,— то будете изучать.

— Что?

— Ну... культуры, поедаемые лошастью, и...

— А какие культуры?

— Ну те, которые... ест лошадь.

— А конкретно? Овес?

— Овес? Может быть, и овес.— Подсушка не был посвящен в точные детали развертывающейся деятельности Карлюка, но, чтобы не терять авторитета, добавил: — Сено будете, вероятно, сеять. Возможно... пшено.

— Просо?! — удивился Егоров.

— Почему? — удивился в свою очередь и Ираклий Кирьянович.

— Пшено делают из проса,— вежливо пояснил Егоров.

— Как это так — из проса?.. Ах, да! Из проса! Конечно, из проса! Конечно, просо. И... крупу. И все, что скажет Карп Степаныч.

— Наверно, он не скоро придет.

— Дела. Дела у него... там.— Подсушка махнул неопределенно рукой и для вящей важности и усиления авторитета начальства добавил: — В обкоме, наверно.

— Вот моя анкета,— сказал Егоров.— А я зайду сегодня, через час-другой.— И вышел, все так же улыбаясь.

А Ираклий Кирьянович бросился к словарю. Он, торопясь, искал «культуру — пшено», потом — «просо», потом — «крупу». Последней культуры он так и не нашел. Было как-то не особенно ловко без настоящей уверенности. Он решил более подробно спросить у Карлюка впоследствии, а пока вытащил из беспорядочной груды книг «Справочник агронома». Нет «крупы»! Сложное дело наука! Было время, Ираклий Кирьянович изучал вопрос о происхождении постного масла. А на запрос одного из работников периферии о пло-

шади питания редьки он ответил: «Чем реже, тем лучше. Название «редька» говорит само за себя». Такой ответ он дал тогда в отсутствие Карлюка, который, как мы убедимся ниже, насчет практического сельского хозяйства соображал.

«Черт бы побрал это пшено! — подумал Подсушка. — Понедельник!» И глубоко вздохнул.

Наконец пришел и Карп Степаныч. Ираклий Кирьянович встал и поздоровался с легким поклоном:

— Доброе утро!

— Приветствую вас! — покровительственно произнес Карп Степаныч.

— Как выходной? — завязывал разговор Подсушка.

— Работал всю ночь... Ох-хо-хо-хо! — Карлюк грузно повалился в кресло.

— Вы бы уж пожалели здоровье, Карп Степаныч. Вы должны понять: ваша жизнь — для науки. Нельзя относиться так безрассудно...

Так Ираклий Кирьянович «отчитывал» начальника. А тому было приятно, и он делал вид, что позволяет такое только Подсушке.

— Ну-ну, ладно. Опять пробираете. Постараюсь. Постараюсь отдыхать.

Но еще несколько минут Ираклий Кирьянович возмущался тем, что Карп Степаныч не бережет себя для науки. А под конец они оба вздохнули с грустью.

— Карп Степаныч! — обратился через некоторое время Подсушка. — Крупа — это как? Сеют или как?

— Крупа, — поучительно начал объяснять Карлюк, — эт-то, бывает, гречневая, манная и... перловая.

— Гречневая. Из гречихи? Такая — с остренькими краями?

— Безусловно.

— А манная с юга? Где-нибудь в пределах Палестины?

— Из пшеницы делают. — Карп Степаныч все это знал очень хорошо. — А не с неба падает. Версия. Легенда.

— А... перловая? — немного смущаясь, спросил Ираклий Кирьянович.

— Перловая? — Карп Степаныч поднял брови.

— Да. Перловая.

— Ах, да! Перло-овая! Помню, помню. Перловая... Перловая?

— Да. Перловая, — повторил и Ираклий Кирьянович.

— Перловая... Перл!.. Что такое перл?.. Что-то выскочило из памяти. Я скажу вам завтра. Вспомню. К нашей теме это не относится: лошадь не кормить перлами.

Ираклий Кирьянович теперь уже точно знал: пшено — из проса, гречневая крупа — из гречихи, перловая — конечно, из перлов, а из каких — скажет Карп Степаныч. «Век живи — век учись», — завершил он размышления по данному вопросу. Затем от вопросов теоретического порядка он перешел к практической работе и доложил:

— Был тут агроном, Егоров. Явился на наше письмо, разосланное по периферии.

— Егоров? Егоров, Егоров... Знакомая фамилия. — Карп Степаныч задумался, что-то вспоминая. А потом сказал как бы про себя: — Нет. Не может быть, чтобы он. Тот, наверно, погиб. Иначе был бы слух.

— Это вы про кого?

— Да так... Вспомнилось. Ну а как он, Егоров-то?

— Ничего. Соображает. По сельскому хозяйству и... вообще. Беседовал с ним — соображает.

— А анкетные данные каковы?

— Совершенно правильно: в анкете человек — весь. — Ираклий Кирьянович достал анкету и, держа ее в руках, объяснял начальнику,

сидящему за своим столом, за десять шагов от него: — Та-ак. Из крестьян... Высшее. В других партиях не состоял. За границей родственников нет. Та-ак... Места работы... Интересно! Восемь лет — и все в одном колхозе агрономствует.

— О! Это совсем хорошо! — воскликнул Карп Степаныч. — С наукой не связан, разных там тонкостей в защитах диссертаций не знает, а материал давать будет. А из себя-то он каков?

— Положительный... И ватничек на нем...

— Пройдет, — заключил Карп Степаныч и тут же подумал: «Не он». Ираклий Кирьянович сочинил приказ, а Карп Степаныч подписал. Агроном Егоров назначался на «опорный пункт» в колхоз «Правда».

А через час вошел Егоров. И прямо к Карпу Степанычу:

— Здравствуйте, товарищ Карлюк!

Карп Степаныч вытарашил глаза, открыл рот и, не спуская глаз с вошедшего, взял со стола, не глядя, очки, надел их, снова снял и еще раз надел.

Ираклий Кирьянович за два года совместной деятельности ни разу не видел Карпа Степаныча таким. Он тоже открыл рот и тоже надел очки. Чему удивлялся Карп Степаныч, для Подсушки было не ясно, а сам он удивлялся удивлению начальника.

— При... ветствую... вас, — наконец произнес начальник и спросил после паузы: — Вы?

— Я.

— Филипп Иванович? — И тут он выжал улыбку.

— Филипп Иванович, — ответил Егоров.

— А... как же?

— Да так. Вот пришел.

— И усы... у вас... те же, — уже покровительственно, с улыбкой и склоненной набок головой сказал Карп Степаныч, сложив ладошки на животе.

— И усы, — подтвердил Егоров, погладив их.

И только-только начальник хотел сказать уже готовые слова: «К сожалению, вакантных мест уже нет», как выскочил из-за стола Ираклий Кирьянович и, подражая тону начальника, обратился к Егорову:

— И приказик на вас подписан. Поздравляю! Наука, она...

Карп Степаныч пронзил его взглядом, засопел да еще и пожевал губами в великом недовольстве. Но... податься некуда. Егорову вручили приказ и перечень тем для постановки опытов.

Ираклий Кирьянович ушел за свой стол, съежился там, поник челом над бумагой и ровным счетом ничего не соображал, что сегодня происходит. Дьявольский понедельник!

Филипп Иванович почему-то тоже был сердит. Он нахмурил густые брови, бесцеремонно прошелся по комнате, оглядел стены, остановился перед Карлюком и сказал утвердительно:

— Значит, вы здесь.

— Здесь, — как-то не особенно уверенно подтвердил Карлюк.

— Интересно. Еще не доктор?

— Пока кандидат.

— Итак, я ваш подчиненный.

— Не будем об этом. Мы школьные товарищи. А старое мы забыли. Понимаете, забыли?

— Возможно, — неопределенно ответил Егоров, так что Карпа Степаныча покорило.

Но он продолжал тем же тоном, с большой выдержкой:

— А завтра вы направитесь к профессору Чернохарову, получите от него две темы для производственного изучения.

— Старый учитель, — сказал Филипп Иванович, задумавшись.

— Наш с вами общий учитель.— Карп Степаныч постучал по столу пальцами и вдруг спросил: — Где же вы пропадали? Не слышно было.

— Воевал,— нехотя ответил Егоров.— Брал Берлин... Потом в колхозе все время.

— Так, так,— оживился Карлюк.— Ну и как там, в Германии-то?

— В каком смысле?

— Дороги там, говорят, хорошие?

— Отличные. Нам бы неплохо позаимствовать.

— Во-от как? Нам — у Германии?

— Ну да. Чего вы так удивляетесь?

— Да нет, нет. Я просто так.

— До свидания! — сказал Егоров.

— Желаю удачи! — совсем уже весело напутствовал Карп Степаныч.

— Будьте здоровы! — сказал уныло и Иракий Кириянович.

Егоров ушел. А Карп Степаныч медленно и грозно подошел к столу Подсушки. Как он подошел! Он надел роговые очки, которые снял было после ухода посетителя и которые обязательно надевал при волнении, засунул руки в карманы, сдвинул брови и густым басом произнес, приклонясь животом к столу:

— По-ли-ти-ческая бли-зо-ру-кость! Усы! Почему не сказали мне про усы? Я спрашиваю: почему? Я бы узнал. Он всегда носил усики, еще с института. Почему, я спрашиваю?

— К-к-карп Степаныч!..— взмолился Подсушка.— Я, я...

— Что «Карп Степаныч»? Зачем «Карп Степаныч»? Я спрашиваю по существу: по-че-му?

— Не было графы в анкете. Графы нет по поводу усов и с какого года. Я согласно анкете...

И Карп Степаныч неожиданно сбавил гнев. Отошел от Подсушки и несколько мягче, но довольно еще грозно сказал:

— Сколько мы теряем! Сколько теряем от неполноценности анкет!

— Действительно! — ободрился Подсушка.— Усы, глаза, приметы — где это все? Как начальник может определить человека? Невозможно. Упущение колоссальное. Ведь даже у лошади в паспорте пишется: «Во лбу звезда с проточиной» или «Задние бабки в чулках». А тут — человек! Че-ло-век!

— А мы говорим: «Почему? Как враги проникают?» Вот они как проникают.

— Истинная правда,— подтвердил Подсушка.— Так они проникают.

Остаток дня они просидели молча. Работали напряженно. А часам к четырем Иракий Кириянович спросил:

— А этот, Егоров, кто он?

Карп Степаныч махнул рукой, поморщился и сказал в ответ:

— Потом, потом. Сейчас некогда. Потом.

Затем Иракий Кириянович надраил, как обычно, чернильную крышку и... запустил. Здорово запустил! Думал он так: «Сейчас развею тягость дня». И сказал:

— Начнем, Карп Степаныч?

Тот посмотрел на Подсушку, потом на часы, неожиданно встал, надел пальто и ушел раньше времени (начальнику можно). Он куда-то очень спешил.

Жалобно зазвенела несчастная чернильная крышечка, прекратив южание. Иракий Кириянович со злостью шлепнул ее ладонью, заgrabастал в горсть и со стуком надел на чернильницу: знай, дескать, свое место. Потом подпер ладонями подбородок и так просидел до конца дня, поглядывая на часы, молча, с тоской. Он думал об одном и том же: «И за каким чертом бог создал понедельники!»

Глава 4

Враг на горизонте

На другой день Филипп Иванович Егоров пришел к профессору Чернохарову. Профессор только вчера прибыл из Одессы, где участвовал в качестве оппонента в защите докторской диссертации доцентом Масловским. Как показалось Егорову, Чернохаров был несколько взволнован — он ходил по кабинету.

— Разрешите? — спросил Филипп Иванович, приоткрыв дверь.

— Гм... Конечно. — Он с некоторым недоумением посмотрел на вошедшего, остановившись в дальнем углу комнаты.

— Здравствуйте, Ефим Тарасович!

— Приветствую вас, дорогой! Приветствую вас!

Такое же приветствие произносил и Карп Степаныч Карлюк. И это не случайно. Он просто-напросто подражал Чернохарову.

Заметьте, Ефим Тарасович слово «дорогой» употреблял, приветствуя и знакомых и незнакомых, а Карлюк прибавлял это слово только при обращении к знакомым, так как считал, что называть незнакомого «дорогой» позволительно будет не раньше, как после защиты докторской диссертации.

— Позвольте... С кем имею честь?.. Гм... (Короткое, отрывистое мычание часто завершало мысли профессора.)

— Егоров. Помните? Ваш ученик.

— Егоров? Ученик? Ах, да! Егоров!.. Егоров?.. Не помню.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Вместе с Карлюком кончали.

— Постойте, постойте! Это не у вас теленок... изжевал тетрадь по учету урожая? Гм...

— Нет, не у меня. Мне только подсунули. Карлюк подсунул изжеванную.

— Э, вы все продолжаете отказываться. Помню, помню. Э! Молодость, молодость... — Ефим Тарасович рассмеялся. Весь угловатый, костистый, но с животом, висящим ниже пояса, он потряс этим самым животом, стянул губы в одну сторону и совсем закрыл маленькие глазки на широком лице. Это и означало, что Ефим Тарасович рассмеялся. — Ну не будем вспоминать. Не будем. Садитесь, дорогой, садитесь! — пригласил он Егорова.

Филипп Иванович сел около массивного письменного стола, а Ефим Тарасович погрузился в кресло за столом. Теперь его видно было только по груди.

— А изменились, изменились вы, Егоров... Четырнадцать лет утекло... Да. Ну и как у вас дела? Где вы?

— В колхозе.

— В науку, значит, не удалось... проникнуть?

— Как это, простите, «проникнуть»?

— Ну, может быть, неточно выразился... Гм... Все достигают. Стараются достигать вершин науки. Диссертации, обобщения... опыты.

— Вот и я буду ставить опыты. Теперь мой начальник — Карлюк. К вам прислал.

— Вот как?.. Но... вы же тогда с Карлюком как-то... Помните?

— Помню.

— А с системой земледелия? Все на стороне Масловского?

— Я на стороне колхозов, — уклончиво ответил Филипп Иванович.

— Похвально, похвально, дорогой. Самостоятельное, значит, мышление. И... все прочее... Гм... Не считаете ли вы это опасным?

— Самостоятельное мышление?

— Нет, нет. Я в смысле авторитетов. Отсутствие авторитетов у молодого научного работника приводит к бесплодности... К безуспешности... Гм...

— Думаю, главный успех должен заключаться в том, чтобы в колхозах было больше зерна, мяса, молока.

— А теория? Теоретическая наука? К забвению?

— Мне кажется, нельзя так ставить вопрос. Давно известно — теория и практика неотделимы.

— Гм...

— Не так ли?

— Гм...

— Мне кажется...

— Гм...

Филипп Иванович знал еще со времени учебы, что «гмыканьем» всегда заканчивался только-только начавшийся спор. Он осекся и перестал возражать.

А Чернохаров, видимо, считал этот спор ниже своего положения (хотя злые языки говорили, будто он стоит на высоте не своего положения). Но он все-таки сказал:

— Вы все такой же... ершистый. Трудно так... вам. Гм...

Филипп Иванович промолчал. Тогда только и возобновил разговор профессор.

— Итак, приступим к делу. Мы попробуем. Вы сами убедитесь в том, что в науке надо держаться... какой-то линии. Я дам вам тему. Поставьте ее в колхозе... на большой площади.

— Каково же содержание темы?

— Вот слушайте.— Ефим Тарасович медленно вытер платком лысину. Его безбровое лицо изменилось: он стал строг, во всех чертах выразилась непреклонность и прямолинейность.— Слушайте. Некоторые «ученые» — поняли: «ученые»? — на задворках науки,— поняли: на задворках науки? — скулят о том, что на юге области не растет люцерна. Это подрыв системы... Единственной... Вильямса... Надо доказать — понимаете? — доказать надо, что... люцерна там растет. Гм...

— Но если она действительно не растет? — спросил Филипп Иванович.— Тогда как?

— Если вы захотите — она будет расти. Структура! — воскликнул Чернохаров.— Структура... А где ее взять без люцерны?

— Но если она не растет, то какая же структура?

— Если вы захотите — она будет расти,— повторил с нарочитой подчеркнутостью Чернохаров.— И корм... Гм...

— Не понимаю: как это «захотите»? — пробовал возражать Егоров.

— Вы, дорогой, погрязли в колхозе и ничего еще не смыслите.

— Еще бы! — вставил Филипп Иванович.

Чернохаров, не обращая внимания, продолжал:

— Вы должны захотеть, чтобы люцерна росла. Если вы не захотите, то вы не сможете работать. Надо покончить с идолопоклонством перед буржуазной наукой, люцерна должна расти везде. Всюду! — воскликнул он и закончил: — Гм...

Из необычно длинной для Чернохарова речи Филипп Иванович понял все. Он сказал:

— Захочу. Но... захочет ли люцерна? — И пожал плечами.

Чернохаров встал. Голова его, расширенная книзу из-за малости лба и вообще черепной коробки, стала красной. Он обозлился, чуть-чуть пыхтел, пожевал губами, нижняя губа вздрогнула, отвисла, глаза открылись во всю ширину. Он сказал:

— Вам этой темы я поручить не могу. Гм... — И сел.

— Простите! Но ваша тема не в программе. Вот программа, которую дал мне Карлюк.

— Да. Она идет сверх плана, но по линии... По линии, руководимой Карпом Степанычем Карлюком, достойным моим учеником. И все же не могу вам поручить. Не рискую. Гм...

Встал и Филипп Иванович. Надо было уходить.

— До свидания! — сказал он.

— Будьте здоровы, дорогой! — сказал и Чернохаров, глядя уже в окно и не оборачиваясь.

Филипп Иванович направился к двери. Но вдруг Чернохаров обратился к нему, все так же не отрывая взгляда от окна:

— Вопрос. Неужели ученик Чернохарова ничего не вынес из института? Все, что вам дано, покоится на травопольной системе. Неужели ничего не осталось в голове?

— Осталось.

— Что?

— Путаница и... пустота.

— Что-о?

— Пустота, — со сдержанной злобой повторил Филипп Иванович. — Ваши студенты, выходя из стен института, практически не знали сельского хозяйства, а теоретические знания оказывались путанными. Впрочем... — Филипп Иванович безнадежно махнул рукой и вышел.

Ефим Тарасович тяжело зашагал по кабинету, сначала медленно, потом все быстрее.

Не прошло и часа, как вошел Карп Степаныч Карлюк. Он еще у дверей согнулся в дугу. Но что это за дуга получилась, сообразить нетрудно, — она получилась только с тыльной стороны тела, а спереди была заполнена до краев благодаря идеальной полноте тела. Согнувшись в дугу, он произнес:

— Извините за то, что оторвал вас от мышления.

— Приветствую вас, дорогой! Вы очень кстати.

— Я всегда в вашем распоряжении, весь.

— Приняли этого... Егорова... вы?

— К сожалению, я. И по вине главным образом моего зама.

— Вы его хорошо помните... Егорова?

— Еще бы!

— По-моему, он был бездумен, горяч и... Гм...

— И безрассуден.

— Точно. Гм...

— Дрянь.

— Пожалуй. Гм... Как это получилось?

— Неполноценность анкетного материала.

— Возможно. Гм...

— А вы, Ефим Тарасович, дали ему тему?

— Нет. Не рискую.

— Отлично. Я был уверен. Человек он весьма...

— Опасный, — дополнил Чернохаров.

Каждый из собеседников понимал другого с полуслова, поэтому у них бывало часто так: только один начнет говорить, а другой уже завершает мысль совершенно точно.

— Что же вы думаете сделать, Карп Степаныч?

— Исправить ошибку.

— Как?

— Постепенно.

— Исправьте так, чтобы он не совал нос...

— В науку.

— Гм... Его надо...

— Уволить, — дополнил Карп Степаныч.

— Гм... И, видимо, он...

— Менделист.

— Очень похоже. Противник в зародыше. Гм...

— Интересно, о чем он говорил у вас?

— Странные вещи говорил... Клеветал на сельскохозяйственную науку. — Тут Ефим Тарасович в задумчивости прошелся по комнате. — Такие люди вообще... Гм...

— Оторваны от науки, — договорил Карп Степаныч.

— Возможно. Гм...

Они помолчали. Уселись друг против друга, побарабанили пальцами по столу. Вдохнули. Карп Степаныч спросил:

— И что же с Масловским?

— Дают кафедру здесь.

— Здесь?! — ужаснулся Карп Степаныч.

— Здесь, — подтвердил Ефим Тарасович.

— Куда же смотрит высокое начальство?

Ефим Тарасович не ответил на этот вопрос, а продолжал:

— Да, здесь. Антитравопольщик, кукурузник на кафедре! — Он попробовал рассмеяться, но только чуть подергал животом, лицо же осталось неизменным, сосредоточенным.

— Но мы-то, мы, преданные науке люди, обязаны не молчать?

— Обязаны. И знаете, что я вам скажу, дорогой? Масловский менее страшен, чем этот... в ватнике... Егоров. Такому море по колено, ибо ему терять нечего — ему диссертацию не защищать.

— Опасный человек.

— Примите меры.

— Приму меры.

— Если оставлять таких в покое, то они могут нам вырыть... — Ефим Тарасович думал сказать «яму».

Но Карп Степаныч не совсем уразумел мысль учителя.

— Могила! — воскликнул он проникновенно, выразив на лице и сожаление, и страх, и почтение к своему патрону.

О методах борьбы они не говорили. Видимо, не раз приходилось им в острых схватках за науку применять самое различное оружие. Оба задумались. И Ефим Тарасович начал резюмировать свою мысль и результаты обсуждения вопроса.

— Итак, появился новый...

— ...враг на горизонте, — закончил Карп Степаныч.

Взаимопонимание учителя и ученика было трогательно. Им даже не требовалось развивать друг перед другом мысли, будто у них была одна голова на двоих. Но одно может показаться странным читателю: почему они оба так боялись Егорова, рядового агронома.

Что за человек этот Егоров?

Глава 5

Свинья веселая и свинья унылая

В то время, когда Карп Степаныч в задумчивости шел от Чернохорова, погрузившись в раздумья о будущем сельскохозяйственной науки, Изида Ерофеевна сидела за столом, дома, как и обычно. Сидела, пела и рисовала. Ввиду отсутствия служебного дела, к которому она смогла бы приложить имеющиеся в тайниках души способности и таланты, она занималась дома искусством. А Джон сидел рядом, на другом стуле, на своем, и если Изида пела, то он иной раз подвывал; если же она рисо-

вала, то сидел смиренно, изредка повиливая хвостом. И оба они были веселы в ожидании хозяина.

Вошел хозяин, Карп Степаныч. Оба домоседа бросились к нему встречать. Но Карп Степаныч, поцеловав Изиду и потрепав Джона по шее, прошел в свою комнату, что-то там положил в ящик письменного стола и только после этого сел за стол принимать пищу. Он был хмур. Все свидетельствовало о том, что настроение у него явно унылое! Изида — наоборот. Она показала ему новую картину, на которой были изображены две свиньи: одна веселая, другая унылая, и начала рассказывать о событиях сегодняшнего дня:

— Представь себе, Карик! Нарисую свинью веселую — Джон лает, нарисую свинью унылую — он воет, — привирала она помаленьку. — Пора-зительный ум! Такой собаке, такому уму любой позавидует.

— Возможно, — подтверждал чернохаровским тоном Карп Степаныч.

— И управдом приходил. Такой веселый, такой веселый! Говорит: «Кланяйтесь Карпу Степанычу». А соседка, Лидка, халат купила. Ха-ха-ха! Змеино-го цвета. Сама как змея, и халат — змея. Ха-ха-ха!

— Забавно, — сказал Карп Степаныч, оставаясь в унылой задумчивости.

Они поели. Но Карп Степаныч не наелся: сегодня у него «разгрузочный день» (плоды и прочее). Наедался же он по-настоящему только в погрузочные дни. Сегодня же ко всему тому, что произошло вне дома, прибавилось ощущение неудовлетворенности количеством еды. Отчасти поэтому он легонько и отстранил Изиду Ерофеевну, когда она, ласкаясь, прижалась к нему всей своей грациозной тушкой.

— После, после, Иза... После.

Она не обиделась, а сказала весело и иронически-ласково:

— Ты у меня сегодня — свинушка унылая.

Изида Ерофеевна легла в постель. А Карп Степаныч сел за письменный стол. Долго он сидел. Очень долго. Настойчивый человек! И опыт сидения имеется. А часам к двум ночи, когда супруга уже храпела, он прочитал еще раз написанное. Строку, куда писано, он заполнил многоточиями, так как не совсем решил куда. Заявление, против обычного, было коротким.

«В.»

Заявление

Как бы нам ни больно было писать о человеке, с которым один из нас учился, но голос гражданской совести обязывает нас переступить порог личных отношений.

Егоров Филипп Иванович восхваляет образ жизни в Германии, воспева-ет дороги за границей и прямо говорит: «Нам надо у них поучиться».

Он, Егоров, говорил одному из профессоров так: «Сельскохозяйствен-ные институты вредны». Тем самым он оклеветал всю систему совет-ского образования. Эту злобную клевету он высказал также при свидетелях.

Он, Егоров, категорически отрицает травопольную систему земледе-ля как основу и единственную базу преобразования природы.

Перед нами явный враг науки.

(Карлюк К. С.)
(Подсушка И. К.)».

И долго еще сидел Карп Степаныч и думал, думал. Он думал о том, как защитить науку от возможных врагов, которых он знает и которых не знает. Всегда, когда, по его мнению, надо было защищаться, он защи-щался, не щадя сил, памятуя древнее правило иезуитов: «Если хочешь по-

бедить врага, сначала оклеветав его». Он вспомнил это выражение и... успокоился. А успокоившись, стал устраиваться спать. Он разделся, подошел в одном белье к выключателю, увидел на столе «Свинью веселую и свинью унылую», посмотрел на художество, улыбнулся с каким-то горьким унынием и подумал: «Похоже. Очень похоже нарисовано». Выключил свет и лег в постель. Засыпал он спокойно под ритмичный стук часов.

Часы тикали. Время идет для всех — и для честных людей и для подлых. Идут часы, не взирая на личность. Время, время, какие поправки вносишь ты в нашу жизнь!

Утром следующего дня Карп Степаныч отправился на работу. Подсушка, как обычно, уже сидел на своем месте. Глаза у него были красные, как от бессонницы. Он не спал прошедшую ночь. Его волновал вопрос: «Кто же такой Егоров, если даже Карп Степаныч проявил момент растерянности?» Ему мерещилось черт знает что. Он ничего не понимал в происходящем, поэтому возненавидел Егорова. И еще примешивалось ощущение неудобства от того, как он «засыпался» с пшеном в разговоре с этим «человеком в сапожищах». Если бы Подсушке сказали: «Поди дай ему в морду, этому Егорову», то Подсушка обязательно пошел бы, но ударить... Нет! Не мог бы он этого сделать — слишком мягкий и не очень смелый характер у Ираклия Кирьяновича.

И вот сидел Подсушка и думал. Вошел Карп Степаныч. Вошел, стал перед столом Ираклия Кирьяновича, не раздеваясь (что было необычно), и таинственным голосом, тихо, но четко, с расстановкой и прищурив глаз, сказал:

— Я так и знал...

Затем он моргнул одним глазом и только тогда пошел раздеваться. Раздевался медленно, покашливая и сопя. А Ираклий Кирьянович как вытянулся, приготовившись к приветствию, полусогнулся, выразив обычную утреннюю улыбку, — так и остался, бедняга. Было что-то важное в словах Карпа Степаныча, очень важное, что-то страшное, скребущее ногтями душу и спину, так что боязно пошевелиться. Мыслей не было. Да и к чему они ему, мысли-то, если он ничего не понимает из всего этого? Даже и не подберешь слов для определения состояния Подсушки. Мягко выражаясь, можно сказать, что он обалдел.

Карп Степаныч сел за стол, посмотрел на подчиненного и, обеспокоившись, спросил с тревогой:

— Что с вами, дорогой?

— Здравс... Карп-п-п Спанч! — ответил тот с присвистом. И только после этого сошла с лица улыбка. Он вспотел и наконец-то сел.

— Приветствую вас, дорогой! — вошел в колею и Карп Степаныч. — Вы чем-то озабочены?

— О чем? О ком? Кому? Чему... вы сказали: «Я так и знал»?

— Ах, да!.. Я вижу в вас, Ираклий Кирьянович, душу честную, болезненно и беспокойно принимающую к сердцу боль вашего начальника и друга. Вы в науке моя правая рука. И на вас надеюсь.

— Я... Да... Но... — Тут Подсушка чуть не прослезился, но удержался и спросил уже более человекоподобно: — Чрезвычайно?

— Сверхважно, — ответил Карп Степаныч еще более серьезно.

А дальше все было почти без слов.

Ираклий Кирьянович вытянул шею. А Карп Степаныч втянул шею в плечи, поднял предостерегающе указательный палец, скосил глаза, наклонив голову в сторону перегородки, затем поднял уже большой палец. И показал за перегородку. Этот жест означал следующее: «Дело сверхчрезвычайное. За перегородкой — человек, бухгалтер. Будьте бдительны!»

Подсушка понял все и приложил ладонь к губам, что следовало понимать так: «Понял. Молчу как рыба. Жду!»

Теперь Карп Степаныч вытянул шею из плеч, сделал весьма серьезное лицо, нахмурив брови и отпустив губы, и согнутым указательным перстом поманил Подсушку: «Иди, значит, беспрекословно и — все узнаешь».

И тут Ираклию Кирьяновичу вспомнилось: маленьким мальчишкой он наблюдал, как озорники ребята, перебросив веревочку с рыболовным крючком, тащили через забор индюка. Индюк тот по глупости схватил крючок, наживленный фасолью, и потом покорно повиновался озорникам. Тогда еще Ираклий-мальчик подумал: «Идет, дурак, без никаких возражений!..» Почему такое печальное воспоминание вдруг всплыло в памяти Подсушки, сказать трудно. Но все это мелькнуло у него в голове на секунду. В следующую секунду он уже бесшумно, на носках, подошел к столу Карпа Степаныча.

А тот развернул свое заявление и дал прочитать Подсушке пять слов. «Перед нами явный враг науки».

Подсушка двумя пальцами провел туда-сюда над верхней губой, изображая усики и выражая вопрос: «Егоров?»

Карп Степаныч наклонил голову в знак подтверждения.

Подсушка в удивлении и возмущении развел руками.

Карлюк тоже развел руками.

Оба затем многозначительно переглянулись и вздохнули сокрушенно. Помолчали.

Но тут Карп Степаныч поднял кулак и опустил его на стол, скрипнув зубами: «Бить, значит, требуется».

И Подсушка сделал то же самое: «Бить!»

После таких жестов, утверждающих обоюдное согласие, Карп Степаныч дал прочесть уже все заявление. Подсушка прочитал. Начальник жестом показал, что надо расписаться. И немедленно под заявлением оказались две подписи, еще вчера проставленные в скобках.

— Честный человек не должен об этом молчать, — сказал теперь вслух Карп Степаныч.

— Именно, — подтвердил Ираклий Кирьянович.

Но тут произошло нечто необычное. За перегородкой, там, где входили все четыре работника Межоблкормлошбюро, заскрипела дверь: кто-то вошел. И вдруг уже в их кабинете появился бухгалтер Щеткин и сказал, запыхавшись и волнуясь:

— Прошу извинить за опоздание. Мальчик у меня заболел.

— Это что значит? — спросил басом и с соответствующим сопением Карлюк. — Где вы были?

— Дома. Дома был. Только сейчас вошел.

— Не может того быть! — возмущался начальник.

— Клянусь! — воскликнул Щеткин.

После этого Карп Степаныч, обращаясь к Ираклию Кирьяновичу, тихо произнес:

— Эх, вы!.. Р-растяпа!

А тот действительно в расстройстве совсем упустил из виду — сел за стол бухгалтер или нет.

Щеткин же ничего не понял: то ли начальник обвиняет Подсушку в либерализме насчет опоздания служащих и невыполнении внутреннего распорядка, то ли это продолжение начатого ранее разговора между ними. Черт их поймет! Щеткин сильно осерчал. И сразу же выпалил:

— Так нельзя. Вы часто даже не замечаете. — есть я или нет... А проходите мимо ежедневно. Я человек!

Карп Степаныч сначала удивился, потом тоже осерчал и воскликнул:

— Как вы смеете?!

— Так вот и смею. Не буду я у вас работать!

— По какой причине, смею вас спросить? — уже с ехидцей проговорил Карлюк.

— По двум причинам, — ответил Щеткин и сел бесцеремонно против Карлюка. — Первая: я человек. Вторая: не вижу пользы от всей вашей, а следовательно и моей, работы.

Карп Степаныч встал. Ираклий Кирьянович сел. Потом Карп Степаныч сел, а Ираклий Кирьянович встал. Щеткин же как сел, так и сидел. Карп Степаныч обратился к Ираклию Кирьяновичу:

— Что это значит?

— Что это значит? — спросил в свою очередь, рикошетом, Ираклий Кирьянович у Щеткина.

— Это значит, что хотя я смиренный и робкий человек, но честный. — У Щеткина тряслись руки от волнения.

Карп Степаныч встал и отошел к столу Подсушки. Оба они там посмотрели друг другу в глаза, поняли друг друга без единого слова, и начальник сказал просто и спокойно:

— Пишите заявление.

— Не снимаете, значит?

— По собственному желанию уйдете. И характеристику получите... хорошо.

Щеткин встал в полном удивлении: фуражка выпала у него из рук, но он этого не заметил и наступил на нее.

— Не удивляйтесь, товарищ Щеткин. Не удивляйтесь, — повторил Карп Степаныч. — Все просто. Вы у нас работали четыре месяца. Мы не поняли друг друга. Вот и все. Но в вас я ценю именно человека... смелого и... все такое... трудолюбивого и... все прочее.

В тот же день Щеткин написал заявление об уходе. Все обошлось хорошо. Карп Степаныч не любит ссориться.

Затем Карп Степаныч поручил Подсушке подыскать подходящую кандидатуру на место Щеткина. И они приступили к очередной работе. Ираклий Кирьянович чистил чернильную крышечку, готовясь к очередному турниру.

И день кончился так же, как и обычно: они снова не смогли вырваться с работы раньше половины седьмого. Но, уходя, оба вдруг помрачнели.

— Егоров, — сказал Карп Степаныч.

— Егоров, — сказал и Ираклий Кирьянович.

Это значило, что мысли каждого занимала та же самая личность. И что они так испугались этого Егорова?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать всю жизнь Карпа Степаныча Карлюка. Но об этом несколько позже. Пока что Карп Степаныч занимается вопросом подготовки докторской диссертации и готовит материал о том, что может есть лошадь и что она должна есть. Он накапливал опыт: бывал на защитах диссертаций, изучал процесс защиты, вырабатывал и дополнял правила защиты. Попутно заметим: многое он почерпнул на одной защите, состоявшейся в зооветинституте на тему: «Микроскопические исследования яичников домашней кошки в связи с проблемой животноводства и обновления породистости рогатого скота». Очень ценная была работа! И процесс защиты весьма и весьма поучительный. Так что не стоит спешить с рассказом о прошлой жизни Карпа Степаныча, поскольку сам он живет настоящим моментом. Более того, необходимо вернуться в описании событий на два дня назад и поговорить о том, что же творилось за спиной Карлюка сразу после того, как он был у Чернохарова и когда принимал меры к ограждению науки от «элементов».

Глава 6

Два друга

В то время, когда Карлюк сидел за вечерней трапезой, Филипп Иванович Егоров стоял на перроне вокзала в ожидании поезда. Он прохаживался по перрону, время от времени поглядывая на часы. Было семь вечера. Никаких вещей, кроме полевой сумки, у него не было. Он ждал профессора Масловского.

Подошел поезд из Одессы, и Егоров заторопился, почти побежал к вагону номер пять. Он был уверен, что профессор приехал в мягком вагоне. Пассажиры выходили один за другим, но Масловского не оказалось. «Значит, задержался», — подумал Филипп Иванович и направился вдоль поезда к выходу в город. И вдруг он увидел: у самого заднего вагона мелькнул плащ Масловского. Он тряс руку пожилого колхозника (видимо, попутчика по вагону) и что-то горячо говорил. Филипп Иванович заспешил к профессору. Но тот уже широко зашагал от поезда, проскочил выход, решительно открыл дверцу такси и помахал шляпой колхознику, все еще стоявшему на перроне. Филипп Иванович спешил, проталкиваясь в потоке выходящих пассажиров, и крикнул:

— Герасим Ильич!

Но его возглас слился с паровозным гудком. Дверца захлопнулась, и автомобиль, набирая скорость, сразу скрылся из глаз.

Филипп Иванович вскочил в первый же трамвай и помчался по следу профессора. Минут через двадцать он был уже в квартире Масловского.

Дверь открыла ему домашняя работница, Мария Степановна, рослая, сухая, сморщенная старуха, обвязанная цветастым платком.

— Дома? — спросил он у нее.

Та удивленно посмотрела на него и сказала:

— Э! Да вин после поезда ще часа два буде блукать. Такой уж... — Она махнула рукой и добавила: — Шалопутный!

— Не очень лестный отзыв, — сказал, улыбаясь, Филипп Иванович. — А я, значит, попал на ложный след.

— Ему хучь кол на голове теши — не поест, не поьет вовремя.

— Пойду распутывать след.

— Ну иди, иди... Да гони ты его в шею домой. Ведь голодный небось. Не задерживай, смотри! — сказала она строго и погрозила пальцем.

Филипп Иванович пошел на опытное поле института. И не ошибся. Герасим Ильич стремительно шагал по дорожкам меж делянок, а молодой научный сотрудник еле поспевал за ним. Филипп Иванович догнал их и пошел позади.

Профессор говорил на ходу.

— Неужели вы не понимаете простой вещи! — воскликнул он, размахивая шляпой. Седые волосы ерошил ветер, но казалось, они шевелились от возбуждения профессора.

— Был здесь директор, — оправдывался научный сотрудник, — и сказал мне: «Зачем торчат сорняки? Почему торчат сорняки? Удалить немедленно! Ожидаем экскурсию, а у вас сорняки на делянке». Ну я и...

— Вы не имели права полоть эту делянку! Вы испортили опыт. Вас судить надо! — кричал Масловский.

— Герасим Ильич! — почти жалобно пытался возражать его собеседник.

— Что ж из того, что Герасим Ильич! Я еще вам намылю шею за такое!

Филипп Иванович подумал: «Та-ак. Суд заменяется намыливанием шеи. Все идет как и полагается. Знакомое дело».

Профессор и его сотрудник остановились около одного из опытов. Герасим Ильич повернулся лицом к делянкам и посмотрел сбоку на Филиппа Ивановича.

— Вы?! — воскликнул он.

— Я.

— Откуда?

— Иду по следу. С вокзала,— отвечал Филипп Иванович шутливым тоном.

— По какому следу? Вы за каким зверем охотитесь, позвольте вас спросить?

— За профессором Масловским, смею доложить!

— То есть как это так? Значит, вы были на селекционном участке?

— Нет. Не был. Решил сразу пройти сюда.

Герасим Ильич начинал сбавлять строгий тон. Он подошел к Филиппу Ивановичу, подал руку и, не выпуская его руки, спросил:

— Значит, с вокзала?

— С вокзала. Ездил вас встречать, но... не догнал. Хотел поздравить и порадоваться с вами, Герасим Ильич.

— Ну... этого... не надо...

— Поздравляю от души! И радуюсь.

— Ну... Спасибо. Спасибо вам.— Герасим Ильич положил руку на плечо Филиппа Ивановича и поцеловал его.— И в горе меня не забывали и в радости не забыли. Спасибо!

— А я иду позади,— снова заговорил шутливым тоном Филипп Иванович,— и думаю, слушая вас: «Ну, попал на судебный процесс!»

Герасим Ильич покосился на своего научного сотрудника и сказал, обращаясь к Филиппу Ивановичу:

— Остались дети на хуторе и такую ерунду напутали! Добрая пословица! Вот он напутал без меня. Вот смотрите: эта делянка обработана химикалиями против сорняков. А вот на этой делянке проведена тщательная прополка, без химической борьбы. На той же делянке... Пошли, пошли! — Он потянул за рукав Филиппа Ивановича.— Вот. На этой делянке сорняки должны быть целехоньки — ни химикалий, ни прополки. А он прополол!

— Только крупные сорняки. Только те, что выше растений,— оправдывался научный сотрудник.

— Ни единого! Ни единого нельзя трогать! — снова загорячился Герасим Ильич.— Цель опыта: выяснить не только видимое действие химической борьбы с сорняками, а сравнить урожай и установить, действительно ли эта борьба может заменить тщательную прополку и какой э к о н о м и ч е с к и й эффект дает. Все в опыте должно быть точно и ясно до возможного предела. Понятно?

— Я знал... Но... директор...

— Даже министр над вами не властен, если у вас есть мысль, идея, открывающая перспективу увеличения урожая. Да, да, министр! Что вы смотрите так удивленно?... Исследователь всегда свободен. Более того, он иногда сам себя «подрубают» и... радуется этому.

— Как это понять? — спросил Филипп Иванович.

А научный сотрудник, юноша, которого Филипп Иванович видел впервые, уже и не пытался задавать вопросы. Он только слушал.

— Как понять? — говорил Герасим Ильич.— Вот как понять... Пошли, пошли! — Он шагал быстро и широко, размахивая рукой, увлекая за собой собеседников. В конце блока делянок он остановился.— Видите, Филипп Иванович? Колышки видите в гнездах кукурузы?

— Вижу.

— На конец каждого колышка нанизана картофелина и зарыта в почву на четыре-пять сантиметров. Мы рекомендовали в свое время, и я, за-

метьте, подписал ту рекомендацию: для борьбы с проволочником на овощных и кукурузе использовать картофель. Проволочник любит вгрызаться в мякоть картофеля. А через день-два картофеляина извлекается из почвы с этим колышком. Проволочника уничтожают. Так мы рекомендовали. И были уверены, что это хорошо — оградить линией картофеля пятна, зараженные проволочником. Даже два колхоза подтвердили это на семенных участках овощных... Ну, конечно, благодарили и... все прочее...

— Никак не пойму, при чем же здесь «подрубание» самих себя? — спросил Филипп Иванович.

— Ну какой же вы нетерпеливый! Смотрите соседнюю делянку. Здесь в почву внесен гексахлоран — и нет проволочника. Совсем нет! Агроном Московской области Крутиховский установил: гексахлоран — спасение от проволочника, а урожай при этом увеличивается на двадцать процентов. Вот мы проверили его исследования. И что же: мои четырехлетние исследования покатались к чертям! Идея Крутиховского отрицает мою начисто. И я рад этому. — Герасим Ильич неожиданно обернулся к научному сотруднику и сказал: — Понимаешь, Коля, очень рад этому отрицанию. Мы с тобой проверили данные Крутиховского и тем самым подружили самих себя. И радуемся. Правда же?

— Да, правда, — с улыбкой ответил Коля.

Герасим Ильич обратился к Филиппу Ивановичу:

— Вот мы с Колей решили: а разве не бывает так, что новое в исследовании заключается в отрицании предыдущего исследования, опыта, эксперимента? Так, Коля? — Он толкнул его локтем.

— А судить его будем? — спросил Филипп Иванович у Масловского, подмигнув Коле.

Герасим Ильич прямо-таки отпрянул от Коли, надвинул шляпу плотнее и повторил строго:

— Я еще намылю ему шею. — И пошел вдоль делянок второго блока. — Он у меня еще узнает кузькину мать... «Директор, директор». Может быть, тебе Чернохаров прикажет?.. Я вам! — Грозил он на ходу кому-то.

Филипп Иванович дернул за рукав Колю и тихо сказал:

— Оставьте его на минутку. Дайте успокоиться. Я его знаю,

— А вы откуда?

— Агроном колхоза. Кончал когда-то этот же институт. А вы давно у Герасима Ильича?

— В прошлом году окончил. Ну... он и оставил меня здесь.

— Счастливый вы человек, Коля, — сказал Филипп Иванович.

Герасим Ильич ходил, ходил и как-то сразу, неожиданно, остановился невдалеке. Потом крикнул:

— Эй вы, заговорщики! Идите сюда.

Когда «заговорщики» подошли, он спросил у Коли:

— Это вы заборонили пар после дождя?

— Я.

— Кто приказал?

— Никто. Сам решил.

— Молодец. Правильно. — Он помолчал чуть и добавил: — Впрочем, путайте, ошибайтесь, но... не очень сильно ошибайтесь... Не так, как с сорняками...

Солнце совсем опустилось к горизонту. Повеяло прохладой. Растения на делянках наострили верхние листочки, слегка опущенные днем; от делянок на дорожки легла короткая тень. Герасим Ильич застегнул плащ, окинул взором поле, посмотрел на Колю, на Филиппа Ивановича; потом взял в горсть клинышек бородки и, задумавшись, повторил:

— Ладно. Ошибайтесь. Но... не очень сильно.

Через несколько минут они были в квартире Герасима Ильича. Сели на диван рядом.

— Ну, рассказывайте, какие новости в колхозе?

— Новость на всю волость — сняли меня с работы. Уже я не колхозный агроном.

— Что?! — воскликнул Герасим Ильич. Он вскочил и заходил по комнате, говоря: — И какова же причина? Впрочем, можете не отвечать на этот вопрос. Все ясно... Все ясно... Ясно, — повторял он, взявшись за клинышек бородки и продолжая ходить из угла в угол. — Агроном, ненавидящий рутину и консерватизм в агротехнике, оказывается «опасным» человеком. Все ясно, все ясно... Но все-таки расскажите.

— На свой риск перенес травы в пойму, получил огромный урожай сена, а полевой севооборот сделал не двенадцатипольный, а шестипольный... Соединил по два поля в одно. Увеличил площадь зерновых на двадцать процентов. И вот «за игнорирование травопольного севооборота, за самовольство и анархизм в агротехнике (так и записано), за нарушение агроправил»... освобожден.

— И что же вы теперь?

— Что ж, из колхоза не пойду.

— Но жить-то надо чем-то?

— Нашел работу. — Филипп Иванович положил на стол приказ Карлюка. — Вот, опыты буду ставить в колхозе. — Он внимательно следил за выражением лица Герасима Ильича, пробежавшего глазами бумагу.

А тот поднял глаза и удивленно, так, что густые брови вскинулись на лоб, спросил:

— К Карлюку? Вы?.. Не понимаю. Вы сошли с ума!

— Я буду иметь возможность ставить и свои опыты.

— Ах, та-ак!.. Пожалуй... Это мы подумаем... Вы еще не сошли с ума... Но вас нагрузит Чернохаров «по линии Карлюка» так называемыми производственными опытами.

— Уже все — не нагрузил. — Филипп Иванович рассказал о событиях последних двух дней. — Не доверяет мне Чернохаров, — заключил он.

— Тогда Карлюк вас просто-напросто уволит. Все, кто мешает «массовому внедрению» исследований Чернохарова, из системы научно-исследовательских учреждений увольняются. И скажу прямо: иногда с большими... неприятностями, мягко выражаясь...

— Не неприятности, — уверенно перебил Филипп Иванович.

— Откуда такая уверенность? Вы забыли, как «избивали» меня, обвиняя в менделизме, морганизме и прочих смертных грехах? — Герасим Ильич все больше волновался. — Вы многого не понимаете. Чтобы защитить свою диссертацию, мне пришлось ехать в другой город. Но все-таки и туда приехал Чернохаров в качестве неофициального оппонента. Более пятнадцати лет готовая диссертация, обошедшая все столы в некоем научном учреждении, пролежала без движения. А почему? Да потому, что клеветники сделали из меня менделиста-морганиста, хотя я никогда в таковых не состоял. Нет, вам надо уходить самому... Но...

— Но бросить колхоз сейчас я не могу. Это значит согласиться с обвинениями, поставить крест на всем, что сделано мною в поле, согласиться с тем, что не нужны радикальные изменения, согласиться с тем, что все колхозники будто бы уже живут богато. Не могу!

— Да. Это правильно. Но ведь вас же...

— Не уволит, — еще раз повторил Филипп Иванович с еще большей уверенностью.

— Послушайте, где вы добыли такую самоуверенность? Когда уверенность переходит в самоуверенность — это плохо. Вы уже не так молоды, вам уже около сорока, а утверждаете как-то так... Мой жизненный

опыт подсказывает совсем другое... Да что же это я? Вот так принял гостя! Мария Степановна! Мария Степановна! Милая Мария Степановна! Вы там чего-нибудь того-этого...

— И того есть и этого есть,— ответила Мария Степановна, входя с подносом, на котором, кроме всего прочего, по-хозяйски занимала главное место бутылка коньяку.

— Ну, Филипп Иванович! — весело сказал Герасим Ильич. — Теперь о делах, о науке, о колхозах — ни слова! Только на веселые темы.

Они сели за стол. Выпили за «докторскую». Поговорили о рыбной ловле, вспомнили какого-то необыкновенного сазана, который ломал и рвал снасти, но наконец был подведен к лодке и все-таки... ушел, подлец.

— Вот какой был! — восклицал Герасим Ильич, показывая руками. — Царь-сазан! Выдающееся явление среди сазанов!

— А помните, как вы с лодки-то?

Оба рассмеялись.

— И главное в чем,— сквозь смех говорил Филипп Иванович.— Сам-то в воде — в одежде барахтается! — а сам кричит: «Шляпа! Моя шляпа где?!» А шляпа-то в лодке осталась.

Бывает так, встретишься с человеком и не сразу его поймешь. Но вот он засмеется искренне и неподдельно, от всей души, и сразу полюбишь такого человека. Есть в настоящем смехе что-то такое, что открывает дверцы в тайники человека.

Филипп Иванович уже видел подергивание живота Чернохарова, вызвавшего этим приемом смех, и именно поэтому-то он еще больше любил Масловского в тот вечер, когда они ужинали вдвоем.

Посмеялись-посмеялись собеседники, отдышались, покачали головами.

— Ну и ну,— произнес Герасим Ильич.

— Прочистили мозги,— заключил Филипп Иванович.

— Посмотрел бы на нас Чернохаров!..

— А ну их! — махнул рукой Филипп Иванович.

— Кстати, давайте-ка посмотрим тематику Карлюка. Мне кажется, там больше чернохаровского.

Филипп Иванович достал программу опытов, врученную ему при назначении, и они углубились в изучение тем, забыв, что решили не говорить о делах.

— Так,— начал первым Герасим Ильич, читая отдельные темы вслух.— «Посев пшеницы яровизированными и неяровизированными семенами». Не ново: два десятка лет испытываем яровизацию. Ну-ка, что тут еще?.. «Подзимний посев яровой пшеницы...»

— Вы смотрите десятую тему,— предложил Филипп Иванович, улыбаясь.

— Десятая,— читал Герасим Ильич,— «Экономические обоснования скармливания овощных конскому поголовью». — Он бросил тематический план на стол и, как обычно в волнении, заходил по комнате, засунув пальцы в карманы жилета. — И это все в то время, когда вопрос о кормовой базе для всех животных, а не только для лошади надо решать немедленно и радикально: силос, зерно, сено.

— Все возможно! — Филипп Иванович засмеялся. — Тысячу лет известно, что лошадь любит свеклу, но редька — тоже ведь овощная культура. Э, была не была! А не заняться ли мне испытанием скармливания редьки жеребят?

— А чеснока — коровам,— добавил Герасим Ильич.

— Предана забвению вечная истина: «лошади едят овес». Вот и надо искать заменители...

Герасим Ильич улыбнулся, но улыбка погасла сразу же. Он спросил:

— Как это там у него?.. «Что ест конь...» И как дальше?

— «Что может есть лошадь и что она должна есть», — уточнил Филипп Иванович. И вдруг взялся всеми десятью пальцами за волосы и неожиданно поник головой. Так же резко вскинул ее и стукнул кулаком по столу; взялся за борта пиджака, стянул так, что он затрещал на спине, и сказал: — Герасим Ильич! Никакого движения вперед в сельском хозяйстве не будет, если мы не повысим доходность колхозов. Все эти темы, все диссертации — все мелко по сравнению с самым важным. Неужели этого не видят?.. — Он снова опустил голову в задумчивости.

А Герасим Ильич подходил к Филиппу Ивановичу, трогал его за плечо и уходил снова в другой конец комнаты. Снова подходил и снова уходил. Он теребил седой клинышек бородки, смотрел в пол, закладывая руки за спину, но никак не находил места в комнате, где бы остановиться. И вот он подошел еще раз к Филиппу Ивановичу, уже поднявшему голову, и сказал:

— Вы член партии. А вот видите, как...

— Простите, Герасим Ильич. Простите, не выдержал.

— Вот вы все такой же горячий. И такой же... прямой. Трудно вам жить...

— А вам легко? Вы научили прямоте.

Герасим Ильич не ответил на вопрос, не подтвердил утверждения Филиппа Ивановича. Он присел на стул против него и, будто продолжая свою мысль, говорил:

— Вот и Карлюку вы наговорите чего-нибудь. Обязательно наговорите и — фьюить! — уволят. А в «науке» так: ненавидишь, а говори приязности. Такая есть научная вежливость. Например, встретит меня завтра Карлюк и рассыплется в поздравлениях, а я, понимаете ли, обязан благодарить за телеграмму, посланную им в день защиты. И ничего не поделаешь. Так уж принято.

— И это очень нехорошо. Орудую этой самой «вежливостью», и присасываются к науке карьеристы, подхалимы, блудословы. И им никакого отпора. Все в вежливой форме.

— Его могу я не любить, но уважать его обязан... Кто это сказал?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, но слова помню.

— От бюрократизма это идет.

— Возможно. Может быть, скорее от чиновничества.

— А какая разница, — махнул рукой Филипп Иванович. — Не переваривает у меня нутро такого отношения.

— Это хорошо... — Герасим Ильич задумался. — И хорошо... и трудно вам будет. А все-таки вы идите так. Именно так. Главная наука в жизни — научиться ходить прямо.

Филипп Иванович смотрел на учителя благодарным взглядом. Он уже успокоился, этот неуравновешенный и горячий, иногда опрометчивый агроном. Нет, не неожиданными и беспричинными были частые перемены настроения у Филиппа Ивановича — горячее отношение к жизни влекло за собой быструю смену чувств.

— А если уж говорить откровенно, — продолжал Герасим Ильич, — то не очень-то и я одарен этой научной вежливостью, сами знаете. Не стоит об этом. Давайте-ка поговорим о другом: что собираетесь делать. По-моему, главное в опытной работе заключается в том, чтобы любым научным опытом помогать повышению урожая.

— Но тематика рассчитана на диссертацию.

— К сожалению, вы по должности волей-неволей будете закладывать «опыты» по тематике. Но исходить надо из требований производства зерна, мяса... Каждый опыт должен быть поставлен с точной целью.

— Что бы вы рекомендовали?

— Надо подумать... Давайте подумаем вслух. Вместе.

— Давайте,— оживился Филипп Иванович.

— Что вы считаете самым главным в агротехнике?

— На это трудно ответить сразу. Каждый прием в общем комплексе важен.

— А по-моему, комплекс комплексом, а самое главное в агротехнике сейчас — сор-ня-ки. Наши поля повсеместно настолько засорены, что становится нелепостью, скажем, такой прием, как внесение удобрений. Смешно же удобрять... сорняки! А есть ли в какой-либо энтээс карты сорняков, учет запаса их семян в почве? Разработаны ли конкретные меры борьбы с сорной растительностью по каждому колхозу? Ничего этого нет, батенька мой. В промышленности и технике мы достигли чудес (это без преувеличения). А вот в поле у нас сорняки губят половину урожая, добрую половину. Рассчитывать в этом деле только на трудолюбие и дисциплину колхозников — по меньшей мере близорукость.

— Да еще население из городов помогает в прополке.

— Ну, это уж совсем странно. Удивительно много мы затрачиваем труда на борьбу с сорняками на поле, а между тем надо решать это по-другому: нужны агротехнические меры такие, чтобы уничтожить сорняки совсем.

— Что вы предлагаете сделать конкретно?

— Поставить широкий опыт с уничтожением сорняков: метод химической борьбы, различная глубина пахоты. Перенесите наши опыты на колхозное поле. Только возьмите обязательно отстающий колхоз, самый худший в районе.

— Не понимаю,— развел руками Филипп Иванович.

— Подумайте как следует и поймете. У нас принято изучать и обобщать только опыт передовых колхозов. А «опыт» отстающих попросту замалчивается. А мы обязаны изучать факторы, снижающие урожай. Не зная болезни, нельзя ее лечить.

— Вы выразили и мои мысли! Понял! — воскликнул Филипп Иванович.

— А я это знал. Вы только их не высказали... Вот вам одна тема. Теперь другой вопрос: проволочник, или, по-народному, «костяника». Вы сегодня видели наш опыт. А какой огромный запас этого маленького вредителя на полях колхозов и в особенности на целине. Разве кто-нибудь обследовал поймы на этого вредителя? Нет. А его там местами до двухсот — трехсот штук на квадратный метр! Это страшно... Понимаете, каждый пятый центнер поедает проволочник!

— Невероятно! Половину — сорнякам, пятую часть — червякам, а одну треть — в закрома.

— Вот и попробуйте. Поставьте опыты на большом массиве. Докажите. Мы обязаны доказать.— Герасим Ильич, пристукивая пальцем по столу, раздельно повторил: — Обя-за-ны!

— Вы так часто подчеркиваете слово «обязаны», что будто принимаете вину за низкие урожаи и на себя.

— Да, принимаю. И вы принимайте. А когда почувствуете, что обязаны, вы уже не сможете не бороться. Все это кажется очень мелким — сорняки, червячки! — но в этом простом кроется великое: огромные урожаи. Огромные урожаи — если, кроме всего этого, применять систему агротехники, разработанную для каждого колхоза в отдельности.

— Уже две темы есть! — воскликнул Филипп Иванович.— «Подумали вслух»! Здорово подумали!

— Десять есть. Сто есть! Помните: если в научном опыте есть мысль, идея, подсказанная практикой, то он, опыт, уже наполовину сделан.

— И если эти результаты опытных исследований возвратятся к родившей их практике, то они обогащают ее.

— И вызывают новые мысли, идеи. Это и есть наука, батенька мой. Вы, сами того не замечая, уже много лет как приобщились к настоящей науке, вы — рядовой, обыкновенный агроном.

— Вот приобщился и — уже не агроном колхоза.— Филипп Иванович задумался. А через некоторое время сказал, будто продолжая мысль:— Уж очень много стало людей, убежденных в том, что и вопросы агротехники должны решаться там, вверху, что нужна своеобразная централизация агротехники.

— Чертовски это плохо для науки! Тут самая прочная почва для конъюнктурщиков. Но, к сожалению, есть такие люди, есть...— Герасим Ильич замолчал, взялся снова за клинышек бородки, остановился посреди комнаты и, смотря в пол, размышлял вслух:— А еще сказать, хуже всего такая линия, когда о науке думает один человек, а все остальные должны только подтверждать его мысли. Отсюда все.— Он поднял палец вверх, не отрывая взгляда от пола и будто не замечая уже и Филиппа Ивановича.— Во! Подтверждать мысли другого. Вот какая роль сельскохозяйственной науки. Во! Чудеса в решете!..— Медленно опустив палец и тыкая им вниз, он настойчиво повторял одно и то же:— Все равно земля потребует! Народ потребует! Партия потребует!..— Масловский снова сел против Филиппа Ивановича, опустив ладони меж колен, и сказал:— Вот оно какое дело-то, батенька мой.

Они замолчали. Сидели и молчали. Думали.

Потом Филипп Иванович сказал, вздохнув:

— Трудное положение в сельскохозяйственной науке.

— Трудное. Но — верю! — временная трудность. Надо решительнее поднимать голос за настоящую науку.

— Надо,— все так же в задумчивости поддержал Филипп Иванович.— Я знаю теперь, что делать.

Рано утром, часов в пять, когда солнце взошло над городом, Филипп Иванович уже шагнул к вокзалу. Он знал, что ему надо делать. И поэтому утро было хорошим.

Глава 7

«Личное дело»

А Карп Степаныч тем временем спал.

Часов в девять он проснулся. Посидел немного на кровати, стараясь с утра думать научно, но мысли почему-то не шли. Он почесал ногой ногу, но мыслей не было: как провалились! Наконец-таки пришла мысль: какой сегодня день? Постепенно он установил точно, что сегодня четверг, день, абсолютно безопасный по всем приметам. Это его успокоило, однако же от этого покоя мысли еще дальше залезли в какие-то закоулки и не желали вылезать. Так он и сидел неподвижно, по-утреннему припухший, с обвисшей нижней губой и приподнятыми вверх бровями, будто удивляясь тому, что никаких мыслей нет. Он был уверен, что такое состояние не есть следствие отсутствия ума, что, наоборот, ум у него есть, и даже большой, но пока что нет пищи для этого самого ума.

Вскоре обнаружили и признаки пищи. Изиды Ерофеевна вошла в спальню всклокоченная, но в белом фартуке и с вилкой в руке. Она постояла в дверях, посмотрела на мужа и спросила:

— Сидишь?

— Сижу,— ответил он хрипловатым спросонья голосом.

— И долго так будешь глядеть жабой? — беззлобно уточнила она.

— Мыслей нет,— все так же полусонно ответил Карп Степаныч.

— Давай одевайся. Завтрак готов.

Карп Степаныч умылся, оделся и сел за прием пищи. И чем плотнее набивал желудок, тем энергичнее вылезали мысли. Он позавтракал, крикнул и заявил смело:

— Прекрасно!

И это была бы блестящая мысль, если бы не Изида Ерофеевна. А она задала простой вопрос:

— Что там у тебя с этим Егоровым?

— А откуда ты знаешь? — поставил контрвопрос Карп Степаныч.

— Слух дошел, — неопределенно ответила Изида Ерофеевна, но, конечно, не сказала о том, что, как и обычно, открыла своим запасным ключом письменный стол мужа и прочитала его заявление.

Мысли у Карпа Степаныча заработали. Он нахмурился и, ничего не отвечая на вопрос жены, ушел к письменному столу в другую комнату. Там он достал папку «Личное дело», сунул в портфель и направился на работу в Межоблкормлошбюро. Но, уходя, сказал жене:

— О Егорове молчать. Ничего не случилось.

— «Врагу не сдается наш гордый варяг», — пропела Изида Ерофеевна, улыбаясь. И, подтянувшись на носках, поцеловала мужа в щеку.

Это было приятно, так что Карп Степаныч, чувствуя поддержку друга, улыбнулся тоже. Да и чем, собственно говоря, быть недовольным? Сыт, обут, одет, сберкнижка есть. Что же касается диссертации, то он ее защитит.

Шел он на работу пешком, переваливаясь утицей, наполненный пищей и мыслями. Он думал о том, что вот придет в свое учреждение и начнет руководить и что руководить умеет не каждый, в особенности в науке; будет руководить, а потом со временем станет доктором сельскохозяйственных наук.

Карп Степаныч глянул на часы: десять! Даже ему, руководителю, опаздывать на полтора часа неудобно. И он заспешил.

Спокойные и сытые мысли прекратились сразу же, как только он открыл дверь своего учреждения. В двери он неожиданно столкнулся с Чернохаровым. Да как столкнулся! Чернохаров выскакивал в этот момент из учреждения, а Карп Степаныч спешил войти в учреждение. Чернохаров почему-то горячился. Дверь они открыли одновременно и так больно столкнулись, что вытаращили глаза друг на друга и долго не могли произнести ни слова.

— Вы? — наконец выдавил Чернохаров.

— Я, — ответил Карп Степаныч. — Виноват...

— Виноват... Ох! — вздохнул Чернохаров.

Наконец они все-таки сели друг против друга. От боли оба стали грустными.

— Я спешу, — уныло сказал Чернохаров. — Ждал вас полчаса... Опаздываете.

— Виноват, Ефим Тарасович... Дела. Задержался.

— Вот... Дела. Есть дела поважнее.

— Что вы хотите этим сказать, Ефим Тарасович?

— Сегодня всю ночь до рассвета вдвоем... — начал Чернохаров.

— Кто?

— Враги. Егоров и Масловский. Видимо, готовят на нас...

— Донос?

— Возможно. Еще раз проверьте свои...

— Документы и личные дела, — уже перехватывал Карп Степаныч мысли учителя.

— И ускорьте...

— Понимаю.

— Ваше должно быть впереди, чем ихнее.

— А может быть, они не писали? — будто сомневаясь, спросил Карп Степаныч.

— Смотрите, вам виднее, — ответил Чернохаров так, будто уж и не очень важно ему все это, однако добавил: — Предусмотрительность и предосторожность — родные сестры. Гм...

Карп Степаныч понял, что разговор окончен и что собеседник зашел именно затем, чтобы высказать последнюю философскую мысль. А Ефим Тарасович встал и вышел из комнаты.

Карп Степаныч только теперь поздоровался с Подсушкой, сел за стол и глубоко задумался. В голове возник вопрос: «Чем они и могут меня взять?» После этого он положил перед собой папку. В этом домашнем «Личном деле», кроме копий документов официальной папки, которая хранится где-то в сейфе, были записки от профессоров и к ним, пригласительные билеты на торжественные заседания или ученые советы, справки с места жительства разных лет, копии назначений и увольнений и даже давнишняя записка от некоей дамы, обожающей науку в лице Карлюка. Первым листом была анкета — «Личный листок по учету кадров». В это-то вопросник жизни и вник сейчас Карп Степаныч, думая все об одном и том же: «Чем они и могут меня взять?» Он читал свою анкету и вспоминал жизнь. Всю жизнь! И казалась она ему чистой, как стекло.

В самом деле, анкета Карпа Степаныча была зеркалом образцовой чистоты и трудолюбия человека. По этой анкете, право же, ему надо быть академиком или даже больше. Очень хорошая анкета у Карпа Степаныча! Начнем рассмотрение этого весьма важного документа вслед за Карпом Степанычем прямо с первых вопросов.

«Фамилия, имя и отчество — Карлюк Карп Степаныч». Значит, отцом его был Степан Карлюк.

«Место рождения... Год и месяц рождения — 1903, декабрь». Значит, родился в пургу и морозы. Такого человека надо обязательно выдвигать — крепкий здоровьем должен быть.

«Социальное происхождение — крестьянин». И в скобках — «средняк».

Тут Карп Степаныч вспомнил прошлое.

Вот он мальчишкой в родном доме. Отец, могучий ростом крестьянин, имел только одну корову. А Обломковы имели двадцать две, а Чухины — двадцать шесть. Карпуха же (так звали в те годы Карпа Степаныча) видел, как отец работал день и ночь, стараясь разбогатеть, видел и то, что из этого ничего не получалось: давили Обломковы. Но отец часто повторял:

— А ты тянись, Карпуха, достигай.

Карпухе было лет тринадцать или четырнадцать, когда пришла революция. Лет восемнадцать — к началу нэпа. И Карпуха тем временем уже учился, весьма энергично перебиваясь с двоек на тройки (учение ему давалось туго).

Когда он поступил в институт и приезжал на каникулы, то отец говаривал:

— Я вот всю жизнь тянулся. А глянешь назад — одна только работа, каждый день работа. Может быть, хоть ты не будешь работать. Ты достигай. Уважай учителям, профессорам и — достигай. Кто выше тебя по чину, тот и обидеть тебя может. Но ты не обижайся, а ласкай: выгода — другой раз не обидит, а тебя же и почитит. И главное дело, достигай. Может, и не будешь тогда работать. Ученые люди, они не работают. Достигай.

Так постепенно и вырос Карпуха на закваске такой философии: учиться, чтобы не работать. И линия жизни его выражалась в одном слове: достигай!

«Тут, — думал Карп Степаныч, сидя за анкетой, — они и меня не подкусят. Чистый середняк».

И он изучал свою анкету дальше.

«Состоял ли в оппозициях? — Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не допускал и мысли».

«Был ли за границей? — Не был, не собираюсь и не поеду ввиду того, что мне там делать нечего».

Так продуманно отвечал Карп Степаныч Карлюк на все вопросы анкеты. Но на одном вопросе — только на одном! — он вдруг споткнулся и... вспотел. Вопрос обыкновенный: «Участвовал ли в боях в Отечественной войне». И ответ простой: «Нет». А вспотел. Миллионы людей спокойно ставят такие ответы, зная, что и в тылу нужны были люди. Знал это и Карп Степаныч. Но и Егоров-то тоже кое-что знал. Не будь Егорова — чистота анкеты была бы алмазной. Теперь же вот сиди, обхватив голову руками, и думай и вспоминай, чего не следовало бы вспоминать.

А случилось все так.

...Немец приближался к городу. Шли войска, ехали обозы, танки, пушки — Красная Армия отступала. По обочинам дорог и проселкам, по всей Европейской России, двигались эвакуированные жители. Кто как: кто пешком, кто на лошади, кто просто двигал впереди себя или тащил за собой тележку с немудреным скарбом и пищей. Люди переживали величайшее несчастье — уходили из родных мест; они видели отступающие войска, и сердце каждого сжималось при мысли о худшем. Вражеские самолеты десятками висели над городами и селами, наводя ужас и смятение, распространяя всюду смерть.

Вот в такие-то дни заволновался и Карп Степаныч, стал мрачным. Изида Ерофеевна потихоньку плакала. Вечерами они подолгу сидели и советовались, а чаще спорили о том, что делать. Так шли дни. Уже разрывы снарядов стали слышны по ночам — бои приближались. В то время Карп Степаныч не был еще, по его собственному выражению, «науко-руком», а просто подчинялся Чернохарову. И вот он пошел получить распоряжения: не пора ли эвакуироваться? (Никаких указаний об эвакуации пока не было.) Но, придя к Чернохарову, он нашел пустую квартиру: тот выехал в неизвестном направлении. Карп Степаныч побежал домой, задыхаясь, толкая по пути прохожих. Он ворвался в свою квартиру и выпалил:

— Иза! Немцы!!!

Изида Ерофеевна почему-то не совсем волновалась в данную минуту и сказала:

— Ну и что же?

— Собирайся!

— С какой такой стати?

Тут Карп Степаныч взял стул и без спора, замахнувшись им на супругу, выкрикнул:

— Я кандидат наук! Повесят! Ну? — И вопросительно потряс стулом над головой.

Потом он убежал куда-то. Потом приехал на подводе, запряженной парой лошадей. На той подводе уже сидела сторожиха сада института с мальчиком. Карп Степаныч и Изида Ерофеевна быстро собрались. Они взяли с собой самое необходимое: альбомы рисунков Изиды Ерофеевны, «Личное дело» Карпа Степаныча, документы, деньги, два пуда соли, мешок пшена, два пуда солонины, мешок муки, два пуда сухарей, Джона с его постелью, двадцать две коробки спичек, две перины и четыре одеяла, пять бутылок кипяченой воды, пять пачек аспирина и пять пачек пургена, по два костюма на каждого и кое-что другое, самое необходимое в неведомом пути. Все это нагрузили так, что лошади еле стронулись с места, а сторожиха с мальчиком пошли пешком за подводой. Потом где-то в пути сторожиха добровольно (хотя и со слезами, но по

собственному желанию) уволилась от Карпа Степаныча, пересевши на другую подводу со своим немудреным мешком сухарей. Карп Степаныч дал ей на прощание три стакана соли, и Изида Ерофеевна «точила» его за такой необдуманный и непростительный поступок и твердила:

— Самим не хватает, а он раздает. Растяпа!

А Карп Степаныч отвечал мудро:

— Самое трудное из всех подражаний — быть щедрым.

— Начитался, черт, разных глупостей, — заключила супруга, не вникнув в суть.

Так они и ехали. На восток, и на восток, и на восток. С лошадьми Карп Степаныч умел обращаться еще с того далекого времени, когда жил в деревне. По пути он выменял за десять стаканов соли три мешка овса и был спокоен — они уехали от боев, в кармане у него броня.

Но однажды случилось то, чего никто не ожидал. Супруги вынуждены были остановиться около одного городка, при въезде в который висело такое объявление: «Всем эвакуированным военнообязанным, проживающим временно, а также проезжающим явиться в военкомат. Наличие брони от явки не освобождает». Было ясно: принимались попытки к переучету всех едущих на восток. После короткого совещания с Изидой Карп Степаныч в город не поехал, а остановился на опушке леса поразмыслить, взвесить. Тут они и заночевали.

И вот ночью на далекий тыловой городок, не имеющий особого военного значения, налетел немецкий самолет. Карп Степаныч, находясь в нескольких стах метрах от городка, отдыхал в дорожной палатке, когда услышал первые звуки «мессершмитта». Впервые он услышал, как воют бомбы. В первый раз он ощутил сотрясение земли от взрыва. В первый раз в жизни он оказался в жутком смятении от канонады зениток (видимо, какая-то воинская часть шла ночью к фронту). И было Карпу Степанычу так страшно, так страшно, что он трясся всем телом, прижимался к Изиде и искренне считал, что здесь, в этом самом месте, и находится граница его личного земного существования. Изида Ерофеевна крестилась. Ночь была беспокойной.

А утром Карп Степаныч, оставив Изиду Ерофеевну одну, отправился в военкомат. С половины пути он вернулся, но, подумав, снова пошел. Однако опасения его были напрасны: броня возымела действие, и Карп Степаныч через два-три часа возвращался в добром расположении духа.

Потом пришел к своему табору, предполагая немедленно двинуться в глубь Сибири. Но тут, на опушке леса, он увидел войска. В лесу маскировали орудия, разбивали палатки. Свежая воинская часть шла на фронт (ее-то, наверно, и бомбил самолет), а теперь располагалась здесь до ночи. А у своей повозки Карп Степаныч увидел... Егорова Филиппа Ивановича! Тот стоял, облокотясь на грядущку повозки, и разговаривал с Изидой Ерофеевной. В капитанской форме Филипп Иванович сразу внушил уважение Карпу Степанычу, и он долго тряс офицеру руку, приговаривая:

— Друзья встречаются вновь... Очень рад... Очень и очень рад... Друзья встречаются... как говорится... Очень рад... Очень рад!

— Мы, кажется, не очень-то были дружны, — сказал Филипп Иванович.

— По делам и поспорить можно, но... юность, юность! Куда, куда вы удалились, и тому подобное! Очень рад!

— И все-таки попрошу вас освободить место. Здесь располагается временно мое подразделение.

— И куда же вы направляетесь? — спросил Карп Степаныч.

— Туда, — неопределенно ответил Егоров и так же неопределенно махнул рукой.

— Понимаю. Тайна, стратегический план,— многозначительно сказал Карлюк, подмигнув, и стал запрягать лошадей.

— А вы-то куда же? — спросил Филипп Иванович.

— Туда — в Сибирь,— ответил Карп Степаныч.

— Бронь, что ли, заимели?

— Как кандидат наук.

— О, уже кандидат!

Но тут вмешалась в разговор Изида Ерофеевна, возымевшая большую симпатию к Егорову с первого разговора, а потому и ставшая откровенной.

— У него ведь такие крупные знакомства. Такие крупные! Иначе он тоже тянул бы ляжку, как и вы. Не имей сто рублей, а имей сто друзей,— заболтала она.— Профессор Чернохаров и бронь-то ему... Наука, она...

Карп Степаныч опешил.

Егоров нахмурил брови и сжал зубы.

Изида Ерофеевна ступевалась и замолкла, отдаленно догадываясь о том, что она сказала что-то не так.

Егоров, круто повернувшись, отошел, остановился вполоборота и грубо, как недругу, крикнул:

— А ну живо очищайте место!

Карп Степаныч поспешил отъехать. Добра от этой дружеской встречи он не предвидел.

Долго они ехали молча. Полдня ехали. Наконец Карп Степаныч сказал первое слово:

— Дура!

Изида Ерофеевна ничего не сказала, а наотмашь ударила мужа туфлей по голове. Покормили лошадей и поехали дальше. Молчали снова до вечера. Вечером же Карп Степаныч, укладываясь спать, еще раз сказал:

— Дура!

На этот раз Изида Ерофеевна возражала не очень, так как туфлей бить не стала. Тогда Карп Степаныч стал ее воспитывать и по этой причине спросил:

— Для чего человеку дано два уха и только один рот?

— А я почему знаю,— ответила супруга.

— Два уха и один только рот даны человеку для того, чтобы он, человек — высшее создание природы, слушал в два раза больше, чем говорил.

— Это ты к чему? — чуть-чуть уже соображая, спросила она.

— А к тому: сейчас война, болтать тебе меньше надо.

— Я уж тоже думаю... Да все как-то... не получается.

— Сознание ошибки — признак доброго сердца,— заключил Карп Степаныч.

Он простил супругу. И больше не вспоминал.

И вот после долгих лет Карп Степаныч встретил Филиппа Ивановича. Теперь он сидел над анкетой и вспоминал, вспоминал. Наконец он решил мысленно:

«Здесь он может меня взять за рога. Может наслетничать. Может даже написать куда-либо. Такие люди все могут... Итак, или он меня, или я его — одно из двух. Надо сделать так, чтобы ему не поверили. Попробую.— И рассуждал дальше: — В чем сила человека? В выборе надежного средства в борьбе. Какое средство? Это не имеет значения. Для утверждения в науке все средства хороши».

После этого Карп Степаныч стал исследовать вопросник жизни еще тщательнее. Наиболее долго он остановился на том пункте, где стоял

вопрос: «Ученая степень». Ответ написан жирными буквами: «Кандидат наук». Думал он, думал и задал сам себе вопрос:

— Не могут ли они укусить здесь?

И стал вспоминать, как он защищал диссертацию и каких это стоило усилий и напряжения его большого ума и воли.

Но, повествуя об этом, нельзя обойтись без особой главы, ибо в сельскохозяйственной науке до некоторых пор защита диссертаций протекала совсем иначе, чем в таких науках, как, скажем, технические. Там-то ведь очень просто: изложил человек свои научные исследования на бумаге, толково написал о том, к чему привели эти многолетние исследования и чем практически завершились, и все. Нет, в сельскохозяйственной науке вся эта музыка была куда сложнее. Здесь надо было сначала уметь выбрать тему, каковая может быть даже и совсем бесполезна для сельскохозяйственной практики, но обязательно чтобы научная. И много-много других отличий и особенностей, о которых речь впереди. И мы не будем отвлекаться, а будем исследовать по порядку и только в связи с «Личным делом» Карпа Степаныча Карлюка — кандидата сельскохозяйственных наук. Куда уж лучше пример!

По всем этим причинам в следующей главе пойдет одна сплошная наука.

Глава 8

Воспоминания о том, как Карлюк сделал диссертацию и что диссертация сделала из Карлюка

Прежде всего перед Карпом Степанычем стояла проблема: где и какую тему выбрать для защиты. В то время он работал кем-то вроде научного сотрудника на поле сельскохозяйственного института под непосредственным и испытанным руководством Чернохарова. С легкой руки последнего на опытном поле института ликвидировали тогда опыты, а поставили прямую задачу: вырастить только высокий урожай вместо изучения вопроса — как его получить. Лишь два года спустя хватились: эва! А ведь без опытов-то обойтись нельзя. И стали опять же вести опытную работу. Одним словом, не углубляясь в этот вопрос особо, скажем, что несколько лет подряд сельскохозяйственный институт работал по методу ХВНЗ—НВХЗ, то есть: «Хвост вытащил — нос завяз, нос вытащил — хвост завяз». Насколько нам известно, там было так: то уничтожали травы, то снова сеяли, то рубили лесные полосы, то снова сажали.

Карп Степаныч никак не мог выбрать тему. Пробовал взять в оборот «Сорняки одного района», но оказалось, что на сорняках района, прилегающего к институту, защищено уже четыре диссертации, а сорняков там и по сей день уйма. Даже больше стало! Карп Степаныч видел, что диссертанты «питаются» сорняками, и сам он хотел питаться так же, но ему это не удалось, так как на последней по этому поводу диссертации выступил председатель колхоза, агроном, и сказал, что надо бы не только исследовать сорняки, а и научить, как их уничтожить. Нет, для Карпа Степаныча это не подходит. Да и небезопасно. Именно к этому времени и относится появление первого пункта правил защиты диссертации. Эти правила впоследствии оказались детально разработанными Карпом Степанычем Карлюком еще задолго до защиты диссертации, когда он тщательно изучал все, что связано с этим многотрудным делом.

В результате предварительных обобщений у Карпа Степаныча в его «Личном деле» (домашнем) появился такой лист. На правом углу — девиз: «Достигай!» В заголовке: «Правила защиты диссертации». И дальше следуют пункты:

«1. При выборе темы никогда не берись за такие вопросы сельского хозяйства, которые еще не апробированы, ибо на них можно сломать шею. А ученый со сломанной шеей перспективы иметь не может.

2. Самое важное в защите диссертации — выбор официальных оппонентов. Выбирай оппонента не слишком сведущего, но и не слишком далекого от защищаемого вопроса. Если выбрать совсем несведущего оппонента, то он будет тебя хвалить за то, за что надо умеренно бранить.

3. Парализуй возможного противника! Обращайся к нему за консультацией и делай вид, что следуешь только его советам. Если же эти советы нелепы, тогда тем более принимай их и не возражай.

4. Качество диссертации проверяй на домашних (людях), по примеру других. (В этом месте у Карпа Степаныча перечислены девять фамилий диссертантов, при проверке диссертаций которых он лично присутствовал.) Доброкачественная диссертация не должна вызывать абсолютно никаких эмоций, как-то: смеха, возбуждения, озлобления, судорог, восклицаний и прочего. Если какие-либо места вызовут что-либо подобное у домашних (людей), то немедленно переделать эти места. Если же диссертация вызывает зевоту или даже глубокий сон, то это признак ее доброкачественности, ибо так же пропустят мимо ушей возможные ошибки и члены ученого совета.

5. Достигай! (Еще раз! Благодарю и кланяюсь. Кланяюсь и благодарю! Это польстит членам ученого совета. Они тоже люди.)».

Так-то вот постепенно и готовился к вступлению в степень кандидата сельскохозяйственных наук уважаемый товарищ Карлюк. Он выступал на собраниях и всяких совещаниях, начинал обличать тех, кто был уже обличен, начинал помаленьку давить тех, кто был уже раздавлен, поддерживать тех, кто и без того стоял крепко. Все это дало ему звание активного научного сотрудника, несмотря на то, что большинство сослуживцев почему-то его не любило. Оставалось только выбрать тему. Однако и этот трудный этап разрешился впоследствии.

Однажды Карп Степаныч присутствовал в областном управлении сельского хозяйства на весьма важном совещании. В перерывах участники совещания ходили по коридорам парами и тройками и энергично обсуждали, горячились, высказывали резкие суждения, чтобы потом снова молчать, выслушивая штатных ораторов. Конечно, и Карп Степаныч тоже ходил по коридору, но ни с кем не спорил и не горячился. И вдруг он неожиданно услышал в одну из открытых дверей разговор двух. Один говорил так:

— Черт ее знает что получается! Опять то же самое: в начале месяца вспашки — нуль; в середине — подъем; в конце месяца — полный энтузиазм.

Второй спрашивал:

— Это о чем речь?

— О тракторной вспашке.

— А при чем тут части месяца?

— Видимо, имеется какая-то связь с фазами луны: в первой четверти — плохо, во второй — лучше, в полнолуние почти совсем план выполняется, а в последней четверти завершается.

— Влияние фаз луны на выработку тракторов...

Собеседники раскатисто рассмеялись этой шутке, будучи, видимо, людьми веселыми, не лишенными остроумия, а поэтому и симпатичными.

Карп Степаныч настолько заинтересовался этим разговором, что не выдержал и вошел в комнату. Он расспросил о плане тракторной вспашки, о результатах выполнения плана по месяцам. Затем осторожно попросил познакомить его с выполнением плана по неделям месяца. Ему сказали (те же два весельчака), что последнее очень сложно, что требуется дополнительное исследование материала по сводкам машинно-

тракторных станций и что если ему это очень надо, то ему предоставят материалы (а им, дескать, такими пустяками заниматься некогда).

Дома Карп Степаныч засел за исследования сводок и донесений, годовых отчетов МТС и многого другого. Это было настолько интересно и настолько безопасно с научной и политической точек зрения, что его вскоре осенила выдающаяся мысль. И он воскликнул:

— Есть тема!

Сначала тема была еще туманной, но потом, с каждым днем исследований, выступала все более четко и наконец, как принято говорить, оформилась полностью в сознании диссертанта. Карп Степаныч сперва написал так: «О колебаниях выполнения плана тракторами». Показалось слишком просто и совсем не научно, потому что очень коротко. А надо обязательно длинно. Думал, думал он и написал так: «О выработке машинно-тракторного парка и его колебаниях». И это его не удовлетворило. Около двадцати разных названий придумал он. В конце концов тема все-таки зазвучала вполне научно. Окончательно получилось такое солидное наименование: «О влиянии метеорологических условий в различных фазах луны на общую выработку машинно-тракторного парка в переводе на гектары условной мягкой пахоты по массивам машинно-тракторных станций средней черноземной полосы».

И пошло дело! Карп Степаныч изучил влияние луны на приливы и отливы, учел влияние луны на погоду, попутно установил, что среди трактористов не зарегистрировано ни одного лунатика, и, наконец, вывел определенную и точную закономерность: чем дождливее погода, тем меньше выполнение тракторных работ. Он сам поразился своим исследованиям. Пугала невиданная новизна вопроса. Затем он вник, по возможности, в вопросы планирования, организации труда. Триста страниц на машинке получилось у Карпа Степаныча. Труд! Большой труд!

И вот он преподнес профессору Чернохарову толстый том. Положил на стол, склонил голову и сказал:

— Моя судьба в ваших многотрудных руках.

Через несколько дней Чернохаров позвал его к себе. Карлюк пришел, стал в дверях и поклонился молча. Поклонился, разогнулся, но совсем головы не поднял.

— А ну идите, идите ближе, дорогой,— позвал профессор.

Подошел Карп Степаныч. Сел. Смотрит в пол, задумавшись.

— Тут, в этом томе,— Чернохаров постучал пальцем по диссертации,— много оригинального. Но...

— Я готов исполнить любые ваши советы,— поспешил поклониться Карлюк.

— Похвально... Полагаю — необходимы практические выводы для производства. Гм... Вы можете своими исследованиями изменить коренным образом систему учета выработки тракторного парка.

— А именно? — спросил несмело Карлюк.

— Надо подумать. Видимо, необходимо давать сводки из эмтээс в два приема: а) до полнолуния и б) после полнолуния. Гм... Это самое внесет ясность и обеспечит цикличность и прочее... Гм... Гм...

А коль Ефим Тарасович гмыкнул два раза подряд, то разговор уже больше не возобновится. Карп Степаныч встал. Взволнованный, он выскочил с диссертацией под мышкой вон из кабинета.

Трудно было Карлюку достигать. Для этого не одну фазу луны пришлось потрудиться. Диву даешься: как это он выдержал такое напряжение?

Официальный оппонент Чернохаров Ефим Тарасович постарался подобрать и рекомендовать и второго оппонента. Все было готово к защите точно по разработанным Карлюком правилам.

И вот настал день защиты. Страшный судный день!

Сначала все шло нормально. Председательствующий объявил имя, отчество и фамилию диссертанта, а также и тему с полным наименованием. Ученый секретарь огласил автобиографию и характеристику научной деятельности диссертанта (характеристику подписал Чернохаров). Карп Степаныч за тридцать минут изложил краткое содержание работы (и никто не улыбнулся!). Затем присутствующие задавали вопросы. Зачитали свои отзывы официальные оппоненты, отметили недостатки диссертации (много недостатков). Отмечать возможно больше недостатков полагается, но это не имеет ни малейшего значения для исхода дела. Все шло до тех пор, пока не выступил добровольный, так называемый неофициальный оппонент — доцент Масловский Герасим Ильич. При воспоминании об этом выступлении Карп Степаныч сжимал кулаки и усиленно сопел. Этот Масловский выступил совершенно против тех доводов, которые высказывал официальный оппонент Чернохаров. Чтобы уточнить несходство мнений насчет диссертации Карлюка, достаточно воспроизвести две речи.

Чернохаров говорил очень веско, в высшей степени научно:

— Многоуважаемые и почтенные члены ученого совета!.. Гм... Мы видим, как молодые силы входят в науку по нами протоптанной дорожке. Гм... Путь в науку тяжел. Гм... Я буду объективен и беспристрастен. С этой точки зрения настоящая работа представляет интерес. Гм... В ней есть новое. Есть оригинальное, но... Гм... Все, что в ней ново, не оригинально, а все, что оригинально, не совсем ново. Я беспристрастен. Я — принципиально: есть противоречия. Но, тем не менее, убежден в том, что соискатель искомой степени, Карлюк Карп Степаныч, достоин искомой степени. Я полагаю, что это будет единодушным мнением. Гм... И надеюсь на дальнейшие экспериментальные работы соискателя. Гм...

А доцент Масловский выступил совсем не научно. Он сказал примерно так:

— Уважаемые коллеги! Можно ли допустить мысль, что нам представят на рассмотрение диссертацию на тему «Луна и коровы»? Мне кажется, такую мысль допустить можно. Свидетельством того служит настоящая диссертация. Это плод какого-то странного недоразумения, если не сказать — недомыслия. Мягко выражаясь, нам представили не диссертацию, а фикцию для проведения профформы присвоения ученой степени. Мне, товарищи, стыдно.

Многие сочли его выступление грубостью, плохим тоном, не достойным ученого, нашли отсутствие такта и так далее и тому подобное. Главное же в том, что по правилам не полагается выступать вторично на таком ученом совете: высказался и сидись — ни опровержений, ни возражений.

Все это Карп Степаныч учел. Когда ему дали заключительное слово (так полагается), он на все это ответил речью:

— Глубокоуважаемые члены ученого совета! (И поклонился.) Я искренне, от всего сердца, благодарен за ту критику, которую я слышал здесь. (И еще поклонился.) Бесспорно, мой труд имеет колоссальные недостатки, но я постараюсь всей своей жизнью исправить их в дальнейшей научной работе. (Здесь он преклонил голову, будто стоял перед алтарем.) Я не буду возражать уважаемому Герасиму Ильичу Масловскому. Нет. Я чувствую скромность моего труда. Но мне хотелось бы, чтобы мои, хотя и слабые, исследования послужили в какой-то степени вкладом в разрешение весьма насущной проблемы. Прошу вас не осудить меня за резкость и учесть тяжесть моего самочувствия. (Здесь у него голос задрожал. Он приложил руку к сердцу и поклонился.) Я еще раз благодарю всех выступивших, в том числе и глубокоуважаемого доцента Масловского Герасима Ильича. (И еще раз поклонился, уже затаенным, последним поклоном.)

Однако выступление Масловского совсем расстроило диссертанта.

Когда выбирали счетную комиссию, к Карпу Степанычу подошла Изида Ерофеевна и тихо спросила, так, чтобы слышал он один:

— Официальный ужин готов. Можно приглашать?

Карп Степаныч ответил:

— Все провалилось. Ужин отменить.

Изида Ерофеевна вышла. Потом снова вернулась и дополнила:

— Я больше не могу оставаться... Если надо, позвони.

А дома с двумя приглашенными соседками она, разбирая стол, разбила со зла две тарелки, облилась киселем и костила Масловского:

— Вредно ему, дьяволу, что мой будет кандидатом. Сам-то кандидат, да еще и доцент. А чтобы дать другому — вредно. Чертова собака на сене.

Она ругалась и еще более крепко. Джон лаял.

И вдруг звонок! А в телефоне голос Карпа Степаныча.

— Иза! Иди немедленно приглашай. Кажется, успех.

Он звонил в тот момент, когда ему показалось, что все обойдется, потому что Ефим Тарасович шепнул ему на ушко:

— Ничего. Не такие проходили. А эта просочит как миленькая.—

И похлопал его по плечу, да еще и животом потряс (то есть улыбнулся).

Когда же счетная комиссия разбирала результат тайного голосования и Карпу Степанычу, по выражению лиц, показалось, что «против» больше, нежели «за», он написал Изиде Ерофеевне записку: «Ужин отменить. Все пропало».

Так он мучительно и переживал: то впадал в отчаяние, то воскресал духом.

Но вот счетная комиссия объявила результат тайного голосования: «за» — на один (только на один!) голос больше.

Все! Карлюк Карп Степаныч стал кандидатом сельскохозяйственных наук. Он, Карлюк, встал. Его, Карлюка, поздравляли некоторые. А некоторые почему-то просто уходили молча.

Был ужин. Пили. Пели. Ели. Хвалили.

А когда все разошлись, кандидат сельскохозяйственных наук Карлюк, шатаясь из стороны в сторону, добрался до стола, взял свою объемистую диссертацию, посмотрел на нее с ненавистью, сдвинул брови, с ожесточением бросил наотмашь под кровать и проговорил с остервенением:

— У, вражина! Сколько крови выпила! — И, помолчав, добавил: — А с этим Масловским мы еще повоюем: попомнит Карлюка.

На следующий день Карлюк уже не кланялся научным сотрудникам и прочим, кто ниже его. Вот что сделала диссертация из Карлюка. Человеком стал! Да и не только человеком (об этом — чуть позже).

...Но ничего этого в анкете, над которой думал Карп Степаныч, не значилось. Там было записано просто: «Кандидат сельскохозяйственных наук».

Мысль о том, что Егоров и Масловский написали о нем куда-то, не давала покоя Карпу Степанычу. Если уж Чернохаров предположил такое, то Карп Степаныч вообразил, а затем возвел воображаемое в действительность. Товарищ Карлюк не трус — избави боже! — но инстинкт самосохранения сидел в нем, как и во всяком животном. Поэтому он еще раз подтвердил мысленно тезис: защищайся нападение. Однако, прежде чем напасть, он тщательно продумывал, старательно ощупывал места, за которые могли бы укусить его враги. С этой целью он и думал над своей анкетой.

По линии отца и матери — все в порядке. Они не были ни помещиками, ни станowymi. Так что с происхождением обстояло все, по его выражению, «на большой палец». Образование его находилось на высоте: кандидат! В прочности этого положения сомнения не было. И все-таки его что-то беспокоило: а вдруг Егоров...

Уже и перерыв на обед скоро. Уже Ираклий Кирьянович осмелился кашлянуть. А Карп Степаныч все сидел и все думал и думал, вспоминая.

Итак, он стал кандидатом наук. А что же дальше? Дальше случилось так, что по возвращении из эвакуации Чернохаров посоветовал принять вновь открываемую организацию — Межоблкормлошбюро. Нужны были кадры для работы в областных городах. В обязанности этих работников входило следующее: если сверху спустят бумажку, то Облкорм обязан спустить ее еще ниже, до опорного пункта, где работали только два человека, а чаще — один; если же этот человек напишет бумажку наверх, то Облкорм обязан эту бумажку принять и поднять еще выше. Так вот и работалось: спускали и поднимали бумажки. А опыты, если они и ставились в колхозах, обобщались вверху, в Главкорме, и на этих обобщениях сотрудники Главкорма в свою очередь защищали диссертации, не проводя никаких исследований лично. Всем было очень хорошо.

Как бы там ни было, Ефим Тарасович Чернохаров дал Карпу Степанычу отличную характеристику и напутствовал его перед поездкой на утверждение такими словами:

— Во-первых. Самостоятельная работа и никакого начальства рядом. Во-вторых. Докторскую обсосете за тройку лет, не выходя из-за стола... В-третьих. Мои темы широко пойдут в колхозы по вашей линии... Надеюсь. Гм...

И Карп Степаныч отвечал:

— Я всегда в вашем распоряжении.

Он поехал в Москву, в Главкормлош. Ну, конечно, подал он рекомендацию, заполнил (заранее) анкету, написал заявление, и его, как кандидата наук, без размышлений утвердили. На этом все оформление и закончилось.

Затем одному господу богу известными путями Карп Степаныч узнал об авторе фотоавтомышеистребителя, отыскал Ираклия Кирьяновича (каковые водятся, к его счастью) и направил его на утверждение вверх. При наличии трех характеристик утвердили и Подсушку. Хотя, как уже известно, Ираклий Кирьянович не имел особого образования, но в качестве младшего научного сотрудника в свое время мог работать любой имеющий тягу к науке. А Ираклий Кирьянович, конечно, имел такую тягу. Карлюку же почему-то не очень хотелось иметь своим помощником человека, сведущего в защитах диссертаций. Здесь, видимо, богатый жизненный опыт подсказывал решение.

И когда все утряслось, то есть купили все необходимое для работы в сельскохозяйственной науке — столы, стулья, шкафы, бумагу, чернила, несгораемый сейф, — Карп Степаныч, не задумываясь, решил начинать докторскую диссертацию. Очень долго он думал над названием темы. Пока, временно, коротко обозначил известную уже нам тему «Коню корм» сокращенным шифром — «КК». В проекте же у него записано несколько длинных названий. Одно из них было уже подчеркнуто красным карандашом и звучало так:

«К вопросу о кормлении лошади с ретроспективным обзором предмета по исследованиям прошлого века и перспективах комплексного скармливания продуктов в целях экономики дефицитной и высококалорийной продукции в условиях социалистического сельского хозяйства и в целях воспроизводства конепоголовья».

Были еще и другие названия, но красным карандашом не были подчеркнуты. Мы поэтому имеем полное основание считать, что соискатель остановился на вышеприведенном названии.

Итак, кандидатская диссертация сделала из Карпа Степаныча Карлюка не только человека, как упоминалось выше, а еще и соискателя искомой докторской степени. (Да простится мне заимствование оборотов речи из научного лексикона Ефима Тарасовича Чернохарова.)

И снова ничего не нашел Карп Степаныч в своей анкете, ничего плохого. Следовательно, гвоздем его жизни стал Егоров. Тот самый Егоров, которого он сам назначил себе в подчиненные! «И каких только чудес не бывает на свете с этими кадрами»,— думал Карп Степаныч. И все было ясно — Егорова надо морально уничтожить. Чтобы не выглядывал из-за анкеты и не портил впечатления.

Карп Степаныч оторвался наконец от анкеты, вздохнул, скорбно посмотрел на Подсушку и произнес:

— Так-то вот, дорогой мой Иракий Кириянович!

— Вы о чем? — несмело спросил тот.

— Егоров нас опередил.

— А именно?

— Он написал о нас с вами.

— Куда? — в страхе спросил Иракий Кириянович.

— Пока неизвестно куда. Но написал.

— Как же теперь нам быть?

— Наше придется подавать, волей-неволей.

— Подавать. Обязательно,— подтвердил Подсушка.— Подавать.

— И в этом ничего зазорного. Ничего. Мы за науку. Мы боремся. А в таких случаях, как я слышал от одного командира, бери те средства, что есть под рукой, действуй тем оружием, которым хорошо владеешь. Это — философия жизни.

— Ум и справедливость всегда у вас на уме, Карп Степаныч.

Карп Степаныч был польщен.

А вечером он запечатал три конверта, в каждый вложив известное нам заявление на Егорова, написал три разных адреса. Затем пошел, темной ночью опустил все три конверта в почтовый ящик. А придя домой, лег спать и ласкал Изиду Ерофеевну. И ничего особенного во всем этом не было...

Глава 9

Беспокойная душа

Филиппа Ивановича Егорова мы оставили в то время, когда он ранним утром шел на вокзал. Станция, на которой утром же следующего дня он вышел из вагона, отстояла от его родного колхоза «Правда» всего лишь на десять километров. Филипп Иванович осмотрелся вокруг, ища попутную автомашину. Машин не оказалось. Было пять утра. Ждать до восьми-деяти — получается три часа безделья. Филипп Иванович решил идти пешком: что означают десять километров для ног колхозного агронома! Пустык. И зашагал, помахивая полевой сумкой. Пошел напрямик, межполевыми дорогами.

Июньское утро выдалось на редкость тихим и ясным. Шел агроном по полям.

Рожь отцвела, но ее колосья стояли еще прямо, не поникнув. Озимая пшеница была ниже ржи ростом, но зеленая, как лук. Острые, похожие на ланцетики, листочки проса с еле заметным нежным пушком, казалось, росли на глазах — так напористо они стремились вверх, к солнцу. Подсолнечник завязал шляпки и уже начинал ревниво следить за солнцем: утром он смотрит на восток, а вечером — на запад, так и наблюдает целый день. И вообще это растение очень «дисциплинированное»: если уж шляпки повернулись на юг, то все до единой, будто неведомая сила скомандовала: «На солнце равняйся!»

Филипп Иванович остановился. Он вздохнул глубоко и подумал: «Так вот и человек — к солнцу правды! К правде обязан стремиться человек. Правду надо не только любить, правдой надо жить, как растение живет солнцем».

Филипп Иванович проходил полями. Всем существом ощущал он присутствие могучей земли, черной земли, спокойно и тихо лежащей под прикрытием ею же рожденной зелени, которая станет потом хлебом. Земля! И дед, и отец, и мать приучили с детства произносить это слово с великим уважением. Филипп Иванович стал агрономом потому, что он просто не смог бы нигде жить и работать, кроме как на поле. Здесь он родился, здесь прошли его детские и юношеские годы, если не считать отлучку в институт, здесь он мечтал, здесь поставил целью своей жизни высокие урожаи и благополучие людей, работающих на этой земле. Здесь же он и понял, что при мощной технике не должно быть беспорядка на колхозной земле. Земля никогда не прощает плохого обращения с нею и всегда благодарна за любовь и ласку.

И вдруг ему стало не по себе оттого, что вот эти поля, в возделывание которых вложено много и его личного труда, будут снова искромсаны «по инструкции о введении севооборотов», снова начнется переход к «новому» севообороту. И все это будет чуть ли не в десятый раз при его жизни. Земля не прощает. И он, агроном, не может простить за то, что его, понявшего землю, на которой он родился, обвинили в том, что он по своему усмотрению и с согласия колхозников ввел короткий севооборот, вопреки «инструкции». Он всегда считал нелепостью положение, когда к лозунгу «Больше хлеба!» прибавлялось условие: только при таком-то севообороте, а не при каком-либо другом; при такой-то системе земледелия, а не при какой-либо другой. Он был убежден, что каждый колхоз, каждое поле в колхозе имеет свои особенности, отличные от других колхозов и других полей. Земля, насыщенная неисчислимым количеством бактерий, живет своей жизнью. Понять эти особенности — значит понять землю. И он старался понять. Но его-то не поняли, обвинили в анархизме, в нарушении указаний вышестоящих организаций и... освободили от работы.

Шел агроном по полям, но он не был агрономом этих полей. Земля уже не подчиняется ему. Чувство одиночества и оторванности закрадывалось ему в душу. Он на ходу гладил колосья ржи, прикасался к шершавым листьям подсолнечника, останавливался, подолгу смотрел вдаль и снова шел, но все тише и тише. Было грустно. Из своих дум он еще не сделал какого-то вывода. Что-то уже мерещилось ему, но он еще не додумал, не решил. Так иногда человек мучительно старается припомнить какую-то мысль, мелькнувшую однажды. Грусть заслонила строй мыслей, среди которых была какая-то важная. Филипп Иванович встряхнул головой и зашагал быстрее. И вдруг остановился, услышав звук трактора. Потом зашел прямо в рожь. Он вспомнил: этот сорт ржи выведен Герасимом Ильичем Масловским; а вон та пшеница — известным селекционером-женщиной. Оба селекционера — знакомые ему люди. Вот и трактор звучит. Он тоже изобретен учеными. Тракторные плуги — тоже. А культиваторы, а комбайны? — уже спрашивал себя Филипп Иванович.

Так, постепенно, он перешел от мысли о себе к мысли о том, что в поле, везде, во всем, на каждом шагу, видно влияние сельскохозяйственной науки, настоящей науки, а не чернохаровской.

Оказывается, думал он, есть две науки: настоящая и ненастоящая. Масловский — настоящая наука, Чернохаров — ненастоящая, псевдонаука. А если ненастоящая, то как же она может хозяйничать на полях?

Эти мысли беспокоили Филиппа Ивановича. Поле наводило на размышления об агротехнике, о селекции, о будущем этого поля. И когда в мыслях он дошел до того, что он, Егоров, в лагере настоящей науки и что он тоже отвечает за будущее полей, он вспомнил слова Герасима Ильича: «Когда вы почувствуете себя обязанным, вы уже не можете не

бороться». Именно эту мысль он и старался вспомнить! Чувство одиночества ушло.

Осталась только обида, что он уже не может иметь власти над полями, что у него отняли эту власть человека. А будет так: дадут ему гектаров десять — пятнадцать, разобьет он их на делянки и будет ставить опыты, настоящие опыты; но рядом расположит и опыты-фикции по тематике Карлюка. И ничего не поделаешь пока, иначе не будет средств и никто не даст столько земли в его распоряжение. Так и оправдывал Филипп Иванович поступление к Карлюку одним словом: необходимость.

В раздумье Филипп Иванович не заметил, как прошел весь путь и уже входил в село. Навстречу ему в гору поднималась подвода. Лошадь, опустив голову, тянула дроги с бочкой воды. На бочке, свесив ноги, сидел Пал Палыч Рюхин, водовоз тракторного отряда. Он что-то мурлыкал себе под нос, помахивая кнутом, на который лошадь не обращала ни малейшего внимания. Не спешила лошадь, не спешил и ездовой.

Пал Палыч прослыл в колхозе не то чтобы лодырем, а весьма медлительным, спокойным человеком, которого ничто не тревожит. Считалось, что Пал Палычу совершенно безразлично, что делается в колхозе, как делается и зачем делается. Приедет, например, землеустроитель нарезать новый севооборот, а Пал Палыч скажет:

— Этот на год опоздал. Раньше через год путались, а этот два года пропустил.— И добавит: — Валяй, валяй! Кромсай с божьей помощью.

Больше по этому вопросу он уже ничего не скажет ни на бригадном собрании, ни на заседании правления, куда он, к слову сказать, иногда ходил, но упорно молчал. Если его побуждали высказать свое мнение на заседании или на собрании, то он отвечал коротко: «Интересу нету».

Вот этот самый Пал Палыч и встретился Филиппу Ивановичу.

— Здорово, Пал Палыч! — приветствовал он.

— Тпр-ру! — остановил тот кобыленку. А уж потом ответил: — Здоров был!

— Везешь?

— Везу,— ответил Пал Палыч и стал доставать кисет с табаком, видимо располагаясь к длительной остановке.

— Можешь опоздать,— попробовал напомнить Филипп Иванович.

— На! Закури-ка! — Пал Палыч подал кисет собеседнику, будто и не обратив внимания на предупреждение.

Отказать Пал Палычу не было никакой возможности. Филипп Иванович знал, что после отказа собеседник молча свернет кисет, медленно положит его в карман и уедет, так же не спеша и помахивая кнутом, будто и никого не встретил и ни с кем не разговаривал. Конечно, Филипп Иванович взял кисет, свернул сигарку, прикурил и спросил:

— Как там дела-то?

— Где?

— В тракторном отряде.

— Здорово. Дела идут—сеют.

— Что-о? — удивился Филипп Иванович.

— Сеют, говорю. Овес пополам с чечевицей.

— Да ты смеешься, Пал Палыч?

— Ничего не смеюся, сеют. План «спустили». Занятой пар будто.

— Но ведь конец июня! — воскликнул Филипп Иванович.— Через месяц — сеять озимые. Когда же он освободится, занятый пар?

— А я почему знаю? Вчера — план. Дополнительно. Ноне сеют... Вот везу воду.

Филипп Иванович взволновался. Он не находил слов и только произнес:

— Черт возьми!

Пал Палыч же предложил так же спокойно:

— Може, доехал бы туда? Землю-то мучают.

— Да что же я? Не послушают меня теперь.

— Вона-а! Это почему такое не послушают? Тебя послушают. Это вот меня не послушают. Скажут: «И Рюха туда же!» А Рюха видит, Рюха знает, что хорошо и что плохо. Только на него — ноль внимания. А душа болит. Хоть и нету интересу, а душа болит.

— Болит... — машинально повторил Филипп Иванович.

— То-то вот и оно. Ехать надо.

— Да видишь ли... Сняли же меня. Как мне теперь вмешиваться?

— Вишь ты, как оно! А ты не думай об этом. Наплевать. Если тебе зарплату не платят, то ты уж вроде и не имеешь права? Ты колхозник?

— Колхозник.

— И я колхозник. Я три года получал по шестьсот граммов на трудодень, а работал. А ты уж... сразу. Не-е! Не должен ты об этом думать. С меня спрос один, а с тебя — другой.

— Надо как можно скорее попасть в отряд, — заспешил Филипп Иванович. — Поехали! — И стал взбираться на бочку.

— Не. Со мной скоро не попадешь. Там, у кладовой, сейчас семена нагружают. Машина пойдет. Ты с ней махни. Подожди тут маленько и — махни. А?

— Пожалуй.

Оба помолчали. Пал Палыч медленно курил и о чем-то думал, глядя вниз с бочки. Потом сказал:

— Я к тебе спозаранку ходил. Хотел сказать про это самое. А тебя нету.

Филипп Иванович многое понял здесь, у бочки. Ему стало немножко стыдно за малодушие, прокравшееся в душу там, в поле, по пути домой.

— Спасибо, Пал Палыч! — сказал он, растирая ногой окурки.

— Это за что же спасибо? За то, что я хочу жить лучше? Я, Рюхин Пал Палыч? — И он ткнул себя пальцем в грудь. — Не понимаю. Вот если ты остановишь эту глупость, тебе будет спасибо. — Он помолчал и добавил: — А я не в силах.

— Ну поезжай, поезжай. Уже время.

Пал Палыч пошевелил вожжами. Кобыла покачалась, струнулась и повезла. А Пал Палыч, обернувшись, сказал с этакой ехидцей:

— Часам к одиннадцати доеду. А ты тем временем... — Он что-то пробурчал еще, улыбнулся в густые усы, почесал затылок, сдвинул картуз на глаза да так и поехал с надвинутым картузом, будто затаив под козырьком выражение глаз и свои мысли.

Так Филипп Иванович и не дошел до дома.

Вскоре встретилась автомашина с семенами.

— В отряд? — спросил он у шофера.

— В отряд. Садись, Филипп Иванович. Поедем чудо-юдо смотреть: как сеют овес с чечевикой.

— Поедем, поедем! Поспешим давай.

По дороге шофер рассказал, как вчера до полуночи думали в правлении о дополнительном плане занятого пара, как председатель противился ему и как директор МТС обещал председателю «намылить голову» на бюро за саботаж дополнительного плана.

Подъехали к отряду. Филипп Иванович, поздоровавшись с трактористами, взошел на поле, вспаханное в эти дни под занятый пар. Глыбы земли, вывороченные плугом, лежали несуразными камнями, земля была настолько суха, что разборонить ее не было никакой возможности. Сеять в такую землю и в такой срок — бессмысленно и вредно. Филипп Иванович вернулся к будке и спросил у бригадира Боева:

— Вася! Чего ж вы стоите? Есть указание сеять.

— Да вот... жду воду. Должен скоро подвезти. И председатель обещал приехать.— Указав на глыбы, бригадир спросил: — Видите?

— Вижу. И что же, будешь сеять?

— А как же, буду.

— А если я запрещу?

— То есть как это так «запрещу»? Вас же...

— Как рядовой колхозник запротестую и потребую созвать общее собрание. Как ты на это помотришь?

Вася улыбнулся, повел могучими плечами и сказал:

— В уставе сельхозартели такого пункта нет. А здорово было бы! — И сразу пошел напрямую, без обиняков:— Пишите на меня акт, Филипп Иванович. Дескать, нарушает агротехнику, угробляет урожай. А я подпишу внизу личное мнение: дескать, по дополнительному. И — ни кот, ни кошка не виноваты.

— А если без акта, а просто так?

— Без акта невозможно — снимут меня. И будем мы с вами тогда ходить по полю вдвоем и грустные песенки распевать.

— Да я акт на тебя составить не могу. Не имею права.

— Вот задача так задача! — задумчиво произнес Вася и развел руками. Потом он сел в борозду, поковырял ключом ссохшийся ком земли и сказал, не обращаясь ни к кому: — Ну как тут сеять? Как в печке спеклась.— Потом он посмотрел на дорогу и уже совсем сердито заговорил о другом: — И что это за водовоз, черт возьми! То он за полчаса доставляет воду, а то и за пять часов не дождешься. Буду просить другого. Ну разве ж так можно! Два трактора на культивации черного пара работают, а два с сеялками здесь стоят, ждут воды. Хоть бы председатель ехал скорее. Не могу я с этим Пал Палычем работать.— И было что-то в Васе такое, что внушало к нему уважение. То ли могучая сила, выступающая буграми-бицепсами, то ли открытое голубоглазое лицо, то ли рассудительность, а может быть, все это вместе взятое. А между тем до тридцати лет он оставался для всех односельчан «Васей». Сейчас он злился на Пал Палыча не очень-то сильно. И заключил:— И обижать его нельзя — пожилой человек, и не поругать нельзя этого Пал Палыча — будет гнуть по-своему.

— Когда я шел в село, видел его. Едет,— сказал Филипп Иванович.

Оба замолчали. Молчали и смотрели на пашню. И не было им тягостно от этого молчания. Они знали, о чем думает каждый из них, и оба понимали друг друга. И еще раз Филипп Иванович упрекнул себя: «А я-то считал, что и Вася теперь меня не послушает». Он положил Васе руку на плечо и сказал просто:

— Не надо сеять, Вася.

— Не надо,— согласился тот.— А как сделать?

— Просто не сеять. И все. Поедем в правление к председателю: будем думать.

— Да он же должен приехать сюда.

— Пока он вырвется из правления, а мы уж будем там. Вот с этой же машиной.

— Семена сложить или везти обратно? — спросил шофер.

— Пока... сложим,— неуверенно ответил Вася, поглядывая на Филиппа Ивановича.— Ну-ка да кто из района нагрянет. А у нас — ни семян, ни воды. По крайности на Пал Палыча свалить можно... Ему как с гуся вода.

Семена сложили в бург и поехали в село.

Километра за два от будки, в ложине, они увидели одиноко стоящие дроги с бочкой, а рядом с ними, на траве, Пал Палыча. По всей видимости, он спал, потому что перед лошастью лежала зеленая трава, че-

ресседельник же был отпущен. Пал Палыч расположился, вероятно, основательно и надолго.

— Ну-ка остановись,— сказал Филипп Иванович шоферу.

— Черт возьми! Спи-ит! — зашипел Вася в негодовании.

— Тише. Я подойду.— Филипп Иванович предостерегающе поднял руку.

Он подошел к Пал Палычу. Тот лежал вверх лицом, прикрыв козырьком глаза. Но странное дело — один глаз, казалось, был полуоткрыт и смотрел на мир вообще и на Филиппа Ивановича в частности.

— Пал Палыч! — окликнул его Филипп Иванович.

— А? — отозвался тот, не пошевелившись.

— Что же это такое?

Пал Палыч приподнялся на локте и спросил:

— А что?

— Надо торопиться. Сеять занятого пара не будут. Надо переключать все тракторы на культивацию черного пара. А ты спишь. И воды нет.

— Не будут сеять?! — бодро воскликнул Пал Палыч и сел.

— Не будут.

— Ах я сукин сын! — еще раз воскликнул Пал Палыч. — Как же это я не догадался-то?

Он вскочил, подтянул чересседельник, поправил узду. И — удивительное дело! — лошадь подняла голову, запрядала ушами, ободрилась, будто ездовой что-то такое шепнул ей на ухо, и... побежала рысью.

— Вперед! — крикнул Пал Палыч, сдвинув картуз на затылок, и скрылся в облаке пыли, поднимаемой колесами.

Все трое смотрели ему вслед. И каждый реагировал по-своему. Филипп Иванович улыбнулся и сказал:

— Ну и «саботажник»!

А Вася — свое:

— Обижать нельзя — пожилой человек — и не поругать невозможно.

— И прозвище-то ему Рюха,— добавил шофер.

Но Филипп Иванович знал, что за странностями и медлительностью Пал Палыча тщательно скрывается человек, не понятый никем, до поры до времени спрятал он свой взгляд под козырьком, будто и в самом деле ему «интересу нету».

Председатель колхоза Николай Петрович Галкин встретил агронома и бригадира одним словом:

— Понимаю.— И добавил: — Опять снюхались.

— Опять,— подтвердил Вася и улыбнулся одними глазами.

— Вот что я тебе скажу, Филипп Иванович, плохо мне без тебя, — ни с того ни с сего сказал Николай Петрович.

— А я вот он, тут.

— Тут, да не тот,— вздохнул председатель.

— Хоть и шляпа иная, да голова своя.— И Филипп Иванович после этих слов положил на стол удостоверение о заведовании опорным пунктом в колхозе.

— Так, так, так,— приговаривал Николай Петрович, читая удостоверение. — Вроде бы наукой будешь заниматься. Так, так. А что же это означает, это самое Межоблкормлошбюро?

— По кормовым культурам.

— Ага, по кормовым. Тогда вот что — ученые берут, я слыхал, шефство над колхозами, а ты берешь шефство над своим колхозом и берешь в руки всю агрономию. Идет?

— Идет,— ответил Филипп Иванович.

Они пожали друг другу руки. Николай Петрович вдруг рассмеялся, хлопнув себя по лысеющей голове.

— Одна беда с кудрявой головы долой! — Но так же неожиданно помрачнел. Опустился на стул и задумался. — Каблучков будет возражать против тебя... А тут еще и этот «дополнительный» план, будь он неладен!

— Ну как же, — спросил Вася, — будем сеять или нет?

— Подумать надо, — сказал Николай Петрович.

— А я придумал! — воскликнул Филипп Иванович.

— Что придумал? — спросил председатель.

— Напишем профессору Масловскому. Вызовем сюда. Приедет.

— Не поедет твой профессор сюда.

— Приедет, — заверил Филипп Иванович.

— Не верю, — скептически утверждал Николай Петрович. — Чтобы профессор — в колхоз! Не может того быть. Шефство-то они, говорят, берут, да только сами-то не едут, а своих сподручных посылают — ассистентов или как их там... Да еще — по вызову! Что ему до нашего колхоза, до нашей свистопляски с этими «дополнительными»? Не поедет.

— Ну давайте попробуем, — настаивал Филипп Иванович.

— Почему не попробовать? Попробовать можно. Но... Не верю. Попробуй, что ж. Попробуй, беспокойная душа.

Письмо профессору Масловскому отправили в тот же день — опустили прямо в поезд на станции. Только после этого Филипп Иванович вспомнил, что он еще не заходил домой, что его ждут, что он голоден как волк. Он забежал домой, наскоро пообедал. Мать Филиппа Ивановича, Клавдия Алексеевна, сидела на лавке против сына и упрекала, пока тот обедал:

— Ты хоть ешь-то не спеша. И все он торопится, и все ему недосуг. Уже сорок тебе, а ты все... такой же, Филя. Такой же. — И сокрушенно качала головой. Но в старческих морщинах над губами и в лучиках морщин около глаз играла еле заметная лукавая улыбка.

— Такой же, мама, такой же. Еще одну тарелку супу съем — все такой же.

Жена, Люба, заведовала молочной фермой, дома ее не было. Сынишка, Колька, был в школе. Так до вечера Филипп Иванович и не увидел своей семьи.

— Ну, я пошел, мама. Допоздна не буду шататься, рано приду.

И уехал с Николаем Петровичем на его «москвиче» по полям.

Николай Петрович работал председателем колхоза всего только два года. Он успел понять колхозников, наладил дело с дисциплиной, но в сельском хозяйстве, в тонкостях агротехники не очень-то разбирался. Раньше был на руководящей работе, даже заместителем председателя райисполкома, но в чем-то провинился. А в те годы на должность председателя колхоза частенько посылали за провинность. Председателей колхозов просто назначали. Было тогда ходячее выражение: «Дать команду председателям колхозов». Товарищ Каблучков, второй секретарь райкома, в течение полугода замещал первого секретаря и настолько увлекся «командой», что, говорят, так и сказал своей жене:

— Я лично дал команду — обед в три часа, а у тебя в полчетвертого не собрано. Не имею времени. — И ушел не пообедав.

Николай Петрович попал в председатели не по собственному желанию, но, к своей радости, полюбил эту работу, увлекся перспективами, которые развивал Филипп Иванович. Они подружились. Когда Филиппа Ивановича освободили от работы, Николай Петрович узнал об этом вместе с ним. Они оба развели руками и поехали сразу же к Каблучкову.

Тот сидел в кабинете первого секретаря и писал. Не поднимая головы, он сказал:

— Садитесь.— Потом, через некоторое время, поднял взор, пристально посмотрел прищуренными глазами на вошедших, сморщил лоб.— По какому вопросу?

— Сам знаешь,— ответил Николай Петрович.

— Вы о Егорове? — И тут же ответил: — Этот вопрос мы ставили уже на бюро.

— Но Егоров — член партии,— возразил Николай Петрович.— А вы миновали первичную партийную организацию. Это нарушение...

— Прошу, товарищ Галкин, не брать на себя защиту виновного.

— Да в чем он виноват-то? — негодовал Николай Петрович.

— Еще повторяю: я лично дал команду о сроках сева, а Егоров — по-своему; я лично дал команду о глубокой пахоте, а Егоров — по-своему; сверху спущена команда о десяти- и двенадцатипольных севооборотах, а Егоров — по-своему. Анархия! Надо было наказать. И все!

Филипп Иванович глядел на Каблучкова и поражался: какой случай помог этому человеку попасть на такую важную работу? Тут чья-то ошибка. Конечно, с приездом первого секретаря все должно пойти по-иному. Но что делать сейчас?

Каблучков, обращаясь к Николаю Петровичу, заключил:

— Надо бы и с тебя, Галкин, снять стружку, но решил пока воздержаться. Посмотрим дальше.

— Меня твой рубанок не возьмет, Каблучков.

— Шерхебелем дернем. Все!

Разговаривать дальше не было смысла. Агроном и председатель встали, вздохнули и вышли.

Теперь они ехали вместе в «москвиче» и вспоминали этот эпизод.

— А что же ты сделал бы? — рассуждал Николай Петрович.— Видно, потерпи до нового первого. Думаю, не продержится этот долго. Хорошо, брат, что ты устроился в это самое — как его? — в «Облкормложку». Ставь опыты, пожалуйста, сколько влезет, а колхозные поля — за тобой.

— Эге, я вижу: «налицо недооценка» значения опытной работы. А опыты — дело серьезное. Вот слушай! — заговорил Филипп Иванович. — Первым делом докажу, как уничтожить сорняки химическим методом. Второе — надо опытным путем установить глубину вспашки для каждого поля в отдельности. Третье — очистить почву от вредителей. Четвертое — поймы продолжать осушать и засеивать культурными многолетними травами, чтобы кормов было невпроворот. Есть еще и пятое, и шестое, и седьмое... И все это надо так сделать, чтобы доказать. Понимаешь — до-ка-зать! Чтобы не один только наш колхоз понял, а все колхозы района.

— Что?

— Все колхозы района,— повторил Филипп Иванович.

— Ишь, загнул! Ну, валяй, валяй. Все, что от меня надо,— не постою. Помогу. Только знаешь... Как бы это тебе сказать?.. — Галкия нагнулся к Филиппу Ивановичу и шепнул на ухо: — Ты меня-то подучай маленько по агротехнике-то. Не больно я горазд.

— Вместе будем учиться... у земли.

Дружба между председателем и агрономом укрепилась и росла, несмотря на различие характеров: один — спокойный и степенный, другой — горячий, беспокойный.

Но никто из них и не подозревал, что беда стоит за плечами.

Глава 10

Свежий ветер

Через четыре дня Филипп Иванович и Николай Петрович встречали на станции профессора Масловского.

У Филиппа Ивановича был приготовлен для гостя завтрак. Предполагалось хорошо угостить профессора, а потом уж приступить к делам. Но Герасим Ильич останавливал автомобиль у каждого поля, выходил, смотрел и расспрашивал так, будто не он должен учить агронома и председателя, а сам приехал у них учиться. Видно было, что он заметил многолетние заботы Филиппа Ивановича в поле и то, что колхоз идет на подъем,— лето обещает хороший трудодень. Сразу же завернули и на злополучный участок, предназначенный под занятый пар. Вот тут-то Герасим Ильич и вспылил.

— И вы допустили, товарищ председатель! — воскликнул он. — Это же издевательство над землей. — И добавил совсем не по-научному: — Кроме того, если посеять здесь сейчас, это значит — выбросить семена коту под хвост.

Николаю Петровичу после такой речи стало легче. «Черт их знает, как с этими профессорами обращаться», — думал он несколько часов тому назад. А теперь как-то сразу все стало на место. Он и согласился и возразил так:

— Издевательство — точно. Коту под хвост — исключительно точно. А вот насчет «пустили» — не согласен. Попробуйте-ка возразить нашему Каблучкову. Куда там!

— А я буду возражать. Попробую. И не думаю, что вы правы. Возражайте, протестуйте, пишите, жалуйтесь. Иначе вы не коммунисты, — наступал Герасим Ильич.

— Вы не понимаете сути, — возразил Николай Петрович, согласно своему характеру, совершенно спокойно. — Дело-то в чем? Да в том, что Каблучков временно замещает первого секретаря. Ну и... заместил так, что закрыл собою от нас весь белый свет. Любое возражение он считает посягательством на авторитет.

— Жалуйтесь! — настаивал Герасим Ильич. — Что вы, маленькие дети, в самом-то деле?

— Попробуем дождаться первого. Новый будет. А старому не вернуться, заел его туберкулез. И к тому же — ну, напишем мы о том, что мы не желаем выполнять дополнительный план по состоянию погоды. Что из этого? Кому за это будет? Никому. План планом. А с меня и с Филиппа Ивановича будут «снимать стружку». Ведь жалобу-то не разберут за три дня? Нет. А сеять все равно заставят, пока жалоба будет ходить месяца два по разным инстанциям.

— Это как — «снимать стружку»? — спросил Герасим Ильич уже более примирительно, чем и дал понять, что он почти согласен с доводами.

Филипп Иванович улыбнулся и не стал отвечать на вопрос профессора, кивнув на Николая Петровича. А тот вполне серьезно сказал вместо ответа:

— Знаете что — хотел бы я, чтобы вы лично посетили самого Каблучкова и высказали ему все вот так, как нам. Может быть, и поймете «стружку».

— Обязательно поеду, — согласился Герасим Ильич.

С поля ехали молча. Всеми овладело самое обычное человеческое состояние, при котором любая идея тускнеет: хотелось есть.

К одиннадцати часам дня они подъехали к дому Филиппа Ивановича. Николай Петрович, выходя из «москвича», сказал:

— Ну вот теперь и я знаю, что такое ученый. Думалось, как с ним говорить? А ну-ка да он скажет ученые слова, каких не знаешь? Выходит — все не так уж сложно.

Герасим Ильич улыбнулся. Филипп Иванович пригласил всех в дом. А Николай Петрович продолжал тем же ровным и спокойным голосом:

— А дозволейте спросить: водку пить будете?

— Водку?! — ужаснулся Герасим Ильич, но сразу же изменил выражение лица на благожелательное. — Буду!

Николай Петрович рассмеялся.

— У нас поговорка такая есть: «Если гостя встречать без вина, то хозяин — сам сатана».

За завтраком, после того как утолили первый голод, зашел разговор об опытном участке. Начал Филипп Иванович:

— Вот вы, Герасим Ильич, рекомендовали взять отстающий колхоз. Помните?

— Помню. И убежден в этом.

— А Николай Петрович категорически предложил оставаться здесь, то есть в «среднем» колхозе.

— Никуда я его не пушу. Пусть тут и ставит опыты, — подтвердил Николай Петрович.

Герасим Ильич возразил:

— Вы, видимо, исходите из своих личных соображений. А надо думать об общем, не только о своем колхозе.

— Нет, не из личных. Мне Филипп Иванович уже говорил о вашей точке зрения: «не изучаем опыт отстающих», «нельзя лечить болезнь, не зная ее», и тому подобное. А я возражаю.

— Но ведь это же неопровержимые доводы.

— А кто знает, может, и опровержимые.

— Интересно, — оживился Герасим Ильич, — очень интересно.

Поставив вилку острием вверх, Николай Петрович возражал:

— Если следовать этому вашему доводу, то надо обязательно посеять овес с чечевицей в конце июня, по глыбистой пахоте.

— Не понимаю! — удивился Герасим Ильич.

— Ну что ж тут не понимать! Посеять занятый пар в конце июня, а в октябре — ноябре посеять озимые, чтобы их не было совсем. Это и будет «изучение» отстающей агротехники, то есть изучение того, как не надо делать. Я не горазд в агротехнике, но думаю — этого не следует делать.

— Позвольте, Николай Петрович! Я имею в виду и организацию труда, и вообще организационные вопросы, и работу с людьми в отстающих колхозах.

— И все равно. Лучше изучать, как сделать хорошо, чем изучать, как не надо делать плохо.

Герасим Ильич ответил не сразу.

— Тут надо подумать... Пока тебе никто не возражает — считаешь, что ты прав... А вот сейчас вы, кажется... правы. У вас — логика.

— Я, Герасим Ильич, не понимаю ее, эту логику. А так — «по личному соображению». Все-таки жизнь прожил, шестой десяток пополам перерубил.

Герасим Ильич легонько хлопнул Николая Петровича по плечу.

— А ведь мы вроде ровесники! Знаете что, Николай Петрович, вы меня немножко подучайте.

— А вы меня.

— Идет!

— По рукам?

— По рукам.

Филипп Иванович был очень доволен, что скептическое отношение Николая Петровича к профессору рассеялось как дым. И он уже уверенно спросил:

— Значит, вы не возражаете против того, чтобы я остался здесь, в своем колхозе?

— Побужден,— ответил Герасим Ильич.— «Личным соображением» побужден. Впрочем, ведь это был только мой совет. А от меня совершенно не зависит, где вам основать опорный пункт.

— На это есть «Облкормложка»,— ехидно вставил Николай Петрович.

— А советоваться будем все-таки с вами. Вы только сейчас заключили условие с Николаем Петровичем.

— Ладно, ладно. Уж раз «попался» — ничего не поделаешь.

— Не будем спорить, дорогие товарищи. О том человеке, который взялся за гуж, поговорка уже есть, и ее нечего выдумывать,— заключил Николай Петрович.

После завтрака Филипп Иванович и Николай Петрович ушли в правление, а Герасим Ильича уговорили отдохнуть.

В горенке приготовили постель. Клавдия Алексеевна, до сих пор произносившая только слова, относящиеся к угощению, пригласила гостя:

— Отдохните с дороги, Герасим Ильич.— Она вошла с ним в горенку, пододвинула стул для одежды и сказала: — Филя про вас много говорил. Мы тоже хотели вас видеть. Только не обессудьте. Может, что и не так.

— Что вы, что вы, Клавдия Алексеевна! Мы с Филиппом Ивановичем друзья, хотя он и мой ученик и я на пятнадцать лет старше его.

— Он ведь у меня один остался-то,— вздохнула Клавдия Алексеевна.— Трое было. Двух-то убили на войне. И сам пропал там же.

Герасим Ильич впервые услышал это.

— И сам! — вырвалось у него.

— Да Иван-то мой — отец Фили.— Она стояла перед профессором, высокая, сухая, на первый взгляд чуть суровая старуха. Но что-то крепкое и сильное было в ее глазах. Такое, будто она готова всегда встретить горе и выстоять.

— Простите, Клавдия Алексеевна! Вам трудно об этом вспоминать. Не надо.

— Конечно. Все пережито... И не у нас у одних. Война.— Слез у нее не было, только морщины на лице стали как-то гуще и отчетливее.

Герасим Ильич невольно обратил внимание: против обычного, на стенах нет портретов ни ее сыновей, ни мужа. И она по взгляду, скользнувшему по стенам, догадалась и сказала:

— Нету портретов-то. Нету. В сундуке держу. Иной раз взгрустнется — выну, посмотрю... А письмо почитаю — не плачу, а утешаюсь. Человек был мой Иван-то!

— Письма от него сохранились? — осторожно спросил Герасим Ильич.

— Не-ет. От него так и не получили ни одного письма с фронта. От его товарища письмо, из плена. В плену он погиб, Иван-то... Да вы ложитесь, ложитесь в добрый час, отдохните. Поди, устали? Ложитесь.— И она вышла.

Герасим Ильич лег, но уснул не сразу. Он лежал с закрытыми глазами и думал.

Через час он встал, освежился холодной водой и пошел в правление. Там, в кабинете председателя, сидели Филипп Иванович и Николай Петрович и на чертеже намечали места опытных участков. Решили так: основной участок, Карлюка, выделить в одном месте, а настоящие, свои, в каждом поле. Они изложили свои соображения Герасиму Ильичу, и тот

предложил сначала осмотреть участки на месте. Все с этим согласились. Но Николай Петрович внес новое предложение о порядке работы на этот день:

— Если сегодня не поговорить с Каблучковым, то, значит, нам влетит обязательно. Завтра бюро.

Все втроем поехали в район, предварительно позвонив о том, что едет профессор. Каблучков встретил Герасима Ильича учтиво: он встал из-за письменного стола, поправил пояс, затушил папиросу в пепельнице и только тогда уже приветствовал:

— Прошу! — Подал руку и произнес: — Секретарь Каблучков.

— Масловский.

Каблучков небрежно сунул руку и остальным двум, вошедшим с профессором (обычно он посетителям руки не подавал).

— Чем могу быть полезным? — спросил Каблучков Масловского.

— А мне казалось, что я мог бы быть чем-либо полезным для вас.

— О! У нас много недостатков.

Герасим Ильич спросил:

— Какие же недостатки вы считаете наиболее серьезными?

— У нас есть еще безобразия. Вот, например, они, — Каблучков указал на Филиппа Ивановича и Николая Петровича, — плохо ведут обработку почвы. Факт! Мы еще недостаточно ведем борьбу за лесные полосы — уход плохой, посадки выполнены не на сто процентов. И так далее. И вот остался один я — все на одних плечах. — При этом он хлопал себя по плечу, указывая таким образом, на каких плечах лежит все. — А они вот — палки в колеса.

Герасим Ильич попробовал вставить:

— Что касается посева овса в конце июня в занятом пару, то я с ними согласен — сеять нельзя.

Каблучков в удивлении развел руками, говоря:

— А как же?

— Сеять нельзя. Я утверждаю это со всей ответственностью.

— А облзу план спустило дополнительно. Что я должен делать? — возразил Каблучков.

— Объяснить, что сеять нельзя, что план надо было давать вовремя, ранней весной, а лучше — зимой, что колхозы не могут расплачиваться за чью-то недогадливость. Все просто. Вы согласны?

— Согласен на сто процентов. Но только я партбилет на стол не положу. Обязан выполнить. А ваше мнение, простите, будет нам дальнейшим тормозом.

— Знаешь что, Каблучков, — заговорил Николай Петрович, — никто с тебя за это не спросит партбилета. Что, у тебя бюро нет, что ли? Партактива, что ли, нет? Не с кем посоветоваться? Собери и вынеси коллективное решение. И твой билет будет цел, и у нас гора с плеч, у всех председателей.

Каблучков возмущенно обратился к Масловскому:

— Вот! Вот так с ними и поработай. Из области есть указание, а я собирай собрания, обсуждай, обсасывай. У меня и для бюро и для партактива есть план. Придет срок — пожалуйста! А сейчас, будь ласков, не тормози телегу.

— Тормозить телегу, — машинально повторил Герасим Ильич. — Это сказано здорово — «тормозить телегу».

Каблучков улыбнулся: дескать, действительно здорово.

— Товарищ Каблучков! — вмешался наконец и Филипп Иванович. — Если профессор говорит с полной ответственностью, то ведь можно же понять...

Но тот перебил:

— Только ты и понимаешь. А мы не понимаем. Нельзя допустить анархию. Да и вообще с тобой будет отдельный разговор.— И многозначительно добавил: — Особый разговор.

Герасим Ильич поочередно посмотрел на каждого из собеседников и задал вопрос Каблучкову:

— А нельзя ли мне начальника облзу к телефону?

— Почему нельзя? Можно.— Каблучков взял трубку.— Центральная?.. Срочно начальника облзу. Без задержки! Профессор будет говорить.

— Василий Аркадьевич! — закричал в трубку Масловский.— Дело-то какое! Овес с чечевицей — на носу у июля! Смех!.. А? Какой-такой дополнительный? Кто придумал? Кто-с? Чернохаров?! Мое мнение? Мое мнение: отменить надо немедленно... А? Неужели ни одного сигнала?.. Сегодня был на поле, видел — издевательство над землей. Местные работники протестуют... А? Хорошо. Телеграфирую сегодня же в обком. Будьте здоровы!

— Ну что? — спросил Филипп Иванович.

— В общем так: спасибо вам, Филипп Иванович! Если бы вовремя не дали мне знать, то... Впрочем, еще не все кончено.

— Пока не будет распоряжения, я лично сеять буду,— заключил Каблучков.

Все опешили. Герасим Ильич развел руками.

— Пожалуйста! Добейтесь распоряжения — дело другое.

— А сами-то вы почему не добиваетесь отмены головотяпства?

— Как? — опешил теперь Каблучков.

— Головотяпства,— повторил Масловский.

— Ну и ну! — произнес Каблучков.— Да вы понимаете, что такое дисциплина? Позвольте спросить, вы член партии?

— Да.

Каблучков выразил всем своим существом полное удивление. После этого он умолк, о чем-то задумался, поглядывая то на Филиппа Ивановича, то на Николая Петровича.

«Нельзя обижаться на человека, попавшего не на свое место»,— думал Герасим Ильич. Достав из кармана записную книжку, что-то записал, а потом сказал:

— Будьте здоровы!

Каблучков проводил глазами профессора. Когда дверь, оббитая войлоком и клеенкой, закрылась, он подошел к окну и сердито произнес:

— И на ученого-то не похож.

Усевшись снова за стол, Каблучков достал из ящика письменного стола «дело». На папке было написано: «Егоров Филипп Иванович». Раскрыл папку и углубился в чтение: на Егорова поступило одно заявление и запросы от двух организаций. Читал Каблучков и думал: «Он, он, Егоров, всему вина. Анархист... Он и профессора притащил в район. А оно вон что! Во какая птица этот Егоров!»

Заявление, которое читал Каблучков, уже знакомо читателю — то было творение Карлюка, а запросы от двух организаций состояли в просьбе дать характеристику Егорова по тем же пунктам, что и в заявлении.

Каблучков сам созвонился с Карлюком, просил его и Подсушку выслать «углубление подробностей». К вечеру уже была готова характеристика на Егорова в ответ на запросы — такие дела у Каблучкова делались без волокиты.

В характеристике значилось: «Егоров Филипп Иванович — снят с работы как противник травопольной системы земледелия и анархист в агротехнике...» «Он пропагандирует зарубежный образ жизни...» «Он, Егоров, говорит не о высоком уровне развития нашей науки, а о том, что система сельскохозяйственного образования порочная». «Отец Егорова, Егоров Иван Иванович, был в плену у немцев, откуда и не вернулся...» И так далее.

Никто из троих друзей и не подозревал о нависшей беде. Через два-три дня пришло распоряжение об отмене дополнительного плана. Опытные участки были намечены. Филипп Иванович приготовился закладывать опыты с озимыми. Казалось, все шло хорошо.

Герасим Ильич исколесил все поля колхоза «Правда», несколько дней побыв в других колхозах и, возвращаясь поздно вечером, переписывал в общую тетрадь свои заметки из записной книжки.

В последние дни перед отъездом он стал молчаливым, задумчивым. Ночью вставал, тихонько выходил и медленно шагал по дорожке сада, заложив руки за спину. Село спало спокойным трудовым сном. Соломенные крыши были настолько высоки и громоздки по сравнению со стенами хат, что ночью казалось, будто все село построено из соломы. Лишь кое-где луна бросала блики на железные крыши. По этим отсветам можно точно определить, где находится школа, где правление, а где клуб. Солома и глина. Глина и солома. Да редкие, одинокие деревца, оставшиеся от садов. Около одной из хат гигантский тополь темным силуэтом одиноко вытянулся в небо. Громадный тополь! Герасим Ильич вообразил — стоит этот тополь и шепчет: если бы у каждой хаты только по одному такому, как я, то какая бы уже была красота!

Герасим Ильич пошел к этому тополю. Он не мог не пойти. Уже третья ночь тянул к себе тополь. Подошел и удивился: тополь чуть-чуть шептал листьями, одинокий, гордый, стройный, ожидающий, чтобы люди его поняли.

На околице тихо заиграла гармошка. Видимо, гармонист возвращался домой. Ветерок чуть-чуть ласкал деревню. А тополь все шептал и шептал.

Утром следующего дня профессор Масловский собрался уезжать. Втроем они в последний раз поехали в поле. Николай Петрович внимательно вслушивался в указания Герасима Ильича, иногда записывал на память, а Филипп Иванович, слушая, думал. На кургане, с которого были видны почти все поля колхоза, они присели. Герасим Ильич пошутил:

— По старому обычаю присядем перед отъездом.

— Неплохой обычай,— серьезно сказал Николай Петрович.— Человек должен за те минуты успокоиться от суеты сборов, подумать, не торопиться.

Филипп Иванович сел молча. Ему жаль было расставаться с учителем.

— Во-он, видите — тополь? — спросил Герасим Ильич.

— Видим,— ответили оба.

— Сколько в селе хат?

— Триста десять,— ответил Филипп Иванович.

— Если бы было триста десять таких деревьев? Или шестьсот? А?

— Здорово было бы,— сказал спокойно Николай Петрович.

— Вы-то здесь второй год,— обратился Герасим Ильич к Николаю Петровичу,— а вот Филипп Иванович агрономствует здесь восемь лет. Так что же вы, черт возьми! Вы понимаете, о чем я?..— И эта фраза звучала как обвинение.

— Убедительно,— согласился Николай Петрович.

А Филипп Иванович молчал. Поэтому Герасим Ильич спросил только у него одного:

— Как вы думаете?

— Я думаю, что сначала надо сделать так, чтобы колхозник мог думать и о красоте.— Герасим Ильич встал, а Филипп Иванович продолжал, глядя в даль поля:— Я думаю, что...— Он неожиданно махнул рукой, не закончив.

— Что вы думаете, дорогой? Что думаете? Давайте выкладываете!— требовал Герасим Ильич.

— Думаю, что обвинять народ в отсутствии чувства красоты могут только люди... плохо знающие народ...— Он тоже встал. Свойственная ему быстрота смены чувств сказалась и здесь: он заговорил уже быстро и громко: — Плохо знающие народ, который веками жил в рабстве; народ, революцией освободившийся от рабства и отстаивший свои завоевания в тяжелых войнах. Этот народ ждет улучшения жизни! Я агроном, я на особом положении, получаю зарплату, имею льготы, поэтому и сохранил свой садик. Другие же действуют по простому правилу: или дерево, или двадцать кустов картошки.

Филипп Иванович умолк, с волнением глядя на Герасима Ильича. Поймет ли? Не обидится ли? Или, может быть, молча уйдет, не выдержав обвинения в незнании народа?

А Герасим Ильич смотрел на село. Ветер шевелил его седые волосы. Не отрывая взгляда от села, он неожиданно спросил:

— Почему вы никогда не сказали мне о том, что два ваших брата и отец погибли?

— Не знаю почему,— ответил Филипп Иванович.

— А я знаю. Потому что вы еще не считаете меня настолько близким, чтобы высказать без горячности хотя бы те мысли, которые вы высказали сейчас.

— Нет, это не так.

— Так. Подумайте наедине, взвесьте...— Он помолчал.— Да, я городской человек, я меньше вас знаю народ и еще меньше, чем Николай Петрович, но то, что я увидел,— и не только у вас, заметьте! — заставляет меня возражать вам.

— А что ж,— заметил Николай Петрович,— разговор интересный.— И разлегся на траве.

— То есть я согласен с тем, что вы высказали,— продолжал Герасим Ильич.— Но мне кажется, что вы все уводите в одну сторону. Вот у меня записано, сколько учителей, агрономов, трактористов, инженеров вышло из вашего села. Поразительно! Народ создал свою собственную интеллигенцию. У вас есть десятилетка. Но... один тополь. Понимаете? Один только тополь. Это же абсурд! Два дерева перед домом на улице, а не на усадьбе — и село изменится. Вокруг школы — сад: это уже красиво! То есть я хочу сказать, что одновременно с требованием улучшения материальной жизни, одновременно с повышением культуры полей надо учить народ жить культурно. Если этому помешала война и мешают ошибки, то это не может продолжаться долго. Будет лучше. Скоро будет. Верю! Дорогой мой! Коммунист обязан верить. Ведь так?

Но Филипп Иванович не успел ответить — помешал Николай Петрович.

— А я так скажу,— вставил он, ковыряя соломинкой в зубах.— Вы здорово поклевали друг друга. Ой, здорово! Культурно поклевали. А все-таки вы оба правы. Вам осталось только понять друг друга. А в чем соль? Да в том, что прошляпили мы, Филипп Иванович. Ты тоже виноват. Я тоже. Грязь же кругом невылазная. Вот и надо — и хлеба дать и денег... И тело мыть... и душу.

— Закончим мы вот на чем,— весело сказал Герасим Ильич.— Насчет агротехники договорились, насчет опытов договорились, а насчет деревьев — условие: в этом году посадить по два дерева перед каждой хатой. А там посмотрим. Я вам! — И он погрозил пальцем.

— «Команда дадена»,— провозгласил Николай Петрович.

— Вы не обиделись? — спросил Филипп Иванович у Герасима Ильича.

— А что ж: я ведь и действительно не так уж хорошо знаю народ. Я не стыжусь учиться у людей. Вот только резковато маленько. Ну да ничего! А сам-то принял на себя вину?

— Принял. «Прошляпили».

У вагона на станции Герасим Ильич сказал им обоим:

— Итак, друзья, буду у вас частым гостем. Не прогоните?

— Это как будет называться — шефство? — спросил Николай Петрович.

— Никак это не будет называться! Я просто полюбил и вас, Николай Петрович, и село, и людей.

— Ну, в добрый час!

По дороге со станции Николай Петрович говорил:

— Ну, брат, и профессор!

— Доктор наук, не шутка!

— Э, да не в этом дело! Доктор, доктор! Ум, а не доктор. Дураку хоть всю башку науками набей до отказа, все равно ветром выдует. А тут — ум... Ничего не скажешь — человек!

— Человек,— повторил Филипп Иванович в задумчивости.

— А главное-то в чем? Да в том, что он всей своей душой чувствует ответственность. А кто, спрашивается, возлагал на него эту ответственность? Никто. Только собственное сердце.

— Да. Собственное сердце и вера в будущее.

— Приехал он — и свежий ветер принес с собой,— заключил Николай Петрович.

Как бы там ни говорили они, а Филиппу Ивановичу было не по себе. Жаль было отпускать Герасима Ильича. И что-то еще тяготило его. Что именно — догадался не сразу. Наконец всплыла в памяти угроза Каблучкова: «С тобой разговор будет особый». Филипп Иванович напомнил об этом Николаю Петровичу. Но тот посоветовал односложно:

— Плюнь.

Всегда Николай Петрович сумел находить короткие и мудрые решения жизненных вопросов, а тут ошибся, хотя и ободрил Филиппа Ивановича. Забыл он, что Каблучков — человек-ошибка, совсем не относящаяся к категориям тех, на которых мы учимся.

А Герасим Ильич все смотрел и смотрел из окна вагона на пробегающие поля, на села и соломенные деревни. Он смотрел и думал. Думы его были беспокойными.

А в поле тянул свежий ветер, по пшенице ходили волны.

Глава 11

Каблучков в действии

Через несколько дней события развернулись неожиданно.

С утра Каблучков сидел в кабинете один. Он любил сидеть один, в полном убеждении, что он, Каблучков,— единственное лицо, думающее за весь район, за всех людей. Он ожидал, что его утвердят первым, был в этом уверен. У него не было даже подобия мысли, что он сидит не на своем месте. Более того, ему казалось, что почти все коммунисты района

сидят не на своих местах, что надо их перестанавливать, перемешать, держать в строгости и подчинении. Это он, рассматривая «личные дела» коммунистов, придумал такие определения: «Ого! Уже два года на одном месте. Оброс. Заплесневел. Встряхнуть на другое место»; или: «Ого! Этот срощся с массаами и идет у них на поводу. Переместить!»; или: «Кого рекомендуют! Ни в номенклатуре не значится, ни наград не имеет. Отказать!» К Егорову все это не подходило. Значит, Егорова надо исключать.

Все материалы для этого мероприятия он подготовил. В одиннадцать часов вечера назначено бюро. Вызван Егоров. Вызван и Галкин как член бюро. Он сильно беспокоил Каблучкова: «Подведет, будет против».

Каблучков знал метод, который считал безошибочным. Это «метод предварительного опроса».

— Ты врага народа поддерживать не будешь? — спрашивал он у вызванного члена бюро.

— Не буду. А что?

— Ознакомься с «делом». И пойми, кто у нас сидит за пазухой.

Член бюро читал, знакомился и думал: «Три характеристики. Все доказано».

Но один из членов бюро, старый рабочий маленького ремонтного заводика, Морковин, повел себя иначе.

— Врага поддерживать будешь? — спросил Каблучков.

— Какого? — спросил и Морковин, по-нижегородски окая.

— Ну во-от тебе! Какого... Егорова!

— Егорова? Давно он перекинулся к врагам? — так же спокойно, поглаживая усы, продолжал спрашивать член бюро.

— На! Читай.— И Каблучков сунул Морковину «дело».

— Не шибко я читаю, долго буду читать.

— Сядь вон в уголке и читай,— посоветовал Каблучков, приняв слова собеседника за чистую монету.

Морковин и правда уселся в углу и стал листать дело, предварительно свернув «козью ножку».

Прошло полчаса. Морковин листал. Каблучков сидел в ожидании. Прошел час — позиция Морковина осталась прежней: сидел, молчал, шевелил листы «дела». Наконец Каблучков не выдержал, подошел и спросил:

— Ну как?

— Все правильно,— ответил Морковин, не поднимая головы, и продолжал смотреть в листы. Он даже рассматривал и оборотные, чистые, стороны: казалось, он не читал, а нюхал бумагу.

— Значит, как же? — настаивал Каблучков, уже раздражаясь.

— Все правильно, секретарь. Сочинено здорово.— Морковин наконец закрыл «дело» и подал Каблучкову.

— Значит, ты — за исключение? Голосуешь?

— Недельку бы подумать,— с деланной неуверенностью сказал Морковин.— Егорова-отца я знал, хороший человек. Филиппа тоже знаю. А вот видишь — враг. Как это так?

Каблучков забежал по кабинету.

— Так, так! — воскликнул он.— Значит, сомневаешься? На дорожку Галкина вышел. Потакать противникам партии собираешься? Ну что ж, подумай. И я подумаю.

— А правда, Каблучков, подумай-ка.

— Подумаю. И ты подумай.

— Подумаю. Подумаю.— Морковин встал, надел фуражку, повторил: — Подумаю,— и вышел из кабинета.

Каблучков открыл форточку, чтобы проветрить кабинет от махорки Морковина, увидел в окно его сутулую спину, медленно удаляющуюся в переулок, и сказал:

— Ох, уж это мне старичье!

А Морковин пришел домой, сел на пороге крыльца и задумался, опустил голову. Когда же жена, старушка, спросила: «Чего осовел?» — он ответил, невесело усмехаясь:

— Думаю. Каблучков дал команду — думать.

Так большая часть членов бюро была подготовлена «путем опроса». Двое были в отъезде. Галкина для личной беседы Каблучков не вызывал, знал, что с этим разговор будет там, на бюро.

Филипп Иванович и Николай Петрович получили вызов на бюро за два часа до начала. Они, не раздумывая долго, сели в «москвич». Николай Петрович, сидя за баранкой, сказал, заканчивая какую-то мысль:

— Ну, кажется, теперь нас с тобой не за что ругать.

— А зачем же меня вызывают? По добру так не бывает.

— Вот и я думаю: и ругать вроде не за что, а что-то Каблучков выкаблучивает.

Так они и не знали о повестке дня до начала бюро.

— Вопрос будет о Егорове,— объявил Каблучков.— Сообщаю материалы. На Егорова поступил материал от соответствующих организаций.

Он зачитал заявление Карлюка и Подсушки, не упомянув их фамилий, затем зачитал их же подтверждения, уже назвав фамилии и должности. И стал задавать вопросы Егорову:

— Ты лично против травопольной системы земледелия или нет?

— Нет, не против. Но против шаблона в земледелии.

— Ну, против трав?

— Нет. Я за травы, но только там, где они растут.

— С оговорками, значит?

— Пожалуй.

— Ясно, товарищи! Егоров выложил нутро, но с оговорками.— И задал вопрос уже по следующему пункту: — Ты в Германии был?

— Был. В армии.

— И как ты думаешь,— с улыбочкой уточнял Каблучков,— немецкий образ жизни лучше нашего или хуже?

— Хуже. Позвольте! Я считаю эти вопросы провокационными. Я протестую! — загорячился Егоров.

— Ты постой, постой, Филипп Иванович,— успокоил Николай Петрович.— Надо все выслушать. Больше выдержки.

Николай Петрович и сам внутренне негодовал. Только он умел себя сдерживать.

— Не могу я быть спокойным, когда понимаю, о чем идет речь,— не останавливался Филипп Иванович.

— Товарищ Егоров! — грозно сказал Каблучков и перешел на вы: — Не командуйте на бюро! Иначе мы попросим вас вон! И решим заочно.

— А я протестую! Это нарушение партийных норм! — выкрикнул Филипп Иванович.— Вы минуете первичную партийную организацию!

— А я вас спрашиваю: вы на вопросы отвечать будете? Или нет?

— Отвечай! — почти приказал Николай Петрович спокойно. Но в его голосе звучала уже нота надорванности.— Иначе ты будешь бессилён протестовать после.

Руки Филиппа Ивановича дрожали, но он пересилил себя.

— Буду отвечать.

— Так вот, насчет образа жизни. Дороги, машины и тому подобное — как?

- Дороги у них лучше.
- Значит, нам надо у них учиться?
- Насчет дорог — да.
- Ясно, товарищи! — утвердил Каблучков. — Нам остается выяснить один вопрос: где ваш отец, товарищ Егоров?
- Умер, — ответил Филипп Иванович уже угрюмо и зло.
- Отчего умер, товарищ Егоров?
- От смерти, товарищ Каблучков. И я прошу не порочить моего отца.
- Не увиливайте. Я спрашиваю: был отец в плену? — И Каблучков обвел членов бюро взглядом, будто говорил: «Вот еще какие дела он скрывает». — Был или не был?
- Был, — выдавил Филипп Иванович.
- И оттуда не вернулся?
- Не вернулся.
- Все ясно, товарищи! Отец Егорова, Егоров Иван Иванович, остался в плену.
- Не издевайтесь! — крикнул Филипп Иванович. — Отец себя не запятнал! Он...
- Не кричите на бюро! — Каблучков стукнул пресс-папье о стол. — Вы секретарь или я? Не допущу анархии! — И совершенно неожиданно перешел на тихий тон (он так умел): — А на вопросы отвечать будете. Вы опорочили сельскохозяйственный институт в присутствии ответственных лиц, в областном городе. Считаете ли вы, что это достойно звания коммуниста?
- Вопрос казуистический, — ответил Егоров. — Не отвечаю.
- Николай Петрович дернул его за полу, а вслух сказал:
- Надо отвечать.
- Ладно, отвечу, если смогу. Отвечу... Систему сельскохозяйственного образования надо перестраивать. Всю. Институты выпускают агрономов не таких... Оторванных от практики. Об этом должен думать и говорить каждый коммунист, работающий в сельском хозяйстве.
- Филипп Иванович сел, обхватил голову руками и больше не отвечал ни на какие вопросы.
- Все ясно, товарищи! — заключил Каблучков.
- Но тут встал Николай Петрович. Помолчал чуть. Сказал:
- Думаю, что у нас создалась обстановка нездоровая. Мы обошли первичную парторганизацию — это во-первых. Мы обязаны проверить заявление на Егорова и другие материалы.
- Проверено. Точно, — вставил Каблучков, не отрывая взгляда от окна.
- Николай Петрович сделал вид, что не обратил внимания на Каблучкова, и продолжал:
- Надо вызвать на бюро этих... как их... Карлюка и других. Убежден — здесь дело не обошлось без клеветы. Это во-вторых. И еще: у тебя, Каблучков, к Егорову личная неприязнь за то, что на партактиве он тебя прочесал вдоль спины. Помнишь? Только я прошу все это записывать. Так. А человек ты злопамятный. Так вот я и говорю... — Николай Петрович уже заметно волновался — все чаще и чаще покашливал в кулак. — Я говорю не для того, чтобы убедить присутствующих здесь, а для того, чтобы это было записано... для других. А там видно будет.
- Не грозись, — вставил Каблучков.
- Но Николай Петрович снова не обратил внимания на реплику и продолжал:
- Я знаю Егорова хорошо. Сам он прошел от Сталинграда до Берлина. Два брата погибли: Отец... Отец, конечно, был в плену и там погиб... И вот, товарищи, все это дело сделано так, чтобы Егорова выбросить из

партии, выбросить человека смелого и непримиримого, выбросить человека, знающего село и сельское хозяйство. И все это потому, что есть еще клеветники и есть еще люди, подобные тебе, Каблучков, люди, не понимающие, что такое партия, и попавшие случайно к руководству там, где нарушается демократия в партийной организации.

— Записать! — воскликнул Каблучков.

— Обязательно, — подтвердил Галкин. — Так и записать: верит в великую силу партии, а не в силу Каблучкова.

— Ложь!! — выкрикнул Каблучков. — Ложь не писать!

— Ты, Каблучков, не кричи. Не надо, авторитет себе подрываешь. А меня этим не возьмешь, я уже тридцать лет в партии — и ты на меня не кричи. Я, брат, Ленина... видал... лично. В Смольном видал. Так что криком меня не возьмешь... Ну вот... Я считаю — дело передать в первичную организацию.

— А там будешь ты решать, — добавил Каблучков.

— Не я, а партийная организация.

Филипп Иванович сидел все так же, с опущенной головой.

В тишине неожиданно прозвучал голос Морковина:

— Присоединяюсь к Галкину.

— Ну-с, — начал Каблучков, видимо, не считая нужным возражать Галкину и отвечать на его высказывание. — Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы Егорова Филиппа Ивановича за идеологическое разложение и за анархию в агротехнике исключить из партии? Кто за это — прошу поднять руки... Пять. Кто против? Два. Воздержались? Нет. Принято подавляющим большинством. Все ясно, товарищи!

Наступило молчание.

— Каблучков! — неожиданно прозвучал голос Галкина.

— А?

— Опомнись!

Каблучков покачал головой и сказал:

— Эх-хе-хе-хе! Устарели вы, товарищ Галкин. Стареее и отстаеет. И ничего-то вы не понимаете. — И сразу же обратился к Егорову: — Товарищ Егоров! Положите билет на стол.

Только теперь Филипп Иванович понял, что случилось. Он должен положить билет члена партии. Тот самый билет, который сохранял в боях сухим, даже и в то время, когда сам был мокрым до нитки; положить тот самый билет, на котором, на уголке, осталась капелька его крови, напоминая о многих погибших друзьях, о неведомом никому героизме отца. Положить этот билет! Это было не в его силах. Он стоял, сгорбившись, и держал в руке красную, дорогую сердцу книжечку. Стоял и не двигался. А Каблучков подошел, взял билет за уголок, слегка дернул его и вернулся с ним к столу.

— Не имеешь права! — крикнул Николай Петрович, не сдержавшись. — Это можно только в обкоме!

— Я знаю, у кого можно взять и у кого нельзя, — ответил Каблучков.

Филипп Иванович с трудом смог бы вспомнить, как он вышел из кабинета...

В «москвиче» по дороге домой Николай Петрович и Филипп Иванович молчали. Было тяжело.

А у гаража, после того как загнали автомобиль, Николай Петрович сказал:

— Ты не того... Не падай духом. Не теряй веры... в партию.

Филипп Иванович крепко пожал руку Галкина, долго держал ее в своей, будто прощаясь навеки, и тихо произнес:

— Спасибо... друг! — И пошел в темноту.

Было два часа ночи.

Филипп Иванович не пошел домой. Он прошел село, вышел в поле и пошел между двух полей — справа пшеница, слева картофель. Шел и шел. Потом остановился, посмотрел в темноту. И вдруг упал ничком в картофельное поле... Прижался щекой к мягкой земле и заплакал горько, безутешно.

Ночь была темная-темная! Тучи закрыли небо. Надвигался дождь. Где-то вдалеке сверкнула молния.

А в поле одиноко плакал человек, царапая скрюченными пальцами любимую землю.

Николай Петрович пришел домой. Поужинал через силу. Ел просто потому, что считал — есть надо обязательно. Так колхозница, похоронив дорогого человека, не забывает вынуть хлебы из печи.

И вдруг ему пришла мысль: «Малый-то он горячий. Как бы чего не сотворил с собой». Он встал из-за стола, не допив молока, и вышел.

Тихонько постучал в окно. Дверь открыла Любовь Ивановна, жена Филиппа Ивановича.

— Дома? — спросил Николай Петрович.

— Нет. А что? Он же с вами поехал.

— Дело-то какое, — замылся Николай Петрович. — Неприятность вышла.

— Не томите! Скорей скажите! — вскрикнула Любовь Ивановна.

— Не надо так волноваться. Все обойдется... Из партии исключили... Ну вот... куда-то ушел.

Любовь Ивановна потащила за рукав Николая Петровича в комнату. Она зажгла лампу, разбудила Клавдию Алексеевну. Она забыла, что стоит перед Николаем Петровичем без кофточки, и тихо плакала, без всхлипываний и причитаний — просто катились непослушные слезы.

— Что же это такое? — спрашивала мать не то сама у себя, не то у Николая Петровича. Она смотрела в пол, скрестив руки на груди и ссутулившись. — Где он?

— Ушел от гаража домой. Поискать бы надо... — А внутренне Николай Петрович ругал сам себя: «Вот я какой старый дурак! Человека в беде отпустил». И добавил: — Может, он в саду?

— Мама! Не в клети ли он лег спать? Не захотел нас будить и лег там. — Любовь Ивановна вышла из хаты, но сразу же вернулась и закричала: — Пойдемте! Пойщем!

— Не кричи, Люба, — строго сказала мать. — Пойдем, девонька. Спасибо тебе, Петрович.

— Может, и мне с вами?

— Не надо. Побудь тут, может, без нас придет... Если надо, кликну сама.

Шли они молча. Материнское чутье подсказывало: «Если ушел от гаража домой, то прошел мимо хаты, значит так и пошел в поле, пошел прямо и прямо — горе не даст кривулять. А если шел прямо и прямо, ничего не случится. Когда человек идет прямо — выдержит».

— Ничего не случится, — сказала она вслух, подтверждая свою мысль. — Не горюй, Люба. Обойдется.

Светало. Филипп Иванович сидел сбоку дороги, в картофеле, и смотрел на зарю, положив подбородок на колени. Тут и увидели его мать и жена. Он сидел к ним спиной. Любовь Ивановна упала ему на плечо и говорила:

— Филя! Не надо так. Надо держаться. Правда сильнее, Филя.

Николай Петрович после ухода женщин, с рассветом, пошел в сад, спустился к речке, постоял там и вернулся на крыльцо Филиппа Ивано-

веча. Он сел и задумался, наклонив голову. Казалось, дремал. Но он думал. Это была не первая его бессонная ночь — их было много, беспоконных и трудных бессонных ночей. Солдат революции, Галкин всегда думал, жизнь многому его научила. Взвесив все, он решил: Филипп Иванович вернется. И еще думал он о Каблучкове и о многом ином. Не перечислить всего, о чем может думать человек, отдавший всю свою жизнь народу, партии. С тех пор как он взял в руки винтовку, еще молодым рабочим, ни один день не принадлежал ему лично.

Николай Петрович услышал шаги, поднял голову и улыбнулся.

Филипп Иванович спросил:

— Испугался?

— Не то чтобы испугался, а...

— Зря. Не веришь мне?

— Как тебе сказать?.. Человек же ты... Может струна лопнуть. А натянулась она донельзя.

— Ну, пойдем в хату. Люба! Достань нам поллитровку. Спать надо. А так — не уснем,— сказал Филипп Иванович.

Он умылся. Сел за стол против Николая Петровича. И тот заметил в осунувшемся лице Филиппа Ивановича что-то новое: за ночь появилась еще морщина на лбу, но во взгляде выросла уверенность. Казалось, он постарел сразу на несколько лет, и Николай Петрович подумал: «Сам себе душу вытряс».

— Так что выдержишь? Вытерпишь? — спросил он.

Филипп Иванович кивнул головой и налил в стакан водки.

— Вот этого-то и не надо бы,— возразил Николай Петрович.

— Надо,— твердо сказала мать.— И — спать. Спать. Помогает.

— Ну что ж сделаешь, надо так надо. Не за горе, а за надежду! — Николай Петрович выпил залпом.

Они поели. Посидели немного молча. Обе женщины вышли, оставив двух мужчин наедине.

— А это уберем,— сказал Николай Петрович.— Пить больше не будем.

Филипп Иванович заткнул бутылку пробкой и поставил в шкаф.

— Может, и еще год простоят... До следующей «надежды»...— проговорил он, отходя от шкафа и снова садясь против Николая Петровича.

— Ну что ж, вера в тебе есть, сила в тебе есть — устоишь. Выдержишь.

— Трудно, друг! — Филипп Иванович поник головой на руку, лежащую на столе.— Обидно и... тяжело.

— Ну потужи, потужи... Помогает, если выскажешь. А если есть слезы — поплачь: легче, говорят.

— Нету слез. И не нужны они. Я их сегодня... последние за всю жизнь. Уже нет их. И не будет. Осталась злоба...

— И это надо. Человек, если он не умеет ненавидеть, не умеет и любить. Все это правильно. Бой только начался. Подтянись. Успокойся. Я, брат, тоже и падал и вставал, был битым и сам бил. Все было. А как-жись, правду всегда чуял.

— Я вот надумал сегодня там, в поле: правда в народе. Мы с тобой слышим эту правду. И можем выдержать любое горе.— Он помолчал, потом открыл сундук, порылся в нем, достал конверт и подал его Николаю Петровичу.— Читай. Об этом письме ты знаешь, а читать и тебе не пришлось. Мать говорит: «Читай и помни, как надо жить».

Николай Петрович вынул из конверта письмо, развернул его, надел очки и стал читать про себя. А Филипп Иванович смотрел на друга. Письмо было написано не очень грамотным человеком, корявым почерком. поэтому быстро его прочесть нельзя.

«Письмо к Егоровой Клавдии Алексеевне.— Так начиналось оно.— Пишет вам из плена солдат Степан Федотыч Чекушин. Еще кланяюсь вам, супруга моего товарища, Клавдия Алексеевна. И еще кланяюсь вашим детям, каких я тоже не знаю. И еще кланяюсь вашим родным и всем родным Ивана Ивановича Егорова. И еще кланяюсь председателю вашего колхоза. И пусть они все узнают, как по-русски помер Иван Иванович. Сам я из Пензенской области, и скоро мне помирать. А идет завтра ночью один человек из плена, убегает, а я ему даю это письмо и говорю ему, чтобы письмо было пушено на первой почте, если проберется к своим. Это я вторично пускаю письмо. Мне скоро помирать, а люди и не узнают, что было. А еще одно письмо зашито у меня в картузе: как помру, то мой картуз наденет другой товарищ, а если он помрет, то наденет третий. Так что кто-нибудь да останется жив, а картуз не пропадет и люди все равно узнают, что было. Я, наверно, остался один из тех, кто был со мной в части, а тут, в лагере, помру я обязательно, так что есть нам почти не дают, а с красной свеклы мы все не выдерживаем и начинаем пухнуть и хворать, а потом все равно умираем. И нам не страшно помирать.

А было все так.

Наш полк бился три дня и три ночи, а кругом были немцы. Осталось нас человек пятьдесят, а то и того не будет. И больше все раненые. И майор с нами пока был, товарищ Зиновьев, а других командиров побили в бою. И тот майор был поранен в голову, его перевязали без сознания, а командовать стал молоденький лейтенант Степин, и его тоже убили. А потом стал командовать старшина, но у нас кончились боеприпасы, не было ни снарядов, ни патронов.

Со мной рядом стоял Иван Иванович Егоров, ваш муж и мой товарищ до гроба. Я был поранен в грудь, а он в плечо. Так мы и попали сюда в лагерь.

Прошло полгода. Рана у Ивана Ивановича зажила. И стал он тосковать. Один раз он мне и говорит: «Убегать надо, Степа. Не могу я тут быть». А куда мне убегать, говорю ему, если я уж и подняться не могу. Он тогда и говорит: «Брошу я тебя, Степа. Не осуди». И стал он собираться. А через месяц, темной ночью, он мне сказал: «Прощай, Степа. Прощай, говорит, друг мой боевой. Если от лагеря не уйду, то напиши, говорит, по адресу письмо Клавдии Алексеевне». Ну, думаю, на смерть пошел.

А утром все увидели: повис Иван Иванович на колючей проволоке. И висел он так весь день. Не давали убирать для устрашения. Так и пропал мой друг.

А в лагере я живу уже больше года. Все мои однополчане тут пропали. Так что один я, должно быть, остался от всего полка. А потому и должен стоять, пока живой.

И еще кланяюсь вам, Клавдия Алексеевна, и прошу вас не плакать. А как вы поймете наши страдания, то не будете плакать. Так что нельзя плакать над героем вашим Иваном Ивановичем. Пушай же дети наши и наши внуки будут знать, как надо жить, чтобы спокойно было умирать, и чтобы они знали, какие были люди, такие, как мой друг дорогой Иван Иванович Егоров, рядовой девятысот пятьдесят пятого полка.

А я скоро помру обязательно. Так что письмо это пишу через силу. Но соображение еще не потерял. Прощайте. Кланяюсь вам земно. Пушай люди помнят Ивана Ивановича.

А по вот этому адресу напишите моему сыну письмо, что я помер в плену. И пусть он помнит о тяжелой доле пленных, погибших за Родину. А жена моя померла в войну, остался один сын восемнадцати лет. Может, и он теперь в солдатах. А письмо напишите, так что я уже не в силах написать.

И прошу я, перед смертью, прощения у всех родных русских людей, что не на поле брани приходится гибнуть, а на нарах и хуже скота. Рана моя и болезнь, а то бы я все равно ушел. А вам и вашим детям желаю доброго здоровья и в хозяйстве благополучия, я быть вам желаю всегда сытыми, обутыми и одетыми.

Прощайте и не осудите, добрые люди!

Девятьсот пятьдесят пятого полка рядовой Степан Чекушин.

Одна тыща девятьсот сорок третьего года, а числа не помню».

Филипп Иванович все смотрел на Николая Петровича. А тот кончил читать, посмотрел на Филиппа Ивановича, заморгал-заморгал, снял очки, встал из-за стола, отвернулся и, проведя пальцем по глазам, сказал:

— Глаза что-то... Вот уж некстати...— Он и здесь сумел сдержаться, этот сильный духом и спокойный с виду человек. Он снова сел, побарабанил пальцами по столу, задумался. Потом спросил: — Сыну-то писали?

— Мать писала. Вернулось письмо: адресата не оказалось.

— Распалась семья, значит?

— Распалась.

И снова они помолчали. И снова начал Николай Петрович:

— Отец-то коммунист?

— Да. Бригадиром работал.

Они еще помолчали. О многом надо было поговорить, и все-таки разговора не было. Бывают такие моменты в жизни, когда надо помолчать, осмыслить происшедшее, в самом себе, внутренне уложить в порядок пережитое. Только после этого появляется снова ясность мысли и четкость видения.

Перед уходом Николай Петрович сказал вопросительно:

— А может быть, мы с тобой кое-что еще и не знаем?

— Наверное,— ответил Филипп Иванович.

— Тогда вот что: спать, Филипп Иванович. Спать! А потом подумаем.— Он отошел, взялся за ручку двери и еще раз повторил: — Спать.

Глава 12

Оклеветанный

Говорят: у клеветы длинный язык, но короткие ноги. И все-таки как иногда далеко доходит она этими короткими ногами и как больно жалит сердце честного человека своим длинным языком-жалом. Еще хуже, когда человек не имеет возможности опровергнуть клевету. Тогда она оставляет саднящую рану надолго, иногда на всю жизнь.

Тяжко было Филиппу Ивановичу. Но близкие люди делили с ним горе — он не был одинок. В семье незаметно шло тепло от матери, но ему было жаль мать, перенесшую и без того слишком много горя; он чувствовал ласку жены, но ему было больно от одной мысли — как он скажет сыну, Коле, об исключении из партии, поймет ли мальчик; он с благодарностью думал о друге Николае Петровиче, но ему было не по себе от того, что, не раз битый за прямоту, его друг может оказаться битым и еще раз,— ведь после всего происшедшего Каблучков при первом же случае отстранит того от должности председателя колхоза. И еще Филиппу Ивановичу тяжело было думать о том, что колхозники могут не понять причины исключения его из партии.

С такими мыслями он и встретил следующий день.

С утра пошел в правление колхоза. Ничего не делать он не мог. По привычке он договаривался с Васей Боевым о работах на сегодняшний день, говорил о предстоящей уборке с бригадирами, отчитал их легонько за медлительность в подготовке уборочного инвентаря. День начинался

обычно. Вася, помимо прочих претензий о прицепщиках, о подвозе горячего, сообщил, что Рюхина Пал Палыча нет на работе второй день: говорят, будто заболел.

Николай Петрович, послав пару часов, уже уехал на луг и на огород: он тоже продолжал жить размеренной жизнью, в которой нет места безделью и бездумности. Колхоз продолжал жить так, будто вчера и не произошло особого события. Только отсутствие возражений со стороны бригадиров, их сочувственные взгляды с оттенком неприятной Филиппу Ивановичу жалости да особая почтительность конюхов говорили о том, что случилось. Молва пронеслась быстро. Но Филиппу Ивановичу хотелось быть среди этих людей, несмотря на то, поймут ли они случившееся или не поймут. Вспомнив о болезни Пал Палыча, он пошел его проведать. И там, у Пал Палыча, он тоже понял, что в его семье все идет своим чередом. Но одна деталь запала ему в душу.

Он вошел во двор Пал Палыча через калитку. Как всегда, хозяин был занят делом: сидел на коленях перед дровосекой и обтесывал топором высокую палку с рогулькой на конце. Рядом с ним лежала собака-дворняжка. Он и у себя во дворе оставался таким же степенным, медлительным, скупым на разговоры.

— Здорово, Пал Палыч! — приветствовал Филипп Иванович.

Тот оглянулся, посмотрел внимательно и только тогда ответил, снова продолжая работу:

— Здорово.

— Заболел, что ли?

— А что?

— Говорят мне — два дня на работу не выходил.

— А-а...

— Или что случилось другое?

— Не. Болею. Грып.

— Лежать надо.

— А?

— Лежать, говорю, надо.

— Гм... Попробуй полежи без дела два дни.

— А болит?

— И кости... И голова.

— Лечишься?

Пал Палыч сначала кивнул на дверь хаты, а уж потом, более тихим голосом, чем прежде, сказал:

— Попробуй у нее... полечись! Она-а!

— У кого?

— Да разве ж моя баба даст полечиться по-человечески? Ни в жисть!

— Не понимаю!

— А тут и понимать нечего.— Пал Палыч воткнул топор в дровосеку, внимательно посмотрел на собаку, и, кажется, улыбка мелькнула у него в усах.— Я знаю, что от гриппа — красный перец, стручок на два стакана водки, и — на ночь. Все! Как рукой.

— А в чем же дело?

— Куда та-ам! Одно пилит: «Ключекс пей».

— Что?

— Ключекс.

— А-а!.. Кальцекс!

— Ну пушай так. Пушай, а не лекарство. Разнутренность не берет — не лекарство... Не понимает, а пилит, и пилит, и пилит...

— Небось под горячую руку говоришь-то?

— А я тебе так скажу...— Пал Палыч почесал висок, надвинул козырек на глаза и указал на собаку.— Видишь — собака?

— Ну?

— Она лучше иной бабы. Ей-бо! Собака на хозяина не лает.

— Да в чем у вас дело-то? Не пойму,— снова недоумевал Филипп Иванович, пожимая плечами.

— Ей, вишь, рогульку надо — веревку подпирать, когда белье сушить.

— Ну?

— Да вот и брешет.

— И давно так-то?

— Да уж... с полгода будет.

— Ну и сделал бы.

— Вот... видишь... делаю.— И он снова стал затесывать сучья и кору у рогульки.— Если бы не заболел, так бы и не сделал до зимы. Некогда мне, кажин день на работе. Ишь ты! Я буду рогульку делать, а трактора будут стоять. Интересно!

Пал Палыч тесал, Филипп Иванович смотрел, как ловко он орудует топором. Не сразу пришла мысль: была война — Пал Палыч возил к тракторам воду днем и ночью; прошла война — он делал то же самое, только воду возил; давали по кило на трудовень — Пал Палыч ежедневно работал; давали по триста граммов — он делал то же самое. И так каждый день. Ежедневно, начиная с ранней зари и до поздней ночи. А на натруженных руках выступили хрящеватые мозоли. Замызганные брюки лоснились на нем от солнца, а картуз неопределенного цвета, пропитанный всеми составами земли, воды и керосина, тоже блестел, закрывая глаза владельца. Почему-то пришло в голову Филиппу Ивановичу: «Поделиться с ним своим несчастьем. Рассказать. Вряд ли люди, руководящие колхозом, доносили до Пал Палыча свою душу. И главное: что он скажет? Как примет?» Подумав так, он сказал:

— Не слышал, Пал Палыч, новость?

— Ай опять мериканец ватомную бомбу разорвал где? — Пал Палыч закончил свою рогульку, воткнул ее в землю, закурил и подал кiset Филиппу Ивановичу со словами: — На-ка, закури.— Видимо, он приготовился слушать новость международного масштаба.

— Нет, не бомба. А тут дело такое: из партии меня исключили.

— Как это так — исключили?

— Ну как? Исключили, и все.

— Непонятно. Насчет водки — ты не замечен. Насчет баб — никогда не слыхать. В поле — порядок, вот-вот, глядишь, и на трудовень дадут, как у людей. Кормов у нас сроду, спокон веков столько не было. Непонятно, за что же это?

— Наклеветали на меня, Пал Палыч.

— А разве ж можно из партии выгонять по навету?

— Нельзя.

— Ну, значит, все и обойдется. А ты знаешь как? Собери общее собрание колхоза и расскажи все по душам. Да позови секретаря райкома на собрание-то. А мы там и скажем, можно иль не можно.

— Этого я сделать не могу. Нельзя.

— Это как так — нельзя? Надо бы спросить и у нас. Как, мол, товарищи колхозники, заслуживает такой товарищ или не заслуживает? Отчего не так, мы в этом деле поможем им разобраться.

— Нельзя,— повторил Филипп Иванович.

— А чего же можно? Ну тогда надо жаловаться. Пиши. В центр пиши. Нельзя, дескать, выгонять, кого народ уважает...

— Как, как? — спросил Филипп Иванович.

Но Пал Палыч пояснять не стал, видимо полагая, что он сказал достаточно ясно. Но добавил:

— И можно бы написать еще: нам, мол, говорят: «Работай!», а спрашиваться у нас — ни капельки! А ведь твой Каблучков не высидит пшеницы этим самым местом.— Пал Палыч показал ладонью, каким местом не высиживают пшеницу, и утвердил окончательно: — Так и напиши. Понял? Не об одном себе пиши. Обо всем пиши. Вот и поймут — не о себе болеешь. И опять примут обратно.

Такая разговорчивость была для Пал Палыча необычной. Что-то провалось у него внутри, о чем-то он и раньше думал, а теперь вот говорит и говорит, хотя высказывается так же не спеша, как и всегда.

— Не о себе пиши. Обо всем пиши,— в раздумье повторил Филипп Иванович.

— Потому, о себе только — довольно совестно, — уточнил Пал Палыч.

На крыльцо вышла его жена, низенькая, полная и боевая старушка.

— Лукерья! — окликнул ее хозяин.— Принимай работу. Замеряй и клеймо ставь.— С этими словами он взял рогульку и потряс ею в воздухе. Потом попробовал встать, но не мог разогнуть спины. Он охнул, схватился за поясницу и проговорил тихо: — Чертов грып! Взял все-таки. Не осилил я его.

Филипп Иванович поздоровался с хозяйкой и стал «помогать» Пал Палычу:

— Лукерья Васильевна! Напрасно вы возражаете против домашнего лекарства. Говорят, помогает.

Она подошла, осмотрела рогульку и сказала:

— По медицине надо следовать. У нас свой сын фельдшер, на Дальнем Востоке.

— Ну, слухай, Лукерья! Если уж точно по медицине, то так: штуки две-три ключеку и стакан водки с перцем.

— А мне-то что? Да пусть себе пьет. Там — в сундуке,— сказала она так, будто отвечала одному Филиппу Ивановичу.

— А что ж: моя баба сто сот стоит. Мы с ней — душа в душу.— Пал Палыч, видно, признавал над собой власть жены и в общем-то не очень тяготился этим.

...Обратно Филипп Иванович шел быстро, хотелось поскорее увидеть Николая Петровича. Шел и думал: «О себе только — совестно. А я-то вчера только и думал о себе». Шел, а из головы не выходило: «Обо всем пиши. Вот и поймут».

Николая Петровича он встретил, улыбаясь. Тот даже удивился, ожидая угрюмости и, может быть, отчаяния.

— Ну как? — спросил Николай Петрович.

— Во! — ответил Филипп Иванович и показал большой палец.— Я еще не последний солдат из полка. Полк цел. Будем драться.

— Оно так-то лучше. Ну пойдем в кабинет.

И они вошли в правление.

— Главное дело,— продолжал Филипп Иванович,— написать обо всем! Писать о нарушении демократии, о положении колхозов, об агротехнике и шаблоне. Писать всё: поймут.

— Что ж, это верно. Но знаешь, что тебе скажу? Получается у нас с тобой по русской пословице: «Гром не грянет — мужик не перекрестится». Пока тебя не ударили, мы тоже охали, ахали, молчали, шептались, а не писали, не протестовали.

— Значит, надо нам исправить нашу линию! Драться по-партийному!

— Ну, давай, выкладывай, что надумал.

— Ты видишь, что в сельском хозяйстве неблагополучно, что в районной партийной организации неблагополучно? Видишь. И я вижу. И другие члены партии видят. Значит, партия видит. Понимаешь? Надо писать прямо в Москву.

— Пожалуй.

— Если даже меня и восстановят в партии, то все равно надо писать... О каблучковых, карлюках, чернохаровых, о земле, о колхозниках. Теперь я уже не могу. Злоба у меня.

— Правильно. Писать. Но не очертя голову, а с разумом. Не лбом пробивать, а мозгом.

— Ну, советуй! Николай Петрович, советуй! — сказал Филипп Иванович.

— Дай подумать. Подожди чуть... Не возражаю, готовь письмо постепенно, все давай взвесим... И дай подумать. И сам подумай. Дело-то большее. Надо сказать слово члена партии, а не обиженного. И действуй по уставу: подавай жалобу в обком на неправильное исключение. Сам поеду туда, повезу твою жалобу... Да и со старыми друзьями надо повидаться. Там есть люди поумнее нас с тобой.

И Филипп Иванович согласился с доводами Николая Петровича.

Прошел месяц. Николай Петрович вернулся из области угрюмым, молчаливым. Он не пошел к Филиппу Ивановичу, а дождался его у себя дома. Закрыв окна и ходил по комнате в полусумраке.

— Плохо дело? — спросил Филипп Иванович.

— Плохо.

— Утвердили решение бюро?

— Утвердили.

— Что еще нового?

— Секретаря обкома переводят в другую область.

— И что же?

— Каблучков остается на неопределенное время.

— Да-а... Вот это да-а... — протянул Филипп Иванович. — А что говорят умные люди?

Николай Петрович перестал ходить. Он остановился перед Филиппом Ивановичем, засунул руки в карманы пиджака и сказал:

— Езжай в Москву. Надо попасть в ЦК. Во что бы то ни стало попасть. Живи там неделю, две, три! Но попади и отдай письмо. Надо донести мнение рядовых членов партии о положении в сельском хозяйстве... Вечером приходи. Принеси письмо — еще раз подумаем.

Глава 13

Наступила осень

На другой день Филипп Иванович получил приказ Карлюка. В приказе говорилось: «Егорова Филиппа Ивановича освободить от работы по причинам, сформулированным решением бюро при исключении из партии».

Филипп Иванович пошел в правление, положил перед Николаем Петровичем приказ и сказал:

— Из партии исключен, с работы снят, что и требовалось доказать. Я свободен — можно ехать в Москву.

Николай Петрович прошелся по кабинету, постучал пальцем по барометру, потом подошел к окну и посмотрел в небо. Густые кучевые облака лезли с юго-запада всклокоченной ватной стеной.

— Видишь? — спросил он у Филиппа Ивановича. — Будет дождь.

Филипп Иванович тоже стал у окна и посмотрел в небо. Они стояли рядом, плечом к плечу. И молчали. Потом Николай Петрович сказал:

— Уборка только началась. Осень, по всем приметам, ожидается дождливая. Что я буду делать без агронома?

— Пришлют,— коротко ответил Филипп Иванович.

— Кого? Девочку со школьной скамьи? Ей еще надо годика два-три, чтобы понатореть — понять, узнать людей, почву, поля. Практика, брат ты мой, великое дело.

— Но я-то тоже был молодым,— возразил Филипп Иванович.

— А что ж, думаешь, не ломал дрова в поле?

— Ломал, конечно. Ошибался до смешного. Но это ничуть не значит, что от молодого агронома надо открешиваться.

— И это правда... Видишь ли, к чему я это все говорю,— обожди-ка ты... недельки две с поездкой в Москву. Может, хоть зерновые кончишь. А? Что ты на это скажешь?

— А это? — спросил Филипп Иванович, указав пальцем на приказ об освобождении от работы.

— А что тебе «это»? Лишен зарплаты — больше ничего. Это тебе не завод и не фабрика.

— Не понимаю,— недоумевал Филипп Иванович.— Есть-то мне и семье что-то надо?

— Обязательно.

— А к чему тут завод или фабрика?

— Очень просто. На заводе приказ об освобождении от работы есть запрещение работать на данном заводе, а не только лишение зарплаты. А в колхозе запретить работать никто не имеет права, кроме общего собрания. Ты колхозник. Зарплаты тебя лишили...

— Значит?

— Значит, надо переходить на трудодни.

— Прицепщиком разве? — серьезно спросил Филипп Иванович.

— Зачем прицепщиком?.. Полеводом. Обыкновенным полеводом, на полтора трудодня за день. Решим на общем собрании и — закон.

Филипп Иванович улыбнулся.

— Так-таки и не хочешь отпустить?

— Пожалуйста, уходи в другой район, агрономствуй,— развел руками Николай Петрович, зная, что Филипп Иванович никуда не уйдет. — Письма будешь мне писать, а я буду отвечать с запозданием. Одному мне будет не до писем.

— А я буду телеграммы слать с оплаченным ответом.

— А я тебе на оплаченные телеграммы — плачевные ответы.

Филипп Иванович вспомнил разговор с Пал Палычем и тряхнул головой.

— Все! Кроме шуток — иду на трудодень. В самом деле, к черту этот приказ! Порвем?

— Порвем,— согласился Николай Петрович.

И Филипп Иванович тут же разодрал бумажку на несколько частей. Вошел почтальон, положил газеты на стол и вышел. Николай Петрович развернул газету, пробежал глазами и, не выпуская ее из рук, выскок из-за стола.

— Филипп Иванович! — вскрикнул он.

— А ну? Что?

Оба облокотились на стол и плечом к плечу наклонились над газетой. Оба сразу прочитали одновременно: «На днях состоялся пленум ЦК КПСС. Постановление... принятое седьмого сентября». Потом в комнате было тихо. Долго было тихо. Наконец оба выпрямились, радостно посмотрели друг на друга и крепко пожали руки.

Они согласились на том, что Филипп Иванович задержится с поездкой в Москву «недельки на две». Да и сам он теперь считал, что в его письме еще не все сказано, что надо еще и еще над ним думать, дополнять, исправлять.

...Пришла осень. Давно уже прошли те самые «недельки две». Убор-

ка, хлебодача, осенний сев, зябь, силосование кормов — все это в колхозе идет одновременно. И все надо успеть сделать вовремя. Помимо того, Филипп Иванович убрал урожай на опытных делянках, заложил опыт с озимой пшеницей по трем видам паров. Он рассчитывал в конце сентября отправиться в Москву. Но... пошли дожди.

Что такое дожди в сентябре для колхоза?

В поле стоит неубранным красно-бурое просо, тоскливо поникая метелками; стоит огромное, в триста гектаров, поле подсолнечника; лежит в земле картофель. И ни к чему нельзя прикоснуться: комбайны не могут даже стронуться с места, а не то чтобы косить; из жидкой грязи не выпашешь картофеля. Ветер ломает просо, и на глазах урожай уходит обратно в землю. Шляпки подсолнечника начинают загнивать, пораженные болезнью — склероцинией. На токах лежат вороха зерна под открытым небом. С неба — дождь. А из района телефонограммы: «Не обеспечили уборку», «Не выполнили в срок план поставок». «Срываете план хлебозакупок», «Тянете назад весь район» (каждому колхозу), «Будут приняты строгие меры»... И так далее. А хлеб гибнет, не подчиняясь строгим телефонограммам. И душу председателя колхоза уже не тревожат телефонограммы, не оставляют следа бессмысленные в такое ненастье прения на бюро насчет погоды. И не очень-то тревожит ожидание неизбежного «предупредить», или «поставить на вид», или «вынести выговор». Что сделаешь с погодой! Поле — не завод. А небо — мутное, серое или тревожно-косматое — остается небом. Из него то через мелкое сито сыплется водяная пыль, то льет и хлещет косыми веревками густой ливень, оставляя пузыри на лужах. Кажется, кто-то заквасил землю и небо и пучит их пузырями.

И холодно! Холодно сидеть в поле под комбайном, прикрываясь соломой. Только и остается — зарыться в мокрой копне поглубже и попробовать еще раз спать. Дрожко! Очень дрожко сидеть женщинам на току, в ватниках, прижимаясь друг к другу молча в ожидании погожего часа. Очень муторно жить в эти дни трактористу в дошатай будке и посматривать на обмытые дождем безмолвные тракторы, на гусеницах которых уже прилепилась легкая ржавчина. А дождь идет. Ползет туча за тучей, туча на тучу. Льет вода сверху на воду снизу. Мокро. Холодно. Сиверко. Жалко хлеба. Так жалко, черт возьми, что хочется грозить кулаком в небо... Мрачные мысли. Зачем скрывать — тоскливо в такую осень! Это не золотая осень, вослетая много раз, это мокрая ранняя осень, от которой человек со слабой душой и беспокойным сердцем может махнуть рукой, плюнуть и — черт бы все побрал! — запить горькую, пока не проглянет солнышко. Недаром в такую погоду самогонщики работают с полной нагрузкой.

Скользко. И темно. И дождь все идет, идет и идет. Хлеб гибнет.

Вот что такое ранняя дождливая осень в колхозе.

В такие-то вот дни Николай Петрович даже почернел от забот и холодной слякоти. Но на бюро постоянно хмуро молчал или коротко говорил: «Постараемся...», «Будем прилагать все силы...», «Выпривимся...»

Однажды при снятии очередной «стружки» Каблучков сказал:

— Умышленно задерживаешь хлеб. Пригрел под крылышком исключенного Егорова.

На этот раз Николай Петрович получил выговор, принял его молча и уехал снова под дождь. Филиппу Ивановичу он об этих словах Каблучкова ничего не сказал — пожалел.

А Филипп Иванович схватывал любой погожий час, мотался верхом по полям и токам, в плаще, севшем коробом. Он скакал в отряд и направлял трактор на склон или супесь, где можно было помаленьку пахать, и простуженным голосом хрипел:

— Вася! Будь другом, паши в десятом. Супесь — пойдет. Отними один корпус, облегчи. Иначе дело табак. Не управимся с зябью, тогда на будущий год — зубы на полку.

— А куда будем девать перерасход горючего? — спрашивал кто-нибудь из трактористов.

— Натягивайте на других работах, но зябь чтобы была. Как вы не поймете простой вещи! Вот этот хлеб, — он указывал на просо, — подготовлен в прошлом году вами же, хорошей зябью. Ребята, не надо сердчать. Прошу. — Он подсаживался к самому молодому трактористу, Сереже, запросто обхватывал его за плечи и спрашивал: — Ну? Понатужимся?

— Понатужимся, — отвечал тот баском. — Раз надо, значит надо.

— Понятно? — обращался уже ко всем Филипп Иванович и улыбался.

И трактористы знали, что этот простуженный агроном с потрескавшимися губами, обросший щетиной, не будет говорить много и долго, но уедет из отряда только вместе с трактором и будет проходить с ними первую борозду, пока не убедится, что на супеси пахать можно.

Филипп Иванович пробовал — регулировал глубину, отнимал вместе с трактористом и прицепщиком корпус и торопил, торопил:

— Хватайте каждый час. В день по два-три часа урвать — за неделю наберется двадцать часов, а это целых три смены. А глубину на супеси больше шестнадцати сантиметров и не надо. Неглубокая зябь лучше всякой весновспашки.

— А нам было указание — на двадцать пять, — говорит Сережка.

— Ну тут уж моя ответственность. В случае чего, так прямо и сваливай на меня. Мне теперь не страшно.

Как-никак, а Филипп Иванович «выбивал» за неделю тридцать — сорок гектаров зяби. «Нельзя уехать, пока зябь не будет закончена», — думал он, отъезжая от тракторов. И скакал на ток: скорее, пока дождя нет!

На токах он действительно «тормозил». По его настоянию и совету работа «в солнечных просветах» была сосредоточена на одном току из четырех.

— Не трогать ворохов! — хрипел он натуженно. — Зерно промокнет только сверху. А тронь ворох, перемешай — пропало все.

И он ехал с несколькими колхозниками на три других тока, показывая, как надо окопать ворох канавкой и отвести сток, чтобы вода не подошла снизу. Он запретил накрывать эти вороха соломой, так как заметил, что под мокрой соломой зерно запаривается в глубину быстрее. А уезжая с токов, думал: «Нельзя уехать из колхоза, пока не сохраним зерно».

На том току, где сосредоточена основная рабочая сила трех бригад, «солнечные просветы» использовались так. Филипп Иванович расставил живой конвейер от ворохов до сарая: сверху, с одной стороны вороха, удаляли мокрое зерно, брали его ведрами, и из рук в руки ведро шло в сарай, к веялкам. Навейнное отвозили в зернохранилище на тракторе (автомобили не проходили по грязи). Как только находил дождь, ворох заравнивали, работа прекращалась и все снова сидели. Часто проходил в мучительном безделье колхозников весь день. Но с поля уходило нельзя — вдруг выпадет час. И снова Филипп Иванович убеждался: «Уехать в Москву сейчас нельзя».

А Николай Петрович изворачивался и возил хлебопоставки, возил помаленьку, но систематически. Пять-шесть подвод, запряженных тройками, ежедневно отправлялись на станцию с хлебом. Больше нельзя было — не было брезентов, да и сухого хлеба больше этого количества не наготовишь в такую погоду. И еще корма надо подвозить скоту. Транс-

порта не хватало, людей не хватало, поэтому он тоже, как и Филипп Иванович, метался по хозяйству с утра до вечера. И думал: «Что бы я делал без Филиппа Ивановича? Разорвался бы на две части».

Потом выпадало несколько ведренных дней, и Филипп Иванович набрасывался на комбайнеров, ладил с ними машины и торопил. Потом вдруг снова дождь, снова слякоть, мокрая спина, огрубевший плащ и колючие мурашки по спине. Бр-р-р!

Один из ворохов, накрытый ранее, в начале дождей, начал «гореть». Филипп Иванович увидел тонкие, еле заметные струйки пара. Он соскочил с седла, сунул руку в зерно по самое плечо, взял в горсть и выругался. Зерно было горячим на всю глубину вороха — пшеница горит. Он постоял-постоял около вороха, потом обошел его вокруг, прикинул на глаз — центнеров четыреста! — и погрозил кулаком в небо.

— Раскисло! — зло бросил он, обходя ворох.

Казалось, он был бессилен, поэтому обозлился на весь белый свет. Дождь стучал по плащу, плескался в лужицах. А Филипп Иванович не уходил с тока — думал. И вдруг его осенила мысль. Он вскочил в седло и поскакал в село к Николаю Петровичу. Нашел он его около фермы, повязанного вокруг шеи шерстяным платком (он тоже простудился и покашливал).

— Вот, брат ты мой, занемог не к сроку, — сказал он.

— Надо лечь, — угрюмо сказал Филипп Иванович.

— А сам хрипишь — ничего?

— А черт бы меня взял, — снова с такой же мрачностью сказал Филипп Иванович.

— Вижу, с бедой прибыл. С чем прискакал?

Филипп Иванович помолчал и ответил:

— Горит.

— Где?

— На третьем току.

Николай Петрович подумал, смотря в землю, и спросил:

— Говори сразу. Что надумал?

— Взорвать небо! — со злобой воскликнул Филипп Иванович.

— Да брось ты, пожалуйста, злиться. Не желаю я с тобой сейчас ругаться. Ну?

Филипп Иванович заметил в глазах Николая Петровича болезненный блеск — видно, его температурило.

— Вот и ну... Ложиться тебе надо, Николай Петрович, — уже более мирно сказал Филипп Иванович.

— Хлеб будет гореть, а я буду лежать. Покорно благодарю!

— То, что я надумал, потребует хлопот.

— Ну?

— Перенести крытый ток с усадьбы.

— А ты не рехнулся?

— Возможно.

— Выкладывай. Не злись. Самому тошно.

— Чтобы перевезти ворох к крытому току, где кончаем веять, надо двадцать рейсов трактора. Никто нам не даст для этой цели тракторов — мы и без того Васе Боеву навалили перерасход. Перевезти на лошадях в этакую слякоть — и думать нечего. Ну, допустим, возьмем трактор. И все равно потребуется двадцать — двадцать пять рейсов, неделю будем валандаться и еще больше перемочим хлеб. А чтобы перенести крытый ток, надо только четыре рейса — один день. Сегодня же приготовить ямы для столбов, завтра перевезти. Солома для крыши там, на месте. Работать, несмотря на дождь. Зерно — под крышу, и веять, ворошить, еще раз веять. Спасем хлеб.

— Не хлеб к сараю, а сарай к хлебу? Наоборот?

— А мне сегодня и пришла мысль: изобрести переносный крытый ток. Просто ведь, а никто же подумал из строителей.

— Ну что ж, пожалуй, давай согласимся. Попробуем.

Всех мужчин, кроме животноводов, перебросили на аврал. За два дня ток был готов. Хлеб спасли, но годен он был только на фураж. А крытый ток так и остался в поле — решили не возвращать его на старое место, а в будущем году построить новый. Филипп Иванович уже набрасывал на ходу схему будущего переносного крытого тока.

Так ежедневно находились дела неотложные, такие, от которых зависела судьба колхоза в этом и будущем году. Оба друга знали, что в такое трудное и горячее время года отлучаться ни тому ни другому нельзя.

Так прошла и половина ноября. Ударили морозы. Колхозники закутались кто во что, зимние кожаные пальто замелькали в поле — то на подсолнечнике, то на кукурузе. У комбайнеров полопались и кровоточили пальцы, у девчат облупились обветренные носы, старики ходили красноглазые, закрываясь рукавицей от ветра. Но хлеб весь был убран. И в этом была большая доля труда и Филиппа Ивановича. От всяких же выговоров, неизбежных в такую осень, Филипп Иванович был избавлен, он был обыкновенным колхозником.

И только уже зимой, получив на трудодни деньги, Филипп Иванович собрался в Москву.

Николай Петрович несколько ночей просидел над письмом новому секретарю обкома, выпросил у Клавдии Алексеевны письмо Степана Чекушина и приложил его к своему. По пути в Москву Филипп Иванович заехал к Герасиму Ильичу Масловскому. Тот написал от себя лично письмо в ЦК партии обо всем, что тяготило душу честного ученого.

В Москву ехал бывший агроном, исключенный из партии и снятый с работы. Он упорно продолжал считать себя членом партии.

Глава 14

День рождения

Давно мы расстались с Карпом Степанычем Карлюком. Как вы помните, мы расстались с ним тогда, когда он лег спать после трудового дня, опустив три конверта в почтовый ящик. Он выполнил все, что задумал. Егоров теперь не опасен: «Личное дело» осталось чистым, как слеза грудного ребенка. Карлюк был уверен в том, что Егорову уже никто не поверит: опороченный человек теряет веру в глазах других. Карлюк победил. Благодаря Каблучкову борьба с Егоровым была теперь уже пройденным этапом.

За этот прошедший год Карп Степаныч собрал массу материалов для докторской диссертации и предполагал в ближайшие дни сделать на ученом совете сообщение об итогах исследований в своей теме. А предварительное сообщение, если оно принято с одобрением, — уже половина дела. Теперь требовалось предварительное угощение, ибо предварительное сообщение без предварительного угощения Карп Степаныч себе представить не мог. Такая уж у него была щедрая натура. В этом не могло быть никакого сомнения. Вот почему, когда Изида Ерофеевна пробовала возразить против расходов, он и повторил супруге любимое изречение:

— Из всех подражаний самое трудное — быть щедрым.

Изида Ерофеевна возражать в данном случае не стала и согласилась.

Каждый понимает, что нельзя же просто так сделать: позвал и угостил. В науке еще не дошли до той милой «простоты», как, скажем,

в ином колхозе. Там так: кликнул в окно бригадира — и ставят на стол «полмитрича». Войдет бригадир, поздороваается, увидит бутылку и спросит: «Чего просишь?» Ему отвечают тут же: «Подводу — в лес». Тогда он выпьет пару стаканов и скажет вежливо: «Можно». И все. В науке же на этот счет имеются свои законы, правила, никем не писанные инструкции. Тут полагается делать так: придумывается какая-то знаменательная дата в семействе и приглашаются нужные люди. Лучше всего подходит для таких случаев день рождения — отца, матери, любого из детей, внуков, племянников, сестер, дедушек, бабушек, если таковые имеются в наличии. Но войдите в положение Карпа Степаныча: его день рождения уже отмечался официально (с теми же лицами), день рождения Изиды Ерофеевны тоже достаточно известен. Чей, спрашивается, день рождения праздновать? Не мог же Карп Степаныч родиться дважды! Да и кто позволит?

Трудное получалось положение у Карпа Степаныча. В поисках решения задачи он ходил из угла в угол, а супруга сидела, прислонившись щекой к комоду.

— Момент упущен, — сказал Карп Степаныч, как и обычно, приходя в отчаяние. — Послезавтра предварительное сообщение делать. Остается только один день.

— А ты бы, Карик, на свой день рождения и договаривался бы.

— Интересно! За полгода вперед! Да они и за две недели забыть могут... Люди же. И люди занятые.

— Правда... Ну что же придумать? Что придумать? — ломала голову Изида Ерофеевна.

Так они и легли спать, ничего не решив окончательно.

И только глубокой ночью Изида Ерофеевна придумала. Она толкнула мужа в бок и спросила:

— Спишь?

— Нет. Не до сна.

— Не придумал?

— Нет.

— А я придумала.

Карп Степаныч поднялся на локоть и приготовился слушать. Но вместо посвящения в свои мысли Изида Ерофеевна сказала так:

— Все будет хорошо. День рождения будет. Да еще как все обернется хорошо. Это будет очень интересно! Ах, как все будут довольны! Давай скажу на ушко. — И она прошептала ему что-то так тихо, будто боялась, что их подслушают и перехватят секрет.

— Тут что-то... не то, — запротестовал сперва Карп Степаныч.

— То! Именно то! И не думай возражать. Я знаю людей лучше тебя. Это будет очень интересно!

А утром началась лихорадочная подготовка к вечеру.

Приглашены три нужных человека.

Вечером стали собираться гости.

Первым вошел Чернохаров и сказал:

— Приветствую вас, дорогой! Приветствую вас, дорогая! И поздравляю вас и... гм... этого, именинника. Гм... — Он оглянулся по сторонам и, не увидев никого кроме, сказал еще раз: — Гм... — И сел за стол. Затем развернул журнал «Крокодил» и стал рассматривать картинки, слегка потряхивая животом, то есть улыбаясь.

— Насчет именинника, Ефим Тарасович, это сюрприз, — кокетливо сказала Изида Ерофеевна.

— Что ж... Интересно... Гм... — А рассмотревши бесцеремонно кругленькую и приятную фигуру хозяйки, еще раз повторил: — Гм...

И Изида Ерофеевна улыбнулась, потупив очи. У нее это получалось очень здорово!

Вторым вошел доцент Святохин. Скажем по душам: смиреннейшая личность! Личико у него маленькое, остренькое и весьма скромненькое, с просвечивающим носиком и часто моргающими глазками. Он всегда улыбался и был в высшей степени почтительным везде и всегда. Рассказывают про него такое: когда воры потребовали у него на темной улице часы, он им сказал: «Будьте любезны! Я вас понимаю отлично и отношусь с уважением к личности. Пожалуйста!» На научных убеждениях Святохина мы остановимся несколько позже — не время и не место говорить о делах, когда люди пришли отдыхать. Итак, вторым вошел Святохин. Он шаркнул ножкой, подошел к хозяйке дома и поцеловал ручку. Затем по возможности крепче пожал руку хозяину, потом, наклонившись почтительно голову, чуть-чуть пожал руку Чернохарову, будто боясь причинить ему боль своей немощной ручечкой. И только после такой процедуры произнес тихо-тихо:

— Уважаемые Карп Степаныч и Изида Ерофеевна! Я весьма польщен приглашением. Поздравляю вас с именинником. И разрешите преподнести ему...

Изида Ерофеевна перебила его восклицанием:

— Ах, ах! Это после, после! — И, подморгнув ему, пояснила: — Здесь маленькая шутка. Игра в сюрприз.

— Не поним... То есть будьте любезны! Пожалуйста!

Рассыпаться ему в вежливых выражениях не пришлось, так как вошел Столбоверстов. Это был сильный на вид и крепкий духом человек. Он был прям и высок фигурой, что сочеталось с прямоотой характера и высокими принципами. Он не знал различия между инициативой и ловкостью, напористостью и нахальством, а, смешав эти понятия в одно, шествовал по научному миру с вытянутым вперед указательным перстом, беспепелляционно указывая им на противников науки. Но об этом опять же после. Личность Столбоверстова как профессора и как человека представляла следующую: брит кругом, кругл головой, сух, морщины не омрачали лица ни в одном месте, а глаза, будучи навывкате, казалось, видели и спереди, и сбоку, и чуть-чуть позади; голос — могучий бас, но говорил Столбоверстов сдержанно, тихо, как в пустую бочку; очков не носил, что тоже представляло собой исключение из правил в научном мире; не стар — лет сорока пяти, что тоже исключение, так как быть профессором в сорок пять лет — явление не очень частое: в этом возрасте подавляющее большинство ходит в доцентах. Здесь он далеко-далеко обогнал Карпа Степаныча Карлюка, но сочувствовал ему и помогал достигать.

Столбоверстов не спеша поцеловал руку у Изиды Ерофеевны, пожал слегка руки мужчинам, отчего бедняга Святохин чуть не взвыл, но стерпел и сказал:

— Будьте любезны! Пожалуйста!

— Поздравляю! Поздравляю! — пробубнил вошедший. — Рад. Рад. Рад увидеться. Очень рад.

В общем, все гости пришли точно к назначенному времени. Стол был накрыт заранее. По приглашению хозяйки все сели. Но гости обратили внимание на то, что один стул остался пустым.

— Кого нет? — спросил Чернохаров.

— Почему пустой? — ткнул пальцем в пустое место за столом Столбоверстов.

— Не обижаем ли мы кого-либо, садясь — простите! — заранее? — скромно осведомился Святохин.

Карп Степаныч ответил на все три вопроса разом:

— Вот... Она руководит. Она и речь скажет. — И указал на супругу.

Изида Ерофеевна так старалась казаться симпатичной, так старалась, что буквально вылезала из собственной кожи. Она держала оба

мизинца оттопыренными, вздрагивала плечами, поправляла на груди кофточку и обаятельно улыбалась, растягивая губы возможно шире, как это делают красавицы на фотографиях.

— Милые наши друзья! — начала Изида Ерофеевна, встав за столом. — Вы люди ученые, умные и занятые. И вам надо отдыхать. Встряхивать нервы. Я хочу, чтобы вам было весело. И мы придумали отметить необычный день рождения. — Тут она обвела всех чуть прищуренными глазами и сообщила главное: — Ровно тринадцать лет тому назад Карп Степаныч вступил в науку и прочными ногами стал топтать по ней дорогу. В тот день он стал кандидатом наук. Сегодня день рождения научного работника.

При этом умный старик Джон вскочил на стул позади хозяйки, повалил хвостом и с размаху лизнул Святохина в щеку.

— Ох! — воскликнул Святохин. Но немедленно поправился: — Пожалуйста! — И вежливо кивнул головой хозяйке.

— Ну что ж! — гаркнул Столбоверстов. — Нальем за рождение научного работника, дорогого Карпа Степаныча.

— Пожалуйста! — откликнулся Святохин на призыв коллеги. — За рождение научного работника! Это весьма оригинально. Каждый ученый должен бы отмечать день своего научного рождения.

Тем временем Изида Ерофеевна уже налила стаканы, и гости выпили, поддержав тост. Сперва молчали, ели, а потом «пропустили» по второй, потом — по третьей и так далее. И вдруг Святохин вежливо, но уже чрезвычайно весело спросил у всех:

— Друзья! А как же подарки? Мы ведь думали...

— Любой подарок приятен от таких дорогих гостей, — сказал Карп Степаныч.

— Да! — воскликнул Столбоверстов. — Поздравляю! — Он положил перед Карпом Степанычем коробку шоколадных конфет и фарфоровую статуэтку балерины.

— Приветствую! — пискнул Святохин. И преподнес тоже коробку конфет.

— Поздравляю вас, дорогой! — сказал Чернохаров и подарил фигурку шелковистой собачки. — Я лично тоже люблю собак. Гм...

— За рождение кандидата! — вскричал басом Столбоверстов, поднимая стакан.

— За Карпа Степаныча! — пропищал Святохин.

— За рождение того, кто хозяин стола! — разразился тостом Чернохаров. — За вторжение его в науку.

Карп Степаныч кланялся. Изида Ерофеевна тоже кланялась, улыбалась и гладила Джона, сидевшего позади нее.

— Пей, Карпо! — кричал Столбоверстов панибратски.

— За науку и для науки! — чуть не плача, вопил Святохин.

— Сам-то пей до дна! — обращался Чернохаров к Карпу Степанычу.

И Карп Степаныч исполнял желание учителя: пил до дна так, что забыл даже говорить о деле, о завтрашнем предварительном сообщении. Наоборот, запел «Шумел камыш». Все подхватили и тоже пели по мере своих талантов в вокальном искусстве. Джон подвывал. Все шло хорошо и весело. Святохин сыграл даже дробь на двух ложках (к чему у него был большой талант), Чернохаров сплясал, не вставая со стула и выделявая кадрели ногами под столом. Изида Ерофеевна спела «Ой, ку-мушка».

— Нет! До чего же приятно! — умилился Святохин. — Истинное наслаждение! Умилительно! Душа моя поет вместе с вами, дорогая Изида Ерофеевна!

— Спасибо вам, милая! Спасибо и за вечер и за песни! За все спасибо! — восторгался Столбоверстов, обнимая хозяйку за талию и не обращая внимания на ревнивое ворчание Джона.

— Ух! Гады! — вдруг рывкнул Чернохаров и ударил кулаком по столу так, что подпрыгнули рюмки. — Засорят науку всяким дерьмом!

— Это вы... про кого? — спросил оторопевший Святохин.

— О чем вы? — насторожился Столбоверстов, стараясь сквозь хмель понять.

— Ефим Тарасович! — воскликнул Карп Степаныч.

— Ой, ой! Дорогой мой! — умильно воскликнула Изида Ерофеевна и обняла рядом сидевшего Чернохарова. — Что с вами?

— Противников науки надо не просто выгонять, а... сажать! Сажать! В тюрьму! В тюрьму-у! — И Чернохаров выкрикнул несколько бранных, весьма крепких слов.

Вполне возможно, что после этого и завязался бы ученый разговор о науке и предварительном сообщении Карлюка, так как Чернохарова, может быть, все и успокоили бы, согласившись с его вескими доводами, выразившимися в разбитии трех тарелок. Так что разговор о науке мог быть. Но тут произошло совершенно неожиданное и никем не планированное событие.

Когда Чернохаров ударил третью тарелку, Джон не выдержал: он рванул за рукав буйного профессора так сильно, что вырвал клоч материи шириной в ладонь.

Все встали как по команде.

Чернохаров, покачиваясь, подошел к собаке, схватил ее за шиворот, поднял в воздух и зарычал:

— У, гадина! Св-волочь! — Он поволок Джона за дверь, потом на улицу, а там трепал несчастного пса и кричал: — Я ученый, черт возьми! Соб-бака и наука! На-у-ка-а! Карлюк, мой ученик, позорит науку! Ненавижу собак!

Хозяин и гости выскочили на улицу, уговаривая взбунтовавшегося вновь Чернохарова.

А когда кое-как развезли гостей на такси по домам, Карп Степаныч обхватил голову руками и, поникнув на стол, простонал:

— Я... так... и знал. Знал, что-то получится. Что мы наделали!

— Карик! — плакала Изида Ерофеевна. — Карик! — И ничего не могла досказать.

— Я знал: тринадцать — чертова цифра! Так и есть. И как это я не догадался?!

— Карик! — рыдала супруга. — Все обойдется, Карик! — Она, всхлипывая, предложила: — Может быть, нам второй раз сделать рождение?

— Второй раз — это уже не рождение!! — взревел Карп Степаныч и замахнулся кулаком, будучи весьма хмельным. — Ух!

Вот тут-то и проснулось самолюбие жены. Она уперла руки в бока, сжала зубки и, наступая на мужа, зачистила:

— Ах ты мразь! Дурень безмозглый! Ты перед кем рассыпаешься? Кто они? Они сами пролезли в науку через черный ход, а потом растолкали других и изображают. И пусть! Пусть Джон им выложил свои соображения. Не боюсь! К черту! Плевать я хотела на твоего Чертохарова! — визжала она, нарочно уродуя фамилию уважаемого учителя.

Карп Степаныч сперва опешил от такой пулеметной очереди, но потом со злобой сказал:

— Как ты была баба, так и есть баба. Тьфу! — Он плюнул в сторону.

— Что-о?! А ну повтори, безмозглый! — Изида Ерофеевна вдруг начала молотить мужа кулаками, потом книжкой по голове, так что он и руки ее не успевал отвести, бедный.

Потом Карп Степаныч уснул, так и не раздеваясь.

А ночью Изида Ерофеевна тихонько раздела его, накрыла одеялом и плакала. Плакала над ним, как над покойником. Потом тихонько звала, крадучись по комнате:

— Джон! Джон! Где ты? Замучила нас с тобой чертова наука. Господи, неужели же тебе трудно сделать Карпа Степаныча доктором? Ты все можешь — сделай! — молилась она на ходу и снова звала: — Джон! Где ты?

Бедный Джон! Он забился в угол, вздрагивая всем телом. Вызвать его оттуда не было никакой возможности, так напугал его Чернохаров.

Настало утро. Карп Степаныч встал поздно, в одиннадцать часов дня. Голова была тяжелая, на душе было скверно — так скверно, будто сам черт ходил там своими когтистыми лапами. Карп Степаныч умылся. Молча сел пить кофе. Супруга тоже молчала. Неизвестно, чем бы вся эта тягость кончилась, если бы неожиданно не вошел... — кто бы, вы думали? — ...вошел Чернохаров в сопровождении Святохина.

Карп Степаныч встал и согнулся в поклоне. Изида Ерофеевна растерялась. А Чернохаров сказал:

— Приветствую вас, дорогой!.. Вчера я... Гм... Накуролесил. Уж как-нибудь... Гм... Извините.

— Дорогой Ефим Тарасович! — воскликнул Карп Степаныч и обнял Чернохарова. — Что вы, что вы! Я, только я, считаю себя виноватым. Только я!

— Говорил вам когда-то: не надо мне... Гм... Давать много питья. Гм...

— Все хорошо, — шептал Святохин. — Все хорошо. Ну выпили, ну отдохнули. Кто ее не пьет? Все пьют. С кем грех не бывает? Бывает, простите, со всеми. Будьте лю...

— Ну как же? — перебил его Чернохаров, обращаясь все так же к Карлюку. — Мир?

— Мир! — патетически воскликнул Карп Степаныч, тронутый великодушием учителя.

— И ничего не было? Гм...

— Ничего не было. И не вы кричали на улице, а кто-то другой.

— Я, например, ничего не слышал, — подтвердил Святохин.

— Ну... пойду... Желая сегодня успеха. Гм...

— А вы будете там? — спросил Карп Степаныч Чернохарова, бросив взгляд и на Святохина.

— Обязательно, — сказали оба. — До шести!

— До шести вечера! — попрощался и Карп Степаныч. — Надеюсь.

И ушли.

Изида Ерофеевна бросилась к мужу в объятия и говорила:

— Вот видишь, как все обошлось. Я говорила?

— Говорила. Умница. Даже лучше сделалось, чем мы хотели.

— Как так?

— Да ведь он же чувствует себя в какой-то степени виноватым. Понимаешь?

Карп Степаныч тут же, немедленно, сел за стол и записал еще одно правило защиты диссертации:

«Если намеченный тобою официальный оппонент чем-либо тебе обязан, или в чем-либо виноват перед тобою и тяготится этим, или (что то же) чем-либо шапакостил тебе и не знает, как искупить вину, то бери его обязательно: сделает».

День прошел хорошо. А к шести Карп Степаныч пошел делать сообщение. И все-таки было очень боязно: как-никак предстояло сообщение

об исследованиях материалов и сводок. Это — начало докторской диссертации. Пробный камень!

И когда все эти опасения Карп Степаныч высказал Изиде Ерофеевне перед выходом из квартиры, супруга произнесла:

— Господи, благослови!

Глава 15

Смотря с затылка, или разные направления в сельскохозяйственной науке

В тот самый день, когда Карлюку предстояло делать сообщение, в городе появился Филипп Иванович Егоров. Он вернулся из вторичной поездки в Москву, куда ездил по вызову ЦК партии.

Было пять часов дня. С вокзала немедленно направился к профессору Масловскому. Дома его не оказалось. Мария Степановна сообщила Филиппу Ивановичу, что профессор ушел на научный совет — слушать доклад Карлюка. Не долго думая, Филипп Иванович отправился туда же, оставив у Марии Степановны чемоданчик.

Филипп Иванович чуть-чуть опоздал — заседание ученых началось. Он остановился перед дверью малого зала и прочитал объявление, прикрепленное кнопками:

«Сегодня состоится очередное собрание научных работников, на котором кандидат с/х наук Карлюк К. С. сделает предварительное сообщение о дополнительных исследованиях в области кормодобывания.

Приглашаются все научные работники и все желающие.

Начало в 18 часов».

«Значит, можно и мне», — подумал Филипп Иванович и вошел в зал. Свободное место осталось в самом заднем ряду. Он тихо, на цыпочках, прошел туда и сел. На соседнем с ним стуле сидел... Ираклий Кириянович Подсушка и по обыкновению поедал глазами кафедру, откуда докладывал его непосредственный начальник, Карлюк Карп Степаныч. Как мы уже сообщали, товарищ Подсушка от рождения и до настоящих дней был тош. Посему шея его отстояла от воротника на весьма почтительном расстоянии и поворачивалась бесшумно по первому требованию начальства. Такова была у него конструкция тела. Подсушка слушал глубокомысленно.

Карп Степаныч читал интересное для производства сообщение: «К вопросу о проблемах замены овса тыквой и помидорами для скармливания конскому поголовью и расчеты потребности тыквопомидоропродукции для центрально-черноземной зоны в кормовых единицах». Все шло как и полагается. Стояла тишина.

Поскольку Филипп Иванович очутился в самом заднем ряду, перед ним во множестве расположились затылки ученых. Филипп Иванович подумал в удивлении: «Какие бывают затылки! Громадный ассортимент! Смотришь человеку в затылок и толком не знаешь, какой у него там ум и есть ли там ум вообще». Подобные не очень-то уж серьезные мысли завладели им полностью. Так иногда бывает, когда неудобно засыпать, как говорится, с ходу. О проблемах тыквозамены он еще не слышал ни разу, но особого интереса к этой теме не проявил. И рассматривал затылки. Конечно, подавляющее большинство затылков были обыкновенными, но были здесь и особые, выдающиеся. Так Филипп Иванович обвел взглядом всех и наконец остановился на отдельных личностях, на тех, что знал отлично, и стал их рассматривать с тыловой стороны. Из множества голов он отметил только пять. Зато каких!

У ученого Чернохарова затылок очень похож на печной чугунок: бей кочергой — не прошибешь! Филипп Иванович очень хорошо знал, что

в одной стороне этой головы уместилась вся травопольная система земледелия целиком, а вторая половина ничем не замещена. Именно поэтому Чернохаров не признавал никаких сельскохозяйственных культур, кроме трав.

У профессора Плевелухина, наоборот, затылок изрезан мелкими складками. Он выдвинул лозунг: «Уничтожим всякие травы с лица земли нашей!» В общем, никакой середины Чернохаров и Плевелухин не признавали. По сему случаю все подчиненные этих ученых и все диссертанты и даже студенты шарахались от одного профессора к другому, стучаясь иной раз лбами; а выходя из института, толком не знали — что же, собственно, осталось в голове. Как известно, мыслительная способность битого лба резко понижается, и человек в таком случае успокаивается либо на одной шишке, либо на второй, смотря по стечению обстоятельств.

На затылке доцента Святохина — смиреннейшего из ученых — Филипп Иванович не стал долго задерживаться: голова его была настолько свежа и чиста, что ни единой волосинки на ней уже не осталось. Это очень уважительный человек, соглашающийся со всеми, в том числе и с Плевелухиным и Чернохаровым одновременно. Очень приятный человек! Его лба никогда никто и нигде не бил, и он достиг научных степеней без особых волнений. О лысине Святохина, вообще-то говоря, ходили разные слухи в научном мире. Одни говорили, что ему за правду, выражающуюся в особой почтительности к авторитетам, бог головы прибавил; другие, наоборот, говорили, что пустой шалаш и крыть нечего. Филипп Иванович в данном случае стал на принципиальную точку зрения самого Святохина и в вопросе оценки его лысины решил: «Вероятно, правы и те и другие».

Больше других остановил внимание затылок доктора сельскохозяйственных наук Столбоверстова. Редкие коротенькие щетинки-шипики на бритой голове создавали такое впечатление, будто весь затылок усижен мушками дрозофилами, о коих он успешно когда-то защитил докторскую диссертацию и достиг всего, чего следует достигать в таких случаях. А с очень глупой головой это, конечно, невозможно. Взять хотя бы его карьеру. На «кариотипической структуре мушки дрозофиллы» он сидел прочно несколько лет подряд. Но когда понял, что ветер шевелит волосы не с той стороны (тогда у него еще был редкий пушок на голове), он ошетинился, и на затылке появились короткие шипы. А что означает «ошетинился» на языке такого ученого? А это значит, что он проклял несчастную малютку, мушку дрозофиллу, не выполнил клятвенного обещания поставить ей памятник, отказался от нее публично, признал ее главным тормозом в науке, обругал черным словом как самую обыкновенную поганую зеленую муху. И стал после этого называть всех противников своего нового убеждения менделистами, или органистами, или менделистами-органистами, или просто врагами прогресса. Зато он получил четвертое место — по совместительству. Да, он не глуп! Указующий перст его еще не раз ткнет кого-нибудь из молодых или строптивых старых, и он произнесет безапелляционно и неукоснительно: «менделист!» или какое-либо новое слово, которое вполне может народиться в научном лексиконе. И горе тому, кто начнет мыслить не так, как думает Столбоверстов, ибо он тоже не знал спорной середины в науке, а шарахался от одного авторитета к другому вот уже дважды. Где-то мы увидим его в третий раз?! Тем не менее лба своего он не портил и ходил по земле без шишек на мыслительной части тела. Над затылком его стоило призадуматься. Это настоящая тыльная сторона настоящей науки! Дунь на него иным ветром и — все: запах и цвет всей личности меняется на глазах.

И еще один удивительный по своей конструкции затылок задержал внимание Филиппа Ивановича. Он как бы обрублен, то есть фактически самого затылка-то и нет, а есть место, где полагается быть затылку. Место это — бритое или лысое, не поймешь. Голова эта принадлежала Барханову — человеку с некоторым именем, известному и даже не совсем действительному члену Академии сельскохозяйственных наук. А что означает звание «не совсем действительный член академии»? Объясню. Перед выборами он разослал множество писем знакомым ученым. В этих письмах он считал себя вполне достойным избрания в члены академии и просил поддержать его кандидатуру; но так как все же его не выбрали в члены, то за ним так и осталось звание «не совсем действительного». Барханов ничего не открыл сам, но до сих пор ни разу не согласился с чужим открытием. Он немилосердно критиковал все, на что направлял свой нос. Его все боялись и обращались с ним в пределах научной вежливости.

Таким манером Филипп Иванович пробовал отыскать еще подобные затылки, но не нашел больше ни одного хотя бы отдаленно похожего на какой-либо из тех пяти затылков, что рассматривал.

Потом Филипп Иванович долго смотрел на профессора Масловского. Седые, ставшие за последние годы совсем белыми, густые волосы зачесаны назад; затылок широкий, как говорят — двухмакушечный, на котором волосы никогда не лежат спокойно, а все упрямо топорщатся. Казалось, эта голова, слегка наклоненная вперед, всегда готова к драке. Любил эту голову Филипп Иванович. Очень любил! И сейчас он представил себе сосредоточенный и нахмуренный взгляд Масловского и жесткие руки, сжатые в кулаки. «Будет и сегодня драться!» — подумал он.

Но что это? Профессор Масловский передернул плечами и поежился, будто к его спине прикасался червяк. Вероятно, сквозь дрему и до его слуха доходили отрывки речи Карпа Степаныча. Это движение заставило и Филиппа Ивановича вслушаться в речь докладчика, и ему сразу стало скучно. Потянуло в сон. И он занял обычную позицию спящего на заседании ученого, а именно: наморщил лоб, опустил в задумчивости ресницы, выпрямился, подставил кулак под подбородок и задремал. Со стороны казалось, что он глубоко задумался, а фактически он добросовестно пытался дремать. Все нормально мыслящие на подобных докладах спали таким же образом еще и раньше Филиппа Ивановича. И это никогда не считалось зазорным, как явление обычное.

Но не спал Иракий Кириянович Подсушка. Он усиленно пытался думать. Даже более того: мучительно пытался думать. Что же заставило его думать в такой момент, когда вообще можно не думать ни о чем? Оказывается, это — дело случая. Кто-то из ревнителей науки задал спрону докладчику бесцеремонный вопрос:

— Какой сорняк порождает тыква?

Карп Степаныч Карлюк отвлекся от сообщения и, поскольку вопрос касался его темы, ответил так:

— Если мы уверены, что овес порождает овсюг, то вполне можем быть уверены, что кормовая тыква порождает сорняк. Какой? Наукой еще не достигнуто. Но почему бы и тыкве как заменителю овса априори не родить что-либо подобное или в этом роде? В этом вопросе открыты широчайшие горизонты в науке, и этот вопрос необходимо изучить, что представляет непосредственный интерес для производства, так как в борьбе с проникновением вредного влияния менделизма это будет еще одним плюсом... — И Карп Степаныч был удовлетворен собственным ответом настолько, что внутренне улыбнулся. (Внешне он улыбался очень редко.)

Неожиданно Масловский встал. Он попросил слова и сердито заговорил:

— Это профанация исследований академика Лысенко! Вопрос о происхождении новых видов — серьезный, весьма важный вопрос агробиологии. Есть много фактов, благодаря которым возможно предположить, что гипотезе Лысенко принадлежит будущность. Может быть, со временем что-то из этой гипотезы будет исключено в результате последующих исследований и фактов. И это вполне естественно, ибо любое исследование может не только утверждать предположения или подтверждать чьи-то мысли, но может и отрицать. Да, отрицать. Многие не согласны с Лысенко. Наука развивается в противоположностях, в спорах. Вот так... Люди же, подобные докладчику, готовы всегда любую научную идею, любую гипотезу сразу же превратить в инструкцию. Карлюк превратил в инструкцию гипотезу о происхождении новых видов. Сам Лысенко нигде не утверждал, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Вы, Карлюк, не понимаете того, что вы опошляете науку.

Карп Степаныч, прежде чем продолжать сообщение, некоторое время стоял, выпучив глаза. А Масловский при общем молчании иронически заключил:

— Можете продолжать.

Вот что заставило некоторых отвлечься от дремы. В зале зашевелились, выражая свое сомнение в ответе Карлюка. Вот что и заставило думать Ираклия Кирьяновича.

Мы уже знаем и о том, что он не принадлежал ни к кандидатам, ни к докторам, а был наукоуком по призванию. Это обстоятельство заставило его продумывать кое-что, для того чтобы вовремя успевать менять течение мыслей, убеждений и проблем, для улавливания момента в научной ситуации. А для этого требуется тоже большое искусство.

И вот сейчас ему, Подсушке, почему-то вспомнились слова священного библейского писания, каковое он постигал еще в гимназии. Думал он так:

«Авраам роди Исаака. Исаак роди Иакова. А Иаков в свою очередь роди... Кого же роди Иаков? Забыл. Неважно: хрен с ним, с Иаковом. Нет, постой, постой... Кажется, есть какая-то связь... Значит, овес роди овсюг. Так. Понятно. А кого роди овсюг? Ведь и он кого-нибудь роди обязательно... Пшеница роди рожь, а рожь, обратно, роди пшеницу — это понятно: и тот роди и тот роди... Но кого же роди овсюг?..»

Он, по возможности незаметно, все-таки высунул кончик языка, но... ответа все равно не нашел. Он лишь искал себе объяснение, чтобы при случае не ударить лицом в грязь и объяснить другому. Сам же он действительно верил совершенно искренне в то, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Верил просто, как верит истый христианин в то, что отрок в печи огненной, хотя и должен был сгореть в пепел, не сгорел все-таки и даже не потерял волос. Верил Ираклий Кирьянович и в то, что яровую пшеницу надо сеять именно там, где она не родится: важно — не урожай, а важно, чтобы она сеялась по пласту многолетних трав и вне зависимости от местонахождения этих трав, даже в Архангельске или на Новой Земле.

После воспоминания о библейских предках мысли все-таки не покинули Подсушку. Он продолжал думать так:

«Что это за наука у Масловского?.. «Гипотеза», «отрицание», «не все растения рожают сорняки»... Надо же! Как это так — не все? Вот у Карпа Степаныча действительно наука: если тыква не родила пока сорняки, то родит вскоре. «Априори» — обязательно родит! Раз Карп Степаныч сказал — родит, то, значит, родит».

И это была глубочайшая вера в науку. Так Подсушке легче. А главное, думать гораздо меньше придется.

Филипп Иванович все-таки не уснул. Он украдкой посматривал на соседа, Подсушку, задумавшегося над вопросами науки. И Филиппу Ивановичу пришла мысль:

«Сколько таких верующих помогали, помогают и — кто знает! — будут помогать двигать вперед генетику, селекцию, агротехнику, животноводство! Того и гляди они помогут и Мальцеву так же, как «помогли» Лысенко! Благо тому и бремя того легко, кто верует в непогрешимость инструкций и приказов наукоуков».

А подумав так, Филипп Иванович смотрел на самого докладчика, Карпа Степаныча Карлюка, каковой, как нам известно, был, в противоположность Подсушке, настолько кругл и толст, насколько может быть круглым и толстым человек. Сейчас он казался еще более толстым. До сих пор Филипп Иванович знал, что Карлюк всегда умел выглядеть весьма ученым. Теперь, казалось, вырос он еще больше. До сих пор Филипп Иванович знал, что Карлюк в свое время соискал кандидатскую степень. Теперь же было ясно, что начинается соискание докторской степени. Сейчас он читал уже заключение своего предварительного научного сообщения:

— Итак, много- и глубокоуважаемые коллеги! Роль овса в балансе кормопроизводства практически сводится к нулю, о чем свидетельствуют сводки, собранные мною по ряду окружающих колхозов. Лошадь на новом этапе развития сельскохозяйственной науки не желает есть овса. Она желает есть тыкву, о чем свидетельствуют упрямые факты, которых не буду приводить ввиду их ясности. Оговорюсь, что эксперименты скармливания зеленых помидоров конскому молодняку еще не закончены, а редьку лошадь отвергает начисто. Об этом я заявляю со всей научной смелостью и решительностью — редьку лошадь отвергает. Но...— В этом месте он вытер лоб платком, снял очки и, держа их двумя пальчиками в полусогнутой руке, постучал локтем по своему пышному боку.— Но с точки зрения тыквозамены уже ясно теперь, что: а) производство овса необходимо оставить на минимальном уровне; б) этот уровень должен соответствовать такой структуре площадей овса, чтобы обеспечить полностью выпуск овсяных хлопьев для меню грудных младенцев, а равно и отнимаемых от груди детей. И все. Мы, таким образом, можем расширить значительно площадь яровой пшеницы во всех областях, от Черного до Белого морей, с одновременным поднятием уровня тыквы для конепоголовья. И тогда лошадь скажет нам с вами, дорогие коллеги: «Спасибо вам, товарищи!» Если к этому добавить последние данные науки о кормовых качествах рогоза в сметане (о чем сообщалось в печати), то наши выводы полностью соответствуют новому направлению сельскохозяйственного производства. Замечу: говоря о рогозе, я имею в виду оба рогоза: Тифа ангустифолия и Тифа латифолия. Весь этот рогоз скотина пожирает навалом даже и в том случае, если ей не давали корма только четыре-пять дней.

Карп Степаныч закончил доклад. И вдруг...

— Ерунда! — крикнул на весь зал Филипп Иванович, нарушив все нормы внутринаучной вежливости.

Все повернули к нему головы. А сидевший с ним рядом Подсушка вздрогнул от страха, зашипел, как горячая сковорода, на которую плеснули холодную воду, и отодвинулся подальше.

Филипп Иванович встал. Он видел лица всех сразу — затылков уже не было. Были в подавляющем большинстве добрые люди. Он оставил взгляд на лице Масловского: умный, ободряющий и в то же время злой взгляд этого ученого одобрял его — они поняли друг друга. Много таких же искренних и умных глаз посмотрело на него одобрительно. Настолько много, что чернохаровы и святохины сидели среди них корявыми сорняками, похожими на сухую полынь среди сочного огорода.

— Прошу слова! — сказал Филипп Иванович громко и отчетливо. — Я больше не могу! Нельзя дольше терпеть! И...

— Что вы хотите этим сказать? — перебил его резким голосом Карп Степаныч, привыкший к тону многих председателей собраний, умеющих одной такой репликой осадить любого оратора, если он им не нравится.

— Я хочу сказать, товарищ Карлюк, прежде всего о том, чтобы вы меня не перебивали.

По залу прокатился шелест. В нем нетрудно было различить и одобрение и злость. А Филипп Иванович заговорил.

Ни Карп Степаныч, ни Ираклий Кирьянович не помнили толком, о чем говорил Егоров, — их ошарашили слова обвинения, которые он бросал прямо в лицо Карлюку, Чернохарову, Столбоверстову и иже с ними. Ираклий Кирьянович находился-то рядом с Филиппом Ивановичем, и на них обоих, как ему казалось, смотрели все сразу. Он стонал, видя, что буря нарастает. Сейчас, вот-вот сейчас, думалось ему, этот колхозный агроном в кирзовых сапогах начнет добираться и до него, товарища Подсушки.

— Сегодня мы слышали весьма «интересный» доклад-сообщение, — говорил Филипп Иванович иронически. — Он интересен тем, что всем содержанием доказывает одно: в сельскохозяйственной науке при желании можно из блохи выкроить голенища. (По залу прокатился смех.) Сегодняшнее сообщение — продолжение все той же линии...

— Грубо и недостойно собрания ученых! — бросил реплику Столбоверстов.

Но Филипп Иванович, не обратив внимания на это, продолжал:

— Да, продолжение все той же линии... Но посмотрим внимательно в село, в поле, в колхозы, для которых якобы делаются подобные диссертации. Сельское хозяйство отстает, оно ждет — требует! — от науки помощи и вмешательства. А карлюки достигают званий на темах глупых и бесполезных.

Тут-то и вспотел Карп Степаныч. Но все-таки нашел силы перебить оратора. Он собрал весь свой дух, сделался внешне спокойным, почесал кончик носа оглобелкой очков и встал. Перебивая оратора, обратился к собранию:

— Кто перед вами выступает? Перед вами выступает исключенный из партии. Он уволен с работы. — Повернувшись к Егорову и надев очки, Карлюк строго и повелительно сказал: — Прекратите клеветать! Не то место выбрали! — И, забыв, что он не председатель собрания, обратился к присутствующим: — Кто имеет слово?

Все молчали.

В напряженной тишине Филипп Иванович продолжал:

— Нет! Не получится, Карлюк! Я не замолчу, пока не скажу. Я знаю, почему вы меня боитесь. И вы знаете! — Филипп Иванович смотрел прямо на Карлюка и продолжал: — Предстоит трудная работа по очищению сельского хозяйства от болтунов и невежд в маантиях ученых, по очищению науки от бездумности, своекорыстия и шаблона в агротехнике и животноводстве...

Карп Степаныч опешил. Он не понимал бурных аплодисментов, раздавшихся после речи агронома Егорова. Он не слышал того, что говорил Чернохаров, спасая ученика, не заметил, как по инициативе того же Чернохарова собрание было перенесено на неопределенное время «ввиду грубых и недостойных выпадов против науки». Не заметил Карп Степаныч, как разошлись все и зал остался пустым. Он все сидел и сидел. Наконец он заметил в заднем ряду единственного человека. То был Подсушка. Ираклий Кирьянович не мог стронуться с места, он был не в силах возвратиться к жизни и шептал:

— Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова...

- Вы? — спросил глухим голосом Карп Степаныч.
 Подсушка очнулся и ответил, глядя в упор на начальника:
 — Я. Так точно — я. Как же... теперь?
 — Вот так... — Карлюк поник головой.

Тут вошла уборщица и сказала:

- Ну-у, раскисли! Выходите. Мне порядок наводить надо.
 — Извиняюсь! — сказал Подсушка.
 — Приветствую вас! — сказал Карлюк.
 — Да вы что — или рехнулись? — спросила уборщица. — Провалилась диссертация, что ли?.. Бывает. Я на своем веку не такое видала. Водой отливала одного, я потом пол подтирала целый час. Ну, уходите, уходите, — уже добродушно выпроваживала она их.

Оба уныло поплелись вон, поддерживая друг друга под руки. Слишком толстый и слишком тонкий еле переставляли непослушные ноги. Много страданий доставляет наука!

...А Филипп Иванович с Герасимом Ильичем Масловским пришли на квартиру. Вошли. Повесили головные уборы на вешалку. Встретились глазами. Посмотрели. И вдруг рывком обняли друг друга.

Потом Герасим Ильич спросил:

- Ну как? Все сдали?
 — Сдал. Сказали — скоро разберут.
 — Будем ждать.
 — Ждать.
 — Ждать и надеяться!

Глава 16

Перевертни, путанные карты и новое поприще Карлюка

А дальше пошли интересные события — и печальные и веселые.

Ираклий Кирьянович заболел расстройством нервной системы и несколько дней не выходил на работу. Карп Степаныч хотя и похудел малость, но искал выхода из создавшегося положения. Думал.

Так прошло два месяца.

И вот однажды Карп Степаныч получил записку от Чернохарова. Эту записку он немедленно подшил в «Личное дело». А написано в ней было так:

«Возвратился из Москвы Столбоверстов. Сегодня вечером он будет у меня. Приходите. Дело серьезное. Жду в десять.

Ч.»

Карп Степаныч пришел ровно в девять, почти одновременно со Столбоверстовым.

— Приветствую вас, дорогие мои! Приветствую! — встретил их хозяин.

Они сели за стол, за чашку чая. Чернохаров начал:

— Мы с удовольствием послушаем сообщение... Гм... Надеюсь, будем окровенны. Гм...

— Что думает Москва? — спросил Карп Степаныч.

— Да. Москва думает, — в задумчивости пробубнил Столбоверстов, помешивая ложкой в стакане. — Главные устои сельскохозяйственной науки пересмотрены... Вильямс ошибался. Следовательно, ошибались и мы. Травы — под сомнением. Упор на паропропашные севообороты.

— Значит, признавать ошибку? — поспешно спросил Карлюк.

— Нельзя, — категорически заявил Чернохаров.

— Но и в бездействии быть невозможно. Нужно принять меры, — возразил Столбоверстов.

— И что же вы думаете практически? — спросил ободренный Карлюк.

Столбоверстов ответил:

— Думаю, пока не получены указания сверху, мы уже должны...

— Перехватить? — спросил Карлюк.

— Не перехватить, а перестроиться, то есть...

— Вот именно. Как бы «не перехватить»... лишнего. Гм... — перебил его Чернохаров. — Как бы не попутать карты... Гм...

— А что бы вы предложили? — спросил Столбоверстов.

— Надо выступить в печати.

— Именно так. Выступить, пока не перехватил Масловский.

— И ликвидировать полностью все травы при институте. Все! Гм... — дополнил свою рекомендацию Чернохаров.

Все трое согласились к концу беседы: надо выступить в печати и ликвидировать травы на всех полях института. Так они и перестроили свои многолетние убеждения за один вечер. И сразу же приступили к коллективному сочинению статьи для областной газеты.

Через две недели в газете появилась подвальная статья «Система земледелия на черноземах» за подписью трех: Чернохарова, Столбоверстова и Карлюка. В этой статье обстоятельно доказывалось на материалах института, что единственным правильной система земледелия — паровая, что, по многолетним данным, травы себя не оправдали, что даже трехполка лучше травопольной системы, что травы должны быть изгнаны повсюду, что профессор Плевелухин прав, ратуя за паропропашную систему земледелия. В статье ученые писали: «Честно заявляем, что учение Вильямса тормозило практику». Получилась очень сильная статья! Смелая, обстоятельная, вполне соответствующая ветру, подувшему с высокогорных вершин науки. Ясно, направление изменилось.

Но внешне Столбоверстову измениться уже не удалось. В свое время Столбоверстов стриг голову «под Менделя», потом расчесывал «под Лысенко», теперь он очень желал бы иметь прическу «под Мальцева», но... был уже лысоват, с редкими торчащими шипиками. Впрочем, это и не так уж важно. Важно внутреннее убеждение.

Карлюк энергично перестраивал тематику своего учреждения.

Чернохаров упорно говорил студентам:

— Думать надо, товарищи!.. Гм... Думать. И тогда... Гм... Собственные ошибки вы сможете использовать на пользу народа. Гм.. Думать и думать.

Триумвират ученых перестроился коренным образом. Травы уничтожались безжалостно. Срочно закладывались опыты для подтверждения пропашной системы, откапывались из архивов данные старых опытных станций, выбирались нужные для перестройки материалы и обобщались. Карлюк денно и ночью сидел над бумагами (к чему у него был выдающийся талант). Кажется, он уже решил изменить тему будущей диссертации согласно моменту. Все шло хорошо и быстро. Думалось, все карты разложены правильно.

Но произошла неприятность.

Егоров у себя в колхозе прочитал в областной газете статью «могучей тройки». Он вскипел, побежал к Николаю Петровичу Галкину и, сунув ему газету, закричал:

— Перевертни! Блудословы! Они снова будут «руководить» сельским хозяйством! К черту! Не могу!

— А ты утихомирься. Подумай. И напиши с в о ю статью, — советовал Николай Петрович.

Дома повторилось то же самое. Только те же слова Егоров говорил жене Любе. Та успокаивала:

— Ну что тебе все надо? Что ты — хочешь вмешиваться в дела области?

— Хочу! Буду! Не могу молчать!

Ночью Филипп Иванович ворочался с боку на бок, крихтел, что-то шептал и никак не мог уснуть. Тихонько встал, взял лампу, бумагу и чернила и ушел в клеть. Там он зажег огонь и стал писать.

Любовь Ивановна все это слышала, тихонько выходила во двор, видела огонь в клетке и, вздыхая, шептала:

— Вот уж неугомонный. И так всю жизнь.

Филипп Иванович написал в газету такое письмо.

«Ответ Чернохарову и Столбоверстову.
Открытое письмо.

Недавно я прочел вашу статью «Система земледелия на черноземах». В этой статье вы признаете единственно правильной системой паровую, даже трехполье. Вначале замечу: а все-таки травы мы сеять будем, но там, где они растут. Вы же размахнулись уничтожить травы под корень. Неужели это писали вы, Чернохаров? Ученому Столбоверстову все это не страшно подписать, он уже третий раз меняет «убеждения». Но вы-то, вы, опубликовавший в той же газете год тому назад статью о «единственно правильной травопольной системе земледелия», неужели считаете за дураков всех тружеников сельского хозяйства и специалистов сельского хозяйства?

Вы были ярым «травопольщиком» всю свою сознательную «научную» жизнь. А теперь отреклись от того самого евангелия, которое сами же создали для нас, и строго наказывали нас за «неверие». Может быть, вы не подумали о том, сколько стоила ваша защита докторской диссертации и вся работа научно-исследовательского института? Нет, вы отлично знаете, что три миллиона в год затрачивал институт по вашим темам, а за пятнадцать лет это сорок пять миллионов! А что из этого получилось? Пшик! Чьи это деньги? Народные, деньги рабочих и колхозников. Почему вы не сказали раньше о том, что травы якобы не оправдали себя и у вас? Почему годами жили, присосавшись к теме, наплодивши «ученых», подобных Карлюку, зная, что ничего не выходит из исследований? Разве вы не знали, что несколько выпусков студентов сельскохозяйственных вузов воспитаны на данных вашего института, что студенты выходили с «единственно правильной» системой в голове и оказались теперь опустошенными, встречая на полях колхозов противоречие всему тому, чему их учили? И вы не посмеете ответить. Вам нечего ответить. Ответу я, бывший когда-то вашим студентом.

Все это потому, что вы потеряли чувство гражданского долга, чувство чести. А теперь срочно «перестроили» научные «убеждения». Не было у вас никаких убеждений, нет их у вас и не будет в будущем, ибо вся ваша жизнь «большого» ученого — это жизнь подхалима, замаскировавшегося цитатами, чужими обобщениями и чужими же исследованиями.

Вы не поняли, что после вашей последней статьи вы оказались голым. Голый человек на вышке науки! Слезайте, голый человек! Если этого не случится, то вы придумаете еще какой-нибудь новый шаблон в земледелии, у вас будет новая маска и вы во что-то оденетесь, присосетесь, чего доброго, к Мальцеву при помощи опытного в этих делах Столбоверстова и «талантливого» ученика Карлюка.

Ф. Егоров».

Через неделю Филипп Иванович получил ответ из редакции: «...Ваше «Открытое письмо» не может быть опубликовано в газете... оно грубо... Газета не может выражаться таким языком... Редакция согласна с критикой ошибок Вильямса».

Сначала Филипп Иванович приуныл. Задумался. Не знал он никаких правил писания подобных писем, не знал и газетного языка, первый раз в жизни пришлось такое. Он думал: «А может быть, и действительно не полагается печатать такие письма? Но я-то не могу писать никаким другим языком».

Как это случилось, неизвестно, но письмо Егорова оказалось в обкоме партии. То ли редактор, несмотря на грубый тон письма, счел нужным посоветоваться в обкоме, то ли заведующий сельскохозяйственным отделом газеты был не согласен с мнением редактора и продвинул дело по партийной линии, но факт остается фактом — письмо попало сначала в отдел сельского хозяйства, а потом уж к первому секретарю. Егоров об этом знать не знал и ведать не ведал. А в отделе сельского хозяйства один товарищ прочитал вслух своему близкому товарищу, не подозревая того, что поблизости сидел сухощавый скромный человек, обладающий весьма острым слухом. То был Иракий Кириянович Подсушка. Он прибыл в обком для того, чтобы передать отчет Карпа Степаныча о деятельности своего тихого учреждения. Именно в то время настойчиво заговорили о каких-то ненужных «карликовых» научных точках, а в связи с этим обком потребовал отчета и от Карлюка. Одним словом, Иракий Кириянович сумел-таки ознакомиться с содержанием письма Егорова. Но он сделал вид, будто его ничего абсолютно не интересует — он принес отчет, и только. Зато, выйдя на улицу, он зашептал и вскоре полупшепотом передал Карлюку содержание письма в еще более густых красках, чем оно было в действительности.

— Боже мой! Какая подлость! — восклицал он, поднимая обе руки вверх. — Какая низость! Наклеветать в такое высокое место!

Карп Степаныч сопел. Пока только сопел. Состояния, близкого к обалдению, не было, но негодование, страх и уныние заполнили его благородную, мятущуюся сбоку науки душу.

Утром следующего дня в кабинет Чернохарова вошел Карлюк.

— Приветствую вас! — сказал он уныло.

— Приветствую вас, дорогой! — ответил Чернохаров, широко шагая из угла в угол и не остановившись при входе ученика. — Вы чем-то опечалены?

— Да, — ответил Карлюк и спросил в свою очередь: — А вы чем-то взволнованы?

— Извольте отвечать на вопрос. Гм...

— Вот, — сказал Карп Степаныч и положил на стол развернутые исписанные три листа. — Получена клевета, на вас лично. — Он хлопнул ладонью по бумаге. — Вот! Мне рассказали, а я восстановил по памяти.

— Кто рассказал? Когда рассказал? Куда клевета?

Карп Степаныч ответил на все три вопроса коротко:

— Подсушка. Вчера. В обком.

Чернохаров прочитал. Сел. Гмыкнул раза три подряд и произнес:

— Столбоверстова вызвать. Немедленно.

Через некоторое время, тяжело стуча каблуками, вошел Столбоверстов и, расплывшись в улыбке, поздоровался:

— Мое глубочайшее!

— Читайте, — сказал Чернохаров и сунул ему бумагу в руки, не ответив на приветствие.

Столбоверстов, прочитав, без обиняков стукнул кулачищем по столу и пробасил:

— Вот ч-чер-рт!

Все трое стали ходить по комнате. Чернохаров и Столбоверстов вышагивали по разным диагоналям кабинета, а Карлюк топтался в углу. При встрече на пересечении диагоналей оба профессора поглядывали друг на друга вопросительно. Карлюк следил за обоими, стараясь уловить

возможный исход их волнения. Его все больше и больше начинал сковывать страх. И он не очень смело спросил:

— А вдруг... он написал еще куда-то?

— Куда? — спросил Столбоверстов.

— Ну, скажем... в академию сельскохозяйственных наук, — ответил Карлюк.

— Не страшно, — резюмировал Чернохаров.

— А если письмо попадет к первому? — догадывался Карлюк снова.

— Что-о-о? — громыхнул басом Столбоверстов.

— Возможно, — подводил итог Чернохаров. — Возможно. Гм...

— Привлечь за клевету, — внес предложение Столбоверстов. — Ненавижу клеветников! Всегда ненавижу. Я никогда не писал на противника, я всегда указывал прямо и открыто: вот! — И он ткнул перед собой указательным пальцем вперед.

— Его исключили из партии. Он подал в ЦК жалобу. Теперь, пока его не восстановили, и привлечь за клевету, — настойчиво убеждал Карлюк.

А Чернохаров молчал. Казалось, он не слушает остальных двух. Он соображал. Через некоторое время сказал:

— К секретарю обкома, лично. Гм... И прощупать отношение. А потом... Гм... Смотря по обстоятельствам, написать жалобу на клеветника... секретарю обкома, лично. Гм...

— И в ЦК — пока не восстановлен. Напишем? — спросил Карлюк.

— Это решим потом. Потом. Все! Гм... Гм... — закончил беседу Чернохаров.

— Сегодня к секретарю? — спросил Столбоверстов.

— Да, — ответил Чернохаров.

— Все втроем пойдем?

— Нет. Один пойду... Вечерком соберемся здесь же. Гм... Будьте здоровы!

Секретарь обкома Натов, встав из-за стола, вышел навстречу Чернохарову, пожал ему руку и попросил сесть. После этого он сел и сам.

— Я буду краток, — начал Чернохаров, заранее обдумав свою речь. — Ни у вас, ни у меня... гм... нет времени на длинные разговоры.

— Присоединяюсь, — добродушно сказал секретарь, повернувшись в кресле поудобнее и откинув ладонью седые волосы. Казалось, он тоже приготовился к краткому и точному разговору.

— Вот так, — продолжал Чернохаров. — Пришло время пересмотреть наши... гм... позиции в сельскохозяйственной науке. Гм... Ошибки учат.

— Вы о травопольной системе?

— И о травопольной... и о севооборотах, в частности... Гм...

— И что же вы предлагаете?

— Мы высказались в статье. Читали, надеюсь?

— Читал. Заметил — перестроились. Что же практически предложим колхозам по севооборотам?

— Видите ли... Этот вопрос предстоит изучить. Конечно, изучить пропашные севообороты.

— Простите! Пра-кти-чески: какие севообороты будем рекомендовать колхозам разных зон?

— До обобщений опыта нельзя вот так, сразу, рекомендовать... Гм... А опыта еще мало. Надо изучить...

— Прошу извинить! У нас так много опыта с неправильными севооборотами и уродованием полей, что пора бы уже иметь и практические рекомендации от науки. Как, а?

— Да. Пора.

— Пора, пра.

Вместо короткого разговора получилось нечто неудобное. Чернохаров ничего не мог предложить «практически», а секретарю обкома до зарезу надо было выправлять свистопляску с севооборотами. Но Чернохаров уже упустил момент для начала разговора о клевете. Он попробовал возобновить начатую «короткую речь»:

— И вот, когда пришло время пересмотреть наши позиции и... гм... изучить... Клеветники стараются.

— Они всегда стараются,— заметил Натов.— Что вы имеете в виду?

— Чудовищный вымысел больного и озлобленного воображения.

— Опять не понимаю,— будто удивился Натов.

— Значит, у вас лично письма нет. Оно находится в отделе сельского хозяйства. Гм... Письмо Егорова... Агронома Егорова.

— А-а, вот оно что! Каким же образом вы узнали об этом? А?

Нет, Чернохарова не собьешь таким вопросом, он не ошибется. Он подумал, тряхнул животом и ответил:

— Сам Егоров и разболтал. Бахвалиться-то он мастер. Хвастун. Гм...

Натов внимательно еще раз посмотрел на Чернохарова, чуть подумал тоже. Что-то лукавое блеснуло у него в глазах на какую-то долю секунды и сразу же скрылось, он что-то уже решил, но продолжал тем же тоном, серьезным, прямым и в то же время добродушным:

— Письмо это у меня.— При этих словах он достал его из стола.— Та-ак... Письмо, вот оно. Та-ак. А кто такой Егоров?

— Бывший агроном.

— Ах вот что! А ну, что тут написано? Та-ак.— Он пробежал глазами письмо, выхватил вслух отдельные фразы: — «Три миллиона в год... А что из этого получилось? Пшик... может быть... не было свободной мысли... Голый человек...» — Он оторвался от чтения и сказал: — Ну что ж, подумаем.

— Но это же клевета,— возразил Чернохаров.

— Подумаем,— еще раз повторил Натов.

— Но... Гм...

— Да. Конечно.

— Значит, вы ничего пока не предпримете?

— По какому вопросу?

— По этому письму.

— Да при чем же тут я? Вы — ученые, агрономы — можете спорить, ругаться, доказывать, а мне важно, что из этого получится для практики сельского хозяйства, для колхозов и совхозов. А в результате этих споров все, что полезно для социализма, мы будем поддерживать и поощрять. А?

— Но ведь письмо — оскорбление!

— Если вы считаете оскорблением, защищайтесь.

— Простите! Могу ли я рассчитывать на вашу защиту?

— От кого вас защищать?

— От этого клеветника.

— От б ы в ш е г о колхозного агронома?

— Да.

— Ну, знаете, если у профессора не хватит сил доказать рядовому, б ы в ш е м у агроному, то обком... обком тут ни при чем. А?

— Да.

Последнее «да» Чернохаров сказал нечаянно. У секретаря была такая привычка — заключать высказанную в разговоре фразу вопросительным «а?», что означало: «Поняли ли вы мою мысль? Согласны ли с ней или будете возражать?» Но Чернохаров потерялся от неудачного разговора и так прямо и ляпнул: «Да». Этим он отрезал путь к дальнейшему разговору и встал.

Когда Чернохаров вышел из кабинета, Натов еще раз прочитал письмо, уже без улыбки, и, нажав кнопку звонка, сказал вошедшему помощнику:

— Вызовите мне агронома Егорова из колхоза «Правда».

— По какому вопросу?

— По личному. По моему личному вопросу.

Натов остался один. Задумался. Но думать долго было некогда — ждали приема многие. Он только мысленно резюмировал краткие размышления: «Перестроить работу научных учреждений области. От этого зависит многое — будут лететь миллионы на ветер или не будут. Не напел ли тут Егоров как обиженный?» А в записную книжку записал: «Лично и тщательно обследовать райком и колхозы Н-ского района». Он снова нажал кнопку и сказал в открывшуюся дверь:

— Следующий.

А вечером у Чернохарова собрался триумвират. Чернохаров точно и лаконично передал разговор с секретарем.

Все сидели некоторое время молча. Потом каждый сказал по одной фразе.

— Надо признать ошибки полностью, — сказал Столбоверстов решительно и окончательно.

— Надо бороться! — твердо, не свойственным ему тоном пропагандиста, сказал Чернохаров.

— Страшно, — чуть слышно сказал Карлюк. На него, как и всегда в тяжелую минуту, нашло отчаяние. Он уже не верил ни Чернохарову, ни Столбоверстову.

Сказали они так, коротко, и разошлись: двое уверенные и непоколебимые в своей уверенности, а третий — с мучительным вопросом в голове: «Что-то будет дальше?»

Карп Степаныч после этого не спал двое суток подряд. Было страшно: он вообразил, что враг уже берет его за горло. На третьи сутки он уснул, но страшные сны мучили его так, что он встал утром совершенно разбитым.

Чернохаров заперся у себя в кабинете и думал.

А Столбоверстов всегда был на людях и басил чистосердечно:

— Ошибки свои надо уметь признавать. Кто ничего не делает, тот только и не ошибается. Ошибся — исправься! И все! Неужели нельзя понять простой логики? — При этом он разводил руками в недоумении и, в общем, не очень-то страдал.

Но лед шел и шел. И вот еще одна льдина ударила по Карлюку: закрыли — совсем ликвидировали! — Межоблкормлошбюро.

Сошлись они в последний раз с Подсушкой в своем умершем учреждении. Посидели-посидели вдвоем и с грустью посмотрели на две блестящие чернильные крышечки, напоминавшие о тихой заводи, в которой два друга спокойно и безмятежно прожили не один год. И Подсушка в глубокой печали спросил:

— Разрешите... на память... взять чернильную крышечку? — Голос у него дрожал.

— Возьмем, друг, по одной. Вы одну, и я одну. Будем помнить дни служения... науке.

— Будем, — эхом отозвался Подсушка.

Они тепло попрощались, долго-долго трясли руки, прослезились. Расстались они друзьями. Но, уходя от Карпа Степаныча, Подсушка оглянулся ему вслед — в последний раз! — и сказал так:

— Погоди, сукин ты сын! Я ведь напишу все — какой ты «наукой» тут занимался. Ты ведь теперь мне никто.

Вскоре Подсушка устроился конторщиком в каком-то далеком от науки учреждении.

Карп Степаныч искал работу. Ведь только подумать! Если бы была какая-нибудь специальность — дело другое: и токарь, и слесарь, и пекарь всегда найдут работу. А вот что делать свободному кандидату сельскохозяйственных наук? В институт — пока и думать нечего. На опытную станцию — мест нет. В колхоз агрономом — унижение. Все карты спутались. Думал-думал Карп Степаныч и надумал: «А пойду-ка я председателем колхоза!» Надумал так и подал заявление в обком партии первому секретарю. В заявлении написал: «...кандидат наук»... «желаю служить народу»... «богатый опыт имеется»... «но чтобы недалеко от города и с сохранением квартиры»... В общем, написал все очень толково. И уверенно ожидал решения, будучи убежден, что он приносит себя в жертву социализму.

И что же вы думаете? Отказали! Непонятно: людей просят — они отказываются, а Карп Степаныч сам просился — ему отказали. Ну просто тупик получился какой-то. На Карпа Степаныча стало находить что-то вроде помрачения. Он даже стал вышивать болгарским крестиком подушечки ради подавления скуки и тоски. А тут еще беда: Джон подох. Изида Ерофеевна ходила вся в слезах, убиваясь о Джоне и о муже.

Зашел как-то к Карпу Степанычу доцент Святохин (тот самый, смиреннейший и вежливейший, соглашающийся со всеми). Он выложил свое полное согласие с новыми течениями в сельскохозяйственной науке и стал утешать:

— Все утрясется, утихомирится. Не такое бывало, а проходило. Глянет солнышко — обсохнете. И пойдет дело снова. Прошу вас: не падайте духом, не унывайте. Попробуйте читать лекции где-нибудь.

Карп Степаныч обнял Святохина. Тут же оделся и направился вместе со Святохиным устраиваться в общество по распространению знаний.

Представьте себе, не очень-то оказали доверие анкете Карпа Степаныча в этом обществе. А сказали так: «Выбирайте тему, прочитайте лекции в колхозах. Потом посмотрим».

И все равно Карп Степаныч повеселел.

Глава 17

В гуще жизни

Месяца через четыре, после успокоения Карпа Степаныча, из Н-ского районного отделения общества по распространению знаний в областное поступило отношение с просьбой выслать высококвалифицированного лектора для чтения антирелигиозных лекций «хотя бы на неделю». В этом отношении говорилось, что антирелигиозная пропаганда в районе запущена, а ученых кадров для этой цели нет.

Получили такое письмо в области, подумали, посмотрели список, позвонили одному, другому ученому. Оказалось: все ученые сильно заняты и в колхоз ехать никак не могут. Единственный ученый, которого можно использовать «на неделю», — это Карп Степаныч Карлюк. Его вызвали, побеседовали, снабдили брошюрой «Внутреннее строение солнца и звезд» и пожали руку. Он весьма вежливо откланялся, получил командировочные и стал готовиться к выступлению в колхозах на антирелигиозную тему на базе последних данных астрономии.

Так началась новая деятельность Карпа Степаныча Карлюка. Он приближался к жизни. Выражаясь распространенным языком, можно утверждать, что Карп Степаныч начинал изучать жизнь.

Перед тем как ехать в колхоз, состоялись семейные сборы. Было все предусмотрено. Изида Ерофеевна купила даже и резиновые сапоги на

случай ненастья. Все могло быть. Таким образом, при наличии запаса одежды оказалось багажа много — три чемодана. Как тут быть? Не брать же с собой носильщика в колхоз. Выход нашла опять же Изида Ерофеевна. Она сказала:

— Поеду-ка я с тобой сама. Что ты сделаешь один!

— Пожалуй, — согласился Карп Степаныч.

После этого супруга купила еще два глиняных горшка, то есть две самые обыкновенные макитры.

— А горшки зачем? — спросил Карп Степаныч.

— Меду выпьем в колхозе. Сюда войдет килограммов пятнадцать — двадцать.

И поехали. Сначала поездом. Потом, со станции до района, на грузовике. Трудно. Устали. Остановились в районной гостинице, отдохнули. А затем уж Карп Степаныч отправился в районное отделение общества. Встретили Карпа Степаныча хорошо. Как-никак, а в район приехал кандидат сельскохозяйственных наук — случай довольно редкий. Карп Степаныч большую часть времени хранил глубокомысленное молчание и казался весьма респектабельным. После всех приветствий и объяснений о состоянии антирелигиозной пропаганды ему сказали:

— Не мешало бы представить вас районному начальству.

— Что ж, можно, — согласился Карп Степаныч.

Председателя райисполкома не оказалось — уехал в район, Карпа Степаныча повели к секретарю райкома. Секретарь тоже собирался выезжать, но не успел — застали его.

Карп Степаныч представился.

— Карлюк, кандидат сельскохозяйственных наук, — сказал он, сгибаясь в привычную для него почтительную позу.

— Галкин, — назвал в свою очередь и секретарь, не сгибаясь, подобно вошедшему, а рассматривая его внимательно. — Вы из области?

— Да.

— Читать лекции?

— Да.

— Это хорошо. А позвольте спросить, как ваше имя и отчество? — Кажалось, секретарь что-то вспомнил.

— Карп Степаныч, — ответил Карлюк. — А ваше?

— Николай Петрович.

— Очень приятно. Рад познакомиться.

Карлюку это знакомство не говорило ничего — он не знал Николая Петровича, никогда о нем не слышал. Но могут спросить: как же это все случилось? Куда девался Каблучков? Как оказался Николай Петрович Галкин секретарем райкома партии? Ответ простой. Заболел Каблучков. Вот взял и заболел сам собою. Пришел с выборов, где его «прокатили на вороных», а выбрали Галкина, лег на постель и сказал:

— Должно быть, я сделал все, что мог. — Потом подумал печально: — Ну и секретарь обкома — приехал и поставил все на голову, вверх ногами!

Каблучков искренне верил, что Галкин — ноги, а он, Каблучков, — голова. И заболел. Точных причин медицина так и не установила. Да и то сказать: причина-то вряд ли доступна определению медиков. Тут и просвечивание не объяснит ничего, если человек перепутал голову с ногами. Печально, конечно, но заболел.

Итак, лицо Галкина ничего не говорило Карлюку, ровным счетом ничего. А цепкая память секретаря помнила всю жизнь Егорова, помнила, следовательно, и роль в ней Карлюка.

— Так, так, — заключил он свои молниеносные воспоминания. — Значит, читать? Лекции?

— Читать. Лекции, — подтвердил Карп Степаныч.

— Что ж, хорошо. Поезжайте-ка в колхоз «Правда». Там, знаете ли, нужны лекции.

— Пожалуйста! Можно начать с «Правды».

— А вы предполагаете здесь задержаться?

— Командировка на две недели.

— Ну, хорошо. Хорошо. Посмотрим.

А когда Карп Степаныч вышел, Николай Петрович взял телефонную трубку и вызвал колхоз «Правда».

— Привет, Филипп Иванович! Живешь?.. Добро! Телятник кончил? Добро!.. Нет, сегодня к тебе не буду — ты сам с усам. А вот сюрприз тебе есть. Сегодня придет лектор из области, кандидат... Хорошо, говоришь? Не плохо. Принимай... Карлюка!.. Алло! Алло! Ты что, опешил?.. Как это так «выгоню»? Не горячись. Дай ему высказаться перед народом. Пусть... Как? Не пойдешь сам? Ну сам можешь не ходить, а секретарь парторганизации Боев пусть побудет обязательно, послушает. Не горячись. Бывай здоров!

Через несколько часов «победа» мчала Карлюка в колхоз, мчала со всеми приложениями: с тремя чемоданами, двумя макитрами и Изидой Ерофеевной.

Первым делом Карп Степаныч обратился к счетоводу насчет выписки меда. Счетовод спросил:

— Сколько?

— Килограммов пятнадцать—двадцать, — ответил Карп Степаныч, помня о емкости макитр.

— Ордер выписать могу, а количество надо согласовать с председателем. Для вас, возможно, и разрешит.

— А где я могу видеть председателя? — спросил Карлюк.

— Он в кабинете у себя, но сказал — сегодня никого принимать не будет. Очень занят. Очень!

— А вы доложите: приехал лектор, кандидат сельскохозяйственных наук.

— Он знает. Но ему некогда. А насчет меда я сам зайду. Для вас, возможно, выпишет.

Карлюк подождал, сидя в комнате счетовода. Он думал: «Ну и бюрократ же председатель! Вот и подними с ними сельское хозяйство, с такими».

— Что? Меду ему? — спросил Филипп Иванович у счетовода.

— Просит двадцать килограммов.

— Дай-ка мне ордер! — И Филипп Иванович собственноручно написал: «Двести граммов».

Счетовод вышел из кабинета и сказал Карлюку:

— Пожалуйста! Я говорил, выпишет. И выписал.

Только не заметил Карп Степаныч ехидной улыбки на его лице. Карлюк взял ордер и, не глядя, сунул в боковой карман, будучи уверен, что двадцать килограммов меда у него в кармане.

— Иди получи, — сказал он самодовольно Изиде Ерофеевне, придя на временную квартиру и подавая супруге ордер неразвернутым.

— Выписал? — обрадовалась Изидка Ерофеевна.

— А как же! Цена плевая — копейки, что-то около трех рублей заплатил. Иди! Попросишь кого-нибудь из колхозников донести. Дай ему за это рублишко. Дай, дай! Ничего, дай!

Вскоре Изидка Ерофеевна прибыла в кладовую с макитрой в каждой руке. Она подала ордер. Кладовщик Иван Григорьевич Кузин надел

очки, посмотрел на ордер, повернул его и еще раз посмотрел с тыловой стороны, потом поверх очков посмотрел на макитры, окинул взором Изиду Ерофеевну. Он не сказал ни единого слова, а взвесьл кусочек меда, указал пальцем на него и только тогда произнес первое слово, сняв очки:

— Берите.

— Это что?! — воскликнула Изида Ерофеевна.

— Двести граммов меда, — холодно ответил кладовщик.

— Сколько?! — взвизгнула покупательница.

— Двести. Н^а! Смотри ордер.— Иван Григорьевич перешел на ты, потеряв уважение к клиентке.

— Не нужен мне твой ордер! Ты что, мои горшки измазать медом хочешь?! Невежа!

— Нужны-то мне твои горшки, — спокойно ответил кладовщик. — Мне они хоть бы век не были, твои горшки. Мне все едино — чистые они или грязные, твои горшки. Подумаешь! Твои горшки! «Неве-ежа»! Подумаешь, какая «вежа» приехала! Вас тут только допусти, вы весь колхоз выпишете по ордерам ни за копейку. Иди, иди! Мне некогда с тобой антимионии разводить.

Изида выскочила из кладовой, забыв макитры.

С этого и началось варение Карпа Степаныча в гуще жизни.

Наступил вечер. В клуб собралось народу уйма! Карп Степаныч взошел на сцену, чуть расстроенный поведением кладовщика и его обращением с супругой. Однако он утешился тем, что завтра можно исправить всю эту неприятность и осадить зазнавшегося невежу. Василий Сергеевич Боев (тот самый Вася Боев, бригадир тракторного отряда) объявил:

— К нам приехал кандидат сельскохозяйственных наук товарищ Карлюк. Он прочтет лекцию на антирелигиозную тему. — Вася обернулся к Карлюку и спросил: — Как называется ваша тема?

— О строении солнца и звезд, и есть ли бог, — ответил Карлюк.

— «О строении солнца и звезд, и есть ли бог», — повторил Вася. И добавил: — Просим вас, товарищи, слушать тихо. Вопросы задавать после лекции. Чтобы — культурно. Прошу! — обратился он к Карлюку.

Карп Степаныч стал за трибуну. Перед ним сидела публика разных возрастов — от семилетних ребят и до глубоких стариков. Были здесь и празднично одетые и просто в рабочей одежде. И начал он уверенным баском свою лекцию. Он говорил о туманностях, о том, как они образуются, как во вселенной нет ни начала ни конца и какая земля маленькая по сравнению с большими звездами. Но говорил он не «от себя», а по брошюре «Серия № 3» издательства «Знание». Он старательно переписал опубликованную в брошюре лекцию и читал ее, как свою, добавляя лишь слово «товарищи»:

— «Принято считать, товарищи, что атом кислорода имеет атомный вес, равный в точности шестнадцати элементарным единицам, товарищи. Одна шестнадцатая доля массы атома кислорода принята за единицу, товарищи... Масса атома водорода равна единице и восемьсот двенадцать стотысячных, а масса нейтрона — единице и восемьсот девяносто три стотысячных. Товарищи! Если выразить массу протона в граммах, то она окажется, товарищи, чрезвычайно малой, а именно: один и шестьдесят семь сотых умноженное на десять минус двадцать в четвертой степени грамма, товарищи». — И он написал на доске мелом: $1,67 \cdot 10^{-20}$. — Понятно, товарищи? — спросил он, не ожидая ответа.

— Понятно, — неожиданно откликнулся Пал Палыч Рюхин. — Валяй дальше.

— Тише! — предупредил Вася Боев и постучал о графин, давая этим понять о неуместности реплики.

Карп Степаныч продолжал:

— «Вещество, находящееся в недрах звезд, является смесью быстро движущихся частиц: атомных ядер, электронов и частиц излучения — фотонов. Здесь господствует полный... «беспорядок»... столь непривычный для условий «земной» действительности... Обратимся к так называемому уравнению Клайперона.— Карп Степаныч написал мелом уравнение.— Это уравнение связывает давление, товарищи, плотность и температуру так называемого идеального газа, товарищи».

Кто-то громко вздохнул. Кто-то кашлянул. Кто-то неожиданно зевнул, громко, с потягом.

Василий Сергеевич написал лектору записку:

«Закругляйтесь. Могут не выдержать. Я свой народ знаю».

Карп Степаныч прочитал записку, посмотрел на Боева, на публику и спросил:

— Вам понятно, товарищи?

— Понятно! — ответил кто-то из задних рядов. — Давай теперь про бога.

Но лектор еще целый час продолжал в том же духе. Под конец лекции он заговорил «от себя»:

— Итак, товарищи! Вселенная не имеет ни конца ни краю. Вот почему и нет бога: ему жить нигде... А троица, ваш престольный праздник — бог-дух, бог-отец, бог-дед,—это от язычников осталось. Верьте, сам лично читал в книгах. — И Карп Степаныч поклонился в зал.

Пал Палыч Рюхин, поскольку он сидел в передних рядах, встал со скамейки и тоже поклонился лектору, уже из зала. При этом Карп Степаныч подумал: «Вежливые люди!»

— Какие будут вопросы? — спросил у публики Василий Сергеевич.

Сначала публика задвигалась, зашевелилась. Потом как-то сразу и затихла. Вопросов не было. Только один престарелый колхозник прокричал:

— «Бог-дед» — нету такого. Бог-сын есть. А бог-дед не бывает.

— Ну что ж, задавайте вопросы, товарищи! — обратился еще раз Боев.

И вот из глубины зала зазвучал почти детский голос мальчика:

— Почему Меркурий обращен к Солнцу всегда одной стороной?

Стало еще тише. Карп Степаныч молча поднял глаза в потолок, будто обращаясь к небу. Он вспоминал. Потом переспросил:

— Меркурий?

— Да, Меркурий,— подтвердил Пал Палыч Рюхин.— Почему так? Давай, давай, Валька! — обратился он туда, откуда был задан вопрос.

— Видите ли, дорогие и многоуважаемые товарищи! Меркурий, конечно, планета. Так? Планета. А раз она, планета, вращается, то, значит, вращается она с одной стороны, а с другой стороны... нельзя так думать, что она... не вращается. Отсюда вывод: даже астрономы не могут сказать «почему», а я не астроном.

— А кто же? — спросил голос.

— Кандидат сельскохозяйственных наук.

— А это что — кандидат?

— Степень такая есть, ученая, — ответил Карлюк.

— А-а! — протянуло сразу несколько голосов.

— Одним словом, по сельскому хозяйству?

— Да.

— А чего же это вам, дорогой товарищ кандидат, пришлось по звездам-то читать? Вы бы и говорили по сельскому хозяйству. Оно нам сподручнее понимать.

Это сказал тот самый кладовщик, Кузин Иван Григорьевич. Здесь он был без очков, потому что видел хорошо. Вообще говоря, Иван Григорьевич — личность в колхозе приметная. Лет ему под семьдесят. Бородку носит клинышком, ходит в помятой шляпе. С первых дней организации колхоза и до настоящих дней он с удовольствием разъясняет колхозникам новости из газет и журналов. В бога он совсем не верит, ни капельки. А самое главное, до почтенной старости спокоен и... маленько хитроват. Это он переключил лектора на сельскохозяйственную тематику в надежде на то, что удастся его «прощупать». Так и звучала в его словах нотка: «А ну-ка, что ты за птица!» И он после паузы добавил:

— По-моему, надо бы вопросы и по сельскому хозяйству и про бога. Увязать надо.

Кто его знает, что скрывалось под этим предложением! У Ивана Григорьевича никогда не угадаешь.

— Увязать! — поддержала его публика единодушно.

— Пожалуйста! — согласился Карлюк, уже изрядно взмокший от первых вопросов.

— Не-ет, — возразил Пал Палыч всем сразу. — Сперва надо выяснить про Мелкурию. Почему она так? Мало ли что она планида! А почему одной стороной? И мне желательно знать. Может, он, бог-то, на той стороне, товарищ депутат.

— Не депутат, а кандидат наук, — поправил его Иван Григорьевич Кузин.

— Ну и что ж из этого? — возражал все-таки Пал Палыч. — А про Мелкурию выяснить надо все равно. Мы только первый год получили по два кило хлеба. Теперь и про Мелкурию интерес есть узнать. Выяснить обязательно.

— Наукой не установлено, — сказал Карп Степаныч, чтобы отвязаться от назойливого водовоза.

Почему — неизвестно, но легкие смешки запорхали в зале из угла в угол. Зал загудел.

— Тише, тише, товарищи! — остановил Василий Сергеевич Боев. — Не волнуйтесь! Выясним. Для ответа имеет слово ученик девятого класса Костров Виталий. Давай, Виталий!

— А я тут при чем? — смущенно спросил юноша из третьего ряда.

— Ну, не скромничай. Выручай, — уговаривал Боев и улыбался.

Виталий вышел. Стал около стены. Заложил руки назад и ломающимся баском объяснил коротко:

— Меркурий делает оборот вокруг своей оси за семьдесят восемь суток. За такое же время он вращается и вокруг солнца. Поэтому солнце освещает всегда только одну сторону. — Виталий решил, что это не очень понятно. Он взял у ближайшего мальчика (из тех, что торчали всегда около сцены) кепку за пуговку и, обведя ее вокруг лампочки, показал, как при вращении Меркурия освещена одна сторона. — Вот! — заключил он.

— Ясно? — спросил у публики Василий Сергеевич.

— Ясно! — откликнулся дружный хор голосов.

— Так. Переходим к следующим вопросам. Кто имеет слово?

— А ну-ка, дай мне слово, Василий Сергеевич, — попросил Иван Григорьевич Кузин.

Почему-то все переглянулись, и многие улыбнулись. Все знали спойствие и хитрецу кладовщика.

— Что ж, товарищи, у меня вопрос простой, — начал Иван Григорьевич. — Раз вы специалист по сельскому хозяйству, то и вопрос мой будет насчет сельского хозяйства. Он и к богу касается, поскольку, как говорит легенда, бог создавал все самолично. Ну-с... Возьмем, товарищи, обыкновенную овцу. Можно?

— Пожалуйста! — сказал в изнеможении Карп Степаныч.

— Ну-с... У моей старой овцы в верхней челюсти осталось только два резца. А сколько у нее бывает резцов в верхней челюсти — не знаю. — Иван Григорьевич сел, захватив клин бородки в горсть, и стал ждать ответа.

С Карпа Степаныча повалил пот ручьями. Он то улыбался, то становился серьезным, выражение его лица менялось ежесекундно. Все увидели замешательство кандидата и все ждали: что-то он скажет на вопрос Кузина?

И Карп Степаныч пошел напролом, наугад, догадавшись, что хуже того, что было, уже не может быть.

— Шесть или восемь — не помню, но обязательно четное число.

Громкий хохот встряхнул здание клуба так, что задребезжало стекло за сценой. Карп Степаныч сел. Платок, которым он вытирал лицо, стал совсем мокрым, поэтому наш кандидат вытирался просто рукавом. Было очень похоже, что он уже ровным счетом ничего не соображал. А зал хохотал.

Почем было знать Карпу Степанычу, что у овцы в верхней челюсти не бывает резцов совсем, от рождения! Конечно, тут и не особенно сложно, если знать. Но вся беда-то в том, что он этого не знал. Да и не мог знать. Он ведь окончил в институте полеводческое отделение. Это вполне понятно — у нас готовят агрономов очень узкой специальности. Поясним более точно. Бывает агроном-полевод — он не знает ничего о животноводстве. Бывает зоотехник — этот мало соображает по полеводству. Бывает просто садовод или просто овощевод — эти еще «уже». И так далее. Вполне возможно, будут специалисты такого профиля: гусятник (только по гусиному вопросу), овчатник, курятник, а в овощеводстве — чесночник, огуречник, тыквенник и тому подобное. Ведь случается порой — соберутся такие специалисты в колхозную бригаду и ну требовать, ну трясти душу бригадира. И главное, требуют, чтобы бригадир комплексной бригады знал все: и полеводство, и животноводство, и садоводство, и овощеводство — все, все!..

Но смеялись тогда здорово. Конечно, такого беспорядка Василий Сергеевич Боев допустить не мог, хотя и смеялся сам. Он позвонил карандашом о графин и остановил всех такими словами:

— Товарищи! Где вы находитесь? Вы находитесь в клубе. Надо культурно. Так нельзя.

И все успокоились. Тогда Пал Палыч спросил:

— Значит, ты, товарищ, — кандидат?

— Да, — жалобно ответил Карп Степаныч.

— Раз ты, товарищ, не в курсе, то так и должен сказать: я, мол, пока не агроном, а только кандидат, — поучал уже его Пал Палыч.

— Кандидат — это больше, — пробовал возразить Карп Степаныч.

Куда там! Разве Пал Палычу возразишь? Он тут же пояснил:

— Мало ли что больше. Ну, хуже, значит. У нас вот есть настоящий агроном — теперь он председателем колхоза, Филипп Иванович Егоров. Так того сразу видать — агроном, а не какой-нибудь там кандидат.

Карп Степаныч привстал. Потом присел. Потом еще раз привстал, а сесть уже не смог. Он только и спросил тихо, убитым голосом, выведенным из пересохшего горла:

— Егоров? У вас? Председателем?

— Да. Егоров, — ответил Василий Сергеевич.

Карп Степаныч пошел со сцены. Он быстро зашагал к выходу, ни на кого не глядя. Зал молчал. Карп Степаныч мысленно повторял про себя одно только слово: «Восстановили! Восстановили!»

Он немедленно потребовал в письменном виде, чтобы его отвезли на станцию.

Но машину подали только ранним утром. А когда автомобиль отъезжал от квартиры, двое бежали за ним, махали руками и какими-то круглыми предметами. Встречные колхозники, идущие на работу, делали шоферу знаки, показывая назад. Он остановился и увидел: позади бежали старик, Кузин Иван Григорьевич, и мальчик. Они кричали:

— Макитры-ы! Макитры-ы! Макитры забыли-и!

Как только Карп Степаныч услышал эти крики, он приказал:

— Немедленно вперед!

И остались макитры колхозу на память.

Теперь Иван Григорьевич показывает их приезжим и говорит:

— От кандидата остались. Макитры-то научные!

Иногда приезжий спросит:

— Ну, как он из себя-то, кандидат-то?

Иван Григорьевич отвечает коротко:

— Представительный!..— И махнет рукой: дескать, не нашего ума дело обсуждать человека ученой степени.

Так-то вот и окупился Карп Степаныч в гущу жизни. Не жизнь, а одно переживание.

В район он не заезжал, а прямо на станцию.

Точно не знаем, но в общество по распространению знаний Карпа Степаныча, кажется, не приняли. Не сумели и там оценить человека.

Глава 18

Потрясение мозгов

Не будем заниматься описанием того, как Карлюк с супругой ехали домой, как они доехали, как переживали. Важно одно: земля закачалась под ногами Карпа Степаныча. Пока он сидел в вагоне, или в автомобиле, или в гостинице — то есть на чужом месте, — качания земли под ногами не было заметно. Но как только он начинал ходить, земля начинала качаться под его же собственными ногами. Это было очень странно для Карпа Степаныча. Он даже иногда останавливался, некоторое время стоял неподвижно с таким же философским выражением лица, с каким дети сидят на горшочке, а потом спрашивал у жены:

— Иза! Под тобой качается?

— Не-ет, — с удивлением отвечала та.

— А подо мной качается. Отчего бы это стало?

— Устал ты. Отдыхать надо. И волнения...

Изида Ерофеевна еще в пути начала замечать, что с Карпом Степанычем творится неладное. А дома это стало еще отчетливее заметно — на Карпа Степаныча напала сонная болезнь. Спит, спит он, встанет — поест. Поест и снова засыпает. Кажется, если бы его не будить, то он во сне и ел бы. Редкое явление! Но медики утверждают: бывает. А старые люди говорят, что такие сонливые иной раз даже и изрекают что-то.

В таком состоянии он пробыл несколько дней. А потом, наоборот, спал мало, не более восьми часов в сутки, то есть только ночью. Днем же ему, оказалось, делать нечего. И он стал поэтому думать. И чем больше он рассуждал, тем сильнее земля качалась под ним и тем все более странные мысли он начал высказывать. Мысли чаще всего выходили в виде

вопросов к супруге и выяснялись в итоге двусторонней беседы. Иной раз он спросит:

— Иза! А как ты думаешь о происхождении слова «сметана»?

Видно, он долго думал над этим вопросом, но не решил.

— Сметана? А кто ж ее знает... — отвечала супруга.

— Вот видишь, какие у нас ограниченные знания.

— А на что мне знать? Сметану просто можно купить на базаре и без всякого происхождения.

— Так-то оно так, но знать надо. Все это наука и... жизнь.

— Да брось ты думать, — просила Изида Ерофеевна, все более замечая все более ненормальное поведение мужа. — Пожил бы в покое месячишко.

Карп Степаныч вздыхал и говорил:

— Мысли не остановишь. Человек в них не волен.

Проходило некоторое время, и Карп Степаныч снова обращался к супруге:

— Плохо ты сказала Егорову... Тогда-то... Помнишь?

— Это о броне, что ли?

— То-то вот и оно. — И снова вздыхал. Снова мучительно думал, сидя неподвижно и смотря в одну точку. Потом задавал вопросы снова: — А может быть, я бесполезно и старался с этими диссертациями-то?

— Да плюнь ты на все! Отдохни...

А Карп Степаныч все вздыхал и вздыхал. Вздыхал все печальнее и печальнее.

Изида Ерофеевна смотрела на мужа удивленно и думала: «Никогда с ним этого не было. Что-то неладное у него с мозгами».

За завтраком, во время еды, он вдруг переставал жевать и спрашивал с набитым ртом:

— А может быть, мне бросить всю эту науку и...

— И заняться каким-нибудь делом, — пыталась завершить мысль супруга.

— Так-то оно так, но... — И Карп Степаныч что-то недоговаривал, замолкая и вновь жуя.

После еды сидел, молчал и думал о своем положении. И чем больше думал, тем все более ненормальные возникали вопросы. Однажды он спросил:

— Иза! А как ты думаешь: почему меня не назначили председателем колхоза?

— Не знаю, милый, не знаю.

— Вот и я не знаю. Хорошо это или плохо — что не назначили?

— Не знаю, Карик, не знаю.

Раньше Карп Степаныч не раздумывал над тем, что хорошо и что плохо: впереди была ясная цель — диссертация, а все остальное расценивалось с точки зрения пригодности или непригодности для этой цели. Теперь, оказалось, цель потеряна. И появились ненормальные для него мысли.

Он как-то проснулся среди ночи, сел на кровати, потрогал Изиду Ерофеевну и спросил:

— Ты тут?

— Тут.

— Разбудил я тебя?

— Разбудил, — спросонья отвечала жена. — А что?

— Возник вопрос: в партию меня могут принять? Или не могут?

— Вряд ли... Не знаю, Карик.

— Может, подать заявление? А? Раскаяться во всем... признать ошибки... И сказать, что меня надо послать не в науку, а... Куда бы это меня послать?

Супруга не отвечала, так как тоже не знала, куда его надо послать. Она просто засыпала. В мучительном раздумье засыпал и Карп Степаныч.

Так прошло недели две. Карп Степаныч совсем замолчал. Никуда не выходил. Он забился, как осенняя муха, в щель и даже не пытался смотреть на мир божий.

Однажды пришел неунывающий Святохин. Он решил навестить товарища и утешить. Пришел, позвонил, стоя у двери, на лестнице. В это время Изида Ерофеевны дома не было (ушла на базар), поэтому Карп Степаныч сам лично вышел в прихожую и спросил через дверь:

— Кто?

— Будьте любезны открыть. Святохин. Святохин я.

— Вам кого?

— Да вас же, вас! Карпа Степаныча Карлюка!

— Его нет дома, — четко ответил Карп Степаныч и решительно отошел от двери. На повторные звонки он не вышел.

Святохин встретил Чернохарова, покрутил пальцем около лба и сказал.

— Карлюк-то того... Не выдержал.

— Да ну? — забеспокоился Чернохаров. — Надо сходить к нему.

А Карп Степаныч все думал, и думал, и думал. И молчал. Только один раз он спросил у Изиды Ерофеевны, перед тем как задремать в кресле:

— Я человек или не человек?

— Что с тобой? — И жена заплакала.

Карп Степаныч неожиданно закричал на всю квартиру:

— Ты отвечать будешь или не будешь?!

— Конечно, человек. Настоящий человек. Все как у человека, — сказала Изида Ерофеевна и подумала: «Врача!»

Ее ответ немного успокоил горячую работу мозга ученого мужа, и Карп Степаныч задремал.

Изида Ерофеевна отправилась за врачом.

Так, стараясь понять свое положение, Карлюк сошел с ума. В отдаленных тайниках мозга — где-то в самой-самой глубине! — попытался было проснуться человек. И Карп Степаныч сошел с ума — не выдержал.

В том, что он попал в сумасшедший дом, ничего страшного не было: он не был там буйным. Вел себя тихо и прилично. Только иногда он становился на четвереньки, изображая, видимо, лошадь, и медленно топтался из угла в угол, потом останавливался посреди комнаты и тихо, четко произносил длинное научное название своей темы.

И — все. Был в свое время кандидат — Карлюк Карп Степаныч, но в нем не было человека. Потом попробовал проснуться в нем человек — не стало кандидата, Карлюка Карпа Степаныча. Так и не могли они жить вдвоем: либо один, либо другой.

Все это очень печально... Очень! Трудная обстановка получилась в науке.

Э п и л о г

Прошло четыре года. Много произошло разных изменений в жизни, много ликвидировано ненужных учреждений и комиссий. Много полезного сделано и в сельскохозяйственной науке. Диссертации теперь защищают совсем по другим правилам, а не по тем, что составил Карлюк.

Кстати, о Карлюке. Был слух, что он выздоровел и уехал в неизвестном направлении. Давно уж нет Межоблкормлошбюро, а Карпа Степаныча все помнят, даже анекдоты о нем рассказывают. Долго он будет жить в памяти современников.

Жизнь идет.

Ефим Тарасович Чернохаров работает все в том же институте, так же читает лекции, но уже по другим конспектам. Он теперь признает единственно правильной системой только систему Мальцева; он и опыты ставит только с приемами из системы Мальцева, не сравнивая их с приемами из Вильямса. Он так же продолжает борьбу с Герасимом Ильичем Масловским. И если Масловский говорит, что новая система земледелия на черноземах должна слагаться из народного опыта и из таких приемов Вильямса и Мальцева, которые полезны в данной местности, то Чернохаров называет Масловского «оппортунистом в науке» и говорит, что он якобы сидит на двух стульях. Так-таки и народилось новое слово-ярлык! Но нет уже той былой львиной силы у Чернохарова. Он стал раздражительным и еще более угрюмым. На экзаменах теперь смотрит студенту не в лицо, а на носки ботинок. Аудитория его становится все малочисленней. Что-то будет!

Столбоверстов тычет перстом в Герасима Ильича Масловского и басовито бубнит:

— Соглашатель в науке! Он ищет безобидной серединочки.

Говоря о Столбоверстове, необходимо сделать предварительное сообщение о новом научном достижении: открыли флюгероиды! Мы не можем пройти мимо этого вопроса, весьма интересного, требующего самого пристального внимания исследователей. Поэтому попытаемся дать краткое и абсолютно научное изложение этого вопроса.

Флюгероиды — особая порода людей. К этой породе, по последней классификации, отнесен и Столбоверстов. Среда пока не оказывает никакого влияния на изменчивость этого вида. Хотя подобная консервативная устойчивость и противоречит некоторым правилам, установкам и постановлениям, но... в жизни бывает. Флюгероиды, как показали исследования, чрезвычайно живучи, выносливы и весьма устойчивы против неблагоприятных условий погоды. В этом аспекте и наши исследования, вероятно, должны быть продолжены более компетентными лицами. Этот вопрос предстоит изучить, углубить и обобщить. О, работы тут еще много! Потребуется коллективные усилия многих ученых

Чуть не забыл! У Чернохарова появился новый научный сотрудник, Кульков — юркий, пронырливый молодой человек. Он недавно окончил институт, но заметил его Чернохаров с первого курса и оставил при себе (так когда-то он обласкал Карпа Степаныча). Так вот этот самый Кульков теперь точно выполняет все указания Чернохарова. Если Ефим Тарасович велит уничтожить травы, Кульков их уничтожает, если же Чернохаров велит их сеять вновь, сеет. Если Ефим Тарасович велит вырубить замечательную дубовую лесополосу, посаженную квадратно-гнездовым способом, по методу Лысенко, то Кульков вырубает аккуратно, под корень, чтобы знаку не было. Если Ефим Тарасович скажет «переплавить предплужники как отрыжку системы Вильямса!», то Кульков сваливает все предплужники в металллом и отправляет в утильсырье по две копейки за штуку. Если же в какой-либо части области родится яровая пшеница, то Ефим Тарасович пошлет туда Кулькова, чтобы д о к а з а т ь, что она там сейчас не родится, не может родиться и не будет родиться и что все селекционеры яровой пшеницы суть люди ненормальные. В общем, он выполняет все в точности и аккуратно. О кандидатской диссертации он уже начинает заботиться сейчас. Вполне возможно, что со временем Кульков округлится, располнеет и приобретет вид настоящего ученого. Он сейчас трудится не покладая рук. Поэтому в науке он может еще много... накуролесить.

Впрочем, большинство молодых научных работников почему-то не очень любит вступать в общение с Кульковым. Наоборот, появились на

научных советах и, представьте себе, возражают. Даже Чернохарову — Чернохарову! — возражают.

Как-то встретились Столбоверстов с Чернохаровым и разговорились по душам.

- Ну как? — спросил Столбоверстов.
- Да так... Гм... — ответил Чернохаров.
- Шумят?
- Гм...
- Уж не подремать на ученом совете. Эх-хе-хе!
- Эх-хе-хе! — вздохнул и Чернохаров.
- Надо подпрыгаться.
- Возражаю. Гм... Наоборот... Мы должны вести.
- Будьте здоровы!
- Всего доброго!

Такой довольно откровенный разговор глубоко запал в душу каждого. Они этой беседой констатировали: а) что-то такое произошло в науке, б) обсуждение этого вопроса не имеет смысла, в) отсутствие взаимопонимания по принципиальному вопросу. А разойдясь после этой встречи и оглянувшись, каждый из них тихо произнес в адрес друг друга по одному слову.

- Колода! — сказал Столбоверстов.
- Арап! — сказал Чернохаров.

Ведь вот до какой грубости можно пойти в научном запале. Просто даже и не знаешь, что с ними будет дальше.

Святохин все тот же: ласковый, соглашающийся со всеми и весьма вежливый, корректный, сияющий своей лысиной. «Ласковый теленок двух маток сосет» — мудрейшая пословица!

Герасим Ильич Масловский хотя и постарел, но такой же бодрый, такой же непримиримый. Он все ищет пути улучшения жизни деревни. Он все так же продолжает биться за действительную, настоящую науку. Герасим Ильич часто бывает в колхозах, а уж мимо колхоза «Правда» не проедет никогда: там все так же председательствует Егоров Филипп Иванович, уже защитивший кандидатскую степень.

Неда, но они встретились на колхозном поле, председатель и профессор. Обнялись. Долго беседовали, ездили по полям и фермам. Филипп Иванович тоже мало изменился, такой же горячий. Это он держал за пуговицу Герасима Ильича и, разрубая другой рукой воздух, отчетливо говорил:

— Согласен с вами! Колхоз дружно идет в гору. После таких событий, как сентябрьский Пленум и Двадцатый съезд, все пошло в гору. Все. Но... — Филипп Иванович осекся. Он уже начинал почему-то волноваться, выпустил пуговицу профессора и уже нервно теребил колоски.

— Что «но»? Давайте, выкладывайте.

— И скажу. — Филипп Иванович сорвал колосок и бросил наотмашь. — Но почему до сих пор продолжается свистопляска с севооборотами? Севооборотов-то в районе фактически нет, за редкими исключениями. Они на бумаге, и то не всегда. Почему?.. Почему еще подвизаются шаблонщики и неуместным применением системы Мальцева иногда порочат идею этого ученого? Почему? — Филипп Иванович уже горячился. — Я бы смог вам перечислить десяток таких «почему».

— На все подобные «почему» ответ один: шаблон — следствие отрыва теории от практики.

— А сколько лет мы это слышим?

— Да не перебивай, пожалуйста! Что за привычка, ей-богу, — закипятился и Герасим Ильич. — Надо сделать так: каждый ученый, каждый

научный сотрудник — каждый! — должен быть связан с колхозами, должен знать колхоз или совхоз, должен жить этой жизнью. Иначе нельзя.

— Во! — воскликнул Филипп Иванович восторженно.— Тогда и в сельскохозяйственной науке все станет на свое место. Уж не будут «упражняться» на земле псевдоученые и псевдоустроители севооборотов.

— Почему именно тогда они не будут упражняться? — спросил Герасим Ильич уже спокойнее.

— Потому, что их прогонит, просто прогонит единственный хозяин колхозной земли.— И Филипп Иванович показал, как это будет: он загреб рукой воздух, выбросил наотмашь и подтолкнул коленом.

— Надо, очень надо об этом говорить громко. Шаблон в сельском хозяйстве — штука опасная, — закончил Герасим Ильич. Он смотрел вдаль, на волны хлебов, и, задумавшись, добавил: — Поле волнуется.

Так они оба все принимают к сердцу, оба всегда в напряжении, иногда мучимые бессонными ночами. И нет им покоя. Да и хотят ли они покоя?.. Разум человеческий как река — он обретает покой только в движении.

Жизнь идет. Она стучится в сердце каждого. Иное сердце отзовется, а иное останется глухим. Но все равно жизнь идет.



Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

(Из стихов 1958 года)

ЗАКАТ

Когда, измученный работой,
Огонь души моей иссяк,
Вчера я вышел с неохотой
В опустошенный березняк.

На гладкой шелковой площадке.
Чей тон был зелен и лилов,
Стояли в стройном беспорядке
Ряды серебряных стволов.

Сквозь небольшие расстоянья
Между стволами, сквозь листву,
Небес вечернее сиянье
Кидало тени на траву.

Был тот усталый час заката,
Час умирания, когда
Всего печальней нам утрата
Незавершенного труда.

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Несоответствия огромны,
И, несмотря на интерес,
Лесок березовый Коломны
Не повторял моих чудес.

Душа в невидимом блуждала,
Своими сказками полна,
Незрячим взором провожала
Природу внешнюю она.

Так, вероятно, мысль нагая,
Когда-то брошена в глуши,
Сама в себе изнемогая,
Моей не чувствует души.

* * *

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С себя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!



ИВАН БОТВИННИК

★

ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ВПЕРЕД

Повесть

1

Собеседника у меня не было, но я его легко вообразил: сидит прямо на письменном столе, ноги закинута одна на другую, раскачивается, ухмыляясь и покачивая головой. Почему-то в огромных сапожищах. Даже удивляюсь: как только два таких Апеннинских полуострова поместились в моей комнатенке — ведь всего-навсего четыре шага от двери до письменного стола!

Я шагаю по комнате и рассказываю воображаемому собеседнику.

И бывает же так, а? Бывает?

Представьте: первый раз видишь человека. Все показалось тебе в нем лучшего склада — и фигура, и лицо, и глаза, и голос (ведь голос тоже имеет свое выражение, как известно), но вот какая-то мелочь — человек в вагоне занял твое место, занял и никак не желает уступить, — что ты подумаешь о таком человеке?

Я, «горячая натура» (беру эти слова в кавычки не для того, чтобы придать им иронический смысл, а лишь только потому, что так называл меня Николай Иванович — редактор краевой комсомольской газеты, где я, окончив десятилетку, после некоторых обстоятельств стал работать разъездным корреспондентом), — я, «горячая натура», повторяю, поскандалил с этим человеком. Более того, я даже недвусмысленно намекнул ему, что он занял место не какого-нибудь там простого смертного, а человека, который имеет вес в газетном мире, который... — да, да! — который замечает подобные явления, дает им свою оценку, а потом их — в фельетонах, в фельетонах!.. Ну и так далее.

А потом мне было стыдно, как стыдно!

Оказалось: у меня с не знакомым мне человеком были одинаковые, за одним номером, железнодорожные билеты. Два билета на одно место. Бывает же так? Бывает. Небрежность станционного кассира поставила меня в нелепое положение. Во-первых, я оказался без места, а как я спешил на этот поезд! Во-вторых... Ведь я говорил с не знакомым мне человеком чуть ли не языком государственного обвинителя, уличал его, черт знает в чем только не уличал! — вот каково это «во-вторых». Чувствовал я себя, одним словом, прескверно.

А между тем место для меня нашлось, и как раз напротив той полки, за которую я воевал (кассир не так уж грубо ошибся). Я расположился и стал внимательно вглядываться в своего спутника. Гнев на самого себя мало-помалу утихал. «Интересный человек», — вскоре заключил я, глядя на своего соседа. Особенно мне понравились его глаза — светлые, искрящиеся и смеющиеся и в то же время, казалось, немножко грустные. Эти глаза мне сразу же сказали, вернее напомнили, строчку из Маяковского — «иду красивый, двадцатидвухлетний».

Сосед меня больше чем заинтересовал. Я не знал, кто он такой. Даже не установил рода его занятий (что совсем уж было непозволительно для такого маститого «журналиста», каким я представился) и начал с ним говорить. Начал первый. О пустяках. О незначительных житейских мелочах.

И он меня слушал. Слушал внимательно. Лицо его нередко озарялось улыбкой. Такую улыбку, помимо воли, я моментально фиксировал в мозгу, искал слов, чтобы определить ее, и определил окончательно: улыбка друга, душевная, ласкающая.

Да, дорогой мой друг, не знаю, как с вами, а со мной бывает так, часто бывает. Поговоришь иногда с совершенно не знакомым тебе человеком (даже после того, как чуть перед этим не поскандалил с ним), и уже всё: считаешь — это твой близкий товарищ, такому можно довериться, знаешь — насмешки не будет, жалостливого участия тоже. Тем более... но это вы увидите сами.

Я ехал в очередную служебную командировку. Нелишне пояснить, потому что с этого начинается мое повествование: это была необыкновенная командировка! Почти перед самым отъездом я закончил свой первый рассказ.

То есть, чтобы вы сразу оценили мое состояние, добавлю: в эту командировку я вез свой первый трепет, завернутый в бумагу.

Почему трепет — скажу. Во-первых, редактор наш принимал все, кроме рассказов. Этот жанр у него был под каким-то вдвойне убийственным подозрением: не Чехов, не Толстой, не... — так куда ж ты лезешь?

Попробуй сохранить после всего этого спокойствие!

Но это только во-первых. А во-вторых, я трепетал еще и по следующей причине: мой рассказ был посвящен самому восторженному периоду моей жизни. Когда карандаш мой бегал по бумаге, перед моими глазами стоял образ той, имя которой — одно лишь только имя, — как говорят стихотворцы, «...сердце лаской греет и в разум вносит чистоту и свет...»

Надя Солнова... Сколько стихов я посвятил ей! И каких стихов!

И теперь в этой командировке я собирался встретиться с ней. Как-то она посмотрит на меня? Что скажет... после того, что произошло между нами?..

...Издавдалека наталкивал я Виктора Сергеевича (так звали моего спутника) на литературный разговор. Мне вдруг во что бы то ни стало захотелось прочитать кому-нибудь свой рассказ. Платов (назову и фамилию его заодно) не останавливал меня. Улыбнувшись, он заметил:

— Я в младости сам пописывал стишонки...

— В «младости»? «Стишонки»? — переспросил я и, надо сказать, после злополучного случая с билетами первый раз неодобрительно посмотрел на своего соседа. Я никому не прощал пренебрежительного отношения к литературному труду.

Но Виктор Сергеевич меня быстро успокоил.

— Нет, вы не так меня истолковали, — проговорил он, сгоняя с лица улыбку. — К стихам я отношусь без всякой насмешки. Более того, очень люблю их. Стихи, конечно, пишут не только в младости. Их пишут всю жизнь. Те, — добавил он, — у кого есть талант. Стихи — это поэзия. А стишонки — это... это и я писал. Вот такие, например:

Пел кто-то и пел о чем-то,
Его не слушал никто,
И вышел кто-то и вызвал черта
И другом черта стал зато.

Этот Платов оказался очень словоохотливым собеседником. Вскоре я убедился не только в основательности его познаний в «области литературы», но и в других качествах. Он, между прочим, заметил:

— Поэзия, определяя ее словами одного восточного мудреца, имени не помню,— это солнце, в лучах которого рождаются подвиги героев. Поэтому те, которые служат ей, как никто другой, должны быть сами светлы мыслями своими и чувствами. Это прежде всего.

— А не прежде? — прервал я его и многозначительно протянул вслед за этим: — А талант? Это вещь уже второстепенная, так, по-вашему?

Он лукаво сощурился и даже как будто бы подмигнул мне.

— Таланты — спутники светлого разума, у тупиц их не бывает, поэтому о них отдельно и не судят.

Я вдруг заволновался.

Если бы вы, дорогой мой друг, хоть на минуту поменялись со мной местами и вспомнили, что у вас под головой в полевой сумке находится ваш первый рассказ, в котором вы, по вашему мнению, поставили очень большие вопросы и, кажется, ответили на них,— думаю, вы вполне поняли бы мое состояние. «Нет, не редактор,— неожиданно сказал я себе,— не редактор, который, взглянув на первую страницу, сразу же со всякими недомолвками («прямо не скажет, лысый черт!» — ругнул я походя своего редактора) начнет намекать на незавершенность, малохудожественность, да мало ли на что он будет намекать, он, очень вежливый, с тихим, убаюкивающим голосом, но неумолимый,— нет, не редактор, пусть этот случайный дорожный спутник,— решил я,— произнесет приговор моему первому рассказу!»

И я еще больше заволновался.

Платов молчал. Он, наверное, догадался о моем состоянии. Я неуклюже завозился на своей полке. Мне вдруг стало почему-то душно, тесно, даже пот выступил на лбу.

— Вот,— наконец выдавил я из себя,— тут у меня... если вам не будет скучно... если вы еще не хотите спать... э... э...

Язык мне плохо повиновался.

— Рассказ? О, это интересно! Какой там сон, пожалуйста, пожалуйста,— живо проговорил Платов, выбрасывая в мою сторону руку. Он назвал меня писателем.

«Тоже мне...» — смущенно пробормотал я про себя. На миг во мне заговорило трусливое авторское самолюбие, чуть не заставившее меня пойти на попятную. Но Платов снова подбодрил меня.

— Трусы в атаку не ходят,— проговорил он весело.— Раз доверились — читайте,— и одобряюще кивнул головой.

Я повиновался.

Хорошо спится под стук колес. Но еще лучше под этот обязательный аккомпанемент дорожных странствий вести тихую, задушевную беседу. Не так ли, дорогой мой друг?

Чудесно! Великолепно!

Но в ту ночь, признаюсь, ох, в ту ночь лучше бы я спал...

Как хотите, хоть и затянется мое повествование, однако, прежде чем поставить себя в то положение, в каком я оказался, доверившись Платову и двум другим пассажирам, о которых я еще ничего не сказал, но должен буду сказать,— студенту, долговязому юноше с пышной шевелюрой, и пожилому военному товарищу значительного чина,— как хотите, этого в конце концов требует мое авторское самолюбие: ведь пишу я о самом себе — я должен коротко поведать вам о том, что представлял мой первый рассказ. Сам я был от него в восторге. Дался он мне с боль-

шим трудом, но зато метафор было достаточно, эпитеты тоже прямо подпирали друг друга. Чего же больше?

И сюжет тоже был самый новейший. Герои мои были все молодыми людьми, страстными, волевыми, энергичными. Они сошлись на назначенную встречу после войны. Они стояли у раскрытого окна, обращенного к большой реке, и поминутно смотрели на часы: вот-вот должны прогреметь салюты... И когда в небе... Одним словом, все было в моем рассказе, как я считал, все первейшие условия истинной художественности: объемность, динамика, перспектива...

Но самое главное — в нем была любовь, любовь, которую я трактовал, осмелюсь заявить, совершенно самостоятельно. Даю несколько выдержек для свидетельства.

«Вот она, олицетворение любви,— заявлял я,— ослепительная, даже если б сошлись сюда и стали рядом с ней все красавицы мира,— Надя С. (фамилию своей героини я не называл, и в этом был особый смысл: она и без того должна была узнать себя — Надя Солнова). У нее легкий наряд,— писал я.— Казалось, небо, когда оно прощалось с уходящим солнцем, подарило ей на платье один из своих лоскутков, тонкая и гибкая Надина фигура обвивалась поясом, который, казалось, был соткан из серебристых лунных лучей...

Они стояли друг против друга, и оба молчали.

«Надя...» — шептал Сергей (то есть я). И вдруг он помрачнел. Молодой стройный офицер (я называл себя офицером, а не десятиклассником потому, что так было красивее), офицер, у которого грудь сияла ярче весеннего солнца (само собой понятно — от орденов), офицер вдруг свел над переносицей черные густые брови.

«Она такая неотразимая — и могла ждать меня? — подумал неожиданно Сергей.— Могла быть равнодушна к тем песнопениям, которые, без сомнения, летели к ней со всех сторон? Она могла думать только обо мне?»

Ее глаза были полны блеска. Но вдруг и она нахмурилась.

«И почему, почему среди этого всеобщего ликования,— подумала вдруг Надя, глядя на своего Сергея,— почему он хмурит брови? Почему он угрюм? Что-то вспоминает... Ну да, конечно,— мелькнула у нее догадка,— за четыре года он прошел много дорог, и на одной из них...»

...И оба терзались. Оба,— продолжал я,— оба готовы были возненавидеть друг друга. За что? За... измены! За несуществующие измены... Эх, кровавый идол, неумолимое чудовище...», и так далее...

2

Я привел отрывок из моего рассказа.

Думаю, что этого отрывка вполне достаточно, чтобы вы, дорогой мой друг, признали, что в моем первом «литературном трепете» действительно было кое-что для слуха, не говоря уже о «высоком душевном напряжении». Что рассказ мой был несколько автобиографичен — об этом я уже сказал...

Наконец герои мои после долгих «сердечных испытаний» по какому-то «непередаваемому» выражению глаз друг друга («а глаза,— опять-таки замечал я,— это маленькие телескопы, направленные во вселенную человеческой души»), наконец герои мои поняли: ведь они же прежние Надя и Сережа. Боже мой! Ведь они же сидели за одной партой, вместе вступали в пионерскую дружину, вместе... И я торжественно заканчивал свой рассказ:

«Памятны назначенные встречи. Преодолены разделявшие пространства, и друзья вновь за одним пиршественным столом. Ни одного печального взгляда. Восторги, восклицания и чаши, поднятые к небесам.

— За счастье жизни нашей!

— За всех любимых!

Памятны назначенные встречи...»

На последнем слове голос мой сорвался (если глаза — зеркало души, то голос, без всякого сомнения, — эхо душевного состояния). Я не решался сразу посмотреть на Виктора Сергеевича. Он подсел слишком близко ко мне. В вагоне свет был слишком яркий.

Сдерживая дыхание, я ожидал оценки своему рассказу. Было тихо. Я не слышал даже стука колес. Вернее, стук колес я почему-то принимал за стук своего сердца. Казалось, кто-то взял и перенес меня в пустое пространство.

А между тем там, в пустом пространстве, куда я перенесся волей известного только начинающему автору чувства, раздалось вдруг покашливание — этакое, знаете, до корней волос краснеют от него, неловкое покашливание.

Кто? Виктор Сергеевич? Нет, он рядом, а покашливание — снизу. Кто?

Наконец взгляд мой нашел виновника — военный товарищ. Не знаю, какой вообще у меня взгляд, взгляд самых что ни на есть обыкновенных мутновато-серых глаз, что он мог выражать в ту минуту — не знаю.

Сверху мне было видно, как военный товарищ, прикрыв лицо широкой ладонью, почесывает себе переносицу.

«А, почесывает, ну и пусть себе почесывает», — сказал я себе и перевел взгляд на студента. Долговязый тоже бодрствовал, и — странное дело: неужели и его прохватил насморк? — рука его тоже лежала на переносице, и — или опять мне только показалось? — он тоже готов был вот-вот чихнуть.

«Да, конечно, в вагоне сквозняк», — решил я и уже после этого смело поднял глаза на Виктора Сергеевича. Поднял и... Да, дорогой мой друг, я не опустил их, хотя и пожелал в ту минуту, чтобы они, глаза мои, видели не так хорошо и не так много. Зачем? Ну зачем им, этим глазам, видеть, например, что такое симпатичное, такое умное лицо твоего соседа, может быть, только высшим напряжением воли сдерживает вырывающийся наружу смех? Видели бы закушенную нижнюю губу, ну зубы, сдавливавшие ее, видели бы вздрагивающую левую бровь, гладко выбритый подбородок, ну уши — и правое и левое, — пусть бы даже заметили все ямочки на лице, шрам на левой стороне шеи, маленькую родинку на открытой груди, пусть! Но зачем видеть все — видеть смеющуюся душу человека?

Я понял: рассказ мой не только не вызвал восторга, но... он осмеян.

Конечно, мне надо было промолчать. Но что я мог поделать с собой? Какой-то бес сидел во мне. И что ему нужно было, мелкому, гадкому? Зачем он ворочал моим языком? Я сказал:

— Ну вот, видите? И писал я его всего одну ночь. Как вы находите? Вещь? Только вы мне не говорите о частностях. Я знаю, языковая отделка еще, пожалуй, недостаточна... Над этим я еще поработаю... Но вот как с внутренней стороны — это как вы находите? Это меня больше всего занимает. Здесь, видите ли, я хотел показать, что в известных случаях даже очень чистые в моральном отношении люди проявляют себя — ну как бы это выразиться? — проявляют...

Платов не прерывал меня. Военный товарищ и студент не убирали ладоней с переносиц. Тихо, очень тихо было в вагоне. Только в подземелье бывает такая тишина.

И вдруг эта тишина нарушилась. Виктор Сергеевич — я даже вздрогнул — спросил меня, почему-то грозя мне пальцем:

— А сколько вам лет, простите меня?

Голова его чуть качнулась, в глазах на мгновение вспыхнули желтые искорки. В эту минуту мне показалось, что я уже где-то видел Платова.

— Что? — удивленно протянул я.

— Лет, сколько вам лет? — повторил Виктор Сергеевич и после небольшой паузы с наивнейшей кротостью в лице добавил: — Хочу про- верить себя: по виду и по рассказу я вам дал бы совсем немного...

И что в нем было, в его голосе? Сказанное почти шепотом (он гово- рил очень тихо) отозвалось во мне настоящим громом, да, громом, после которого меня можно было закапывать в землю: на вагонной полке, втянув в плечи голову, лежал человек, и не рассекли ему грудь мечом, скажу в тоне своего первого рассказа, но сердце трепетное вы- нули.

С этого и началось.

— Ого, вам девятнадцать? — Платов вначале засмеялся, это я пре- красно видел, но потом выражение лица его вдруг резко изменилось, на нем не было и тени улыбки.— Тогда вот что: тогда почему же, простите, вы смотрите на мир глазами Дон-Кихота?

Я качнулся на своей полке.

— Подождите, вы поймете меня,— предупредил мой протест Платов.— Только наоборот: тот, благородный мечтатель, принимал баранье стадо за войско, вы — войско за баранье стадо.

Больше ничего он не сказал. Но и этого было достаточно, чтобы я понял: мой рассказ, а следовательно, и то, что содержалось в нем,— моя ревнивая любовь к Наде,— подвергнуты самому суровому осуждению. Тем более, что после слов Платова и у студента и у подполковника ла- дони уже не лежали на переносицах. Их руки — у долговязого обхваты- вали колени, у военного товарища сжимали голову. Они, правда (веж- ливые люди!), пытались прикрыть истинную причину своего смеха каким-то анекдотом, который будто бы вспомнили в одно и то же время.

Но разве шило в мешке утаишь? Они, конечно, потешались над моим рассказом.

— Как? Что? — возмутился я.

И надо вам сказать, дорогой мой друг, начинающие авторы — вспылчивый народ. Они только в первые минуты после провала своих «творений» сами готовы провалиться сквозь землю, но потом они могут постоять за себя. Они обретают дар речи... Я тоже обрел.

— Осторожно, товарищи — и военные и гражданские,— сказал я и думаю, что в голосе моем была по меньшей мере щедринская язвитель- ность, — осторожно, такой смех приводит иногда к неприятным послед- ствиям!

Меня прервал военный товарищ:

— Ну согласитесь же, молодой человек, согласитесь, — голос у под- полковника был совершенно дружеский и, можно сказать, почти упрашивающий, — ну согласитесь же, — повторил он, — что ваш красавец офицер — осел... И как вы сами этого не видите? А красави- ца?.. Четыре года, четыре года! — возмущенно воскликнул он. — Четы- ре года только и мечтали люди встретить друг друга, а встретились — первая мысль: она, такая расчудесная, и осталась мне верной,— как же это может быть! Он, такой великолепный, такой аполлоноподобный, и не изменил мне,— как же это может быть? Ну согласитесь же...

— А что? — прервал я в свою очередь подполковника.— А разве такого не бывает в жизни? Не может быть, скажете? Задача искусства, в том числе и литературы...

С этим возражением я так и остался. Больше я не мог уже раскрыть рта. При последних моих словах неожиданно между полками взметну-

лась долговязая фигура студента, руки его описали несколько кругов почти около самого моего носа.

— Это какие же задачи вы имеете в виду, говоря о литературе? — последовал за энергичным жестом не менее энергичный вопрос.

И студент и военный товарищ тузили меня с горячностью. Один разил «теорией», другой — «жизненным опытом». Один — студент — требовал, чтобы я «прошелся» по немеркнущим страницам истории мировой литературы и взял оттуда «действительно полезное, действительно прекрасное» («этот студент наверняка сам начинающий автор», — подумал я, глядя на его раскрасневшееся от возбуждения, суховатое лицо и пышную шевелюру, которая иногда падала на высокий лоб и закрывала искрящиеся черные глаза; очень красивые, выразительные глаза, что, между прочим, я должен был отметить помимо воли), другой... да что там другой! Заключение было такое: «Ложь — враг искусства. Это общеизвестно. Вы в этом рассказе (не знаем, как в остальном) — друг лжи. Бойтесь, чтоб и это не стало общеизвестно!»

— Вот, вот он, суд! «Друг лжи» — это я? Я, перевернувший тонны «словесной руды», чтобы для самого заветного выбрать самое прекрасное, самое выразительное, это я — «друг лжи»?

Так я воскликнул (про себя, конечно). Но губы мои не шевельнулись. С них не слетело проклятия. Я не ответил. Я не снизошел. Я гордо откинул голову. «Вы невежество, вышедшее на маневренный простор», — всем своим видом сказал я моим спутникам. А внутри: «Доверился! — костил я себя. — Нашел судей! Ну что они могут тебе сказать? Этот, — я метнул взгляд в сторону Платова, — этот, в «младости» пописывавший стишонки? Он и сейчас их, наверное, пописывает... Смотри, улыбается еще, словно старого приятеля встретил... «Красивый, двадцатидвухлетний», гм! Этот? — перекинул я взгляд на студента, который (не взгляд, конечно, а студент) все еще продолжал размахивать длинными передними конечностями — так уже про себя называл я его руки, — этот...» Студента я назвал ослом, военного товарища из уважения к его званию я несколько пощадил, но и ему досталось: если б услышал, обязательно схватился бы за лысину, на которой, по моим произнесенным словам, можно было бить кирпичи...

Я костил себя, костил моих недавних судей. Но ни то ни другое не давало успокоения расходившимся внутренним обидам.

А тут еще под самый нос придвинулись очки редактора. Откуда? Спроси у заблудившегося в тайге: почему почти каждая коряга кажется ему медведем? За очками — нос. Хорош этот нос. Красный, расплылся по всему лицу... И уши — что за уши! — торчат над головой, громадные, почему-то в испарине, точь-в-точь промокшие лапти сушатся!

Нехорошее, очень нехорошее лицо у моего редактора. А все потому, что он... смеется! И я знаю над чем — над моим рассказом!.. Он тоже его читал — правда, всего первую страницу. Об этом я расскажу позднее.

— Николай Иванович, эх, Николай Иванович!

Но редактор не внимал моим безмолвным восклицаниям. Я уже слышал его голос.

— И это стиль? Это стиль? — говорил он над самым моим ухом, вернее — в самом моем ухе, и вдруг он перестал смеяться, а, как всегда в таких случаях, когда бывал недоволен мною, снял очки, потер переносицу, нахмурился и посмотрел на меня так, словно я дежурил по номеру и допустил какую-нибудь оплошность. — Ты слышишь, Сергей? Слышишь? — повысил он голос. — Это не стиль. Это какое-то кривляние, какие-то погуги на оригинальность. Сам ты задыхаешься, читатель задыхается от того невероятного потока слов, которым ты раздражаешь-

ся по поводу любого пустячного случая, а мысли, где мысли? Нет мыслей. Тьма и тьма...

Я обхватил голову руками. Я заворочался на полке. А редактор — пухлые пальцы его с рыжеватыми волосиками, с бородавкой на правом мизинце страница за страницей перебирали рукопись моего рассказа, на каждой странице красовались кресты, колья, перекладины, целый частокол вопросительных и восклицательных знаков,— редактор продолжал:

— Тьма и тьма... — И внезапно возвысил голос: — А ведь я уже говорил тебе, Сергей, сколько раз говорил: ясность, простота, простота, ясность — вот основные условия художественности. Брать быка за рога! Учиться у классиков! Действие началось — слейся с ним. Сказал, что на стене ружье,— в конце действия оно должно выстрелить. А как же? В этом суть. Куда полетит пуля — укажи, обязательно укажи! В мерзавца? Всем должно быть ясно: это мерзавец. Докажи, что его не стоит жалеть, ибо он в великом соборе человеческого зараза, мразь: только о себе, только в себе, только для себя... за счет всех, за счет вся, за счет всего — докажи и казни его! Так надо: все прекрасное дается с трудом, все справедливое утверждается в борьбе с несправедливым... — Рука редактора внезапно сжалась в кулак. Кулак, похожий на молот, на мгновение повис в воздухе.

Я поежился. А редактор еще больше распалился.

— И ружье направлено в другую сторону, в грудь, — уже гремел он, — грудь, которая дорога — дорога тебе, мне, ему, дорога всем, всему собору человеческому, — что надо делать в таком случае? Бить, бить тревогу, звать на помощь герою, понимаешь? Надо доказать, что такие не должны гибнуть, должны жить и жить, как об этом сказано у великого поэта, «жить и жить, сквозь годы мчась...», понимаешь ты это, Сергей? А? Понимаешь? — Кулак-молот опять поднялся, на этот раз над самой моей головой. — А если герой твой погиб, заставь всех переживать его гибель. Пусть на его место станут новые... сотни, тысячи! Понимаешь? Понимаешь?

Но тут и редактор и кулак его (так и не успев опуститься на мою голову) внезапно исчезли...

3

Давно открыта такая истина, но я ее вторично открою: раздражение — брат воображения. Я вдруг перестал думать о своем рассказе, о редакторе и о своих соседях. Могучий порыв захватил меня. Честное слово — могучий!

— Нет, я добьюсь своего, добьюсь! — воскликнул я.

И память понесла меня в далекое прошлое.

...Я один. Сажу на прибрежной скале. Ноги мои касаются воды, и не просто воды, а вспененной, шумливо-неугомонной, соленой, горькой...

Море.

Там, далеко, — корабли. Вот бы пуститься вплавь, да добраться б до них, да к самому главному, к капитану.

— Тельняшку мне, бушлат...

Тельняшка и бушлат для меня не одежда, а символы богатырства и бесстрашия. Я хочу быть сильным и храбрым, как моряк, как любой моряк, потому что все они, по моим убеждениям, богатыри и герои.

И вдруг откуда-то появляется отец. Он в белой шелковой рубашке — выходной день — и клеш: в одной штанине можно упрятаться, Он подкрался ко мне.

— Серезжка...

— А? Папа!..

— О кораблях думал?

— Ага.

— Мал еще для корабля, мал... И где это ты столько мусору насоби-
рал (это относится к моим волосам, которые он треплет). Мал... Но
любишь море — это хорошо.

И я над его головой.

Подлетаю, как пушинка. Внизу камни, но этого я не боюсь.

Буду в море капитаном,
Дай лишь подрасти!
По морям и океанам
Корабли вести!
Буду...

— Будешь,— соглашается отец и чему-то смеется, а как он смеется,
мой отец; лицо его в шрамах, но для меня это самое красивое лицо в
мире. И нет мне никакого дела до того, что губы у моего отца толстые,
нос большой и мясистый, а усы рыжие, пропахшие табаком, — красавец
мой отец!

— Ну, чего засопел? И волосы мои не грива — не цепляйся. Пой! —
приказывает он и угрожает: — А то — видишь вон ту тучку? — заброшу,
обожжешься у самого солнца...

Синее-синее небо. У отца глаза тоже синие. А тучка не тучка — белое
облачко и похожа на птицу: клюв вытянут к солнцу, ноги поджаты, не
летит только.

Не летит? Зато я...

— Папа! Папа!

Нет, на тучку я попадать не хочу, и крепкие руки у отца, знаю: не
упустят, а все же...

— Что, испугался? Не хочешь в небо? — дразнит меня отец. — Ну,
тогда марш на сушу! В капитаны готовишься, а морской качки боишь-
ся, — марш!

И я на земле. «Морская качка» — это болтать над его головой нога-
ми, — скажет же отец! Все у него неожиданно: то смеялся, а то как и вза-
правду сердится: ус подкрутил и прямо кольнуть им хочет...

Оправдываюсь:

— Да нет, не испугался...

— Говори!

— Честное слово!

— Честное слово? Моряцкое? Ну, тогда верю. — И вдруг восклица-
ет: — Смотри — мама! Вон у липы. А ну-ка наперегонки!

— Мама?

И губы у меня уже искривлены. Еле шевелятся, еле шепчут. И что
только они, дурацкие, шепчут?

— Надька Семениха нос себе разбила, а я... я ей говорил: «Не надо
в наше раскрытое окошко камешки бросать...» Не послушалась. Ну вот...
Иди, папа. Я не пойду. Я уже пообедал. Я к Михаилу Степановичу, звал
он... подсобить...

— К Михаилу Степановичу? В выходной день? Где, в чем «подсо-
бить»? Что-то ты фантазируешь, брат.

Не поверил папа. Эх, Надька, Надька! Ну, честное слово, не хотел я
тебя толкать! Ну, подергал бы за косички, ну... а то побежала! Вот
теперь...

Мама увидела нас. Нет, пока одного папу. И руки на букву «А»
сигнальную (она тоже морячка: может целый приказ на флажках пере-
дать), зовет:

— Виктор! Виктор!

Папу зовет. Я нагнулся. Вот... и не замечал раньше: оказывается, у меня цыпки, да болят как!

— Смотри, папа...

Но хитрость не удастся. Отец не смотрит. Он уже все понял.

И болят цыпки, а разогнуться надо! Теперь уже никуда не убежишь. Решаюсь.

— Я здесь, мама!

Вскакиваю и бегу. И все же обидно: эта мамка... с самого утра помнит... и хотя б виноват... Чертова Надька!

Далеко-далеко — горы. А ближе — лес. Вот бы...

— Я здесь, мама!

А сам хочу пробежать мимо, по тропинке в овраг, а там под забор и, между подсолнухами, к Надькиному дому. Он на самом краю поселка, две липы под окнами и одна у калитки, самая большая.

Я уже ничего не боюсь. Пусть трепка! Пусть! А потом я этой Надьке...

— Да куда же ты? Стой! — Мама вытянула руки. Присела...

«Как цыпленка, ловит», — мелькает мысль, и тут же замечаю: у мамы разорвана кофточка на правом плече, и волосы не в косе, а туда-сюда, будто под большим ветром побывала. Не понимаю. Ничего не понимаю! Бегу. Разобьюсь? Ну и что ж, пускай разобьюсь, не жалко!

Однако стоп! Попадаю прямо в мамины руки. Сам. И все. Смейся, Сережка, смейся! Мама и не думала задавать трепку. Рассказывает про Надьку:

— Целое утро тебя вместе со мной искала. Плакала девочка... И нос разбила — так не плакала.

А вот и Надька. Вижу: бежит по бугру. Она уже тут, около нас.

— Да, да, он, Сережка, не виноват, — подтверждает она, всем существом своим подтверждает. — Не толкал меня Сережка, нет! Да он и никогда со мной не дерется, никогда! А косички? — На этом слове Надька запнулась, но быстро поправилась: — А косички? Да за косички... и сейчас может подергать Сережка... Не больно, нисколько не больно! На, на, подергай, подергай, Сережка! — предлагает она.

Какой у нее писклявый голосишко, у Надьки. Никогда не говорил ей об этом, а теперь сказал, и не взъерошилась, даже губы не поджала — согласилась. Вот она, Надька! Молодец Надька!

Во всем прав Сережка. И внимание ему и уважение!

Надька уже не шмыгает носом, уже обгоняет меня. Торопит: скорей, скорей! В поселке, оказывается, за время моего отсутствия произошло важное событие: у Ефимки (Ефимка — мой самый первый друг и в то же время самый опасный соперник: Надька дружит то с ним, то со мной), у Ефимки появился корабль.

— Корабль?

— Да, — подтверждает Надька. — Парусный, с мачтами. На мачты, говорит, бабушка Фрося вязальные спицы дала.

— Спицы?

— Честное слово.

Сомнений не остается.

— Бежим! — команду я, но тут же неожиданно останавливаюсь.

Мама почему-то рассердилась на папу. Велит ему молчать. Сначала усмехаюсь: это папе-то молчать? Конечно, ни за что не послушается! Но потом мне не до смеху. Еле слышен мамин голос, и папин — тоже, но так и пригвоздили меня эти голоса.

—...А это ты напрасно, Соня, — слышу папин голос. — Говорю тебе: за такое дело за ушко да на солнышко, как это говорится. А то как же? Это же черт знает что получается! Надьку-то он ведь толкнул? Толкнул.

И не сознался. Значит, наподличал и убежал. Трус же будет расти, жена, трус! — доносятся до меня уничтожающие слова.

Все протестует во мне. Трус — это я? Забыты и Ефимка и корабль. Папа! Папа! И как он может так говорить?

Здесь я должен признаться: в детстве я больше всего боялся прослыть трусом. Это была страшная боязнь, толкавшая меня на самые сумасбродные и отчаянные поступки: я, например (особенно в присутствии Надьки), мог ни с того ни с сего внезапно упасть на четвереньки перед пробежавшим мимо незнакомым псом и залаять на него, причем так залаять, что пес от неожиданности (все животные, кстати сказать, страшатся загадок) или столбенел на месте, или шарахался в сторону; мог скатиться с высокого склона в овраг, рискуя сломать голову; мог броситься под мчавшийся велосипед (под мотоциклы и автомобили не пробовал: в нашем поселке, окруженном оврагами, они никогда не появлялись); мог... И вдруг — я трус?

Надька быстро-быстро хлопает ресницами: она тоже все слышала. Слышала и другое: «Дурак для отца только обида: природа обидела, а трус — и обида и позор», — даже такие слова сказал отец!

Я вдруг заявляю:

— Иди, Надька. Не пойду через мост (я не трус, папа!). Я... я не перепрыгну через этот ручейшко? (В овраге бежал ручей, и широкий.) Ну, посмотрим, посмотрим... Даже не в этом месте, а вон (я не трус, папа!), а вон, где коряга...

Сказал так, что и отец должен услышать. Пусть!

У Надьки глаза — словно бы змею увидела. Пусть! Только бы не закричала...

Разгона много — хорошо. Этот берег выше — значит, корягу... «А если животом? — мелькает мысль. — Острая коряга. Э, все равно...» Бегу.

И вдруг — коряги нет. А перед самым носом папин палец. Откуда? Почему? Быстро-быстро раскачивается, один раз даже по лбу стукнул. Не узнать папу.

— Ты что же, стервец, а? — И даже маму папа оттолкнул. — Ты что же — психический? Ну вот же, смотри: чтобы никогда этого не было, ишь!..

Не узнать папу. Неожиданно выпрямился, положил мне на голову руку и совсем уже ни с чего рассмеялся, повторяя:

— Ошибся, ошибся, но — психический. Черт тебя знает, психический!

И опять я у него над головой.

— Пой свою капитанскую, ну!

— Не... не... не могу, папа.

— Пой!

День жаркий, трава сохнет, а слезы... и того быстрее. Пою:

Буду в море капитаном,
Дай лишь подрасти!
По морям и океанам
Корабли вести...

— Так. А дальше?

Ну и руки у папы! Мама смеется. Надька прыгает на одной ножке.

Побываю в дальних странах,
Дай лишь подрасти!

Папа и Надьку подхватывает. Только платьишко взвивается.

— Держись, Надька! Хорошо?

Да, хорошо. Визжит. Но глаза прищурены — рада. Никто ее так не подбрасывал: отца нет — японцы потопили, когда еще совсем маленькая

была, а дедушка, Михаил Степанович, совсем старенький, сухонький, его и самого папа мог бы подбросить...

Надька хватается за меня.

— Да ты не визжи,—приказывает ей отец и опять как взаправду сердится: и бровью и усом двигает, а шрам, что у левого уха, так прямо кровью налился.

— Ой, дядя Виктор!

— Ну вот, вот, совсем не такая ты, как Сережка...

Меня хвалит. Это мне как новогодняя елка.

— Я... я ничего не боюсь!

Но я напрасно поторопился принять за чистую монету слова отца.

— Да, да, совсем не такая,—продолжает он.— Тот, смотри, доволен, что на отце ездит... Дал бы кнут, так и по спине, пожалуй, проехался бы, а?

Вот этого я уж никак не ожидал и, как на вертеле, закрутился, вырываясь из рук отца.

— Вот, вот, заплачь, заплачь, да погромче, тогда пушу...

Этого еще не хватало! Я? Заплакать? Я перестану вырываться из его рук и деловито допытываюсь: а видел ли он, папа, хоть раз, чтоб я плакал, а? Ишь ты, заплакать!

— Только когда ты — это еще в прошлом году было,— поясню я,— только когда ты из плавания весь забинтованный пришел, я заплакал, и то,— уточню я,— и то: разве ж я знал, что ты у котла обжегся, думал, тебя поранили...

— А у котла обжегся,— прерывает меня отец,— значит, это ничего? Значит, так и надо?

— А чего же ж — заплакал, говоришь?— продолжаю я показывать свое «моряцкое» бесстрашие.— Ну как же бы я тогда не заплакал, а? Когда мама услышала только, что ты изранен весь, так посредине комнаты упала, и дядя Коля ее водой отливал, а? Как же бы я тогда не заплакал? Дядя Коля, твой брат,— для чего-то поясню я,— и то как закаменел вдруг: вылил на маму воду, а сам с колен не встанет. Потом только очнулся, когда я заплакал. Пусти!

— Ну ладно, убедил,— соглашается отец, легонько сталкивая нас с Надькой лбами.— Драчуны...

И мы опять на «суше». Надька прыгнула за куст. Я по тропинке побежал. Отец топает ногами, но знаю — на месте, не оглядываюсь.

— Надька!

Она не отзывается.

Выскочила из-за куста, слова сказать не может.

— Куда теперь?

— К... к... Е-е-фимке!

Ну что ж, к Ефимке так к Ефимке.

Настроение у меня резко изменилось: я не трус!

Прямо — улица, направо — бугор.

— Надька, через бугор.

И нет ветра, а в ушах ветер. Вверх — вниз. И вот поселка уже не видно за буграми.

А лес рядом. Далеко-далеко — горы. Небо синее-синее. А тучка и сейчас там. Тучка не тучка, а белое облачко...

Потом я представил себя уже вполне сложившимся парнем.

Шел мне шестнадцатый год, но кто бы сказал, что такому удалцу-молодцу только шестнадцать лет: был я и высок, и строен, и в то же время кряжист,— видели таких пареньков? — и негнувшийся, и в то же вре-

меня «будто без единой косточки» (говорю так о себе без всякого бахвальства, ибо такого мнения о моей фигуре были многие и, в первую очередь, моя мама).

Ростом и силой я не подвел отца. Что же касается наружности, то... Но тут уж не я, а он, пожалуй, подвел меня: брови густые, но белесые (и чуприна такая же), глаза большие, но серо-мутные, без всякого поэтического выражения, нос с горбинкой, но... черт бы побрал его хоть наполовину: в школе прозвали меня за его непомерную величину «английским лордом», да еще «хранителем печати».

Где, когда, при каких обстоятельствах и от какого недоброжелателя получил я это позорное прозвище, до сих пор не знаю, но, думаю, узнай я в свое время обидчика, доказал бы ему, что и его нос может быть, при известных условиях, не меньше моего; тем более, что в последнее время, оставаясь с Надей (Надькой я уже давно перестал ее звать), я все как-то не находил случая, чтобы с прежней расторопностью продемонстрировать перед ней свое бесстрашие (перед пробежавшими мимо псами я к этому времени уже не падал на четвереньки).

Эта печать английского аристократизма (продолжаю о своем носе) доставляла мне немало тайной горечи. Может быть, из-за этого носа я и стихи-то начал писать, — бог его знает. Даже, пожалуй, наверное так, потому что первые свои строки, как теперь вспоминаю, я сочинил после того, как однажды прочитал статью одного очень большого писателя о французском поэте Сирано де Бержераке. Вот это был человек! Он вдруг перевернул всю мою душу. Первый раз в жизни я плакал над книгой. Это вполне серьезно. А потом не спал ночь. Утром вместо физзарядки, вместо обычных своих ударов по тренировочной груше (из всех видов спорта я больше всего уважал бокс) я бросился к письменному столу. Рука моя рванулась к перу, перо — к бумаге, минута — и родился новый выдающийся поэт. Расскажу об этом подробнее.

В то же утро... впрочем, нельзя сказать, чтоб я сразу же, в то утро, подумал, что я «выдающийся». Напротив, вначале я даже испугался того, что вышло из-под моего пера.

Да, Везувию я брат,
И не младший — старший!
Во главе орущих банд
Мне б шагать по славе маршем.
Я — не спрашивайте кто, —
Землекоп я грязный,
Я зову на вас потоп,
И чуму, и язвы!..

На кого — и чуму и язвы? На этот вопрос я сам не мог ответить. По-видимому, на всех тех, кто попытался бы не признать моего поэтического дара...

«Да это же бандитские угрозы!» — помнится, мелькнуло у меня в голове, когда я раз, а потом второй и третий перечитал эти строчки и опасно оглянулся — хорошо, что хоть отца нет в комнате...

В ту же минуту я собрал и скомкал исписанные листки и подошел к плите. Подошел в то время, когда

Мать растопила жарко печь,
Мать собиралась шаньги печь...

Мое «вполне зрелое моряцкое сознание» (любимые слова моего отца) подсказывало мне — даже рифмы сразу пришли в голову! — сказать матери:

Брось, мамаша, дровишек не трать —
Нá с моими стихами тетрадь...

Но рука моя, уже открывшая было дверцу, чтобы отправить в печку плод моего первого «ночного бдения», эта рука в последнюю минуту вдруг заупрямилась (уж по чьему приказу, не знаю: психолог я невеликий), она резко отдернулась от огня и, пронесшись мимо раскрасневшегося — от жары ли или от внутреннего возбуждения, — мимо моего «английского лорда», повисла в воздухе. Произошло небывалое: моя же рука отказалась подчиниться моему же «вполне зрелому моряцкому сознанию». И «сознание» не возмутилось. Оно нашло маленькую лазейку для оправдания автономных действий руки — ведь целую ночь я сочинял...

Стихи не были сожжены. Я бросил скомканные листочки на стол, выскочил через окно в палисадник — это было обычное мое «выхождение» из дома: удалой молодец за это уже ни от кого не получал замечаний.

Какое утро! Я посмотрел на горы. Над ними висели облака-громады, полчища облаков. И чего только я не увидел среди них: там — лихие всадники, перелетающие на белогривых скакунах через огненные провалы и бирюзовые бездны; там — вознесшиеся ввысь колонны фантастических зданий; там — остов разбитого древнего корабля; там — скопище каких-то невиданных зверей; там — шлем богатыря, там... и т. д., и т. п. И все это я увидел за какую-то минуту!

— Черт побери! — воскликнул я. — А ведь я и взаправду должен сочинять стихи!

Солнце стояло уже довольно высоко. От него к горам шла дымчатая облачная полоска, от которой, казалось, исходил нежный медовый запах... да нет же, не от нее — от липы, стоявшей над оврагом. Все перепуталось в моей голове. Перепуталось потому, что со мной творилось прямо-таки что-то невообразимое... На поляне стояли три дуба — ни от каких бурь не пошатнулись бы такие богатыри! — но мне показалось, что они, эти богатыри, склонившись друг к другу своими громадными головами-вершинами, о чем-то шепчутся. Покачиваются и шепчутся... Я вытянулся на мягкой молодой траве под одним из них, и — о диво! — губы мои опять зашевелились:

Несется облако над дубом,
Под ним я мну траву...
Но губы снова — что за губы! —
Опять зовут, ее зовут!..

Я вскочил как ужаленный: так вот, оказывается, о ком я все время думал — и читая о необыкновенном французском поэте, и всю ночь сочиняя стихи. Надя!

Тут-то я и пришел к выводу, что я, я, Сергей Юшанин, сын моряка... Я оглянулся вокруг. Смотрите! Вот я иду (хотя я не шел, а бежал: в конце концов нельзя же было до бесконечности задерживать мать с завтраком), вот иду я, великий и прекрасный (об «английском лорде» я умалчивал), иду... В очах моих (именно очах) свет беспокойной творческой мысли, на челе моем (я добавлял: высоком и вдохновенном) печать великого призвания... Вы видите? Это я... Я тот, который восхищается разумом и красотой. Я тот, который потешается над глупостью и безобразием. Я — Сергей Юшанин...

Вот что было в моей душе, когда я — может быть, уже на десятый зов матери — прибежал к завтраку.

Отец уже встал из-за стола.

Он не смотрел на меня, а то б увидел, что на сына, на которого только что сошла «благодать», нельзя сердиться из-за такого пустяка — опоздания на завтрак. Он хмурился. Может быть, Ванюшка (мой младший бра-

тишка) напраказничал? Но вижу: малыш — ему всего четыре года — держится вполне равноправным членом, значит в доме не разбит приемник и не опрокинут горшок с любимыми мамиными цветами, — чего ж тогда отец в таком виде?

И вдруг он заговорил. Дернув лохматыми бровями и подняв вверх палец, словно водворяя тишину не только в доме, но и на улице, он заговорил — о чем? о ком? — о какой-то «старой шельме», американской миллионерше; о том, что жила-была, видишь ли, эта «шельма» на какой-то там «нью-йоркской улице», имела «целую кучу капитала разного», а потом сошла с ума, а потом взяла да однажды умерла, такая-разэтакая.

— Однажды только, а не могла дважды? — усмехнулся я, прерывая отца. Ну, какое мне дело, хотел сказать я, что в Америке жила какая-то сумасшедшая богатая старуха; что завещала она капиталы своей любимой собачке по кличке «Тоби»; что такое завещание утвердил американский суд; что потом собачке отстроили великолепный дворец; что в этом дворце за собачкой стало ухаживать сорок шесть слуг, — ну, какое мне до всего этого дело?

Но отец попросил меня помолчать.

— Шесть ученых американских адвокатов, — продолжал он, — вели хозяйственные дела этой собачки и являлись к ней с докладами. Такое уж правило было, — пояснил он, — хоть бессловесная тварь, а хозяйка: без доклада нельзя...

Я опять усмехнулся:

— Интересно, на каком же языке они докладывали — на собачьем или человечьем?

Отец на это возразил:

— Не знаю. Об этом в американских газетах не сообщалось, я же рассказываю не выдумку, а быть жизненную... Так вот, значит... — Отец заговорил о пережитках капитализма в сознании каких-то «даже очень молодых советских людей, сукиных сынов», как он выразился. В другое время я обязательно поддержал бы такой разговор: «сукиных сынов» я тоже не признавал. Но в такую минуту... какое мне было дело до каких-то американских сумасшедших миллионерш, которые умирают и... оставляют своими наследниками собак? Какое мне было дело до каких-то американских кретинов адвокатов, которые живут и не умирают... лишь только потому, что служат... псам? Какое?

Я слушал отца, но думал о своем. По-прежнему в душе моей все пело. Переворачивались «тонны словесной руды» в моем мозгу (как измельченный щебень в бетономешалке): я подыскивал рифмы к слову «зори». Они одна за другой являлись: «Корабли уходят в море...»

— Замечательная рифма! — вырвалось у меня вслух. Вслед за этой рифмой приходила другая: «Вьются чайки на просторе...» Но эту рифму и весь стих я осудил, и тоже вслух: — Гм, как это чайки могут виться? Канаты они, что ли? — В конце концов у меня «родилось» примерно следующее:

Отчего взъярилось море?
Отчего волна с волной
В этом бешеном просторе
Завязали смертный бой?
Отчего на скалы, кручи
Вдруг вскипевшие валы
Направляют бег могучий,
Быстрый, будто лёт стрелы?
Оттого, что с неба тучи
Мечут молнии и гром,
И тайфун, титан легучий,
Бродит в море роковом!

Ну, конечно же, после такого «законченного во всех отношениях» стихотворения я не мог дальше слушать рассуждения отца. Черт с ними, со всеми этими разными нью-йорками, где живут эти самые — как их? — шельмы миллионерши! Правильно, отец: всякий, кто не уважает людей, ищет друзей среди скотов. Конечно, пережитки капитализма есть еще и в нашей жизни. Но не будем говорить об этом. Вот послушай меня...

Я откинулся на спинку стула. Стихи мои, сотни раз пережеванные с картошкой и салом (такой у нас был завтрак, и этим самым я ничего плохого не хочу сказать о своих стихах: ведь в некоторых журналах печатаются еще более зажеванные и засаленные), стихи мои так и порывались слететь с моего языка. Чуть уж было не слетели. И вдруг...

Отец резко повысил голос. Это удивило меня: никогда он так со мной еще не разговаривал. В чем дело?

А дело, оказывается...

— Ты... ты еще и перебивать меня? Значит, до тебя так и не дошло, почему я заговорил об этой американской собачке и о прочей буржуйской сволочи? — прогремел он. — Ну, а сейчас дойдет? — И я неожиданно под самым своим «английским лордом» увидел... те самые скомканные листочки, которые, убегая на умывание, пожалел предать огню.

— Да это... — попытался было я подняться из-за стола.

Я хотел объяснить, оправдаться, но оправдываться и объяснять было уже поздно: отец плохо слушал, когда был в гневе. Он продолжал:

— Так вот что ты уже марашь? Зовешь, значит, на людей «и чуму и язвы»? К такому, значит, убеждению ты пришел: все люди — дрянь, один только ты персона, так? — Он почти взвизгнул (это при его баше!) и неожиданно накрыл мой несчастный нос своей огромной рукой с растопыренными пальцами. — Так? — Но только накрыл, не нанес ему никакого ущерба. — Нет, братец, в этом деле я тебе — ша! За такое дело — понимаешь? — я тебя сам, хоть и вымахал ты под потолок, а сам, своей рукой, камень на шею — и на дно морское, понял?

Я понял. Отец требовал от меня: будь человеком!

5

Могучий порыв оставил меня так же неожиданно, как и захватил.

Я вернулся к действительности.

И очень кстати.

Студент и военный товарищ перемысли, или, вернее, переломали, косточки моему рассказу и переходили уже к обобщениям.

— Чтобы что-то сказать, даже о самом себе, — назидательно проговорил студент, — надо иметь что сказать...

«Козьмапрутковская мудрость», — усмехнулся я про себя.

Мою усмешку перехватил военный товарищ.

Он тоже усмехнулся, но поддержал не меня, а студента.

— Любое слово, даже «оглобля», — проговорил он, — может быть названо поэтическим словом, но оно, это слово, вместе с другими должно рисовать какой-то яркий художественный образ. Должно чем-то взволновать читателя...

— Вот именно — взволновать! — подхватил студент и, бегло взглянув на меня, вдруг с новым жаром ополчился на бездарностей, которые ничего не имеют за душой, кроме, видите ли, хорошего почерка, а тоже лезут в литературу. — Да мало того лезут, — воскликнул он, — поучают! Да мало того поучают — вождей из себя корчат от литературы!..

Последние слова меня прямо-таки возмутили. В конце концов говори что угодно — я тебе не редактор, речь твою не собираюсь передавать по радио, но знай же меру, товарищ студент: пусть я бездарность, пусть я, здоровенный парень, нахально лезу в литературу, вместо того чтобы

умножать материальные ценности,— пусть! Но откуда ты взял, что я получаю, что я уже вождя корчу от литературы? Я уже было раскрыл рот, чтобы дать достойную отповедь зарвавшемуся фальсификатору, но... «Зачем?» — решил я про себя.

Память спясть вернула меня к прошлому.

Когда это было? Ах, да...

...руки протяни —

И, кажется, достанешь эти дни.

Это было зимой. Нас, десятиклассников, пригласили в пединститут на литературный вечер. Нас втроем — Ефима, Надю и меня. Ефим! Милый мой очкарик! Конечно, ты самый близкий мой друг... Все готов я тебе отдать, но... не Надю... Надю ты не получишь! Я не свожу с нее восхищенного взгляда.

Без милой мир — пустыня,
А с ней — цветущий сад,
Без милой сердце стынет,
Туманятся глаза,
А с ней...

Проходим по коридору. Заглядываем в аудитории, залы. Везде веселые возгласы, шум, смех. В этом общем шуме никто не слышит моих стихов — одна Надя. Даже Ефим не все улавливает. Не для твоих ушей, Ефим, дорогой!

Я продолжаю, глядя прямо ей в глаза — огромные, необыкновенные, навеки околдовавшие меня глаза:

А с ней?
Геракл могучий
Сравниется ль со мной?
Готов руками тучи
С грохочущей грозой
Прижать к груди без страха,
Да так, чтоб даже гром
От ужаса заахал...
— А-ах!
О-ох!
Разгром!

Надя смеется. Ей нравятся, конечно же, нравятся мои стихи!

— Он будет поэтом, наш Сережа, правда же, Ефим? — говорит она. — Только «без милой мир — пустыня» — нехорошо, честное слово, это нехорошо, Сережа. Исправь это... — Вскинула и опустила ресницы, «дуги бровей» чуть-чуть изломились, Надя ждет, что ответит на ее слова Ефим.

А Ефим... Милый мой очкарик! Благородный мой друг! Стихотворение ему не нравится. «Слишком много в нем восклицательных знаков, в каждой строчке — овечий хвостик восторга, да и охи, ахи — не знаю, к чему ты их...» — написано у него на лице, но, сняв очки и протирая их, смущенно улыбаясь своими добрыми близорукими глазами, он говорит совершенно другое:

— Да... Конечно... Это верно... В общем, да, волнует! Ну, и в частности...

Запутался Ефим. Эх, друг! Дорогой ты мой друг! Ну зачем ты врешь? Не ври, Ефимушка. Стихотворение тебе не нравится, и я знаю почему: не ты его написал, не твои чувства в нем выражены. Ты иначе любишь, Ефим. А как иначе — я не знаю. Ты вот берешь за руку Надю, встретился

с нею глазами, и — уже все: ты сам не свой, Ефим, ты принадлежишь ей, только ей... Эх, бедолага! А я... я не то, Ефим. Вот смотри. Я могу взять Надю не только за руку, но даже привлечь ее к себе. И она будет смеяться. Она не оттолкнет меня. Вот смотри...

Надя вдруг бьет меня по руке.

— Ты сегодня какой-то... немножко странный, Сережа. Что ты на меня так смотришь?

— Я? Ничуть. Ефим, есть во мне сегодня что-нибудь странное? — Я не даю ему ответить. — Вот видишь, Ефим ничего во мне не замечает... — И резко меняю тему разговора: — Пора в зал. Я буду сегодня выступать — обязательно!

Надя засмеялась:

— Хвастун.

— Я?

— Ты!

Начинается перепалка. Мы шумим друг на друга. Изощряемся в острогах.

Надя. О да, ты известный говорун, это о тебе Грибоедов сказал:

Когда о честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем,
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, а мы все рыдаем...

Я. Эрудиция в пределах школьного учебника: эту строфу, помнится, ты уже приводила в своем классическом, то бишь — классном сочинении... два года назад...

Надя. Я и тогда имела в виду тебя.

Я. А! Теперь мне понятно, почему ты получила тогда «тройку»! Надо было думать не обо мне, а о Грибоедове...

Надя. Ну, знаешь!

Я. Конечно! Я все знаю — и о тебе и о себе.

Надя рассердилась.

Я сбавляю тон:

— А впрочем, казни: мне гибель от тебя любезна...

— То-то же...

Мир наступает мгновенно. Мы входим в зал. Ищем места. Садиться в последних рядах я не хочу.

— Впереди нет мест? Как нет? А в первом ряду?

— Там, по-видимому, будут сидеть писатели, — шепчет Ефим, — всякое начальство...

— А мы кто?

Ефим замешкался. Лицо у него пылает. Но Надя... Вот достойная подруга! Садится в самой середине, и уже закрутилась головка — туда-сюда, раза два скользнула кудрями по моему лицу.

Сзади слышится чей-то восторженный шепот:

— Какая девушка!..

Обо мне и Ефиме не так лестно:

— Роза в окружении сорняков...

Ох, черт, узнать бы, кто это сказал! Оглядываюсь, ищу глазами негодяя. Но лица у всех веселые, добрые. Поневоле решаю: ослушался...

Над головами собравшихся, словно огромный булькающий котел, гомон.

Вдруг все стихает, точно в котле выкипела вся вода и он теперь только иногда потрескивает: собравшиеся откашливаются.

На трибуне самый страстный и буйный витязь словесных состязаний — Андрей Степанович Шкуранцев, местный литературный критик, он же —

главный редактор художественных, сельскохозяйственных, лесоводческих и прочих, прочих творений, он же — географ, биолог, следопыт и прочих, прочих титулов и званий носитель. Он объявляет тему вечера. Она всех захватывает, страстная, горячая, — о постановке в театре шекспировской пьесы «Много шума из ничего». Мы видели ее — Ефим, Надя и я. Все трое от нее в восторге. Бенедикт, Беатриче... Между прочим, мы с Надей особенно ожесточенно стали нападать друг на друга именно после просмотра этой пьесы.

— Что мне с тобой делать? — и сейчас шепотом острит на мой счет Надя. — Одеть в свое платье и приставить к себе горничной?

Я отбиваюсь несколько громче, также в изобилии используя текст пьесы:

— Я знаю: ты влюбилась в меня. И тебя надо за это вознаградить. Изволь, я готов стать твоей горничной.

И прошу Ефима:

— Отвернись, я приступаю к исполнению своих служебных обязанностей...

Ефим смущенно улыбается.

— Да будет вам...

А Шкуранцев между тем говорит. Как он говорит! Вот он действительно «каким-то демоном внушаем...»

— «Много шума из ничего» — это гимн человеческому жизнелюбию. В этой пьесе вихри страстей, опаляющих нашу душу.

Зал замер. Потом по нему прокатился хохот, кажется, от него упадут люстры, закачаются стены — Шкуранцев пытается наглядно показать слушателям «вихрь страстей». Для этого он вышел из-за кафедры, стал посредине сцены — маленький, лысый, страшно невзрачный на вид — и, подделываясь то под мужской, то под женский голос, вдруг стал петушиться и нападать на кого-то невидимого:

«Б е н е д и к т. Клянусь моей шпагой, Беатриче, ты любишь меня!

Б е а т р и ч е. Проглотите лучше ее, чем клясться.

Б е н е д и к т. Я клянусь, что вы любите меня, и заставлю проглотить мою шпагу всякого, кто скажет, что я не люблю вас».

— Вот так, на мой взгляд, — уже другим тоном, возвращаясь за кафедру, продолжает Шкуранцев, — вот так надо было сыграть эту сцену, тогда бы мы получили характеры, воплощающие расцвет Ренессанса. А что получилось?.. Я, признаться, ушел с третьего действия...

«Вот болван!» — хочется крикнуть маститому критику. Я толкаю Надю, Ефима.

— Безобразие! Как он смеет так паясничать! Да если бы артисты сыграли так, как он показал, их бы стоило вместо свай вбить в землю! Я сейчас выступлю...

— Не надо, Сережа, не надо, — умоляет меня Надя.

Она побледнела, уцепилась за мое плечо. Но куда там! Это только подлило масла в мое «внутреннее горнило».

Я поднялся. Я заявил о своем желании: ну понимаете, ну... Я не согласен с предыдущим оратором. Ну, одним словом... Меня поняли.

И вот я уже за кафедрой. Боже мой, как трясутся колени, как дрожат руки! И в голове словно прошел опустошительный вихрь: ни одной мысли. Куда все исчезло вдруг?

Я проглатываю целый стакан воды. Молчу. Смотрю на своих друзей — у них тоже сейчас, наверное, дрожат руки и колени. Пробую улыбнуться — ничего не получается. Какое бы это было счастье, если бы сейчас подо мной разверзлась земля! Провалиться... Исчезнуть...

Снова берусь за стакан.

— Вот тут, товарищи... — начинаю я. — Конечно, мне очень трудно... Конечно, я... — Подношу стакан к губам, по глоткам отпиваю и с каж-

дым глотком гипнотизирую аудиторию неуклюжими, загадочными словами: — Я, товарищи, я вот что... я готов драться с товарищем Шкуранцевым. Он оскорбил меня. Да... Так получилось... Он ушел с третьего действия. Он ничего не понимает в искусстве, вот что, товарищи! И дальше...— Что дальше? Еще минута, и я откушу себе нижнюю губу. И вдруг приходит ясность. С языка легко, как глыбы с горной вершины, скатываются слова, фразы, целые периоды. «Стой, Сергей, стой! Не так быстро, не горячись, — уговариваю я себя, — не так грубо: Шкуранцев все-таки известный литературный критик, он же главный редактор, он же биолог, географ, следопыт...»

А в публике уже смеются. Отчего? Наверное, сказал какую-нибудь страшную глупость? Но почему же тогда не прячутся от моего взгляда Ефим, Надя, — наоборот, они даже чуть-чуть приподнялись, согласно кивают мне головами. Тогда давай, давай, Сергей!

Раздаются аплодисменты — от первого до последнего ряда. Иронические? Да... Нет, не иронические! Я произношу последнюю фразу:

— Надо иметь кровь в жилах, а не водицу, тогда, вот тогда и об искусстве можно говорить... Вот так, товарищи, вот! И на этом я кончаю...

Выхожу из-за кафедры, еще не верю, что все прошло для меня благополучно. Очутившись среди людей, не знаю, куда девать глаза от смущения. Наступаю на ногу какой-то солидной даме, сидящей в первом ряду. Извиняюсь. Она великодушно прощает меня, но вслед за этим с чисто бабьим хохотком добавляет:

— А вы смелый, молодой человек: сначала на Шкуранцева напали, а теперь... на его жену...

Жена Шкуранцева? Ей-богу, какая-то дореволюционная дама! Миную ее.

— Ой, как я боялась за тебя, как боялась! — шепчет мне Надя, прижимаясь к моему плечу. Никто этого не замечает, но Ефим... О мой дорогой Ефим! Он тоже шепчет:

— Молодец. Хорошо у тебя получилось. Правда, немного ты перехватил: зачем было говорить от имени всего трудящегося человечества?

6

Я заворочался на полке. Я обхватил голову руками. Нет, что угодно, только не эти воспоминания!

Но разве прикажешь памяти?

Перед глазами бегут все новые и новые картины.

...Мы с Ефимом снова в институте, на этот раз уже наполовину студенты, сдаем экзамены, я — на литературный, Ефим — на физико-математический факультет. Надя от нас отошла — она сдает в медицинский. Первый экзамен прошел великолепно, как же не ознаменовать его!

Мы устроились в квадратной комнатке, обзавелись электрической плиткой. Нас по праву можно было считать счастливейшими обитателями земли. Третий наш собрат, хозяин комнаты, молодой лаборант физического кабинета Степан Гаврилович Штопкин, был явлением чисто закусильным. Его можно было показывать публике только после предварительного объяснения, сводящегося к известному изречению: «се лев, а не собака». Но все это относилось только к его внешнему облику: верх клиноватенький, низ клиноватенький, середина — пузырь, душа же у него была, по словам Ефима, «красивее швейцарского неба и чище венецианской лазури».

В тот вечер Штопкин стоял у плитки и блаженно улыбался через очки — он тоже был в очках; на сковороде вздымалась и шипела яичница. Я бесцельно фланировал по комнате. Говорили.

Неожиданно Штопкин перевел разговор на «личности».

— Я тебя, Сергей, считаю человеком положительным, могущим сделать, может быть, даже что-нибудь хорошее в науке,— вдруг заявил мне кулинарящий физик, — но одного не пойму: как ты не уберешься от младенческой глупости — пошел на литературный факультет? Ведь литература — это же сплошные туманности, а попросту — сплошная бестолочь: сколько писателей — столько умов. А сколько умов — столько же истин. А истина должна быть только одна...

Атака была слишком неожиданной и с привлечением всех огневых средств формальной логики, в которой Степан Гаврилович был силен. Пришлось звать на помощь Ефима.

Вкратце изложил ему суть дела.

— Ах, вот как? — Ефим стал в позу, дрыгнул зачем-то ногой, запустил под ремень руку.

Я приготовился торжествовать: силен был в натиске Ефим, если дело касалось защиты его убеждений.

— Степан Гаврилович, — начал он, — мне стало известно, что вы (это «вы» было подчеркнуто) под влиянием каких-то пропавших дореволюционным навозом идей выступаете против культуры и ее чистых носителей (широкий жест в мою сторону). Так слушайте ж! — продолжал он, высоко вскидывая голову. — Я сам боготворю физику — да! — и знаю, что с ее помощью всю землю можно превратить в рай, обставить ее дворцами, украсить садами, водоемами... На сводах дворцов с ее помощью можно зажечь люстры, свету которых позавидует солнце, сотни солнц! Можно построить и уже построены такие машины... — Ефим махнул рукой. — Да что там говорить!

Штопкин попятился. И не мог не попятиться: на него в эту минуту в лице Ефима наступала по меньшей мере добрая половина творческих сил человечества.

— Но все ли для счастья человека дает наука? — спросил Ефим. — Душа человеческая жаждет счастья,— после небольшой паузы продолжал он. — Я не могу себе представить человека — конечно, не скота какого-нибудь,— подчеркнул он, — который не загрузил бы в хрустальном дворце, воздвигнутом с помощью твоей физики, не загрузил бы о хорошей песне, не подумал бы о других людях, их горестях и радостях, не захотел бы увидеть их, засмеяться вместе с ними, восхититься их красотой, их умом, влюбиться...

В этом месте Ефим конкретизировал свою мысль — влюбиться: мне — в Надю (о себе Ефим умолчал), Степану Гавриловичу — в «несравненную Клавдию Васильевну», лаборантку физического кабинета...

Я еще не видел «несравненной Клавдии Васильевны», но сразу же поверил в ее «несравненность»: ее именем Штопкин был окончательно добит. Он покраснел и опустил глаза. А Ефим — он продолжал, он говорил и говорил, и вокруг его очков, от его страстного проповеднического взора, обращенного на уже готовую к употреблению и вздрагивающую по краям яичницу, поминутно вспыхивали словно ореолы. Эти ореолы еще сильнее разгорелись, когда я поставил на стол маленький сосудик с некоей уважаемой всеми поряdochными людьми жидкостью.

Этот сосудик вскоре привел нас к общему согласию: Степан Гаврилович поднял тост за процветание литературы, я — физики. Началось доброе студенческое веселье, чуть не дошедшее до музыки на вилках и сковороде, освобожденной от яичницы.

И вдруг короткий стук в дверь.

— Войдите...

И вошла она — Надя! Она остановилась на пороге, растерянно посмотрела на наш стол и на наши возбужденные лица, стала извиняться и хотела было уже выскользнуть из комнаты. Я перехватил ее руку.

— Надя! Куда ты? Надя! — закричал я. — Я так хотел пригласить тебя...

— А почему же не пригласил? — улыбнулась она, настойчиво высвобождая свою руку из моей. — Теперь поздно: я сама пришла. — И, сощурившись, неожиданно предложила: — У меня есть два билета на новую кинокартину. Если хочешь...

— Если хочешь! Это ты мне говоришь? Мне?

Я собрался в одно мгновение. Раз — и мы уже на улице. С гор дул леденящий ветер. Прохожие почти не встречались. А если и встречались, то почти все прятали головы в воротники. Надя съежилась (тогда я думал, что только от холода), однако не возразила, когда я припрятал и зажал под мышкой ее руку.

В кинотеатре нам достались места в самом углу, за двумя мощными спинами, составлявшими почти одно целое, так плотно они прижимались плечами друг к другу. С большим трудом нам удалось найти для наших глаз лазейку к экрану. Это привело к тому, что наши головы почти соприкасались и ее впусенные волосы не только щекотали мое лицо, но даже попадали иногда в рот. Это не преминуло сказаться на моем общем состоянии.

— Надя, любимая...

Я не поцеловал, а только скользнул губами по ее щеке. Она резко отпрянула. Две громадные спины раздвинулись, одна из них сделала пол-оборота, и показалось что-то вроде лица. Я обомлел.

А Надя?

— Убери сейчас же руку, — приказала она. Но разве это был приказ? Я счастливо засмеялся...

Шла американская картина «Ураган». Американцы — большие мастера томных взглядов и упоительных поцелуев. Но нам было не до них, этих американцев.

— Надя, не сердись, — упрашивал я, — не сердись...

...На улице уже была ночь, когда мы вышли из кинотеатра. Ветер не утих, но дул нам на этот раз в спины, идти было легко и весело. Надя прижималась ко мне и хоть с большим смятением, но возвращала мне то, на что вдруг так расточительны стали мои губы (прошу прощения, мой дорогой друг, если я неясно выражаюсь: я имею в виду не совсем дозвоительные в восемнадцатилетнем возрасте поцелуи).

Она простила меня.

— Надя...

— Сережа...

— Надя, Надя! — бормотал я.

Излишне говорить, что у меня кружилась голова.

Мы смеялись. А потом молчали. Молчали и опять молчали. Оказывается, правду говорят: молчание — язык любви...

Надя целовала мою голову.

— Любимый мой...

Проходила ночь. Ох, что это была за ночь!

Не звезды привлекали нас и не луна, которая, как лодка в бурную погоду, ныряла во всклокоченных тучах. Мы смотрели друг на друга. Близко-близко сходились наши глаза, еще ближе сходились губы, но на этот раз мы боялись соединить их.

Мы расстались только под утро.

Я ушел в свою комнату. Разыгравшееся воображение даже во сне продолжало делать со мной диковинные вещи. Я снова был дома, стоял на краю своего оврага и наблюдал за двумя дерущимися петухами. Оба были с венценосными головами и дрались так ожесточенно, что, казалось, поставь между ними барана, они мгновенно заклевали бы его.

Небо было темным с яркой красной полосой на западе. Овраг был моим старым знакомым оврагом, но по нему бежал не ручей, а целая река. А деревьев? Каких только там не было деревьев!

Я спустился вниз и пошел к горам.

Пели птицы, и вдруг в птичьи переливы вмешался девичий голос. Он звучал где-то рядом. Я быстро пошел в его сторону. И... увидел...

Под высокой вербой, на ее вылезших из воды корнях стояла девушка. Около нее лежала большая куча белья, которое она шумно полоскала, и, не унимаясь и не поднимая головы, пела. Голос был мне знаком, знакомы были и волосы, рассыпанные по плечам. Потом пение вдруг сменилось всхлипыванием, всхлипывание разрослось в рыдания. Девушка подняла голову. Я пошел к ней. Она протестующе замахала руками, рыдания ее усилились...

Проснулся я от крепкого толчка Ефима: он известил меня, что солнце уже давно встало и пора выполнять распорядок дня.

— Чертов распорядок! Я хочу быть с Надей, только с ней!

Ефим сдержанно улыбнулся.

— Она, кстати, уже была здесь и оставила тебе письмо.

— Письмо? Мне? От нее? Ефим! Да это же начало классического романа.

Бывало, он еще в постеле:

К нему записочки несут...

Письмо? И от кого? От Нади! И кто принес? Ефим!

Ефим неожиданно рассердился.

— Ну, ты!.. — вспыхнул он. — Ты эти свои опереточные жесты оставь! Я передаю тебе не записочку, а письмо от товарища. Надя для меня — хороший товарищ. Если ты осел и этого не понимаешь...

Я невольно отступил. Никогда еще, с самого первого класса, не нападал на меня с такой яростью Ефим. Ну и ну...

— Да что с тобой, друже мой? Вчерашнее вино еще действует, что ли?

— Шут! Пустозвон! — коротко отозвался Ефим, бросил на стол письмо, прихлопнул его книгой и отошел к окну.

— Ну и ну, Ефим... Из одной чашки пили-ели, а я, оказывается, до сих пор еще совсем не знал тебя...

Я взялся за письмо. Пробежал первые строчки.

— Ефим! Что же это такое, Ефим? У нас экзамены, а Надя зовет нас в поселок...

Я лгал: Надя звала только меня. Но как это — уйти одному, без Ефима? Нет, без Ефима нельзя! Поэтому я уже командовал:

— Собирайся, Ефим, немедленно собирайся!

7

И мы пустились в путь.

Нам предстояло покрыть двенадцать километров. За городом после нескольких неудачных попыток остановить попутную машину Ефим достал из кармана громадную мыльницу с красочным орнаментом, заменявшую ему портсигар, извлек из нее папиросу и тихонько запел. Я знал его голос, он даже в лучшие часы его душевного оживления никогда не возвышался над самой сирой посредственностью, но сейчас он восхитил меня: им пела сама нежность.

Я удивленно посмотрел на своего друга. Из его ноздрей выходили тонкие струйки табачного дыма. Он озирался по сторонам, хотя дорога ему была, так же как и мне, давно знакома, сосредоточенно смотрел на две далекие сопки, за которыми волнами кипело вечное море.

Наше море...

Я тоже стал смотреть туда, сначала как бы пародируя Ефима, но потом увлекся видом крутолобых «стражей моря». Мне даже показалось, что они чуть-чуть вздрагивают. Отчего бы это? Я невольно вспомнил вчерашний вечер. «Э, Сергей, да ты совсем голову потерял», — улынулся я своим очень приятным мыслям.

— Ты мне как-то хотел рассказать, — неожиданно заговорил Ефим, — о Сафо, греческой поэтессе. Сейчас, по-моему, самый подходящий момент...

— Сафо? Почему это тебе вдруг вспомнилась такая древность? — удивился я. — Впрочем, изволь...

Я стал вслух рисовать образ Нади, одухотворяя его всеми поэтическими легендами, которые были мне известны.

Ефим слушал сначала серьезно, но потом заулыбался.

— Что-то древнегреческая поэтесса в твоём рассказе очень похожа на Солнову. А признайся, она тебя здорово ошарашила своим решением уехать в лесотехническую школу? Уже начала сдавать экзамены в институт — и вдруг...

Я выпучил глаза.

— Что ты болтаешь, Ефим? Надя бросает институт и на днях уезжает в лесотехническую школу? Надя?

Ефим рассердился.

— Ну, что ты опять шута из себя корчишь? Великий актер! Я ведь все равно не поверю твоему удивлению: если она мне сказала, то уж тебе...

Я чуть не задохнулся от такого сообщения.

Видя мое смятение, Ефим скороговоркой добавил:

— Да ты что же, и вправду не знал этого? Она тебе не сказала?

Я не дослушал его.

— Пропало! Все пропало, Ефим! Она мне действительно вчера что-то пыталась сказать, но я... я никак не думал... Ей-богу, я растерзаю ее за такое самоуправство. Бросить институт ради какой-то лесотехнической школы! Да я ее... Ей-богу, в порошок сотру!..

Я обхватил Ефима и так давнул, что если б он был даже чем-то распылчатым, вроде тучи, то и тогда бы обязательно выкрикнул громом...

— Ты что, очумел?

— Очумел, — признался я.

У меня появилась уверенность: Надя изменит свое решение, я потребую — и она изменит! Не может быть, чтобы не изменила. Я заставлю ее сделать это...

Мы вошли в мою бедную хату, стоявшую над оврагом, на краю поселка, как раз в то время, когда мой нестареющий патриарх собирался выйти из нее. На нем была синяя брезентовая куртка и старая потертая мичманка, из-под которой очень красиво, по-молодому, выбивалось несколько прядей кудрей. Он у меня был красавцем, как я уже говорил, красавцем в том смысле слова, в котором разбираются только кровно связанные люди; я любил его, и он мне казался красавцем. Увидев нас, отец радостно заулыбался.

— Смотри-ка! Вот кого я не ожидал! Ну, здорово, здорово, студенты... — Он легонько толкнул нас лбами. Вгляделся в меня, а потом в Ефима и добавил: — Изменили морю, собачьи дети, побить бы вас как следует, да уж... вымахали чересчур, — и, сощурясь, крутнул головой.

Отец был в великольном настроении. Оставив его с Ефимом, я прошел в другую комнату. Здесь все было прибрано, вымыто, вычищено. Неужели это всегда так было? Почему я раньше не замечал этой чистоты? Прошелся от двери до письменного стола, невольно остановил глаза на своем портрете. Он висел в углу, как икона, еще хорошо не обсохла краска: написан на днях и, конечно, по заказу мамы. О моя мама! Я невольно

усмехнулся: художник (из тех, по-видимому, что рисуют красных лебедей) изобразил меня херувимчиком, с припухлым ртом и кудряшками, которых, пожалуй, не было и у Байрона. Нос был срезан на добрую половину. Подошел к зеркалу, обнажил голову. Во все стороны торчали рыжие вихры, мутновато-серые глаза смотрели с печальным равнодушием.

«Это я, я равнодушен? — возмутился я. — Ну нет!»

— Ефим! Отец! Хотите, я прочитаю вам свои новые стихи? Хотите?

Ефим и отец не слышали меня. В окно я увидел: оба ходят по двору и, размахивая руками, в чем-то страстно убеждают друг друга.

Потом оба громко засмеялись. Отец потрепал Ефима по плечу. Видно было, патриарх мой в чем-то согласился с Ефимушкой, потрепал, а потом прижал к груди. «Ох, отец, отец, а со мной ты ни в чем не соглашаешься!» — пожалел я.

Я тряхнул головой: все-таки о чем они говорят? Затаив дыхание, я попробовал услышать или по крайней мере по движению губ отца и Ефима догадаться о предмете их разговора.

Но не услышал и не догадался. Раскрыть окно или приложить к раме ухо гордость не позволила, и я снова заходил по комнате, читая стихи с приличествующим для их пущей выразительности подвыванием.

У меня заблестели глаза — это я увидел в зеркале, проходя мимо него, — и волосы встали «встревоженной ратью» на голове. Я почувствовал, как волны вдохновения с неистовой силой ударили в берег моего сердца. Я рванулся к столу. О, если бы увидала меня в это мгновение Надя! Перед глазами моими пронеслись орды видений, картин, образов. Мое «я» заполнило всю вселенную. Окончательно в рифмах это оформилось так:

Вы встряхните сверхчуткие уши,
Огнекрылые кони-мечты,
По дорогам скачите воздушным,
К звездам взвив золотые хвосты...

Написав эти строки, я выскочил из-за стола, хватил стулом о пол и закружился по комнате, щипая, хлопая себя по лбу.

— Ура! Ты гений! Ты гений, Сергей Юшанин!

Я схватил исписанный листок и рванулся к выходу. «Сейчас же, сию же минуту надо увидеть Надю! Никаких уговоров не потребуется, прочту ей только эти стихи...»

Я выскочил во двор.

Но искать Надю мне не пришлось. Она стояла между Ефимом и отцом. Тонкая, гибкая, в самом лучшем своем платье в голубой горошек. Она расширенными и сияющими глазами смотрела на меня.

— Надя! — ринулся я к ней.

«Отец и Ефим должны увидеть, как братаются поэзия и красота», — мелькнула у меня мысль, и я повторил с придыханием:

— Надя...

Пауза, а потом опять:

— Надя...

Я понял, что переборщил с этим самым придыханием: «Все-таки в присутствии отца», но отступать уже было некуда, поэтому с той же развязной наигранностью я продолжал:

— Надя! Приди ко мне! Приди и докажи, докажи на глазах старшего поколения (я кивнул в сторону отца), на глазах наших сверстников (в сторону Ефима), что ты никуда не едешь, что ты просто мило пошутила... Ты пошутила насчет этой, — я пренебрежительно наморщил нос и оттопырил губы, — насчет этой... захолустной лесотехнической школы!

Ведь так же, ты пошутила, пошутила, Надя? — И пошел на нее, делая вид — и не только вид! — что готов поступить очень решительно.

Надя не отступила от меня. Милые синие-синие глаза улыбались, только чуть-чуть изломилась и подрагивала левая бровь. «Ну что ж ты остановился? — казалось, говорили мне милые-милые, синие-синие глаза. — Что ж ты вдруг покраснел и заколебался на полпути к цели? Говори, говори же при всех, что ты любишь меня, что ты и я, ну... — Глаза чуть скосились в сторону отца, лукаво сощурились. — Ну, — продолжали они, — ну, закончи свою речь по крайней мере стихами, теми, которые сотни раз читал мне...»

Надя вдруг откинула голову и засмеялась.

— Эх ты, актер! Ну какой ты актер?

Какую-то минуту она о чем-то думала, потом стремительно шагнула ко мне и обвила руками мою шею.

«Ох!» — только и сумел выдохнуть я (что выдохнули отец и Ефим — не знаю).

— Вот... вот как играют! — и в самые мои губы вlepила самый упоительный и самый звонкий поцелуй. Аж земля заходила у меня под ногами.

— Надя...

Но в следующую минуту она уже была около отца и Ефима.

— Стой на месте и объясняй все отцу, — приказала она. — Для этого я тебя и позвала: я выхожу за тебя замуж, а ты... ты бросаешь институт, берешь меня в жены и вместе со мной отправляешься в лесотехническую школу, так?

Я мало-помалу приходил в себя. Вот так подруга детства-юности! — восхищался я. И мне было уже смешно. «Как она ошарашила и старшее и младшее поколение, а?!» — воскликнул я про себя. У отца брови до сих пор где-то чуть ли не на середине лба, а Ефим... мой чудный, мой девственно чистый Ефим! — он опустил очи и не смеет оторвать их от... Впрочем, знает все-таки, куда смотреть, смиренный инок, — на Надины туфельки! Ну, сейчас ты поднимешь глаза!

— Да, отец, — начал я, начал и тут же решительно кончил: — Мы решили пожениться! — Взглянул на Надю: «Это я должен был сказать?» «Это», — ответили мне синие-синие глаза.

Вдохновляющий ответ! После него мне уже не страшна была никакая — ни большая, ни малая дискуссия!

— Что? Мы еще дети? Мы с Надей дети, отец? Да что ты говоришь, опомнись! Нам по восемнадцать лет. Через два года будет по двадцать. А двадцать — это возраст, когда у нас по всей стране начинают брать штраф за бездетность, ты что же, забыл налог с холостяков? Или, может быть, ты не одобряешь его? Ну и ну, отец! А я-то считал тебя бывалым моряком, передовым советским гражданином, человеком, который, можно сказать... — и так далее, и так далее. Одним словом, дискуссия была задушена мною в самом ее зачатке.

С первым вопросом — насчет женитьбы — было покончено. Но со вторым...

8

Одно есть бесцветное и бестелесное, безначальное и бесконечное. В нем живут миры и люди. Оно неуловимо разумом, перед ним свертывается фантазия.

Что это? Бог?

Нет, время.

Мы говорим, что оно движется, и даже придумали счет его движению — сутки, годы, столетия. Но кто определит его скорость?

Было уже около трех часов ночи. Вагон крепко спал. Поезд шел, останавливался и снова шел. Колеса отстукивали стремительный марш. За стенами вагона бесновалась снежная вьюга. Только никого не пугал ее разбойный повсест. Люди — сонные, а потому все одинаково добродушные — каждый по-своему пародировали ее своим носом.

Дуй, ветер, дуй! Лети вперед, наш железный скакун, клубись, сивая грива, рвись в клочья, оставайся позади маленькими облачками, — все течет, все изменяется! Были у меня друзья, а теперь где они?

Я хочу заснуть. Не так-то просто! Время застыло для меня. В голову лезут (когда они только родились?) всякие нелепые строчки. Боже, какой сумбур у меня в голове! «Дуй, ветер, дуй...», «Ох ты, сердце...» — так можно сойти с ума!..

Я взглянул на Платова. Спит человек! Спит и в ус не дует... И нет ему никакого дела до того, что у его соседа от тоски да печали мозги набекрень съехали! Обидел начинающего автора. («Кстати, надо запомнить его слова, — тут же мелькает у меня мысль. — «Дон-Кихот, только наоборот: тот, благородный мечтатель, принимал баранье стадо за войско, вы — войско за баранье стадо...» — довольно любопытные, не лишены, пожалуй, некоторого смысла слова, а? Потом их надо будет где-нибудь использовать... Обязательно!») Обидел, можно сказать в самое сердце уязвил — и спит.

А я?

— Да знаешь ли ты, — выпрямился я вдруг перед своим спящим соседом (для этого мне понадобилось соскочить с полки), — что я... что у меня... Да мне еще в детстве

...юноши Данко

Сердце горящее снилось:

Ночь, и вдруг вспыхнуло ярко —

Тьма перед ним расступилась.

А сейчас? Да я и сейчас, я сам как Данко, — наконец сформулировал я свою мысль, — я готов грудь свою разорвать, выхватить из нее свое пламенеющее сердце и отдать его людям. Возьмите, если вам нужно! Возьмите, если оно поможет вам быть счастливыми! Вот какой я! Вот... А ты?

Поезд остановился. В вагоне вдруг стало шумно. Мне не надо было долго прислушиваться, чтобы понять суть происшествия: в наш плацкартный вагон, несмотря на активные протесты проводника, вломилась целая ватага ночных пассажиров. Проводник пытался выставить их, а поезд уже тронулся. Где мое место? Конечно, там, где поправа справедливость!

«Видишь ли, — негодуя, рассуждал я, приближаясь к месту происшествия, — чтобы не нарушить покоя одних, тех, что спят в его вагоне, — там, в тамбуре, ретивый служитель сталкивает с поезда других и еще ссылается, наверное, при этом на свой служебный долг! Не дезорганизуйте, мол, работу железнодорожного транспорта. Приучайтесь, дескать, к дисциплине! Не пугайте, мол, божий дар с яичницей, то есть мой спальный вагон с другими, не спальными... А то, — рассуждал я дальше за проводника, все более и более распаяясь, — а то, что поезд стоял на этой станции всего одну-две минуты, что на улице пурга и ни зги не видно, — это не мое дело, это меня не касается. Это... Убирайтесь, пока поезд не набрал хода, слышите?»

Я был уже на выходе.

— Это как же понимать ваши действия, папаша? — заговорил я, кладя на плечо проводника свою увесистую, со следами чернильных пятен на пальцах руку. — Это как же понимать? — повторил я. — А вот

если я вас попытаюсь со ступенек... на ходу поезда, а? Вам это понравится, папаша? Пропустите сейчас же людей, слышите? А то я шутить не люблю...

Проводник лишился дара слова. Никто за всю жизнь не оскорблял его, наверное, так, как оскорбил я. Это был средних лет мужчина. От «папаша» у него было мало. На меня, здорового, на вид больше чем двадцатидвухлетнего парня, он мог обидеться за одно только это фамильярное «папаша», но я еще, кроме этого, позволил...

— Да как вы смеете? — наконец выдохнул он. — Думаешь, что отрастил кулаки, так тебе и море по колено? Хулиганить, думаешь, тебе кто-нибудь позволит? Ну, может быть, кто-нибудь, а у меня номер твой не пройдет! Я с таким...

Шутки были отброшены. Проводник взял меня в работу. Я выдвинул условия:

— Не пускать в ход благородных дланей, папаша... Без кулаков будем объясняться. Пропустите сейчас же людей, а потом вместе на стоянке поезда пойдем к вашему главному начальству. Там, в его присутствии, вы подтвердите мне ваше право сталкивать на ходу людей. Там вы узнаете, с кем имеете дело. Там...

Проводник был явно обескуражен. Он смотрел на меня, как на сумасшедшего, даже ночные пассажиры — три девушки и один хлопец примерно моего возраста, — и те отпрянули от меня. Выяснилось: никто никого не пытался сталкивать... Наоборот, в тамбуре до моего появления проводник без всякой рисовки проявил истинное геройство. Он отчитывал ошибочно севших в его вагон пассажиров — да, но не потому, что они рвались именно в его вагон, а потому, что при посадке одна девушка неловким движением выбила из его рук фонарь, а потом сама упала вслед за фонарем под вагон и проводнику пришлось, рискуя жизнью — паровоз уже дал гудок, — броситься за нею под колеса. Он кричал о нарушителях дисциплины, о дезорганизаторах работы транспорта, но после чего?

Опять мне было стыдно, как стыдно! Поистине «Дон-Кихот наоборот»!

Я готов был упасть на колени перед проводником. Из одной крайности в другую: просил прощения с дрожью в голосе и чуть ли не со слезами на глазах.

— А я, простите, я... Я, видите ли... я полагал...

— Да уж ладно, ладно, прощаю... Ладно, — отмахнулся от моих покаяний проводник. — Идите отдыхать, молодой человек, чего уж там, всякое бывает, идите...

Он отвернулся от меня. Голова его была на уровне моего плеча. Небольшого роста был проводник и, судя по узким плечам, не очень больших сил; несколько минут тому назад, сравнивая себя с ним, я сам себе казался богатырем: я рвался на борьбу за справедливость! А теперь... Теперь я горбился и не знал, куда девать свое огромное тело.

Я топтался на месте. Не мог же я в конце концов уйти из тамбура пигмеем. «Ведь на самом деле я не таков. Не таков!» — восклицал я про себя.

Я достал папиросы и закурил. Пачку я долгое время держал в руках, ожидая, что проводник все-таки когда-нибудь кончит разглядывать с озабоченным видом свой фонарь и посмотрит на меня и тогда я попросту, как лучшему другу, предложу ему папиросу: «Покурим, мол...» Еще раз, уже не словами, а всем видом своим хотел я попросить у него прощения.

Но проводник не оглянулся, он прошел мимо меня боком. Так же прошли и ночные пассажиры. Искося взглянул на меня только парень — так себе, самый обыкновенный парень, с рыжеватым чубчиком, выбивав-

шимся из-под ушанки, и слегка вздернутым носом,— ничем не примечательный. Но он, этот ничем не примечательный парень, отойдя от меня, наклонился и что-то шепнул своей соседке. Та громко засмеялась.

— Да, конечно, самым лучшим себя считает,— донесся до меня ее насмешливый голос,— пуп земли...

«А! Так? Я «пуп земли»? — рассердился я.— Ну черт с вами, думайте обо мне что хотите!» — и пошел в свое купе.

Я решил во что бы то ни стало заснуть. Советуют в таких случаях вообразить огромное стадо черных баранов, а себя пастухом и гнать, гнать это черное стадо под черным небом, гнать до тех пор, пока не упрется оно в горы,— тогда придет сон.

Я вообразил и то, и другое, и третье, но у меня так ничего и не получилось: во-первых, я никак не мог заставить баранов повернуться ко мне теми местами, откуда у них растут хвосты, поэтому не я, а они миллионами своих лбов, рогов, светящихся глаз наступали на меня (а где светящиеся глаза, какая уж там чернота?); во-вторых, ночные пассажиры остановились именно около нашего купе и их молодые, хоть и приглушенные голоса немилосердно сверлили мой слух — мне чудилось, что говорят обо мне, высмеивают меня; в третьих...

В третьих, мой дорогой, в высшей степени взыскательный друг, произошло то, чего я никак не ожидал, и уверен, что и вы не ожидаете сейчас,— я вдруг среди других голосов услышал... «Нет, это уже бред какой-то,— вначале подумал я.— Откуда ей быть здесь? Не может быть!» Но было то, что было: я услышал вдруг... Надин голос!

«Дешевый сюжетный ход»,— улыбнетесь вы. Но мне тогда было не до улыбок. Я, ей-богу, затрепетал. «Откуда? Каким образом? — повторил я и сжался в комок.— Значит, она та девушка, которую спас проводник? — мелькнула страшная догадка.— Ну да, только ее я не видел в лицо. Значит, она была свидетельницей того позора, который я обрушил на свою же голову,— Надя?!»

Девушка говорила, что ей уже не больно, просила своих друзей не беспокоиться: доедет как-нибудь, а там, в леспромхозе...

Да, сомнений не оставалось никаких: это был Надин голос...

Я криво усмехнулся:

«Обо мне ни единого слова. Ну что ж, пусть будет так. Вернемся на исходные позиции: «Дуй, ветер, дуй!..», «Ох ты, сердце...» Она меня стыдится, да...»

И вдруг я взорвался. Да как она смеет, как она смеет топтать меня в грязь за одну-единственную ошибку в жизни! (Разумеется, я не имел в виду случая с проводником: это было пустячное недоразумение по сравнению с той, другой ошибкой, которую я допустил по отношению к самой Наде,— обратите, дорогой мой друг, на это особое внимание.) Ну хорошо, я сказал ей тогда: «Ты бросаешь институт потому, что захвачена модой: комсомолка, видишь ли... Теперь везде принято говорить, что мы все, кроме самых даровитых, окончив десятилетку, должны идти на производство. А я, я никауда не хочу идти — пусть я не самый даровитый, но я пойду сначала в институт... И тебе советую поступить так же. Надя, вернись в институт! Вернись, прошу тебя. Ведь ты любишь меня, любишь? А раз любишь, мы должны быть вместе... Вместе!»

Что было, то было: я сказал ей все это. Глупо! Мерзостно! Но ведь я просто хотел тогда пооригинальничать: вот, смотри, дескать (кстати, и отец с Ефимом пусть посмотрят!), как я самостоятельно мыслю.

Она ничего не ответила мне тогда, только округлила свои большие синие-синие глаза да как-то не то удивленно, не то горестно качнула головой.

— Ну вот, теперь ты видишь, видишь, невеста? — повернулся к ней отец. — Прямо выродок какой-то: кто-то должен работать, добывать хлеб, а он — петь песни... Эх, дал бы ему по шее, да боюсь: остаток разума выбью! — И, желчно сплюнув мне под ноги, пошел в дом.

Ефим смущенно потоптался около меня и последовал за ним. Я остался с Надей.

Я сразу сбавил тон.

— Конечно, я сейчас сказал чушь, — признался я. — Но ты пойми меня, пойми, Надюша!..

Она прервала меня:

— Наверное, не пойму. Вспомни, что ты сам не так давно писал в сочинении? У меня большая память, и я могу процитировать тебя, выдающегося философа, — улыбнулась она. — «Всё в человеке, всё для человека!» Эти горьковские слова, писал ты, я комментирую так: не вообще в человеке, не вообще для человека, а всё в трудящемся человеке, всё для него. Да, только в нем и только для него! Возьмем, к примеру, гениального художника. Он написал великую картину. Мы восхищаемся и картиной и ее творцом. Но разве картину создавал только он, художник? Нет. Создавали ее вместе с ним сотни, тысячи людей. Они построили художнику жилище, отапливали, освещали его, они кормили, поили, одевали художника, дали ему полотно, краски, кисти, учили его детей, лечили их в случае болезни... Пока он создавал свой шедевр, другие люди делали за него сотни работ, и эти работы вливались в его труд. То же самое можно сказать о книге великого писателя, ученого, об опере, симфонии великого композитора. Кто бы ты ни был, но если ты человек труда, если ты своим делом приносишь людям какую-то пользу, ты — соавтор всего великого и прекрасного, что творится и воздвигается на твоей земле... Вот что писал ты! Я это очень хорошо запомнила. Но, оказывается, это были только слова, на самом же деле...

Надя назвала меня ханжой. Я энергично возразил. Тогда она сказала другое:

— Пусть не это, тогда ты маньяк... Маньяк! И теперь мне понятно, почему ты так настаиваешь, чтобы я окончила институт: в самом ближайшем будущем ты видишь себя лауреатом, твои стихи и поэмы будут печататься во всех газетах и журналах, ты будешь звездой, а я, твоя жена, — всего-навсего какой-то лесной сторож! Всего-навсего... — Она усмехнулась, кокетливо повела бровями, коротко приказала: — На колени и проси прощения!

Но я не сделал этого. Я не только не преклонил колени — я осмелился топнуть ногой и протянуть к ней руки с видом заклинания.

— Нет! Прощения я не попрошу, и слушай меня, слушай! Я говорю серьезно: ты никуда не поедешь, ты останешься в институте, иначе... иначе... Иначе это будет наша последняя встреча! — выкрикнул я и на этот раз уже не с просящим, а с диктаторским видом опустил на ее плечи руки. — Попробуй не выполнить моего требования!

Я был уверен, что голос мой произведет на нее впечатление, многозначительное молчание — тем более.

Увы, никакого! Надя стряхнула с плеч мои руки, а своими обвила мою шею.

— О глупыш, глупыш! Никогда ты не забудешь меня, — и, четырехкратно — в одну щеку, в другую, в лоб и долго-долго в губы — поцеловав меня, отскочила. — Теперь можешь возвращаться в институт, Сережа. До свидания! И только помни: ты всегда, когда захочешь, найдешь меня в лесной сторожке. Я буду охранять лес!

И исчезла.

Больше я ее не видел. Полтора года. И вот теперь...

Снова и снова обхватывал я голову руками, вертелся на полке, допытывался у самого себя: «Неужели ты, Сергей Юшанин, действительно маньяк? До сих пор? В коридоре вагона, около твоего купе, стоит девушка, веселая и яркая, как солнечный луч, девушка, которую ты сотни, тысячи раз называл своим божеством, девушка, за одну улыбку которой ты и сейчас, сию минуту, готов отдать себя на заклятие,— неужели же ты...— Я прервал себя безмолвными восклицаниями: — Маньяк! Маньяк!.. Неужели же ты не найдешь в себе мужества, не заставишь себя слететь кубарем с полки, чтобы увидеть эту девушку? Ну давай, давай, решишь!»

Я подхлестывал себя: «Скотина! Глупец! Маньяк!» Но ни кубарем, ни другим каким-нибудь манером так и не слетел с полки.

...Через три дня после своего отъезда Надя прислала мне письмо. Оно начиналось: «Сережик! Мальчик мой, мое неразумное дитяtko, я тоскую без тебя...» Издевается, решил я и скомкал листки. В тот же день на обороте ее фотокарточки, под дарственной надписью, я ответил ей:

Думаешь, слезами изойду?
 Волосы повиыдергаю в муке?
 В угол дальний, заломивши руки,
 Одинокий, плакаться уйду?
 Думаешь, в болезненном бреду,
 В буйстве шалом, от бескровья
синий,
 Закачаюсь, жалкий, по ветру
 И останусь трупом на осине?
 Нет! Ей-богу, дорогая, нет!
 Будь прекрасней,
первой во вселенной,
 Но без боя умирать — измена,
 Я же — к черту! —
не дружу с изменой...

Три, четыре дня — и пришло новое послание. Оно начиналось теми же словами, но заканчивалось иначе:

«Сережик! Не смей так поступать с моими фотокарточками: ты посадил на лицо мне кляксу... А стихотворение мне очень понравилось — ты растешь, Сережик! Только насчет «по ветру» у меня маленькое сомнение: правильное, пожалуй, будет «на ветру»... Вчера я сфотографировалась с новыми своими друзьями. Великолепные юноши, не правда ли? Особенно этот — справа от меня: волевой подбородок и — кудри. Это Юра Сахнин, наш староста. Он, кстати, тоже пишет стихи.

И еще вот что хочу сообщить тебе. Вчера встретила одного человека. Он показался мне удивительным. Инженер из треста. Молодой и похожий немножко на тебя. Читал нам лекцию о лесных богатствах нашего края. Он перевернул всю мою душу. Я теперь до последнего дыхания буду сражаться за каждую березку, за каждый дубок на нашей земле! Лес — это вечная песня... Любой дом, любой дворец можно построить за год, ну, пусть за пять лет, а лес, настоящий лес, надо поднимать столетиями. Вся душа моя в лесе, в строительных лесах, Сережа!..»

Письмо обрывалось многоточием. Опять на обороте фотокарточки (у меня их было не меньше сотни) я ответил ей:

Уверенья не обманут,
 И восторги не спасут...

«Вот так, знай наглих!» — довольно ухмыльнулся я, опуская в ящик это письмо.

В тот же день я сказал Ефиму:

— Ухожу...

— Кудаходишь? — не понял он.

— Ухожу, — повторил я и, выдержав паузу, высокомерно пояснил: — Ухожу из института, черт побери, понял?

— Как? — Он выпучил глаза.

— А так. Можешь посмотреть! — И вышел из комнаты.

В коридоре я прислонился к стене и некоторое время изображал собой окаменелость. Потом решительно отправился в канцелярию директора.

Почему все-таки я тогда так глупо поступил — после канцелярии директора вбежал в экзаменационную комиссию, потребовал аттестат и кого-то пытавшегося мне возразить назвал замороженным судаком, — кого? Не Шкуранцева ли? (О Шкуранцеве я подумал потому, что он в последнее время ко всем своим прежним титулам присоединил новый — стал старшим преподавателем пединститута.)

«Парень спятил», — так, наверное, решила секретарша, когда я буквально выхватил из ее рук документы.

Лицо у нее было веснушчатое, с ямочками на щеках, на лоб два завиточка спадали, как медные стружки. Смешная девица. А я скотина! Взять бы да сказать ей тогда:

— Милая, милая... Не пугайся, милая...

Я решил поступить в газету.

Пришел я туда с аттестатом зрелости и кипой стихов.

— Это мои документы, — коротко сказал я и положил то и другое на стол редактора (до этого я никогда не видел Николая Ивановича, не слышал еще ни одной его нравоучительной речи). — У меня есть литературные способности, — добавил я, — и я хочу работать в вашей газете. Дайте мне испытательный срок. До сих пор я писал только стихи, но теперь...

Редактор указал мне на стул:

— Садитесь.

Я поблагодарил и продолжал:

— ...Но теперь я буду писать все, что вы мне прикажете.

Редактор улыбнулся, пухлые пальцы его, как по клавишам, пробежали по краю стола. (О Николай Иванович!)

— Значит, будете писать то, что я прикажу? — проговорил он. — А вы знаете некоего «друга» Тряпичкина?

Значало я ничего не понял и ответил:

— Я не знаю никакого Тряпичкина.

— Неужели? А я полагал, что в каком-то из классов вы изучали «Ревизора». Правда, этот Тряпичкин на сцене не появляется, но его вы должны запомнить: он приятель Хлестакова...

Я резко поднялся со стула.

— Ну, это вы не на того напали, товарищ редактор! Не хотите принимать на работу — укажите на дверь, но издеваться, сравнивать меня с приятелем Хлестакова... — Я замолчал, не находя слов, чувствуя, что язык мой присыхает к гортани.

Однако редактор (о редакциянный, с тихим, убаюкивающим голосом Саваоф!) не обратил ни малейшего внимания на мою горячность.

— Сейчас мне, к сожалению, некогда, — проговорил он, поднимаясь и почему-то описывая правой рукой полукруг над столом, — оставьте

свои документы и это самое,— указал он на стихи,— и приходите ко мне завтра. Приходите,— он бегло взглянул на часы,— ровно к девяти, идет?
— Идет...

Левое плечо вперед, дверь справа и, кажется, открыта. Шагом марш! — скомандовал я сам себе и очутился на улице. «Посмотрим, что скажет он мне завтра»,— подумал я.

— Ишь ты, «друг Тряпичкин»!

Был конец рабочего дня. На тротуары вывалили служилый люд — завывы, замы, помы, помпы, помпомы, инструкторы, инспектора, бухгалтеры, кассиры и прочие, прочие начальствующие и подчиненные лица. Скромный трудовой люд. Но один зам или пом настолько поразил меня своим необыкновенно самовлюбленно-высокомерным видом, прямо-таки:

Да здравствуют замы и помы
И в первую очередь — я!

что я невольно смутился и торопливо уступил ему дорогу.

Однако, отойдя от него и оглянувшись, я вдруг хлопнул себя по лбу:

— Сейчас же за стол и — писать! Писать басню «Осел в чинах»! Слышишь, Сергей? С этого должна начаться твоя газетная работа, сейчас же, немедленно!

Я ускорил шаг, потом побежал, я гнался за рифмами, а они — за мной. Вот-вот нащупаю ритм, вот... Я ликовал.

— Ура! Ефим, слушай! Вот что получилось у меня...

Ефим сидел на кровати и штопал носок. Мои восклицания оглушили его.

— Ну, что еще? — недовольно поморщился он. — Честное слово, тебя следует упечь в сумасшедший дом. Ну, что ты орешь?

Я захохотал.

— Ефим, друг мой, слушай!

Я начал:

Достиг Осел высоких сфер,
Осел наш лихо зажил:
И там курьер,
И здесь курьер,
И секретарь на страже!
Хоть титул и не княжий,
А топнет, словно скажет,—
Попробуй не уважить!

Басня моя еще не имела никакой морали. Но я считал ее уже вполне законченным произведением. «Ослы такие встречаются в жизни. Бывают они и завами и помами. Я попал в самую цель,— решил я,— мораль придумаю потом...»

— Ну, что ж ты молчишь? — вонзился я взглядом в Ефима.

Ефим опрокинулся навзничь и задрывал ногами, раздвигая хохотом стены нашей комнатенки.

— Бесподобно! Великолепно! Наконец-то, наконец ты выразил свою сущность: осел этот, конечно, ты! У него абсолютное с тобой сходство, честное слово! Если б тебя назначить хоть каким-нибудь, пусть самым что ни на есть крохотным начальничком...

Я заткнул ему рот подушкой.

— У, клеветник!

...На другой день я стал газетчиком.

Ни одного материала не подписывал я своим именем — Шаров, Итаров, Глушкин, Ключкин, только не Юшанин!

Редактор (о Николай Иванович! О терпеливый педагог!) шурил и без того маленькие близорукие глазки, коварно допытывался:

— Ты что же, друг мой, стыдишься того, что написал?

Я всякий раз отмалчивался. Не мог же я в конце концов открыто признаться, что мое имя... «Подождите, подождите, — говорил я про себя, — уже скоро, скоро вы увидите его! Только не под этими крохотульками заметками, а... увидите! Увидите!»

Иногда ко мне в редакцию заходил Ефим. Я приветствовал его неизменно одним и тем же восторженно-ироническим восклицанием:

— А, Квадратный Корень! Здорово! И да пусть процветает королева наук — математика! Бери стул, садись около моего стола и благоговейно взирай, как трудятся чернорабочие пера — газетчики. Впрочем, не взирай, а слушай, — поправлялся я и читал ему какую-нибудь из очередных своих информаций, принятых по телефону. — Вот слушай: «Расцвела царица медоноса — липа. Пасечник Федор Семенович Бударов, о делах которого уже писала наша газета, приступил к своему первому медосбору...» Ну как, великолепно? Великолепно, Ефим! Настоящее стихотворение в прозе, а не информация! — расхваливал я сам себя.

Ефим сдержанно улыбался, оглядываясь на моих редакционных товарищей, занятых своим делом.

— Ты потише, — шептал он. — Ей-богу, мне стыдно за тебя: и здесь ты выставлешь себя центральной фигурой... Давай выйдем на улицу.

Я напускал на себя важность.

— Мы кому-то здесь можем мешать? — говорил я полным голосом. — Не знаешь ты, Ефим, пишушей братии: мы один за всех, все за одного и критикуем друг друга только на летучках...

Кое-кто из «пишущей братии» все-таки бросал на меня косо-угрожающий взгляд, и я выходил с Ефимом на улицу. Мне хотелось узнать от него что-нибудь о Наде. Но спросить прямо даже у Ефима я считал ниже своего достоинства: еще напишет очкарик, и она невеста что возомнит о себе! Поэтому я предпринимал всевозможные обходные маневры.

— Был недавно у своих стариков, — говорил я, — слышал от отца о некой известной нам обоим особе: она собирается в ближайшие месяцы осчастливить своим присутствием наш град. Ты не скажешь, когда именно она рассчитывает сделать это?

Ефим ухмылялся.

— Не знаю...

— Очень жалко, — говорил я, — как раз на этот срок я укатил бы в командировку, а так... придется увидеться...

Мое равнодушие было шито белыми нитками, и однажды Ефим во все горло захотал.

— Она мне написала: «Сергей изводит меня молчанием, но я знаю его: никогда он так меня не любил, как сейчас. Уверена, этот дубок скоро начнет ронять желуди. Он будет писать мне каждый день... Да и сам прикатит. Обязательно!» Я советую тебе: брось дурака валять, поезжай к ней и помирись.

Я возмутился: за кого принимает меня Ефим? Я пойду на поклон? Я? Нет, этого вы не дожидаетесь от меня, не дожидаетесь!

Я с головой ушел в работу.

И вот настал день — я положил на стол редактора объемистую рукопись.

— Рассказ, — коротко сказал я и тут же с дерзким вызовом доба-

вил: — Уверю вас, Николай Иванович, в нем остроты больше, чем во всех критических статьях нашей газеты, — касаюсь вопросов морали...

Редактора почему-то нисколько не удивило такое мое нахальство, скорее всего даже позабавило. Он поднял на меня глаза, и пальцы его по привычке пробежали по краю стола.

— Рассказ, говоришь? — улыбнулся он.

Минуты две он смотрел то на меня, автора, то на мою пухлую рукопись, потом улыбка его стала шире, перелистнул титульную страницу, где, конечно, полностью красовалось мое имя (это, надо полагать, и вызвало его улыбку), и зашевелил губами.

Бегло пробежал первую страницу и откинулся на спинку стула.

— Н-да, н-да. — Он уже не улыбался. — Вот что, Сергей, — начал он.

А я? «Нет, каков, каков субъект! — возмущался я про себя. — Нет, ничего не выйдет, товарищ редактор, я заставлю тебя прочитать весь рассказ!» — и нетерпеливо прервал его:

— Вещь готова, и ее можно печатать, Николай Иванович. Я подсчитал: рассказ займет четыре газетных подвала. Я думаю, что вы пойдете на это. Пора в конце концов порадовать чем-нибудь молодого читателя! Рассказать ему о настоящей любви... А что касается вашего мнения, — продолжал я, иронически кривя губы, — которое вы составили по первой странице, то... простите, вы помните этот афоризм, он принадлежит, кажется, Достоевскому: «Дурак, сказавший, что он дурак, — уже не дурак», помните? Я решаюсь дополнить его: «...но и гений, сказавший, что он гений, — уже не гений...» Вы собираетесь по первой странице оценить мой рассказ, словно вы гений. А я ставлю вопрос так: раз у нас конституцией гарантирована свобода печати, вы обязаны опубликовать мой первый опыт, хотя в чем-то, может быть, со мной и не согласны. Таково мое мнение, Николай Иванович, и я с ним очень считаюсь...

— А еще с чьим мнением ты считаешься, Сережа? — снова улыбнулся Николай Иванович. Он полагал, что прибьет меня этим вопросом. Но не вышло!

— Считаюсь еще с мнением моих героев, — отпарировал я.

— Отлично, Сергей, отлично. Гм... Ты, — он ухмыльнулся, — ты... в этом я окончательно убедился, обладаешь чувством юмора — значит, из тебя со временем выйдет хороший газетчик, даже, может быть, фельетонист... — Редактор поднялся и отечески ласково хлопнул меня по плечу. — А пока, — добавил он, — оставь свой рассказ — надеюсь, ведь это же не последний экземпляр? — и уходи, не мешай мне, прочитаю после работы. Да, кстати, — остановил он меня, когда я был уже у дверей, — ты просился в командировку к лесорубам. Даже обещал что-то потрясающее написать о них. Не раздумал? Нет? Тогда можешь ехать...

И вот я еду, еду в места, где, может быть, проходил с партизанскими отрядами Фадеев, где, может быть, эти отряды собирал Лазо, — священные для меня места и образы священные, — еду, но с какими чувствами!

Эх, попал же я, черт меня побери, в переплет: стихи, рассказ, Надя — и всюду неудачи, неудачи... До каких же пор они будут преследовать меня? Всю жизнь?

И вдруг я снова вскипел:

— Ныть? Нет! Не позволю. Все-таки я добыю, добыю своего! Я докажу всем, докажу, что я, что у меня... — Я посмотрел на Платова, на других моих соседей. — Слышите? Я докажу. Надя еще придет ко мне. Сама придет. Я тоже гордый. Я докажу...

Все на свете я смею —
Улыбаюсь врагу:
Потому что умею,
Потому что могу...

Тут стадо моих черных баранов наконец уперлось в черные горы — я заснул. Ну, а что творилось со мной во сне, рассказывать не буду. Хватит! Хватит, мой дорогой друг, подхожу к финишу.

Дуй, ветер, дуй! Ох ты, сердце...

Я проснулся от какого-то страшной силы внутреннего толчка. «Боже мой, что же это такое: когда же кончатся эти мои кошмары? — взмолился я.— Неужели опять она? И тут, рядом со мной, в одном купе? — Я боялся открыть глаза. Сердце мое сжалось и, казалось, перестало биться.— Она говорит с Платовым, называет его по имени и отчеству, но в голосе столько интимности... Постой! Смеются... И смех у обоих приглушенный... Может ли это быть? С первым встречным? Надя! Надя!»

Я чувствовал, что куда-то проваливаюсь — навеки, навсегда.

Да, дорогой мой друг, бывает так, не знаю, как с вами, а со мной было, было такое. В первую минуту — повторяю, я еще не открыл глаза — мне показалось: Надя лежит на полке Платова — юная, стройная, бесконечно милая и знакомая, нисколько не изменилась, почти такая же, как и полтора года назад, те же синие-синие глаза, залитые весенним сиянием, те же золотистые россыпи кудряшек везде — на висках, на полуобнаженной шее. Надя... Моя Надя!

А рядом с ней, между ее и моей полками,— Платов...

Не буду преувеличивать: он всего-навсего только стоял у ее изголовья.

— Да... Это встреча! Это, можно сказать, встреча! — восклицал он.— А я собирался через полмесяца к вам в гости. Вы, кстати, и приглашали меня, не забыли?

— Нет, не забыла, мы вас все ждали...

Она ответила так: «мы», но разве можно было меня обмануть — в тоне ее голоса ясно слышалось: «я»...

Надя? Конечно, это была не она. Но ревнивое чувство уже овладело мной.

Я сделал вид, что продолжаю спать. Для большей убедительности время от времени даже похрапывал — пусть мирно воркуют!

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим,—

процитировал я про себя и на какое-то время даже умилился своим собственным благородством: да, вот так, дорогая, будь счастлива с молодым инженером из треста, о котором ты с таким восторгом писала мне, а что касается меня, то... что ж, я

...отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси,

где-нибудь и я найду успокоение своей душе. «Страдающей и бурной», — добавил я без всякой иронии. Мне было тяжело, очень тяжело!

Я не позировал сам перед собой, дорогой мой друг, честное слово. Начиненный всякой литературной всячиной — от Рамула до наших дней, совершенно оторванный от живого дела, от жизни вне меня, я казался сам себе воплощением естественности. Платов и девушка, на место которой я так настойчиво ставил Надю, говорили о каком-то совместном таежном походе, о Николае Петровиче, руководителе геодезической экспедиции, о каких-то его помощниках, говорили о самом обыкновенном, но я не верил в это обыкновенное, я про себя комментировал каждое их слово, коверкал его смысл и зло, издевательски подтрунивал над ним,

Я чувствовал: еще одно мгновение, и бури ревности, бушевавшие в моей груди, вырвутся наружу. О нет, я не позировал, мой дорогой друг, я действительно способен был на это. Сейчас, когда я пишу эти строки, когда я отрекся и проклял эгоистическое начало в себе (не побоюсь очень умного слова), я понимаю, насколько я был глуп...

Впрочем, я, наверное, преувеличиваю и наговариваю на себя. А это, пожалуй, не стоит делать. И тогда я не был глуп. Я был, если хотите, всего-навсего нелеп. А глупость и нелепость — это не одно и то же. Вы умнее меня, мой дорогой друг, и знаете: нелепостью когда-то считали даже то, что земля вращается вокруг солнца. А геометрия Лобачевского! А теория относительности!

Нет, глупцом я не был, повторяю, я был всего-навсего нелеп. Просто на некоторое время сон для меня смешался с явью. Учтите еще и другое обстоятельство: голос девушки, оказавшейся в нашем купе, действительно очень сильно напоминал голос Солновой. Вот по этой причине, еще не открывая глаз, я вдруг и решил: на месте девушки могла быть Надя, а на месте Платова — тот самый молодой инженер из треста (высоколобий...), о котором она писала мне.

Она встречалась с ним, восстановил я в памяти. Более года тому назад он приезжал в лесотехническую школу читать лекцию. Надя была организатором аудитории. Может быть, после лекции они даже ходили по заснеженным улицам рабочего поселка. О чем-то говорили. Чем-то восхищались!..

Платов перевел дыхание. Я не видел его лица, но почему-то думал: сейчас он улыбается, может даже лукаво подмигивает девушке — дескать, я вспоминаю свою первую встречу с вами не потому, что мне больше не о чем вспомнить, нет, эта встреча имеет связь... Какую связь, с чем — на эти вопросы я не мог ответить, но мне хотелось во что бы то ни стало в чем-нибудь заподозрить Платова, и я снова настораживал слух.

Я хотел поймать двусмыслие в его словах, но двусмыслия в них никакого не было. Создавалось впечатление: мой случайный дорожный спутник просто страдает бессонницей, и ему хочется с кем-то поделиться своими сокровенными мыслями.

И вдруг он заговорил обо мне. Рассказал о столкновении со мной из-за места в вагоне, о том, как мы примирились, и о моем рассказе. Говорил он обо мне без всякого презрения.

И наконец я услышал:

— Ершистый, но, кажется, все-таки неплохой парень: я, например, тоже слышал шум в тамбуре, а вот не бросился сразу же на защиту «униженных и оскорбленных». Да... Вы смеетесь, а я говорю правду: я жалею, что не бросился, — уже давно увидел бы вас, и не стояли б вы в коридоре.

Девушка весело рассмеялась.

Последние слова Платова заставили меня сжаться в комок, я сцепил зубы, чтобы не застонать: вот, оказывается, кто возвеличивает меня!

Нехорошо подслушивать, но деваться мне было некуда. Я затаил дыхание и вонзился взглядом в затылок Платова. Теперь я не считал нужным прикидываться спящим: я хотел увидеть его собеседницу.

Много, очень много противоречивых чувств зрело в моей груди в эту минуту — я в одно и то же время и восхищался Платовым и ненавидел его, восхищался потому, что за две встречи его полюбила девушка, напоминавшая мне Надю, — а что полюбила она его, этого, пожалуй, только слепой и глухой не заметил бы, — ненавидел же... Впрочем, какое там ненавидел! Я просто-напросто страшно завидовал ему.

Я завидовал! Это был позор — и такой, какого я еще никогда не переживал.

Дуй, ветер, дуй! Ох ты, сердце...

Я приказывал этому сердцу остановиться, но только не выносить дальше такого позора. Оказывается, есть люди лучше меня, есть умнее, о!.. Такое открытие потрясло, уничтожило меня.

Какие-то минуты прежние мысли еще цеплялись за мой мозг: «А как же служение человечеству в качестве единственного, непререкаемого, всеобъемлющего, абсолютного, рыцарски самоотверженного, страстно влюбленного в свою идею гения? Отречься от славы, поклонения?..» Но эти бунтующие мысли уже не могли вернуть меня в прежнее состояние самовлюбленности: я завидовал Платову...

Я закрыл глаза, убрал голову в плечи: зачем видеть и слышать то, что не предназначено для постороннего? Засни, Сергей. Спи крепко-крепко. Теперь твои черные бараны наверняка упрутся в черные горы... Я усмехнулся: в черные горы? Нет, сегодня этого не случится с тобой, Сергей. Тебе придется думать. Долго, напряженно думать...

Вдруг девушка запротестовала: как это? Она будет лежать, а он, Виктор Сергеевич, ее любимый учитель, ее самый дорогой товарищ, стоит? Разве мало принял он когда-то за нее мук в геодезической экспедиции? Нет, пора поменяться ролями. Теперь пусть он лежит, а она будет стоять у его изголовья...

Я услышал нежный шепот Платова:

— Лежите, Верочка.. Мне все равно не хочется спать. Чтобы не мешать вам, я пойду пройдусь...

Девушка соскочила с полки.

— И я с вами! Вы... разрешите мне?

Он, радостно смеясь глазами, без слов взял ее за руку, и они оба вышли.

Я готов был биться головой о стенку. В мозгу по-прежнему бушевало — это уже была, наверное, инерция моих переживаний: «Дуй, ветер, дуй! Ох ты, сердце!.. Чтоб ты лопнуло,— неожиданно дополнил я свой рефрен,— раз ты живешь только в себе, только для себя!»

...Поезд подходил к последней станции. Вскоре по вагону заходили проводники. Один из них — тот, которого не так давно я именовал «папашей», — заглянул в наше купе:

— Доброе утро, товарищи.

— Доброе утро. Подъезжаем?

— Подъезжаем...

«Студент и военный товарищ, оказывается, давно бодрствуют,— подумал я.— Интересно, что они скажут о Платове и его спутнице, когда останутся вдвоем? Осудят? Посчитают их встречу мимолетным дорожным романом? — Я заставил себя улыбнуться.— Не надо. За что их осуждать? Ведь они любят друг друга и только боятся пока еще признаться в этом. Не надо...»

Я уже страстно защищал и девушку и Платова (совсем забыв о том, что он осудил мой рассказ и назвал меня «Дон-Кихотом наоборот»). Я, Сергей Юшанин, начал думать о других людях. Прощаясь — хотя до остановки поезда оставалось еще добрых полчаса,— я мысленно обращаясь к своим случайным дорожным спутникам:

«До свидания, дорогие товарищи! Мы еще с вами когда-нибудь встретимся — многому вы научили меня!»

Сердце мое почти успокоилось. «Отец, Ефим, Надя... что-то они сейчас подельывают? — думал я.— Особенно ты, Надя? Милая, милая, не разгаданная мною девушка... Наверное, забыла меня? А я — нет, не забуду! Где бы ты ни была, в какой бы глухой сторожке ни укрылась, все равно — я найду, найду тебя!»

Картина поисков рисовалась мне фантастическая: лес и лес, на сотни, тысячи километров, до самого океана; и сопки — островерхие, приплюснутые, двугорбые, крутые, покатые... Не видно неба, не видно солнца, и только где-то в вершинах могучих кедров запустивший ветер... Дебри, завалы, но ничто не останавливает меня, я иду все дальше и дальше: «Надя! Где же ты скрылась, Надя?»

— А вы, товарищ Юшанин, сумку-то свою не забудьте... с рассказом, — неожиданно прервал мои фантазии Платов, выходя вместе с девушкой из купе. — Задумались о чем-то... Наверное, нашу вчерашнюю критику переживаете? Это вы напрасно... Правда, мы вас немножко с пристрастием, хотя — первый опыт, надо бы учесть, но вы все-таки... Одним словом, выше голову, товарищ журналист: попадете в леспромхоз, может быть, такое еще напишете, что мы потом прочитаем — гордиться будем: дескать, знакомы... присутствовали при рождении таланта...

Он подал мне сумку и улыбнулся.

— Не обижайтесь!

Я внутренне рассмеялся: «Он меня уговаривает не обижаться! Умный человек, а не догадывается: я ведь не тот, что был ночью; еще не другой, но уже не тот!»

— А вот и напишу! — пообещал я, отвечая улыбкой на улыбку. Я был уверен: никогда еще мои обыкновенные мутновато-серые глаза не выражали такого озорства. — А вот и напишу. Только это другая уже встреча будет, неназначенная: он — инженер-геодезист, а она — девушка из леспромхоза. Смотрят они, смотрят друг на друга и глаза не могут отвести... Даже подробность такую добавлю: она лежит, а он стоит у ее изголовья. — Я засмеялся. — Вот об этом и напишу!

Платов замахал руками.

— К выходу, товарищ Юшанин, к выходу! Поезд останавливается... Мы еще с вами как-нибудь поговорим!

Я замолчал — зачем было ставить все точки над «и»? И так Платов смутился. А девушка не поднимала глаз. Брови ее подрагивали. Все-таки немного да прав оказался я: многое, очень многое понравилось девушке из речи какого-то Сергея Юшанина.

Я выскочил из вагона первым. Полы моего пальто раскрылись. «Ветер еще дует, но пусть! — говорил я своим видом. — Кровь моя горяча, честное слово, горяча — не заморозит!»

Стлалась по земле, путалась у ног поземка, иногда вскидывалась на перекатах-сугробах и бросала в лицо снежную пыль. Но я не застегивал пальто, не отворачивался от колючей снежной пыли. Минувя станцию, по крутой тропинке, цепляясь за кусты, я взбирался на гору. Мне хотелось скорее увидеть те места, где когда-то с партизанскими отрядами проходили наши отцы, деды.

Я воображал себя Морозкой. «А Платов — Метелица, конечно же, Метелица! — начинал я новую фантазию. — Вон из того распадка, от голых камней, и выезжаем — два партизана-шахтера. Конечно, переругиваемся... А как же? Оба пролетария, а характеры-то разные, вот и спорим по какому-то своему серьезному партизанскому делу».

Я оглянулся: Платов, девушка, студент и военный товарищ направлялись в сторону рабочего поселка. Как же удержаться, не показать себя, не крикнуть в последний раз? Я сорвал с головы шапку.

— Эге-ге-ей! Виктор Сергеевич! Девушка из леспромхоза! Счастливого пути!..

Все четверо остановились. Девушка засмеялась. Военный товарищ поднял руку. Теперь это были мои друзья. Они пожелали мне того же самого,

— Только скорее с горы спускайтесь! — донесся до меня голос Платова. — А то... все-таки ветер, дунет — на дальней сопке окажетесь! До леспромхоза часа два ходу: сначала берегом — три-четыре километра, а потом по льду реки... До свидания, писатель!

Он и здесь наставлял меня — Метелица...

«Писатель»... Что ж, пусть подтрунивает! А совет дельный и, кажется, вовремя: как бы мой «английский лорд» не начал чихать», — усмехнулся я и, нахлобучив шапку, застегнув пальто, подняв воротник, еще раз оглянув окрестность, пошел вниз, на дорогу.

Что было дальше — догадывайтесь сами, мой дорогой друг.

г. Хабаровск.



С. МАРШАК

★

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

* * *

Я помню день, когда впервые —
На третьем от роду году —
Услышал трубы полковые
В осеннем городском саду.

И все вокруг, как по приказу,
Как будто в строй вступило сразу.
Блеснуло солнце сквозь туман
На трубы светло-золотые,
Широкогорлые, витые
И круглый белый барабан.

И помню вечер на реке,
Почти до дна оледенелой,
Где музыканты вечер целый
Играли марши на катке,

У них от стужи стыли руки
И леденели капли слез,
А жарко дышащие звуки
Летели в сумрак и в мороз.

И, бодрой медью разогрето,
Огнями вырвано из тьмы,
На льду речном пылало лето
Среди безжизненной зимы.

Как хорошо, что с давних пор
Узнал я звуковой узор,
Живущий в пении органа,
Где дышат трубы и меха,
И в скрипке старого цыгана,
И в нежной дудке пастуха.

Он и в печали дорог людям,
И жизнь, которая течет
Так суетливо в царстве буден,
В нем обретает лад и счет,

* *
* *

Ты много ли видел на свете берез?
 Всего только три или две,—
 Когда опушил их впервые мороз
 Иль в первой весенней листве.

А может быть, летом домой ты пришел,
 И солнцем наполнен твой дом,
 И светится чистый березовый ствол
 В саду за открытым окном.

А много ль рассветов ты встретил в лесу?
 Не больше, чем два или три,
 Когда, на былинках тревожа росу,
 Без цели бродил до зари.

А часто ли видел ты близких своих?
 Всего только несколько раз,
 Когда твой досуг был просторен и тих
 И пристален взгляд твоих глаз.

СТИХИ О ВРЕМЕНИ

I

Быстро дни недели пролетели,
 Протекли меж пальцев, как вода,
 Потому что есть среди недели
 Хитрое колесико — среда.

Понедельник, вторник очень много
 Нам сулят — неделя молода.
 А в четверг она уж у порога:
 Поворотный день ее — среда.

Есть колеса дня, колеса ночи.
 Потому и годы так летят.
 Помни же, что путь у нас короче
 Тех путей, что намечает взгляд.

II

Нет, нелегко в порядок привести
 Ночное незаполненное время.
 Не обкатать его, не утрясти
 С пустотами и впадинами всеми.

Не перейти его, не обойти,
 А без него грядущее закрыто...
 Но вот доходим до конца пути,
 До утренней зари — и ночь забыта.

О, как теперь ничтожен, как далек
 Пустой ночного времени комок!

«СЧАСТЬЕ»

Как празднично сад расцветила сирень
 Лилового, белого цвета.
 Сегодня особый — сиреневый — день,
 Начало цветущего лета.

За несколько дней разоделись кусты,
 Недавно раскрывшие листья,
 В большие и пышные гроздья-цветы,
 В густые и влажные кисти.

И мы вспоминаем, с какой простотой,
 С какою надеждой и страстью
 Искали меж звездочек в грозди густой
 Пятилепестковое «счастье».

С тех пор столько раз перед нами цвели
 Кусты этой щедрой сирени,
 И если мы счастья еще не нашли,
 То, может быть, только от лени.

НЕВИДИМОЕ МОРЕ

Сегодня старый ясень сам не свой,—
 Как будто страшный сон его тревожит.
 Ветвями машет, шелестит листвою.
 А почему — никто сказать не может.

И листья легкие в раздоре меж собой,
 И ветви гнутые скрипят, друг с другом споря.
 Шумящий ясень чувствует прибой
 Воздушного невидимого моря.

ПОЖЕЛАНИЯ ДРУЗЬЯМ

Желаю вам цвести, расти,
 Копить, крепить здоровье.
 Оно для дальнего пути —
 Главнейшее условие.

Пусть каждый день и каждый час
 Вам новое добудет.
 Пусть добрым будет ум у вас,
 А сердце умным будет.

Вам от души желаю я,
 Друзья, всего хорошего,
 А все хорошее, друзья,
 Дается нам недешево!



ИЗ КАЗАХСКИХ ПОЭТОВ

ДЖУБАН МОЛДАГАЛИЕВ

★

Малый Турксиб

Из поэмы

Сегодня исполнилось мне тридцать шесть.
Не хочется мне в самохвальщики лезть,
но нашей Республики быть одногодком —
большая удача, немалая честь.

Не зря для меня эти годы прошли:
они не растаяли где-то вдали,
подобно тюльпанам, они раскрывались,
как дети большого семейства, росли.

Я сути своей биографии рад.
Пусть зрелые песни сегодня звучат —
всю жизнь вспоминая, их честно слагаю,
как бывший юнец и бывалый солдат.

В степи я родился, в степи подрастал,
в степи из ребенка мальчишкой стал —
на палке своей, оседлав ее лихо,
по пояс в цветах, словно всадник, скакал.

Я знал твою землю, раздольный мой край,
учился красотам твоим невзначай.
Но были совсем не известны мне в детстве
ни пламенный Пушкин, ни мудрый Абай.

Минувшее детство я вспомнить готов,
как детство снегов и как детство цветов, —
ведь некому было дарить мне в ту пору
крылатых машин, заводных поездов.

А впрочем, мы вправе сказать без стыда:
их нашей стране не хватало тогда —
не много летало вверху самолетов,
не часто ходили внизу поезда.

В те годы лишений и классовых битв
был Павлик Морозов врагами убит.
Недаром, как мать, это детское имя
доныне страна с уваженьем хранит.

Мой край небогатый стал краем стальным,
бегут эшелоны один за другим.
Прими же, Республика, эту поэму
как малую дань достижениям твоим.

Где горная речка и ночью и днем
ворочает камни в стремление своем,
как девичий стан, извивается в пляске,
звенит, словно белая цепь, серебром,

где шалью зеленой весна поскорей
укрыла прямые стволы тополей,
где в солнечном мареве мог ты услышать
лишь гам ребятишек да гогот гусей, —

сегодня спешит и толчется народ,
торопится юркий пробиться вперед,
и, гомон парадной толпы покрывая,
как тот петушок, паровозик орет.

Спеша поскорее на голос гудка,
до всех доносящийся издалека,
нестройно колышутся кепки и шляпы,
торопятся ситцы, мелькают шелка.

Отцы или деды ведут малышей,
держа их ручонки в ручище своей.
Сынок за рукав уцепился и тянет:
— Ну, папа, иди же за мной побыстрей!

Тут город — не жаль для детей ничего! —
построил дорогу для детства всего.
Ее окрестили мы Малым Турксибом,
как будто сынишку Турксиба того.

Так детскую город дорогу открыл.
И я на открытии с мальчиком был.
Со щедростью воина Павлик Морозов
ей славное имя свое подарил.

В наполненный светом и гомоном зал
на слет пионеров я как-то попал:
меня, журналиста, послала газета,
чтоб я об увиденном им написал.

Я слушал среди размышлений своих
задорных девчуток, мальчишек лихих.
Дорогу железную — ишь вы какие! —
они предлагали построить для них.

Я думал с усмешкой: чего у них нет?
Дворцы и театры, кино и балет.
А мы в наши детские годы не знали
и досыта хлеба, не то что конфет.

Не то позавидовал я ребягне,
не то обозлился, бурча в стороне,
не помню сейчас я, но то предложенье
никчемным и праздным представилось мне.

Ребачью затею не принял всерьез
и даже в блокнот я тогда не занес,
но этим же годом о Малом Турксибе
большими людьми был поставлен вопрос.

В тот год, замышляя большие дела,
страна моя в гору решительно шла —
огромная карта Советской России
флажками строителей покрыта была.

Наш Малый Турксиб был действительно мал,
никто его делом большим не считал,
и в Главный Закон пятилетнего плана
среди строк других он — увы! — не попал.

Ответьте — обида уместна ли тут?
Кипит, вдохновляемый юностью, труд.
Строители в парке казахской столицы
ворочают шпалы и рельсы кладут.

Уже семафоры прямые торчат,
и рельсы под утренним солнцем блестят.
Огнем пионерские галстуки вьются,
и кепки рабочие в воздух летят.

Стоит, окруженный веселой толпой,
смущенный вниманьем, путеец седой.
Все знают, что строил он оба Турксиба:
для маленьких — Малый, для взрослых — Большой.

—

Толпа разлилась, как весной Сыр-Дарья,
всем встречным без счету улыбки даря.
Как ярмарка радости, гомон вокзала,
и льется из солнца поток янтаря.

Глядит с восхищеньем мой резвый сынок,
вокзал, по его представленьям, высок,
но я-то, конечно, отлично заметил,
что он словно спичечный тот коробок.

И все же он дорог мне, этот вокзал.
С годами я, видно, бесстрастным не стал:
далекая юность припомнилась сразу,
твои семафоры и рельсы, Урал.

Но вот «пассажиры» к вагонам идут.
Взойти по ступенькам для маленьких — труд.
Иной по пути отдыхает три раза,
а все остальные томительно ждут.

Слегка растерявшись от крика ребят,
 старик со старухой поодаль стоят.
 Но вот и они поднялись по ступенькам,
 держа на руках круглолицых внучат.

Один по перрону, от страха далек,
 степенно шагает мой малый сынок.
 С игрушками схожи вагончики эти,
 а сам паровоз-то всего с ноготок!

Девчурка с огромным букетом в руках
 стоит и смеется в открытых дверях,
 и алою бабочкой бант кумачовый
 трепещет от ветра в ее волосах.

А вот и дежурная с желтым жезлом
 сурово шагает в убранстве своем,
 и волосы детства под красной фуражкой
 по-взрослому собраны крепким узлом.

Я, право, хоть час любоваться готов
 работою маленьких проводников:
 с трудом поднимают они карапузов,
 с почтением подсаживают стариков.

Звонок! Настоящий вокзальный звонок!
 Перронные зрители хлынули вбок.
 И громко, вовсю закричал паровозик,
 как утром, со сна, молодой петушок.

Мы едем! Свисти, паровозик, гуди!
 Мои размышленья бегут впереди.
 Я вовсе не мальчик — скажи, отчего же
 волнением стиснуто сердце в груди?

Ведь я в путешествиях трудных бывал,
 не раз в самолетах высоких летал
 и слышал походные марши оркестров,
 когда еще в тесных пеленках лежал.

Я землю не только видал из окна —
 тебя я изъездил, большая страна.
 Мальчишкой скакал я, как всадник, на палке,
 а в юности смело седлал скакуна.

Я все свои годы в движении был:
 ходил на охоту, в походы ходил,
 по заводям тихим и вертким стремнинам.
 средь гребней кипящих размашисто плыл.

На Яике бурном, отсюда вдали,
 в садах мои юные годы прошли.
 Я слышал, как трактор советский заставил
 забиться притихшее сердце земли.

В далеких пределах я с армией был,
 на жестких подошвах мозоли набил.
 Дорожные камни, отроги Европы,
 я вас и до нынешних дней не забыл...

Весеннее время и грозный мороз
я вместе с народом своим перенес,
и этот пример завещаю сынишке:
хочу, чтобы он по-стцовскому рос.

...Заливисто наш паровозик свистит,
за окнами зелень неспешно бежит.
Со мною в вагоне, немного поодаль,
тот самый старик со старухой сидит.

Гляжу я любовно на старцев седых —
они молодеют среди молодых,
и меньше, мне кажется, стало морщинок
на лицах смущенно-торжественных их.

Старик — горожанин, а может, степняк —
не может насытиться счастьем никак
и часто к своим обращается внукам
с одним неизменным вопросом: «Ну как?»

Как будто он, радуясь сердцем простым
тому, что мы лихо по рельсам бежим,
боится, что это свистящее чудо
не так, как хотелось бы, нравится им.

А возле окна черноокий джигит
с красавицей златоволосой стоит
и что-то ей на ухо шепчет неслышно
и только в лицо ее нежно глядит.

О чем он красавице может шептать?
Откуда об этом могу я узнать?
Но если средь нас оказался влюбленный,
не надо его ухищреньям мешать.

А шумные стайки довольных детей
живут, как положено, жизнью своей:
у окон открытых нестройно теснятся
и спорят — все громче и все веселей.

Сквозь гул, монотонный и слитный сперва,
отдельные я различаю слова:
«Ребята! Кто эту дорогу построил?» —
«Москва!» —
«Вот придумал!» —
«Конечно, Москва!»

С веселым стараньем гудит паровоз,
мелькает листва тополей и берез.
«Ребята! Кто эту дорогу построил?»
Хочу я парнишке ответить всерьез.

Совсем не намерен рубить я сплеча.
Что толку ответить ему сгоряча.
И вот предо мною уже возникает
живое большое лицо Ильича.

Он вместе со мною всю жизнь мою был,
 всегда в своем сердце его я хранил.
 Истории занавес медленно взвился
 и прошлое родины тихо открыл.

Ильич нашу партию в битву ведет.
 Он всех вдохновляет и все создает.
 О ты, Революция пятого года!
 Великий Октябрь и великий народ!

Он сам, хоть опавшие щеки бледны,
 стоит у кормила гражданской войны,
 и сам подымает тяжелые бремена
 на первом субботнике нищей страны.

Я вижу, хоть времени много прошло,
 как он, излучая глазами тепло,
 засунув подвижные руки в карманы,
 склонился над картой работ ГОЭЛРО.

А память все дальше и дальше ведет,
 иная картина пред нами встает:
 украшена скромно зеленая елка,
 Ильич вместе с Крупской в гостях у сирот.

В тот вечер — хоть этого я не слышал —
 он с шумным азартом детей развлекал
 и, сидя меж ними, об этой дороге,
 конечно же, он ребятам рассказал.

Тюрьма и подполье. Семнадцатый год.
 Развернутый фронт всенародных работ.
 От ленинской жизни, от слов Ильичевых
 и эта дорога начало берет!

Перевел Ярослав Смеляков.

Двадцать пять

О молодость,
 Почему же ты не вернешься, перевалив сотню лет,
 Подобно тому,
 Как осень проходит и вновь возвращаемся к маю?
 О двадцать пять, не упрекну я вас, нет.
 Но что вы нашли, от меня отлетев,—
 я не понимаю!

Лучшее что-то нашли или наоборот?
 Много лет я не вижу вас,
 рядом вы не идете.
 В прекрасную ночь вы сказали «прощай» у ворот,
 И я остался один на крутом повороте.

На то, что случилось, не жалею все ж,
 Кто может ручаться, что это не постигнет другого?
 Молодость, ты догнать себя никому не даешь,
 Удастся немногим повидать тебя снова.

Молодость,
 Старым и молодым ты сияешь мечтой,
 Хотя еще нет человека, которого бы не покидала.
 Может, только снаружи ты прекрасна собой,
 А по сути обманчива и не постоянна нимало?

Двадцать пять, я зову, приходите опять,
 Вам пока возвращаться недалеко еще, право.
 Слышите, как зову вас, мои двадцать пять,
 Не думайте, что, если вернетесь, уменьшится слава.

Я не юнец, что не знает цены вам пока.
 Приходите!
 Я вас обниму.
 Мне поверьте:
 Вместе жить будем мы этой жизнью — века,
 Вот так, молодыми, и перекочуем в бессмертье.

Перевел М. Луконин.

ТАИР ЖАРОКОВ

★

Ала-Тау

Гонит ветер облаков отару,
 Трудно их сквозь горы перегнать...
 У твоих предгорий, Ала-Тау,
 Колыбельную мне пела мать.

Облаками высь твоя повита.
 Бродит месяц по твоей тропе.
 Ала-Тау, ты не из магнита?
 Отовсюду я тянусь к тебе.

Быть, как ты,— спокойным, стойким, гордым —
 Я стремлюсь. А в расставанья час
 Воздухом твоим высокогорным
 Сердце наполняю про запас!

Я хочу — ни много и ни мало,—
 Чтобы вверх меня тропа вела,
 Чтобы песня моя ввысь взмывала
 Взмахом соколиного крыла!

Остановись!

На краю Урды, где березы цветут,
 Ты увидишь гранит обелиска.
 В честь героев его мы воздвигли тут.
 Путник, стой!
 Подойди к нему близко.

В честь восьмидесяти
 Казахов бойцов
 Возвышается он на виду,
 Что легли за Отчизну
 В едином ряду
 В девятнадцатом грозном году.

Он гранитный;
 Были сердца их гранит.
 Он на крепкой земле стоит.
 На земле:

Ведь во имя родной земли
 Смертью храбрых они легли!
 И над ним пролетают высоко вдали
 Журавли.
 Журавли до степей, до родимой семьи
 Их прощальное слово несли...

Стой, товарищ!
 Тут, на краю Урды,
 Ты на пять минут повремени.
 Дни сражений,
 И долгие годы борьбы,
 И века, за которые бились они,
 Пусть в тебя, как великая дума, войдут
 В эти пять безмолвных минут!..

Верблюжий табун

День погожий. Лишь сокол кружит.
 А пески — на сто верст вперед.
 Горделиво и неуклюже —
 Шаг за шагом — табун верблюжий,
 Чуть покачиваясь, плывет.
 Им, дубленным, со дня рожденья
 Все до капли знакомо тут.
 И губами листки растений,
 Словно ножницами, стригут.

А в пустыне журчат каналы,
 Тень роняют карагачи.
 Грациозно шагают нары —
 Одногорбые силачи.
 Отдыхают,
 а ветер, вея,
 Навевает им лень и сонь.
 Изгибаются плавно шеи,
 Как растянутая гармонь.

Потрудился верблюд и за год
 Не одну протоптал тропу.
 Сколько клади, труда и тягот
 Вынес он на своем горбу!
 Пусть струится шершавый шорох

И барханы — со всех сторон,
Вот, гуляя в песчаных горах,
Экскаваторы видит он.
Хоть стрелы вырезная шея
По-верблюжьему высока,
Экскаватор? Такого зверя
Не видал он среди песка...
Если б знал я язык верблюжий,
Я сказал бы:

— Ты не дивись,
Эта техника — помни, друже,—
Счастье наше и наш девиз!

Перевел А. Корнев.



НОРА АРГУНОВА

★

СЛУЧАЙ НА ЛИНИИ

Рассказ

Семнадцатого апреля ночью по линии стало известно, что на подмосковной станции Разъезд произошло крушение. Спустя сорок минут НОД Дмитриев (на служебном языке НОД означает начальник отделения дороги), ДНЧС (старший ревизор движения) Сучков и УРБД (помощник участкового ревизора по безопасности движения) Скрылёв прибыли на место.

Они сразу поняли, что это грубый брак в поездной работе, но не авария и не крушение, — человеческих жертв не оказалось, локомотив был цел, груз не утрачен, перерыва и сбоя движения поездов не случилось.

Убыток от повреждения двух товарных вагонов, сошедших с рельсов, исчислялся несколькими сотнями рублей. Но и УРБД Скрылёв и другие ведущие расследование считали, что это неприятное происшествие при иных обстоятельствах могло бы повлечь за собой тяжёлые последствия, а потому надо тщательно выяснить его причины.

Дежурный по станции Минашкина рассказала, что незадолго до прибытия поезда ей позвонила стрелочница поста, находящегося рядом с переездом, и сообщила, что на переезде застрял грузовик и необходимо остановить поезд. Минашкина немедленно перекрыла входной светофор, но машинист все-таки проехал красный огонь.

Осмотрели место аварии, расспросили машиниста, помощника машиниста, стрелочницу, кондукторскую бригаду, и выяснилось, что машинист действительно проехал запрещающий сигнал. Затормозил он, только когда увидел сигнал остановки, подаваемый стрелочницей.

Как записали потом в акте, «сход вагонов явился следствием резкого торможения, допущенного машинистом электровоза 1031 Иванушкиным».

Надо было выяснить, почему машинист Иванушкин не заметил запрещающий сигнал.

Из-за весеннего времени или оттого, что станция Разъезд расположена в низине, вблизи прудов, был сильный туман, и ДНЧС Сучков сделал первое предположение: машинисту помешала плохая видимость.

Но Иванушкин сам заявил, что в эту ночь особенно внимательно следил за сигналами и уверен, что был зелёный огонь. Тогда НОД Дмитриев сказал, что необходимо подвергнуть проверке исправность светофора. Светофор оказался в порядке. Комиссия осмотрела блок-аппарат поста, опросила дежурного механика и установила полную исправность блок-аппарата.

В то же время УРБД Скрылёв заподозрил у машиниста Иванушкина, который присутствовал при действиях комиссии, признаки опьянения. Его спросили, не выпивал ли он перед работой. Иванушкин отвечал, что спиртных напитков не употребляет вообще, а перед выходом на дежурство не разрешает себе даже пива.

Несмотря на категорические возражения машиниста и поддерживавшего его помощника Срезалова, факты, как отметил Скрылёв, говорили сами за себя: нетвердая походка, красный цвет лица и ненормально подавленное (если даже учесть обстановку) состояние, похожее на отупение.

Правда, другие члены комиссии усомнились в том, можно ли небольшую степень опьянения считать причиной аварии. Тогда УРБД Скрылёв сказал, что степень опьянения не играет роли, и напомнил о параграфе пятьсот сорок пятом ПТЭ (Правил технической эксплуатации), где говорится: «Работники, находящиеся в нетрезвом виде при исполнении служебных обязанностей, немедленно отстраняются от несения обязанностей и привлекаются к ответственности».

После этого Скрылёв отозвал Иванушкина в сторону и сказал:

— Я лицо незаинтересованное. Сужу всегда справедливо. Дыхните-ка.

Иванушкин сначала отказался дыхнуть — и это всех убедило, что Скрылёв не ошибся, потом согласился, и ревизор подтвердил, что слабый запах алкоголя все же ощущается. Был составлен акт, и Скрылёв тут же отобрал у машиниста свидетельство на право управления электровозом.

Семнадцатого апреля днем состоялось оперативное совещание у начальника депо с участием Скрылёва. В протоколе совещания указывалось, что дежурный по депо Тренин при инструктаже и помощник Срезалов во время поездки признаков опьянения у Иванушкина не заметили, а машинист Иванушкин выводы комиссии считает несправедливыми. Но оперативное совещание утверждает, что заключение комиссии согласно акту правильное, так как Иванушкин в нетрезвом виде вышел на работу не первый, а второй раз. «Аналогичное явление имело место в 1951 году, а потому оперативное совещание считает необходимым ходатайствовать перед начальником дороги о лишении машиниста Иванушкина права управления локомотивом».

В тот же день были составлены еще две бумаги. Машинист и помощник машиниста, сдававшие Иванушкину электровоз 1031, и нарядчик, у которого Иванушкин получал маршрут, актом подтверждали, что никакого запаха алкоголя не было. Вторая бумажка — личная характеристика, подписанная секретарем партбюро и тем самым начальником депо, который только что подписал протокол оперативного совещания. Здесь сообщалось, что Иванушкин имел только одно взыскание, в 1951 году, с тех пор взысканий не имел, с работой справлялся, получал благодарности и денежные премии, а за первый квартал этого года ему присвоено звание лучшего машиниста депо.

Но оба эти документа значения уже не имели.

Через четыре дня было совещание у начальника отделения дороги, затем — у начальника дороги, а еще через неделю вышел приказ «О грубом нарушении трудовой дисциплины машинистом Иванушкиным, находившимся на работе в пьяном виде». Иванушкин лишился права управления локомотивом и переводился на работу слесарем депо.

1

В начале мая Скрылёв отправился на линию в свою обычную ревизорскую поездку.

Он знал, что после праздников, когда все на дороге работают напряженно и четко, обычно наступает расслабленность, словно у бегуна после большого забега. И сейчас, стоя в электричке за спиной машиниста и глядя на дорогу, Скрылёв видел признаки первого послепраздничного дня. Он на ходу успел заметить и запомнил, чтобы потом сказать

кому надо, что место работ на двадцать третьем километре ограждено неправильно, указатель на шестой стрелке возле Каменной не в порядке — видимо, ослабело стопорное кольцо, а у обогнавшего их поезда дальнего следования не так, как надо, обозначен хвостовой вагон.

И следы самого праздника еще оставались повсюду.

Перед машинистом возле распределительного щита был воткнут первомайский бумажный цветок яблони. На пролетавших мимо дачных платформах свежей зеленой краской сверкали заборы, не отведавшие весенних грозных дождей. В окне станционного буфета в Заречной мелькнула непривычно белая занавеска.

У переднего окна, наблюдая за дорогой, сидел знакомый Скрылёву кондуктор. И даже в том, как он нехотя поднимался со своего места на остановках и потом, закрывая дверь, медлительно и тяжело приваливался к ней всем телом, чувствовалась послепраздничная лень. Если бы не ревизор, наверняка не на каждой станции оглядывал бы он платформу!

— Как праздник гуляли, товарищ Скрылёв? — улыбаясь, спросил кондуктор.

— Спасибо. Какое мое гулянье. Товарищ Замолодчиков, — ответил Скрылёв, по своему обыкновению разрубая фразу в самых неподходящих местах.

— А что? Неужто поезда б остановились? — дерзко поднял брови кондуктор.

Скрылёв погрозил ему пальцем.

— Не всяк казак. Товарищ Замолодчиков. Коль шапка набекрень, — значительно сказал он, намекая на памятную всем историю, после которой этот кондуктор на три месяца был переведен на станцию рабочим.

Машинист, не обращившись, засмеялся, а кондуктор потускнел и отвернулся к окну.

Скрылёву очень хотелось сделать замечание машинисту за цветок, пристроенный где не положено, но он ничего не сказал.

Сошел Скрылёв на следующей остановке.

Он знал, что, если его увидит хотя бы один здешний работник, мгновенно всем станет известно, что ревизор приехал, и потому лучше идти не через виадук, а низом. Он спустился с платформы и, обходя кучи камней, перелезая через канавы, взбираясь на бугры, сделал большой круг, чтобы его крупную, заметную фигуру не узнали издали, и вышел на путь неожиданно, километра за полтора от платформы.

День был тихий, солнечный. Чуть слышно тянуло холодком, но солнце припекало уже крепко, как летом. Прогретый каменистый песок, чистый, желтый на междупутьях, почерневший у шпал, тупиковая насыпь, мирно поросшая редкой свежей травкой, возле нее будка стрелочного поста, безмолвно выставившая навстречу Скрылёву подслеповатое оконце, — все, казалось, охвачено было послепраздничной дремотой. Скрылёв даже подумал, что у окна никого нет и стрелочник не видит идущего к посту человека, но тут же понял, что ошибся: стрелочник уже стоял в дверях.

Это был маленький мужичонка с рыжеватым острым лицом, в туго перепоясанной телогрейке и в просторных сапогах с широкими мятыми носами. Обычно, встречая ревизора, стрелочник хитро ухмылялся, словно хотел сказать: «Зна-аю, врасплох поймать хочешь!» Скрылёв отлично понимал выражение его лица, оно ему было неприятно, и сейчас, заметив на пороге знакомую фигуру, он приготовился увидеть эту ухмылку.

Но стрелочник был серьезен. Хмуро глядя в сторону, он пропустил Скрылёва в будку, прошел за ним следом, сел к залитому солнцем подоконнику, где едва умещались лежавшие на газете розовый кусок сала, ломоть хлеба и перочинный нож, и начал, к удивлению Скрылёва, неторопливо жевать.

Непонятно было, почему стрелочник ведет себя так странно, и Скрылёв на всякий случай сделал вид, что ничего не замечает. Он устроился на лавке, притянул к себе журнал дежурств, достал папиросы и внимательно осмотрел будку.

Даже здесь все выглядело еще по-праздничному. Печка недавно побелена, алюминиевый чайник, на котором в незапамятные времена какой-то озорник выцарапал неприличное слово, начищен до мутной белизны, а за рамку инвентарной описи заткнут точно такой же розовый цветок, как в электричке у машиниста.

Скрылёв перевел глаза на стрелочника. Тот по-прежнему сидел к нему спиной, молчал и жевал так старательно, что у него двигались не только уши, но и задубевшая морщинистая кожа на шее.

Скрылёв давно знал стрелочника Веточкина. Здесь, на Разъезде, Веточкиных видимо-невидимо. Есть и диспетчер, и ремонтный рабочий, и дорожный мастер, и две уборщицы, и телеграфистка, и все они — дети, племянники, братья этого стрелочника. Он так и зовется Веточкин-старший. И тот машинист Иванушкин, у которого пришлось отобрать права, тоже родственник: полгода назад он женился на младшей дочери Веточкина — Любе, телеграфистке.

Скрылёв вспомнил про машиниста и понял, почему сегодня при нем, при ревизоре, жует Веточкин-старший. Ему стало смешно, но он не подал виду и сказал серьезно:

— К вам ревизор нагрязнул. Товарищ стрелочник. Ревизию производит. Может и откопать что-нибудь. А вы так нелюбезно встречаете. Нелюбезность ваша. Опасная!

— Откапывайте! — не оборачиваясь, лениво проговорил Веточкин.

Это было так неожиданно и грубо и так бесстрашно, что Скрылёв растерялся. Он не нашел, что ответить, и молча раскрыл журнал.

Он был не только деликатен по природе, но выдержку и вежливость считал законом для ревизора. Его нередко обижали, говорили колкости, чаще всего несправедливые, но никто не мог вспомнить случая, чтобы Скрылёв вышел из себя. Как бы он ни сердился, как бы ни был раздражен, по его спокойному белому лицу с румянцем и с большим добродушным ртом трудно было что-нибудь заметить. И сейчас он сердился, испытывал чуть ли не презрение к человеку, который из-за своего, родного, из-за мужа своей дочери, наказанного за дело, вел себя так безобразно, — но ничем не выказал этого чувства. Он только, чтобы не видеть Веточкина, низко пригнулся к журналу и, задев себя по лицу страницей, перевернул ее.

И тут ему бросилось в глаза, что Веточкин не расписался, принимая дежурство. Скрылёв имел правило не спускать даже мелкие оплошности, а в таких случаях, как этот, обязательно писал тут же в журнале замечание начальнику станции. И сейчас он не только мог, но должен был сделать то, что делал всегда.

— Так, так! — произнес Скрылёв.

Он увидел, как грязная худая рука, только что подносившая ко рту сало, замерла, — прозрачно засветившись на солнце, она показалась хрупкой и чистой, — как чуть повернулась голова в вылинявшей фуражке, и стрелочник сказал в пространство:

— Не успел расписаться... Паровоз пришел.

— Значит, и стрелки? Не успели обойти? — спросил Скрылёв, доставая карандаш с наконечником.

— Стрелки обошел, — живо ответил Веточкин.

Скрылёв поймал косой взгляд, который стрелочник оросил на карандаш.

— Вам известно, — спросил он, — что у вас могут быть неприятности? Из-за нерасписки?

— Известно, — с той же поспешностью сказал Веточкин, и Скрылёв неожиданно заметил, как по правой стороне его хмурого лица пробежала ухмылка — не та, знакомая, которую Скрылёв так не любил, а другая, сконфуженная и как будто немного заискивающая.

— Значит, остальное в полном порядке? У вас? Товарищ Веточкин? — спросил он мягче.

— В порядке, товарищ Скрылёв!

— А что, если вас лично проверю?

Стрелочник теперь уже не сидел к нему спиной, как раньше, а стоял, глядя на ревизора. При последнем вопросе он как-то застенчиво, словно ученик перед строгим учителем, пожал плечами, будто говоря: «Как знаете... Вы начальство».

И Скрылёв убрал карандаш.

Он убрал его не только потому, что его смягчила растерянность Веточкина. Но он понял, что ему приятно было бы сейчас наказать стрелочника, и не захотел поддаваться этому чувству. Свободу от всякого личного отношения к людям на работе он тоже считал чертой, необходимой для ревизора.

— Тогда попрошу, — сказал Скрылёв и проворно первым вышел из будки.

Его снова охватило ощущение беспечной дремотности первого в году солнечного весеннего дня. Глаза щурились от нестерпимого блеска рельсов, песка, ясного синего неба, и рожок сигналиста, зазвучавший неподалеку, проиграл лениво, по-пастушески.

Рядом со стрелкой, у насыпи, путевой обходчик в грубом брезентовом плаще, присев на корточки, переливал смазку из железной бочки в ведерко, поставленное на дно канавы. Тонкая тягучая струя оборвалась, обходчик перекатил бочку отверстием кверху, поднял голову, показав красивое, крепкое, с красным загаром лицо, и Скрылёв, быстро шагавший впереди Веточкина по скрипучему песку, догадался, что двое за его спиной обменялись взглядом.

Скрылёв постарался подавить в себе обиду. Он сказал себе, что уже привык к усмешкам, к перемигиванию за спиной, к скрываемому с трудом недоброжелательству, с каким многие встречали его на линии. Он уверял себя, что живет так, как нужно, работает честно и если бывает строг, то для пользы дела. А такие, как Веточкин или этот путеобходчик, ничего не хотят понять.

Скрылёв остановился у стрелки, потянул рычаг перевода; стрелочное перо тяжело двинулось и с негромким лязгом прилипло к рельсу. Веточкин напряженно следил за ревизором.

— Тут порядок. Полный, — сказал Скрылёв. — А позвольте-ка, товарищ Веточкин. Показать, где сердечник крестовины. И где — усовики.

Стрелочник прошел вдоль рельса, деликатно притронулся неумело вытянутым мятым концом сапога:

— Усовик... Сердечник.

— Так. Так. Хорошо. Где желоб контррельса и путевого рельса? Знаете. Хорошо. Какая допустимая ширина его?

Веточкин наморщил и без того исполосованный морщинами лоб и задумался.

— Кто у вас проводит технические занятия? — спросил Скрылёв.

— Бучалов, — ответил Веточкин-старший и вдруг широко, просто-душно улыбнулся. — Вот черт, не помню про желоб-то! На глазок понимаю до точности, а так не помню. Хоть ты што!

И засмеялся. Подошел обходчик в своем стоявшем коробом плаще, бережно неся ведерко с нефтью, в которой ослепительно отражалось солнце. Заранее улыбаясь, спросил с любопытством:

— Штой-то?

Скрылёв сказал строго:

— Долóжите Бучалову — был, мол, УРБД Скрылёв. Проверял. А я, Веточкин, не на уровне оказался.

Стрелочник слушал, глядя в сторону, а обходчик серьезно смотрел ревизору прямо в глаза.

Со стороны станции показался поезд.

Веточкин, вдавливая песок каблуками, побежал к посту, доставая флажок из сумки, подвешенной к поясу. Пока проходила электричка, Скрылёв и путевой обходчик стояли рядом, глядели на пружинящие рельсы, вслушиваясь в мерный грохот колес. Но как только прокатил последний вагон, они отодвинулись друг от друга.

— А вы? С какого околотка? — спросил Скрылёв.

— С четвертого.

— Почему здесь? Где сейчас должны быть? По графику?

— На втором должен быть. Я со второго и пришел за смазкой. Болты промазываем. И опять на второй иду.

— На второй? Покажите-ка график.

— Верно говорю, врать не стану, — твёрдо сказал обходчик и посмотрел выжидающе.

Скрылёв молчал, и обходчик осторожно, чтобы не накренилось, поставил ведро, задрал плащ, под ним — полу телогрейки и достал из глубокого кармана брюк плоский сверток. Он развязал шпагат и так долго разворачивал длинный брезентовый мешочек, что Скрылёв не выдержал и покачал головой.

— Прячете... Словно баба — деньги.

— Да трутся, проклятые, — сконфуженно и сердито забормотал обходчик. — Прошагаешь с утра до ночи день-другой, от документов труха останется, ежели не схоронить...

Он подал бумажку и отвернулся, пряча побагровевшее лицо. Скрылёв вынул из кармана часы, сверил с графиком и протянул бумагу обходчику.

— Можете обратно схоронить, — сказал он, не сумев скрыть насмешки.

Обходчик сверкнул на ревизора глазами, но тот уже смотрел на подбегавшего Веточкина.

— Разрешите не докладывать Бучалову, — запыхавшись, заговорил Веточкин с просительной улыбкой. — Неловко получится, я не пацан — перед учителем с повинной головой стоять...

— Ничего. Долóжите. Знать будете назубок. А не на глазок.

— Да, товарищ начальник, я вам точнее, чем инструментом, определю! Ну, коли верите, другой раз и без доклада назубок отвечу.

— Долóжите! — отрубил Скрылёв.

И опять не увидел, а догадался, что стрелочник и обходчик обменялись взглядом.

— Не хуже моего знаете, как бывает, — продолжал он. — Недостаток знаний у стрелочника. Приводит к авариям. Не прямо, так сказать. А косвенно. Отсутствием знаний пользовались. Враждебные элементы. Помните, товарищ Веточкин? Крушение у станции Смена? На стрелке?

— Это до войны-то? — спросил Веточкин.

— Вот-вот. Воспользовались неопытностью стрелочника. Устроили сход локомотива. Вагонов.

— И што же? — спросил обходчик.

— Сход был — больше ничего, — ответил за Скрылёва Веточкин.

— Как? Сход? И больше ничего? А вам известно, что при крушении учтываются не только последствия, имевшие место. Но и те, которые могли произойти? Да! Имел место только сход. Но вы, я вижу, товарищ Веточкин! Не хуже моего понимаете это дело! Сход-то произошел в ка-

кой момент? По соседнему пути проходил встречный поезд. Наливной. Цистерны с бензином. Так?

Стрелочник молчал.

— Учли это обстоятельство, — продолжал Скрылёв, — произвели расследование. Оказалось — диверсия. Размеры крушения были незначительны? Чистая случайность. Вам понятно? Долóжите Бучалову. Понятно?

— Еще бы, — проговорил Веточкин.

Скрылёв внимательно посмотрел на него. Что-то в этом «еще бы», в тоне, каким это было произнесено, показалось ревизору странным. И обходчик, не сводивший со Скрылёва напряженного взгляда, теперь наклонился, рывком, плеснув нефтью, подхватил свое ведро и, не попрощавшись, зашагал прочь.

Несколько минут спустя Скрылёв шел к станции. Он был уверен — Веточкин уже звонит на станцию, предупреждает, что Скрылёв идет, — прятаться теперь бесполезно. Его наверняка ожидают. И потому, надвинув от солнца фуражку на глаза, присматриваясь к стыкам рельсов, к шпалам, к каждому костылю, приостанавливаясь возле стрелочных переходов, краем уха прислушиваясь к диспетчерскому радио, ревизор шел, не таясь.

— Машинист Лобода. Машинист Лобода. Осадите состав на вторую. Осадите состав на вторую, — басило радио. И вдруг Скрылёв услышал, как, прервав диспетчера, торопливо произнес несколько слов женский голос. Это были странные, необычные слова, и Скрылёв не успел еще понять их, как диспетчер снова затвердил свое:

— Машинист Лобода. Машинист Лобода...

Скрылёв замедлил шаги. «Внимание, прилетели гуси!» — сказала женщина. «Что за гуси?» — с удивлением подумал Скрылёв, но сейчас же сообразил, что говорили о нем.

И хоть и твердил себе, что ко всему привык, с тяжелым сердцем поднимался он по ступенькам платформы.

2

Однажды вечером у себя в комнате, на столе, Скрылёв увидел судебную повестку. В ней было написано, что завтра в одиннадцать часов утра он должен явиться в народный суд четвертого участка на прием к судье.

Скрылёв перечитал повестку. В том месте, где должно быть сказано, в качестве кого он вызывался, говорилось: «на прием к судье». На обороте объяснялись последствия неявки по вызову обвиняемого, свидетеля и эксперта. Скрылёв не эксперт, не мог он быть, конечно, и обвиняемым.

По какому же делу он должен выступить свидетелем?

В соседней большой комнате, раньше принадлежавшей Скрылёву, жила с детьми Вера Ивановна, сестра его умершей жены. Скрылёв спросил бы у нее, она наверняка говорила с человеком, который принес повестку, — но сейчас, в двенадцатом часу ночи, и она и мальчики уже спали, да и повестки разносит простой курьер, вряд ли он что-нибудь объяснил ей.

Скрылёв пошел на кухню, вымыл как следует руки, лицо и шею — вечером, после работы, он мылся еще старательнее, чем утром, — потом расстелил постель. Он все время думал о повестке, брал ее в руки, перечитывал; наконец лег и потушил свет.

Сон у Скрылёва, несмотря на возраст, был не стариковский. Ложился он рано, засыпал легко, снов никогда не видел, через семь часов вставал с того бока, на который лег вечером, чувствовал себя бодро и любил быстро одеться и проехать на линию. Чай пил где-нибудь по дороге.

И в эту ночь Скрылёв спал, как обычно. Только утром он вспомнил про повестку, и ему пришло в голову, что он должен бы заранее слышать

о деле, в котором ему предстоит участвовать как свидетелю. Связано с работой — узнал бы в управлении, в отделении дороги, рассказали бы ревизоры, что-нибудь по дому — сообщила бы Вера Ивановна.

Он поднялся, ступив босой ногой на холодный, крашенный масляной краской пол, дотянулся до стола, взял повестку, и ему бросилась в глаза одна линия, которую он почему-то не заметил вчера. Она была сделана густыми черными чернилами и вечером, при электрическом свете, могла показаться неточно проставленной типографской чертой, разделяющей слова, отпечатанные одно над другим. Но сейчас он ясно видел зачеркнутое слово, и получалось, что на него подали в суд.

Он долго сидел на постели в нижнем белье, ошеломленный своим открытием. Кто и за что на него, на Скрылёва, подал в суд? Ему не было сейчас ни страшно, ни неприятно, он испытывал только одно чувство: удивление. Думал, думал и удивлялся — пожимал плечами, поднимал брови, даже усмехнулся недоверчиво: да что за чертовщина! Да кто бы это? Да за что?

Он, как и каждый день, вычистил на лестнице сапоги, тронул щеткой китель, но идти было некуда. Нужно дожидаться половины одиннадцатого, когда можно будет отправиться в суд.

Потом он сообразил, что до суда еще добрых три часа и разумнее съездить пока на линию, чем сидеть здесь все утро и задавать себе бессмысленные вопросы.

И, решив это, он с облегчением застегнул китель на все пуговицы.

В суде Скрылёв приоткрыл дверь в комнату, где, как ему сказали, принимает судья Мезенцев. Он увидел этого Мезенцева — человека средних лет, со скуластым курносым лицом, простодушным и хитрым, как у деревенской девочки, но того бледного, нездорового цвета, который напоминает о полутемных залах и прокуренных закоулках суда.

Перед Мезенцевым спиной к двери сидела женщина. Она, видимо, только что говорила и теперь, опустив голову, вытирала платком глаза. Мезенцев посмотрел на Скрылёва и спросил:

— Вы ко мне? Я вас вызову, подождите там.

Скрылёв вышел в коридор и присел на скамейку. По дороге сюда он решил, что все это не иначе как недоразумение, но сейчас, увидев судью и плачущую женщину и очутившись в плохо освещенном, мрачном коридоре, почувствовал беспокойство. В двух шагах от него, возле раскрытой двери, в которую виднелись пустые скамейки судебного зала, толпились люди, громко обсуждая какое-то дело. Раньше, когда Скрылёву случалось бывать в суде свидетелем, он, дожидаясь своей очереди, с интересом прислушивался к разговорам, иногда даже расспрашивал людей о подробностях происшествия. Но сейчас ему было не до того. Он только понял, что «суд удалился на совещание», поэтому все вышли из зала. И то, что рядом кого-то судят, а он ждет приема у судьи, чтобы, может быть, тоже, неизвестно за что, судиться, подействовало на него угнетающе.

На работе он никому ни слова не сказал и дома не стал спрашивать Веру Ивановну о повестке, и сейчас ему захотелось поделиться хоть с кем-нибудь, пусть даже с чужим. Он оглянулся.

Поодаль, на той же скамейке, сидел только один человек. В его фигуре Скрылёву почудилось что-то знакомое. Человек глядел в сторону, но Скрылёв присмотрелся и с удивлением узнал Иванушкина — того самого машиниста, у которого месяца два назад, в апреле, была авария. Скрылёв хотел спросить машиниста, зачем он здесь, но заметил, что тот не просто глядит в сторону, а нарочно отвернулся от него, и ему словно ударило в голову: не в нем ли, в Иванушкине, дело?

К судье их вызвали одновременно.

И вот он сел к одному углу стола, Иванушкин — к другому, и Мезенцев начал задавать им вопросы. Отвечая, Скрылёв поглядывал на машиниста и опять не испытывал ничего, кроме удивления. Этот Иванушкин, будучи пьяным, сделал аварию, комиссия составила акт, а Скрылёв отобрал у него права на вождение локомотива. Все законно. Потом приказом начальника дороги машиниста перевели в слесаря, а как же иначе? Что же он теперь — протестует? Смешно. И при чем тут Скрылёв?

В эту минуту судья произнес слово «клевета», и Скрылёв узнал, что Иванушкин обвиняет его в клевете. Оказывается, машинист подал заявление в суд, где писал, что не был пьян и не проехал запрещенный сигнал: он точно помнит, что огонь был зеленым, когда локомотив прошел светофор. Почему другие утверждают, что горел красный огонь, Иванушкин не знает. УРБД Скрылёв первым из всей комиссии сказал, что машинист пьян, и теперь из-за клеветника он, Иванушкин, один из лучших машинистов депо, лишен профессии, пострадал материально и «морально унижен».

Судья читал заявление, а Скрылёв пристально смотрел на машиниста Тот, не умея выдержать взгляд, опустил глаза, вновь поднял их на Скрылёва, опять опустил, и вид у него был такой, будто он не знает, куда деваться от стыда. Скрылёв почувствовал раздражение. Когда судья замолчал, он проговорил сквозь зубы:

— Зачем вы... врете!

И, чего с ним никогда не бывало, сильно покраснел.

— Я не вру, — тихо ответил Иванушкин, опустив глаза. — Я вообще не пью. За всю жизнь я пьяным был раза два только.

— И на работу пьяным являлись, — сказал Скрылёв и посмотрел на судью, но тот хранил на своем лице состарившейся деревенской девочки простодушное и замкнутое выражение, и было непонятно, что он думает.

— Единственный раз в жизни ошибся, — говорил Иванушкин, — шесть лет назад. Дураком еще был. Что же я после того, клейменный?

— Раз ошиблись, второй раз тем более ошибиться могли, — вмешался Мезенцев, и Скрылёв понял, что судья не только на его стороне, но так же, как и он, ни на минуту не усомнился, что машинист врет. — Учтите, товарищ Иванушкин, акт подписан авторитетной комиссией, не случайными людьми. Доказать вам что-либо теперь нелегко. Тем более, — судья бойко тряхнул головой, отбрасывая назад прямые, соломенного цвета волосы, — в неподходящее время попали вы со своей жалобой. Сейчас на железной дороге особенно строго насчет выпивки.

— Это до меня не касается, — проговорил Иванушкин, сдвинув короткие, чуть намеченные брови, но судья не обратил внимания на его слова.

— Подумайте, товарищ Иванушкин. Тем более, вы возводите такое некрасивое обвинение на человека, под судом и следствием не состоявшего, члена партии с... тридцать третьего года, человека честного и уважаемого...

Иванушкин уставился в стол и, казалось, терпеливо слушал. А Скрылёв смотрел на него и поражался, откуда у молодого человека столько выдержки, наглого спокойствия, умения притворяться. Он припомнил, что на линии или в депо, где им приходилось встречаться, машинист бывал совсем иным — неразговорчивым, правда, но оживленным и, как подметил Скрылёв, смешливым. Из-за смешливости и потому, что у него густые длинные ресницы и маленький рот, легко представлялось, каким Иванушкин был в детстве, и это располагало к нему.

Но сейчас в молодом лице с потупленными глазами и аккуратным ртом Скрылёв видел только постное, монашеское выражение, в тихом голосе улавливал елейность и с нарастающей неприязнью подумал: «ханжа»,

Он попробовал поставить себя на место этого человека, не просто лгавшего, но затеявшего целое судебное дело, построенное на лжи, — и оказалось, что проникнуть в психологию такого человека он не может, как не может понять вора или убийцу. И, давая волю охватившему его возмущению, он сказал себе, что ему ясно одно: Иванушкин глубоко испорченный тип, наглец, каких Скрылёв еще не встречал, и под скромной личиной прячет темную, развращенную душу.

Между тем судья закончил свою речь прямым предложением помириться и начал убеждать машиниста взять обратно заявление.

Скрылёв, при слове «примирение» сделавший было рукой гневное движение, означавшее отказ, вдруг опомнился: примирение зависело только от Иванушкина, и, если тот не согласится, предстоит суд... он, честный человек, с чистой совестью и незапятнанной репутацией, сядет на позорную скамью подсудимых.

И Скрылёв с тайной надеждой посмотрел на Иванушкина.

Но тот, отведя глаза, сказал едва слышно:

— Смешно даже...

Мезенцев объявил, что суд состоится не позже как через десять дней.

3

Скамья подсудимых оказалась не скамьей, а тремя обычными канцелярскими стульями, составленными вместе. А барьер был именно таким, каким представлял его себе Скрылёв: с широкими грязными перилами, покрытыми рыжей масляной краской. Он прошел мимо, сел в первом ряду сбоку, но пустовавшее место за перилами бросилось ему в глаза и напомнило, что, где бы он сейчас ни пристроился, он — подсудимый. И сам он перед столом судьи, и хмурое окно, и зал с казенными стенами, полный знакомых людей, — все было так, как воображал Скрылёв, когда ночами ворочался и не мог понять, спит он или нет.

И сейчас — не спит ли он? Он все еще не мог поверить: да, идет суд, и судят его, Скрылёва.

Он нервно помял одной рукой другую и приказал себе не отвлекаться и слушать тех, кто выступает. Он не сомневался в исходе дела. Мезенцев еще до суда дал понять, что беспокоиться не о чем, да и сам Скрылёв в начале заседания сделал очень правильный шаг: заявил, что свидетелям Иванушкина доверять нельзя. Эти люди, объяснил он, вынуждены утверждать, будто Иванушкин был трезв, иначе получится, что они проглядели и по их вине поезд вел пьяный машинист.

По лицам судьи и заседателей он понял, что его слова произвели нужное впечатление.

Теперь выступал Иванушкин. Он стоял спиной к залу, говорил тихо, как и в прошлый раз, и этот его голос и крупная голова на нешироких плечах производили на Скрылёва отталкивающее впечатление.

И еще неприятно было то, что неподалеку сидела Люба, дочь стрелочника Веточкина, жена Иванушкина, и слушала, напряженно вытянув шею и остановив на муже полные слез глаза. Ее размякшее от плача бледное круглое лицо, белокурые растрепанные волосы, забранные в пучок, жемчужные сережки и синий газовый шарф, наброшенный на голову, — все, казалось Скрылёву, так молодо, женственно, полно такой чистоты, и обидно было думать, что мучится она из-за этого типа с вкрадчивым голосом, с обманчивой непроницаемой физиономией ханжи.

Иванушкин рассказывал, что ночью, когда у него отобрали права, ездил в поликлинику, просил дежурного врача удостовериться, что он не пьян. Врачиха не стала проверять его и сказала, что без сопровождающего и без направления исследование делать не обязана. А направления действительно не было, говорил Иванушкин. Когда комиссия составляла

акт, он расстроился, попросить бумагу ему и в голову не пришло. Теперь же врачаха отказывалась удостоверить даже то, что он к ней приходил. «Очень мне надо впутываться в судебное дело», — сказала она.

«Опять врет, — думал Скрылёв, — куда он не ездил в ту ночь. А эта, — косился он на Любу, — верит, дуреха».

В начале суда, когда судья спросил, здесь ли пострадавший, она вместе с Иванушкиным ответила: «Здесь». Когда спросили, доверяет ли Иванушкин данному составу суда, оба опять ответили хором: «Доверяем», и судья даже заметил с улыбкой:

— Кто там, жена, что ли, участвует?

«Дуреха», — еще раз с досадой подумал Скрылёв.

А этого бессовестного человека Скрылёв ненавидел теперь до такой степени, что даже чувствовал во всем теле какую-то особую молодую упругость, в руках — силу, такую силу — кажется, попадись ему в руки сейчас что угодно, даже булыжник, разломал бы, словно яблоко.

Он потирал одной рукой другую, чтобы успокоить в пальцах зуд, нестерпимое желание что-нибудь смять, раздавить. И смотрел в зал спокойными, слегка покрасневшими от бессонницы глазами.

Почти все здесь были знакомые. Начальник депо, ревизоры из того же аппарата, что и Скрылёв, двое, подписавшие вместе со Скрылёвым акт, в том числе начальник отделения дороги Андрей Юрьевич Дмитриев, по предложению которого Иванушкина лишили прав на управление локомотивом. Только эти шестеро, только их мнения интересовали Скрылёва. Остальные же, набившиеся в зал, — свидетели Иванушкина и его родные (в толпе мелькнуло даже серьезное лицо Веточкина), работники станций, депо — тяговики, по большей части молодые люди, сочувствующие, конечно, Иванушкину, — лишь раздражали его. Все они были сейчас враждебны ему, казались беспринципными, жалеющими Иванушкина из одного только обывательского чувства.

Он заметил, например, девушку-оператора со станции Разъезд. Скрылёв хорошо знал ее, но сейчас никак не мог вспомнить ее фамилию. В ночь аварии она как раз работала, когда Скрылёв с другими членами комиссии заходил к дежурному по станции, он видел ее. Зачем она здесь? Из любопытства? Почему смотрит на машиниста почти с тем же выражением, что и жена его, Люба? Обыкновенная, бессмысленная бабья жалость. В детстве, в деревне, он как-то видел, вели конокрада. Вели и били, а мать и соседка — та самая, у которой украли лошадь, — плакали, «Ты-то чего ревешь, тетка, — сказал соседке один мужик, — небось за твою беду судить будем». — «Как же, — ответила баба, — живая душа». Мужик с презрением махнул рукой, и такое же презрение к темным, глупым женщинам, ревушим неизвестно из-за чего, ощутил тогда Скрылёв. Прошло столько лет, так переменялась жизнь, разве можно девушку, окончившую десятилетку, читающую книги, сравнить с той бабой? Но и она, вместо того чтобы возмущаться зарвавшимся сутягой, который мог вызвать крушение и погубить людей, поддалась бессмысленной жалости и даже не дает себе труда задуматься — кого жалеет. за что?

А этот, Клевцов, молодой еще человек, только что перехвативший у Иванушкина звание лучшего машиниста депо? С каким нескрываемым недоброежелательством из-под приспущенного на глаза смоляного чуба поглядывает он на Скрылёва! Потому, что Скрылёв не прав? Вовсе нет! Клевцов тоже машинист, и в эту минуту им владеет преступное чувство круговой поруки.

А выступающий сейчас Тренин, бывший в тот вечер дежурным по депо? Скрылёву нравилась подтянутая фигура этого парня, всегда ровного, делового, ухитрявшегося даже в замасленной одежде выглядеть

аккуратным. Почему он свидетельствует за Иванушкина? Он не верит комиссии, считает, что Иванушкин не мог быть пьяным? Ничего такого он не считает. Может быть, он защищает какие-нибудь принципы? Нет! Он выгораживает себя. А то скажут, что он допустил на электровоз пьяного машиниста.

Суд удалился на совещание. Все поднялись, стали выходить в коридор. К Скрылёву подошли ревизоры, и один из них, Сергей Сергеевич, чье мнение его больше всего интересовало, сказал добродушно:

— А жаль мальчика все-таки. Жаль.

Скрылёв даже не понял.

— Какого мальчика?

— Да Иванушкина. Смотри ты, какой упорный! И то сказать — из машинистов в слесаря. Шуточки!

Скрылёв ничего не ответил и направился к двери, доставая папиросы.

В коридоре толпились люди и обсуждали дело — теперь уже его, Скрылёва, дело. Группами стояли начальник отделения Дмитриев со старшим ревизором движения Сучковым и другими, начальник депо со своими подчиненными, работники разных станций. Вокруг Иванушкина и Любы громко спорили, перебивая друг друга, молодые, и Скрылёв уловил фразу, которая возмутила его.

— Подавать снова, и все. В областной суд, — говорил машинист Клевцов.

Скрылёв закурил, с трудом удерживая нервную дрожь в пальцах. Когда он поднял голову, то увидел, что на него смотрит Люба. Они встретились взглядом, и она молча, раздвигая толпу, подошла и остановилась перед ним. Скрылёв вынул изо рта папиросу и с замершим от недоброго предчувствия сердцем смотрел на Любу. Иванушкин поспешно пробирался вслед за женой.

— Смотри, — громко сказала она Скрылёву и оглянулась на мужа, — на кого он теперь похож из-за тебя!

В коридоре стало тихо.

— Не спит, по две пачки в ночь выкуривает, — злобно плача, не вытирая слез, продолжала она. — Три месяца прошло, а он все каждый гудок паровозный переживает!

— Замолкни, Любка! Слышь? Перестань! — крикнул очутившийся рядом с ней встревоженный Веточкин и взял ее за рукав.

Она дернула плечом, освободила руку и продолжала:

— Из-за тебя город родной бросать собирается, на север наниматься хочет! Куда я за ним, беременная! всю жизнь ты нам поломал, чинуша проклятый! Я до тебя горя не знала!..

— Брось, — тихо произнес Иванушкин и обнял ее за плечи, — он разве поймет? Это ж не человек, — сказал он и поднял на Скрылёва такой же ненавидящий, как и у жены, взгляд.

Скрылёв стоял перед ними, потирая одной большой мягкой рукой другую, и лицо его казалось спокойным. Но, услышав последние слова, он побледнел до желтизны, шагнул к Иванушкину и схватил его за грудь. Люба завизжала. Машинист не отшатнулся, даже не поднял руки, чтобы защититься. Глаза его приблизились к лицу Скрылёва, и Скрылёв почувствовал, что вокруг него пустота, безлюдье и тишина, тяжелая, со звоном, тишина...

Он не помнил, как их развели, и только уже в зале сообразил, что его держит под руку Сергей Сергеевич.

Судья, встряхивая волосами, читал приговор. Скрылёв пытался вслушаться, но голова у него сильно болела, и он понял только главное — его оправдали за недоказанностью обвинения.

Вечером он ехал на линию. Его не оставили после суда одного. Он пообедал у Сергея Сергеевича, а сейчас вместо ревизора Смирницкого отправился в путь — он знал, что на работе ему будет легче.

Скрылёву не хотелось встречаться с теми, кто был на суде или мог слышать о нем. Садясь в поезд, он заметил девушку-оператора с Разъезда, которую видел сегодня днем, — она ехала, очевидно, тоже на работу — и перешел в другой вагон.

Он стал вспоминать, с каких станций не было людей на суде. Таких станций большинство, но лучше забраться подальше. Он решил сойти в Сорве, в полутора часах езды от Москвы, где начальником был Горохов, молодой парень, недавно переведенный с другой дороги.

Скрылёв сидел в конце вагона. Он ссутулился, обмяк, засунул руки в рукава шинели, прикрыл глаза. Он чувствовал себя нехорошо — все тело словно разбито, руки сухие и холодные, глаза болят. Ему бы выпить горячего чая, лечь, укрыться, полежать в покое, в тепле... Но все равно не заснуть.

Он не мог отвязаться от тяжелых мыслей. Ему припомнилось не то, что казалось оскорбительным на суде, — узкоплечая фигура наглеца Иванушкина и самая процедура суда, где решалось, клеветник ли он, Скрылёв. Об этом он больше не думал. Его поразило другое: как мог он потерять власть над собой и поднять руку на человека? Это случилось с ним впервые в жизни. Он, гордившийся своей выдержкой, уверенный в себе, определенно знающий, что никакие обстоятельства не заставят его ударить, обозвать, поступить грубо, потерял эту уверенность. Он припоминал полусознательное, животное свое состояние в ту минуту, когда тело его перестало повиноваться разуму, и ему делалось страшно. Оказывается, в свои пятьдесят три года он еще плохо понимал себя и не знал, на что способен.

И в голову лезли непривычные мысли о том, как теперь жить и как работать.

Поезд притормаживал. Скрылёву не надо было выглядывать в окно, он и так безошибочно знал, что подъехали к станции Пролетной, а следующая будет Разъезд. В этот поздний час редко кто садился в поезд, чаще выходили, но в Пролетной один человек все же вошел, и Скрылёв узнал девушку-оператора. Теперь он вспомнил ее фамилию — Неверко. Скрылёв опустил голову, но Неверко почему-то не проходила мимо, и он посмотрел на нее. Она стояла в дверях и, словно ждала его взгляда, сейчас же подошла, присела — не рядом, на другой конец скамейки — и сказала:

— Мне на следующей сходить, но я хочу сказать вам одну вещь.

Она несколько раз быстрыми пальцами перевернула пряжку пояса на своей тощей детской талии и, когда пояс натянулся до отказа, стала крутить пряжку в другую сторону.

— Я в ту ночь дежурила, когда авария произошла.

Она опять помолчала, но Скрылёв не проронил ни звука, не шевельнулся.

— Может быть, я ошибаюсь... Только я не ошибаюсь. Виновата Лидия Николаевна, дежурная по станции.

Скрылёв повернул голову.

— Лидия Николаевна Минашкина. Вы ее знаете. Она тогда дежурила, помните? Ей когда позвонили, что грузовик застрял, она не сразу сигнал-то перекрыла. Она сначала стрелочнику звонила, спрашивала, далеко ли поезд. Тот говорит ей, да вот он уже, рядом. Она тогда вся побелела и перевела рукоятку. «Черт подери», — говорит.

— Что?

— «Черт подери...» Тут разницы — ерунда, секунды, а все-таки Иванушкин мог проскочить на зеленый, и красный уже не заметить.

Скрылёв повернулся к девушке всем телом.

— Как вы сказали?

— Я же уже сказала... Еще раз сказать? — пролепетала она, робея.

— Что ж вы раньше? Раньше или на суде? — помолчав, спросил он.

— Я на суде только и поняла как следует.

...Скрылёв открыл глаза — девушки уже не было. Где-то за его спиной — кажется, далеко-далеко — разговаривают, смеются, оттуда тянет табачным дымом.

Скрылёв вспомнил — надо закурить. Достал папиросы. Затянулся, закашлялся. Покачивается вагон, пустые скамейки, двери со стеклом, за которым никого нет. Девчонка словно приснилась. Вошла, на голых ногах носочки с каемками, косы зашпилены высоко на затылке.

«Я хочу сказать вам одну вещь».

И — сказала.

Скрылёв не только поверил, что Неверко говорила правду, но в голову сразу полезли какие-то мелочи, подробности всего этого дела, которые раньше он просто отбрасывал, не желая их замечать.

Теперь ему было ясно, что Минашкина перевела рукоятку в тот момент, когда первая колесная пара электровоза уже ступила на изолированный стык. Светофор сработал автоматически, как полагалось, независимо от Минашкиной.

Иванушкин прав.

И это было в тысячу раз хуже того, что он уже перенес.

...Он был твердо уверен тогда, во время расследования, что Иванушкин если не пьян, то, что называется, «выпивши».

Откуда у него появилась эта уверенность?

Когда осматривали место аварии, Иванушкин ни во что не вмешивался. Он как-то странно, отсутствующе молчал — на его месте другие стали бы влезать в разговоры, спорить, — и так же молча он для чего-то нагибался к рельсам, щупал колеса, влез в порожний вагон, сошедший с рельсов. Взявшись в вагон, он чуть не сорвался, будто руки его не держали. Скрылёв заметил это и стал за ним наблюдать. Когда Скрылёв на всякий случай, никому не говоря, обыскивал локомотив — нет ли там пустых бутылок, Иванушкин и тут ходил за ним, совался во все углы и опять не говорил ни слова. Это молчание в особенности укрепило подозрения Скрылёва, а когда все пошло на блокпост и машинист дважды споткнулся — сомнений уже не оставалось.

Скрылёв сообщил о своей догадке другим, и все сразу согласились — им тоже поведение Иванушкина казалось странным. Иванушкину сказали об этом. Он опустил глаза, проговорил едва слышно: «Вы что?!»

И до самого конца в ту ночь оставался таким же, как потом у судьбы, — говорил тихо, словно сдерживаясь, и никому из своих обвинителей не мог смотреть в глаза. Это Скрылёв вспомнил только теперь. А Скрылёв еще сказал Иванушкину: «Дыхните-ка!»

Если машинист не был пьян и вообще не пьет, если он честный и порядочный человек, как грубо, как оскорбительно это «дыхните-ка!»

Еще раньше, как только ему позвонили домой, он подумал, что машинист, должно быть, выпил. И позже, когда он в поезде встретился с начальником отделения Андреем Юрьевичем Дмитриевым, они ехали на место аварии и разговаривали об этом, оба решили, что скорее всего машинист пьян. И Скрылёву, конечно, показалось, что запах был, потому что он не сомневался в том, что должен быть. Да особенно он и не принюхивался — зачем? Что он, не знает людей? Он заранее был уверен,

что машинист, которого обвиняют в аварии, обязательно будет выкручиваться и врать.

Когда Скрылёв потребовал у Иванушкина права — как тот стоял перед ним, словно замер! Показалось даже, что он не расслышал, и Скрылёву пришлось повторить свое требование. Впрочем, и тогда всем было понятно, что отнимали у молодого машиниста вместе с этой книжечкой. Гордился, наверное, своей профессией, придавая независимое выражение лицу, по которому сразу видно, каким он был в детстве, фотографировался возле локомотива. Дома у него среди фотографий многочисленных Веточкиных красовалась, конечно, и такая..

Скрылёв подумал о Веточкине, и ему представился тот ясный майский день, когда он стоял вместе с Веточкиным у стрелки и поучал его. Как наяву, увидел он сконфуженного, просительно улыбавшегося Веточкина и рядом с ним путеобходчика с четвертого околотка. Даже ведро со смазкой, ослепительно сверкавшей на солнце, припомнилось ему.

Скрылёв вытащил руки из рукавов шинели, вскинул голову, посмотрел куда-то вверх, в сторону, словно напряженно прислушиваясь. Он больше всех на свете доверял себе, своей интуиции.

Неужели он ошибался?

Скрылёв сошел в Сорве.

Знакомая деревянная платформа, отсыревшая от дождя, маленькое станционное здание, внутри пустые скамейки. Пахнет прелью.

Скрылёв забился в самый темный угол, сунул в рукава озябшие руки, закрыл глаза.

5

На другой день он вышел на работу, как обычно. Но выглядел он плохо. Его высокая, немного полная, бравая фигура не то чтобы утерьяла свою осанку, но казалась как будто ниже, шире. Крупное лицо побледнело, на месте румянца проступили редкие ветвистые жилки, и почему-то стало заметно, что глаза у него того наивно-голубого, молочного цвета, который появляется к старости.

Он сидел за своим столом в большой комнате вместе с остальными ревизорами, прочитывал какие-то бумажки, работал, но если бы его спросили, что за бумажку так внимательно и медлительно проглядывал, — он бы, пожалуй, не вспомнил.

Как ни мучительны были мысли, которые преследовали его всю ночь и не оставляли даже теперь, днем, еще мучительнее было слушать, что говорилось вокруг. Ревизоры сочувствовали Скрылёву и с самого утра, прямо при нем, не переставая, говорили о вчерашнем.

И Сергей Сергеевич — ревизор, которого Скрылёв особенно уважал, — высказал свое мнение. Скрылёв всегда считал, что Сергей Сергеевич верно судит о вещах. Его манера обо всем толковать улыбаясь свидетельствовала о мудрой снисходительности ко всему на свете, и Скрылёв завидовал этой снисходительности.

Сейчас Сергей Сергеевич, улыбаясь, говорил:

— Дорогие товарищи, ну за что вы набрасываетесь на бедного Иванушкина? Я его очень хорошо понимаю. Профессию, конечно, потерять обидно. Но, уверяю вас, если б его не перевели с двух с половиной тысяч на восемьсот рублей, он бы в суд не подал. Не-ет, ни за что! И его жена, такая хорошенькая женщина, не бросалась бы, как тигрица! Не-ет! У нас у всех дети, и все мы знаем психологию женщины, — с улыбкой продолжал Сергей Сергеевич, — особенно когда она собирается родить. В мечтах она уже и шелковое одеяльце купила, и простынки с кружевами, и колясочку на рессорах, а тут вдруг — трах! Попрдержите свои мечты! И все это, уверяю вас, на голову бедного мужа!

Говорил Сергей Сергеевич убедительно, но сегодня Скрылёву показались неприятными и ласковое, с блестящим носом, красивое лицо Сергея Сергеевича и его снисходительность. И улыбался Сергей Сергеевич вовсе не мягко и доброжелательно, а так, как улыбается пожилой мужчина, любящий скабрзные анекдоты...

Скрылёву вдруг захотелось, чтобы все узнали об Иванушкине, и замолчали. Пусть узнают, лишь бы не слышать невыносимые эти утешения.

Но сказать им он ничего не смог. Наклонив крупную светловолосую голову, он смотрел на бумагу и представлял себе, как молчал бы, уже не улыбаясь, Сергей Сергеевич...

Теперь при мысли о поездке на линию его охватывало беспокойство, похожее на страх. Но ехать было необходимо. И вот он уже стоял за спиной машиниста в электричке, глядя на летящую навстречу дорогу. Каждая мелочь требовала внимания, а между тем все странно отвлекало его. Он увидел справа речку, ребяташек на берегу и в воде и подумал, что в этом году еще ни разу не купался. Проехали место ремонта. Девчата, чинившие путь, стояли, прикрыв глаза ладонями, смотрели на поезд, и между ними Скрылёв успел заметить женщину, одетую по-городскому. Она держала корзину, полную грибов, и Скрылёву даже удалось разглядеть огромный, лежавший сверху подосиновик с красной шляпкой и белой, длинной и толстой ногой.

— Ну, набрала! — сказал машинист и завистливо щелкнул языком.

Скрылёв представил себе, на какой славной полянке, может быть, в высокой траве рос этот подосиновик, и его потянуло в лес, с корзинкой в руках, с ножичком, чтобы срезать грибы. Ходил бы он — обязательно один — целый день, собирал бы грибы, высматривал белку, лежа в траве, слушал бы птиц — когда-то он каждую знал по голосу. Теперь забыл, наверно. Он заставил бы себя выкинуть из головы мысли, которые замутили его, он бы отдохнул...

Скрылёв смотрел на путь и ничего не видел. После бессонной ночи он чувствовал слабость, ему было душно. Он отошел от машиниста и приоткрыл дверь. Ветер с запахом дорожной пыли и цветущей ромашки ударил ему в лицо. Он снял фуражку и смежил ресницы. В глазах поплыли красные тени. Всего его охватило ощущение солнечного тепла, покоя, бездумного физического счастья, и захотелось плакать...

Когда Скрылёв сошел на станции, он заметил, что здесь прохладно — в то время как в Москве от жары плавятся тротуары, — почувствовал сильный запах тополя, услышал хор ленивых лягушечьих голосов, доносившихся от пруда, и его поразило, что всего этого он никогда раньше не замечал.

Когда-то он, работая ревизором, разъезжая по линии, любовался и зимой и осенью, умел радоваться первым весенним приметам. Что теперь для него зима? Вызывающий досаду снегопад, мешающий работе мороз, снег, снег, снег, не радующий, как прежде, своим хрустом, блеском, свежестью, а вызывающий чувство брезгливости. А весна, которая тревожила прежде душу? Весна для Скрылёва давно уже стала только временем забот — подготовкой к таянию, «водоборьбой». Может залить стрелку, а ночью, в заморозок, прихватить — сбой поезда, крушение, — мало ли неприятностей сулит весна...

Скрылёв уже отошел от платформы, когда увидел идущую навстречу женщину в форменном платье. Первой мыслью было свернуть в сторону, чтобы она не видала его на станции. Затем он разглядел ее рыжую базарную сумку, разглядел незнакомое лицо и по виду определил, что это проводница поезда дальнего следования и к пригородной станции никакого отношения не имеет.

Она прошла, не взглянув на него, а он остановился и посмотрел ей вслед. В том, что она не обратила на него внимания, а он хотел спрятаться от нее, было что-то обидное. Впрочем, почему же обидное? Ведь не кажется ему оскорбительным прятаться от людей каждый день на всех станциях. Он считал, что так нужно — нагрянуть неожиданно, накрыть, а то успеют все привести в порядок, утаят, солгут...

«Внимание, прилетели гуси», — вспомнил он, и жаром стыда ему опалило щеки.

Он пошел обратно к станции.

Это была крупная сортировочная станция, на которой формировались составы, и когда он подошел к путям, мимо него бесшумно прокатил одинокий, наглухо закрытый товарный вагон. Невдалеке Скрылёв увидел знакомого ему парня-башмачника. Тот, положив на рельс тормозной башмак, ждал. Вагон толкнулся о башмак, протасил его немного и встал рядом с другими, уже сцепленными вагонами. Скрылёву захотелось подойти к парню, о чем-нибудь спросить, за что-нибудь поругать, поучить, но его остановила необычная для него неуверенность. Башмачник работал аккуратно, даже тормозные башмаки на междупутьях лежали не на земле, а на специальных тумбочках, — чего еще требовать от человека?

По четвертому пути, пыхтя, полз маневровый паровоз с тремя вагонами. Машинист, высунувшись из окна, что-то крикнул стрелочнице. Она не расслышала. Составитель, сидевший с флажком на подножке последнего вагона, проезжая, повторил ей слова машиниста, состроив при этом рожу. Стрелочница засмеялась, и Скрылёв остро почувствовал, что ему неприятен этот смех, словно смех — обязательный признак легкомыслия и беспечности.

Он заметил, что машинист просматривал пути внимательно, составитель и сцепщик были на месте, стрелочница вовремя подготовила стрелку. Он понимал, что люди работали слаженно, точно, и все-таки он знал, что необходимо проверить машиниста, проследить за составителем, поговорить со стрелочницей — женщина немолодая, вряд ли она помнит план маневров. Уж он-то лучше всех понимал, что ревизор по безопасности движения должен работать именно вот так дотошно, придираясь к каждой мелочи, не стесняясь лишней раз расспросить, даже пригрозить. Он думал обо всем этом, но одновременно думал сейчас о себе, и странные, тревожные мысли одолевали его. Ему всегда казалось, что он строг, но справедлив. Он никогда не замечал в себе недоброго недоверия к другим и теперь, уловив в себе это, испугался. Он прожил так долгие годы. Путьобходчики, составители поездов, работники станций боялись его, молчали и только за его спиной обменивались взглядами, а начальник отделения Дмитриев, который работает здесь еще дольше, чем он, поощрял его, ставил другим в пример и называл «мои глаза и уши»...

Он заходил в будки стрелочников, в комнаты начальников станций, усаживался по-хозяйски, поучал, проверял, и ему в голову не приходило, что он не имеет права проверять людей потому, что перестал им верить, что добросовестность его давно уже превратилась в опасную для окружающих подозрительность.

Торопливо шагая через рельсы, он подошел к стрелочнице. Это была пожилая женщина в белом платке, в складках которого густо лежала угольная пыль. И в морщины ее доброго, кроткого лица тоже набилась пыль. При виде Скрылёва она испуганно улыбнулась и вытянулась перед ним, опустив черные, с крупными мужскими венами руки.

— План маневров? Знаете? — как всегда спотыкаясь на каждом слове, спросил ее Скрылёв.

— А как же, — ответила она, быстро мигая и перестав улыбаться.

— Объясните.

Она смотрела на него со страхом, и это было ему неприятно.

— Составитель вам объяснял? — спросил он.

— Составитель обязательно объяснял. А как же, товарищ начальник, — ответила она и, снова улыбнувшись, скороговоркой забубнила: — с двадцать восьмого на двадцать вторую, с двадцать второй выкинуть порожняк на шестую...

— Смотрите! — перебил ее Скрылёв. — Чтоб всегда так. А то отстраню. От участия. В маневрах, — сухо сказал он, сознавая, что говорит не то, что хочет, а то, что привык говорить в таких случаях, и пошел вдоль пути навстречу пятывшемуся составу.

Он сейчас и делал не то, что хотел. Он поднял руку, и вся машина — локомотив с тремя вагонами — затормозила, подползла и замерла. Машинист с кочегаром спустились на землю, подбежали сцепщик и составитель, и Скрылёв принялся о чем-то выпрашивать машиниста, потом составителя, за что-то выговаривать им, хотя сам знал, что выговаривать было не за что. Сцепщик и кочегар слушали молча и, конечно, были на стороне машиниста и составителя. И, как ни странно, сам Скрылёв тоже был на их стороне.

С ним происходило что-то непонятное. Он поступал так, как всегда, как считал нужным, — и при этом сам относился к себе враждебно. Он слышал свою отрывистую, словно каркающую, с угрожающими нотками речь, видел свою бравую, с выпуклой грудью фигуру и сам себе был неприятен. Составитель спорил, но Скрылёв, намекая на возможные осложнения, заставил его замолчать, и это самому ему показалось отвратительным.

Люди, которые только что напряженно, умело и весело делали дело, теперь стояли праздно, угрюмо глядя на него, и только кочегар, не выдержав, полез на паровоз и с ожесточением принялся бросать уголь в топку.

И Скрылёв понимал этого кочегара.

6

После случая с маневровым составом Скрылёв сел на пригородный и доехал до Москвы.

Он долго ходил по городу, сидел на бульварах, останавливался возле кино, рассматривая фотографии, в обычное время пообедал — не там, где всегда, так как не хотел встречаться со знакомыми, — в какой-то случайной столовой, потом снова ходил. Он был ревизором и привык к ходьбе. Сколько сотен километров выходил он за двадцать три года непрерывной службы! В осенний день, когда песок чернел от дождей, а по лужам на междупутье ветер гнал холодную зыбь, он шагал по шпалам. В морозную ночь, растирая варежкой лицо, оскользаясь на ледяных буграх, пробирался вдоль линии едва заметной тропкой, ведущей к стрелочному посту. Снег и правый хрустели под его ногами, скрипели доски станционных лестниц и платформ, поддавался слежавшийся, накаленный знойным солнцем песок. Мчались мимо поезда с названиями далеких городов, приморских или промышленных, с громкой военной славой или не знаменитых ничем, — Скрылёв шел и шел, мерил железный путь тяжелым шагом.

И ни в пургу, ни по закаменевшим сугробам не было ему так тяжело идти, как сегодня по гладким московским тротуарам в легкий, с ветерком и солнцем, июльский день.

К вечеру он поехал в отделение.

По дороге он поглядывал на часы, прикидывая, где сейчас может быть Андрей Юрьевич Дмитриев, и был готов, если не застанет, искать его по

всей линии, чтобы сегодня, сейчас же, поговорить об Иванушкине, снять хоть часть непосильной тяжести, которая давила на душу.

Ему сказали, что начальник выехал на линию, может сойти на любой станции, включая Сорву, и что в отделение он сегодня уже не вернется.

Скрылёв сел в поезд, в вагон, переполненный людьми, едущими с работы. Он стоял на площадке у двери, смотрел в стекло и соображал, с какой станции надо начать поиски Андрея Юрьевича.

Он сошел на третьей от Москвы. Дежурный сказал ему, что Дмитриева здесь не было. Скрылёв мог бы, конечно, узнать по телефону, где находится начальник, но почему-то ему было неприятно названивать по всей линии. Чтобы не пришлось лгать, делать начальническое лицо и чтобы ни с кем не разговаривать, Скрылёв, ожидая поезд, сошел с платформы и стоял тут, глядя на грязных гусей, которые с достоинством прошли у самых его ног, столпились неподалеку, возле лужи, и вдруг заскрипели одинаковыми, режущими слух голосами.

Он нашел Дмитриева в Сорве.

Заглянув в окно к начальнику станции, Скрылёв увидел, что в кресле за столом сидит Андрей Юрьевич и, положив щеку на ладонь, говорит, а начальник, статный румяный парень, на кудрявых волосах которого едва удерживалась форменная фуражка, прислонился к стене и, заложив руки за спину, слушает.

Скрылёв быстро вошел.

После суда они не виделись ни разу, и Скрылёв боялся, что Андрей Юрьевич будет смотреть на него с жалостью и пожимать ему руку обеими руками. И действительно, когда Скрылёв переступил порог, на лице Дмитриева, худом, с вялой кожей, с глубокими морщинами вдоль щек, так явно выразилось сочувствие, что даже начальник станции поглядел на Скрылёва с интересом. И руку ему Дмитриев действительно пожал обеими руками.

— Мне поговорить. Надо,— сказал Скрылёв, почти отдергивая свою руку.

Дмитриев, видимо, заметил теперь, что Скрылёв сильно взволнован, и оглянулся. У него была манера оглядываться, когда его что-нибудь смущало или беспокоило. Даже если в такую минуту он стоял у стены, то оглядывался на стену. Сейчас он оглянулся на окно, потом повел глазами в сторону начальника станции, но Скрылёву было безразлично, услышит посторонний их разговор или не услышит.

— Иванушкин. Не виноват,— сказал он, изо всех сил стараясь не спотыкаться на словах. — Зря сняли. Зря перевели. В слесаря. Права я у него забрал.

— Да что вы!

— Точно так. Все зря,— значительно сказал Скрылёв, и Андрей Юрьевич понял его.

— Ай-яй-яй! — произнес он, морщась, покачивая головой, и Скрылёв знал, что он напоминает все с самого начала — ту ночь на Разъезде, суд и все, что случилось в коридоре суда.

Андрей Юрьевич ни о чем не стал расспрашивать. Он сидел молча, с расстроенным лицом, и думал, а Скрылёв смотрел на него и чувствовал, что Дмитриев близок ему в эту минуту, как родной. Столько лет они работали вместе, если прикинуть — самую значительную часть жизни прожили бок о бок, знали друг друга, понимали с полуслова. Вот чужой, посторонний, начальник станции — по лицу видно, что слышал об Иванушкине, все знает о суде, — стоит, подпирает стену, глазеет, словно прохожий на уличное происшествие. А Андрей Юрьевич сразу принял все к сердцу, будто не со Скрылёвым, а с ним самим приключилась такая беда.

И в первый раз за это время он испытал облегчение.

— Неприятно, очень неприятно, — проговорил Дмитриев и вздохнул. Он покачал головой, еще помолчал и поднял глаза на Скрылёва.

— Ну... что же делать. Примем к сведению наши промахи. Так ведь, товарищи? И прошу вас, товарищ Горохов, — обратился он к начальнику станции, — не распространяйтесь об этой истории среди подчиненных.

— Насчет Иванушкина? — спросил Горохов.

— Да, да, насчет Иванушкина. Обо всем, что здесь говорилось. Не распространяйтесь, вы меня понимаете?

Горохов опустил голову, посмотрел на носки своих сапог и ничего не ответил.

— Вы сейчас в Москву? — спросил Андрей Юрьевич Скрылёва. — Поедем вместе, расскажете подробности. Ай-яй-яй!

Он еще раз поморщился и, положив щеку на узкую ладонь с натянувшейся бескровной кожей, сказал начальнику станции:

— Вы меня как следует поняли, товарищ Горохов? Советую вам сегодня же выделить рабочих...

Скрылёв, присевший было на скамейку, встал.

— Нет. Андрей Юрьич, — сказал он, и слова у него выговаривались в этот раз еще труднее и жестче, чем обычно. — Я буду просить вас немедленно. Ходатайствовать. Перед начальником. Дороги. Об отмене приказа.

— О чем это вы? — мягко спросил Дмитриев.

— Об Иванушкине. Я буду настаивать. Восстановить его.

Начальник станции откачнулся от стены и прислонился снова, и глаза у него стали круглыми от любопытства.

— Сейчас мы с вами поедем, поговорим в дороге, — примирительно сказал Дмитриев, оглядываясь.

— Я буду. Настаивать.

— Ну хорошо, вы успокойтесь. Мы поговорим и все решим. Вы сами поймете, что приказ отменять не следует. Это подорвет ваш авторитет.

— Не подорвет, а укрепит. Честный поступок. Никогда не подорвет. Обман подрывает.

— Какой же тут обман?

Скрылёв ничего не ответил. Он стоял, согнувшись, опираясь одной рукой о стол, так что одно плечо у него стало выше другого. Он наклонился, тяжело навис над Дмитриевым, и можно было подумать, что сейчас он сделает какое-то резкое движение — ударит кулаком по столу, схватит тяжелый мраморный стакан с карандашами или хотя бы обопрется второй рукой, выкрикнет в лицо Дмитриеву гневное слово...

Но он молчал. Совсем недавно он думал так же, как Дмитриев. И он бы еще недавно не придавал значения подобной истории, и он бы считал, что для его авторитета правильнее замать, сделать вид, будто он прав и что это и есть единственно возможное, и умное, и полезное для дела решение.

— Болтать я, конечно, не имею права, — неожиданно проговорил начальник станции.

— Что вы там сказали, Горохов? — окликнул его Дмитриев и встал.

— Я говорю, как же, мол, будет? Так и останется? Насчет Иванушкина?

Скрылёв выпрямился. Теперь Дмитриев стоял перед ним — сутуловатый, с худощавым тонким лицом и большими, добрыми, усталыми глазами, Дмитриев, два десятка лет служивший для Скрылёва образцом принципиальности, справедливости, гуманного отношения к людям.

— Вас эта история выбила из колеи, — говорил Дмитриев участливо. — Смотрите-ка, и осунулись вы за эти дни. Мне так хочется поговорить с вами без спешки, спокойно, чтобы мы поняли друг друга. — Дмитриев говорил с такой сердечностью, что Скрылёву даже показалось, будто он

сейчас возьмет его за руку или положит отечески ладонь на плечо. — Мы с вами столько лет работаем вместе и никогда, даже в мелочах, у нас не было расхождений. Ведь правда?

Дмитриев оглянулся на Горохова, но тот смотрел напряженно, в упор, и это было неприятно.

— Вы напрасно нервничаете, — мягко продолжал Дмитриев, отворачиваясь от Горохова, — с Иванушкиным все обойдется, вы сами знаете. Послесарил бы месяца три — это ведь в апреле случилось? — и вернулся на электровоз. Подумаешь, какая там драма — машиниста в слесаря перевели, оклад снизили. Оклад ему вернут, на Доску почета он попадет опять со временем. Ну, стоит ли так уж волноваться? Разве я не прав?

И с этим Скрылёв согласился бы еще совсем недавно. Но теперь он не только не мог согласиться, он слушал Дмитриева с поднимавшимся в нем возмущением, но так еще близки, так убедительны были все эти рассуждения, а то, что закипало в нем сейчас, было настолько ново, неосознанно, не выговаривалось словами, что он растерялся. Он стоял, опустив свои большие руки, наклонив голову, насупившись, смотрел на Дмитриева с высоты своего большого роста и молчал.

Дмитриев взял его под руку, и он покорно вышел с ним из комнаты.

И только когда проехали половину дороги, он вдруг сказал себе ясно и определенно, что ждать, пока положение Иванушкина выправится само, нельзя. На электровоз машинист вернется, но несправедливость, совершенная над ним, останется. Какая ответственность ляжет на Скрылёва перед всеми этими молодыми, только познающими жизнь людьми, перед Иванушкиным, Любой, Клевцовым, перед девочкой с Разъезда, фамилию которой он опять забыл. Какая ответственность! Нет, нельзя промолчать!

Дмитриев говорил, говорил, но Скрылёв не слышал его. Со свойственной ему педантичностью, с подробностями он обдумывал, как будет действовать. «Довожу до вашего сведения, — мысленно уже писал он, — что 17 апреля при расследовании причин схода вагонов на станции Разъезд, комиссией была совершена ошибка, допущенная по моей вине...»

Он уже знал, с чего начнет, с кем первым будет объясняться, кому первому напишет докладную...



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

НАЗЫМ ХИКМЕТ

★

В ТАШКЕНТЕ

Некоторые размышления, связанные непосредственно с конференцией писателей стран Азии и Африки, связанные с этой конференцией косвенно и вовсе не связанные с нею

Вторая конференция писателей стран Азии и Африки происходит в зале Ташкентского оперного театра имени Навои. Как руководитель делегации (ведь я одновременно и вся турецкая делегация и ее руководитель) сижу на сцене, в президиуме. Миниатюрный радиоприемник, висящий у меня на груди, дает возможность слушать синхронный перевод речей ораторов на пяти языках. Слушаю через наушники выступление одного из делегатов. Он говорит по-английски. Переключаю свой радиоприемник то на русский, то на французский перевод. Оратор говорит обстоятельно и долго. Впрочем, видно, все ораторы любят говорить подольше и пообстоятельнее. Мне кажется, что рано или поздно придется подумать об ограничении времени для выступлений. Очень жаль, но иного выхода нет. У каждого из нас есть столько слов, которые так хочется высказать друг другу, столько беспредельной радости и надежды, любви и ненависти, чтобы излить их друг другу, что если не ограничивать время выступлений, то конференция, как свадьба в восточных сказках, могла бы длиться сорок дней и сорок ночей.

Вдруг мой приемник умолк. Я посмотрел на оратора. Вижу — губы у него шевелятся. Значит, он говорит. Я снял наушники. Оратор говорит по-английски с характерным африканским акцентом. Я снова надел наушники, и опять ни звука. Я переключил стрелку приемника на другие языки. Полная тишина. Значит, аппарат испортился и наушники ни к чему. Английского я не знаю, но идти сейчас за исправным приемником как-то неудобно.

Некоторое время я слушал оратора, ничего не понимая. Потом стал рассматривать сцену, президиум, зал. Мне понравились орнаменты на потолке, вокруг люстры, и на стенах. Не понравились бархатные занавеси в ложах. Я не люблю бархатных занавесей, какого бы цвета они ни были — желтые, голубые или красные — и где бы они ни висели — в столовой, в театре или в квартире известного писателя.

Зал набит битком. И подумать только, на что я вдруг обратил внимание: и сцена и зал маленькие, то есть маленькие относительно — по сравнению со всем зданием. По-моему, фойе, коридоры, монументальные лестницы и тому подобное занимают слишком большое место в здании театра. На мой взгляд, и в Большом театре, например, то же. Но в каком году, в каких исторических и социальных условиях строили в Москве Большой театр и когда и в каких условиях — оперный театр имени Навои в Ташкенте? Я считаю, что непомерно обширные фойе и коридоры в театральных зданиях, построенных в прежние времена,

отвечали стремлению аристократических или буржуазных дам и господ созерцать друг друга в антрактах и шеголять своими туалетами. У зрителей театра имени Алишера Навои это стремление должно быть не столь сильно. Поэтому мне кажется, что в советских театральных зданиях соотношение между отдельными их частями должно быть иным: преимущество следует отдавать залу и сцене, необходимо дать гораздо больше простора и удобства для задних рядов в партере и бельэтаже...

Странно, однако, работает человеческая голова, особенно если ты в течение получаса слушаешь на непонятном языке выступление, которое тебя очень интересует!

Незаметно для окружающих начинаю просматривать «Огонек», который я купил перед началом заседания. Осторожно перелистываю страницы, опасаясь, как бы их шелест, который почему-то кажется мне очень громким, не помешал сидящим в президиуме и в зале и особенно председательствующему главе индийской делегации слушать оратора. Я всегда очень сержусь на людей, которые, сидя в президиуме и с серьезным видом слушая оратора, что-то пишут или рисуют на бумаге, лежащей перед ними, или, подобно мне, перелистывают страницы журнала. Но, видно, не всегда и не везде легко не делать того, что тебе в других не нравится. Так вот, в руках у меня 41-й номер «Огонька» за 1958 год. На обороте его обложки — фотографии трех здоровых, широкоплечих юношей, трех типичных юношей XX века. Это три комсомольца с металлургического завода Караганды. Сняты они на фоне стальных конструкций и высоких заводских труб. Перелистываю страницы. Цветные фотографии города Минска. Улицы широкие, зеленые. Улицы одного из городов первой страны социализма в XX веке. Здания этого города, особенно на вокзальной площади, показались мне странными. Как бы их назвать? Сказать: исторические? Нет, не то. Они похожи на здания, которые я очень часто встречаю в Москве и которые, будучи вовсе не историческими, вызывают в человеке ощущение чего-то искусственно исторического. Перелистываю страницы журнала. Репродукция картины Амброзиуса Гольбейна «Портрет молодого человека», написанной в 1518 году. Я смотрю на молодого человека 1500-х годов и замечаю на фоне картины большое здание. Странно. Не фотомонтаж ли это? Как похоже оно на здания, которые стоят в Минске на вокзальной площади и на многих улицах Москвы. Особенно верхняя часть. Украшения на крышах, арки на окнах, колонны. Неужели в таких домах должны жить комсомольцы с Карагандинского металлургического комбината? Я вспоминаю решения КПСС об архитектуре и успокаиваюсь.

Председатель объявил перерыв на двадцать минут. Я тотчас же спустился вниз и достал себе исправный радиоприемник.

В большом фойе я встретил знакомую журналистку. Она только что вернулась из Самарканда и привезла мне оттуда большую керамическую тарелку. Я изумился, взглянув на эту тарелку. Вот тоже продолжение древнейшего прикладного искусства, идущего из глубины веков. Но оно и по сей день не утратило красоты и целесообразности практического применения, оно совершенно не вызывает того ощущения, какое вызывает сегодня отжившая европейская архитектура XVI века, совершенно утратившая это свое качество. Может быть, так происходит потому, что в керамике, изготовленной самаркандским гончаром, сильнее и непосредственнее ощущаешь руку народа, вкус народа?!

Я смотрел на эту тарелку, и перед моими глазами предстала другая, которую я видел во Франции: тарелка работы Пикассо. Сходство между

ними в рисунках, сходство в принципах поразительно. Так я невольно еще раз убедился в правильности своих мыслей, высказанных накануне с трибуны конференции. И я позволю себе повторить их, хотя бы вкратце, — ведь мое выступление слышали только участники конференции — перед более широкой аудиторией читателей «Нового мира».

—...А теперь, уважаемые коллеги, — говорил я, — мне хочется коротко остановиться на все возрастающем влиянии живописи, музыки, танца, скульптуры, архитектуры, театра и поэзии народов Азии и Африки на культуру Запада, на влияние, которое началось еще с конца XIX века. Как и выше, буду говорить примерами.

Года два-три назад французский еженедельник «Леттр франсез» писал, что французские художники-импрессионисты довольно широко воспользовались переведенными на французский язык стихотворными наставлениями одного турецкого поэта о природе красок в турецких миниатюрах. Если же взять Матисса, то о влиянии на него классической японской и китайской живописи уже давно и широко известно. А Пикассо? В чем, например, обвиняли Пикассо реакционные псевдоакадемические расистские идеологи от «искусства» — того самого «искусства», которое пошло в услужение к гитлеризму и привело к деградации западной культуры? По их мнению, Пикассо носит в себе микробы низших рас. По их же мнению, проникновение негритянской музыки и особенно негритянского танца в белый храм западной музыки и танца есть величайшее несчастье для Запада. Но ведь именно благодаря нашим бубнам, барабанам, тамтамам музыка Запада получила богатейшие возможности для ритма и темпа. Надо быть слепым, чтобы не заметить влияния театра Азии на творчество таких выдающихся режиссеров нашего века, как Мейерхольд и Бертольд Брехт, и на других крупнейших представителей театрального искусства. Влияние поэзии Азии на западную поэзию ощущается уже с XVIII века. Разве можно не видеть влияния азиатской и африканской скульптуры на западную скульптуру нашего времени? А современная западная архитектура? Разве не явственно принципиальное сходство между архитектурой современных жилых домов на Западе и национальной японской архитектурой, несмотря на то, что строители этих зданий применяют разные, а иногда и совершенно отличные материалы? Восток проникает в бытовую культуру Запада и со своей одеждой. Брюки женщин Азии и особенно китайских женщин давно уже носят женщины Европы и Америки. А наши низкие стулья и столы стали образцом для мебельщиков современного Запада.

Мне кажется, что во взаимоотношении культур Азии и Африки с культурой Запада можно различить три этапа. На первом этапе, в очень далекие времена, когда эти оба мира уже имели друг с другом более или менее длительное и регулярное соприкосновение, страны Азии и Африки с их более высокой техникой и социальной структурой влияли на западный мир. Во второй период уже Запад достигает более высокого технического уровня и более высокой социальной структуры, и народы Азии и Африки начинают подпадать под его экономический, политический и военный гнет. В результате ряд стран Азии и Африки превращается в колонии или полуколонии Запада. В этот период доминирует влияние культуры Запада. Но очень скоро начинается наше ответное влияние. Однако это влияние еще пассивное. Третий период наступил, когда всколыхнулись народы Азии и Африки и поднялись национально-освободительные движения. В этот период, то есть в нынешние счастливые дни, влияние нашей гуманистической культуры на Запад становится все активнее. Конечно, во все три периода влияния обеих культур — и активное и пассивное — всегда были взаимны. Западная литература в каждый из первых двух периодов с разной силой оказы-

вала влияние на турецкую литературу и продолжает оказывать его по сей день. В прозе велико влияние французских, русских и американских писателей, а в поэзии и драматургии особенно сильно влияние французов...

Заседание возобновилось. Я слушаю оратора. Он говорит о борьбе своего народа за национальную независимость так, словно поет радостную песню. Я задумываюсь. Мой народ, турецкий народ, стоял в первых рядах героев, поднявшихся против империализма после первой мировой войны. Ленин назвал наш век эпохой социальных революций и национально-освободительных движений, и мой народ первым доказал справедливость этого! Первая полуколониальная страна, которая с помощью Советского Союза — и с какой помощью! — изгнала со своей земли иностранный империализм, — это моя страна. Конников, выбивших империалистов из Анкары, а затем сбросивших их с измирских берегов в море, инспектировали рядом Ататюрк и Фрунзе. В то время речи, произносимые в Великом национальном собрании Турции, заканчивались словами: «Долой империализм!» А вот теперь, здесь, на Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки, на конференции, где на самом видном месте среди славных знамен реют флаги антиимпериализма, флаги мира, кроме меня, нет ни одного турецкого писателя.

Почему? Неужели на землях, где тридцать пять лет назад был сброшен в море империализм, кроме меня, нет писателя, который был бы врагом империализма, сторонником мира, любил бы свой народ, свою родину, нет ни одного прогрессивного писателя? Неужели это так?

Нет! Наоборот. Сегодня подавляющее большинство турецких писателей — притом самые талантливые, самые популярные — выступает в защиту мира, в защиту своего народа, против империализма. Литературная борьба последних лет в Турции происходит между теми, кто требует, чтобы литература служила народу, свободе, миру, и теми, кто хочет уподобить литературу рюмке ликера, кто считает литературу не знаменем в борьбе за будущее, а цепью, замыкающей и оберегающей настоящее. Разве не приехал бы на конференцию писатель Кемаль Тахир, который говорит:

— Настоящий турецкий роман рождается из реальной жизни нашего рабочего и крестьянина. Мы, писатели, обязаны основательно изучить все старые и новые черты жизни этих двух классов, неустанно следить за всеми изменениями в их экономических и социальных условиях. Чем успешнее продвинемся мы в этом направлении, тем в большей степени наши произведения станут национальными и смогут перешагнуть через наши границы.

Разве не выступил бы здесь Самим Коджагёз, который писал: «Любой тупик, в который заходят моя родина и мои соотечественники, любое препятствие, возникшее на нашем пути к гуманизму и цивилизации, любое затруднение, мешающее нам вести страну к благосостоянию и благополучию, я воспринимаю как бедствие, как пожар. Во все горло я должен кричать о пожаре. И должен кричать до тех пор, пока пожар не будет потушен. Если это не задача литературы, то я, в таком случае, не писатель».

Почему же тогда на конференции писателей нет других представителей Турции, кроме меня? Почему я превратился и в турецкую делегацию и в ее руководителя? Почему? Они не хотели приехать? Нет, они рвались. Но их не пустили. Потому что моя страна превращена сегодня ее руководителями в бастион империализма на Среднем и Ближнем Востоке. Потому что они используют армию моей страны в качестве жандарма империализма против народов, борющихся за свою национальную независимость.

Брат мой, дорогой мой коллега, поющий сейчас с трибуны боевую песню свободы! Писатели земель колониальных, полуколониальных или только что освободившихся от империалистического ярма! Раскройте глаза! Не допускайте, чтобы ваш народ был обманут, боритесь против предательства в самом его зародыше, не допускайте, чтобы ваш народ попал в положение моего народа, а вы сами — в положение, в котором оказался я на этой конференции!

У всех ли участников конференции одни и те же социальные, политические, философские и эстетические убеждения? Нет. Даже среди делегатов из одной страны есть различие в политических, эстетических, философских и социальных взглядах. Тут собрались социалисты, коммунисты, националисты, люди религиозные и атеисты, писатели — реалисты и соцреалисты, революционеры в литературе, сторонники традиционных форм, даже консерваторы, романтики, даже символисты — одним словом, представители самых разных идеологических воззрений и художественных направлений, какие только могут прийти в голову. Не было только фашистов. Мне кажется, что правительства некоторых стран включили в состав писательских делегаций своих чиновников. Меня это не пугает. Вряд ли эти чиновники могли сообщить своим правительствам что-либо отрицательное о конференции.

Почему же такие различные, а иногда и совершенно противоположные друг другу по взглядам писатели, прибывшие из разных точек земного шара, столь единодушно и с таким воодушевлением приняли очень умное воззвание и стоя аплодировали ему в течение нескольких минут? Потому, что их соединила одна любовь, одна ненависть и одна надежда: любовь к национальной независимости, ненависть к империализму и надежда на сохранение всеобщего мира.

В один из вечеров мы побывали на замечательном концерте. Я сидел рядом с африканским писателем. Когда на сцене исполнялся узбекский национальный танец, мой сосед сказал:

— Странно, до чего эта музыка похожа на музыку наших лесов. А в предыдущем, таджикском, танце я увидел знакомые мне движения наших африканских танцев.

Он прав. Я давно уже замечаю, что в танцах, песнях, рукоделии народов есть поразительное сходство. У меня дома стоят на полке три крохотных глиняных изображения животных, что-то среднее между лошадью и коровой. Если подуть в их хвост, они свистят. Одно из них — изделие украинского гончара — я купил в Киеве, на рынке; другое мне привез из Бразилии мой друг Амаду — изделие местных индейцев; третье — подарок моего друга Пабло Неруды — изготовлено в чилийской деревне. Они настолько похожи друг на друга, что их невозможно отличить. Все три можно назвать и украинскими, и индейскими, и чилийскими...

Однажды, находясь в рязанском колхозе, я услышал старинные русские песни. Я был потрясен — это были знакомые мне с детства мелодии моих анатолийских крестьянских песен. Их пели лунным вечером рязанские девушки точь-в-точь голосом наших крестьянских девушек...

А сходство между народными сказками? Конечно, у каждого народа есть своя тема, им на свой лад обработанная, принадлежащая только ему. Но за исключением этих тем — их меньшинство — темы сказок, можно сказать, — международные, общечеловеческие. Не нужно быть даже глубоким знатоком фольклора, чтобы заметить сходство между турецкими, славянскими, индийскими, арабскими и многими европейскими народными сказками.

И чем дальше мы проникаем в глубь веков, тем яснее замечаем единство источников наших песен и танцев, и, может быть, это не просто один

и тот же источник, а могучий поток, вобравший в себя множество мелких ручьев, воды которых смешались друг с другом...

Послушав своих коллег из Европы и Америки, прибывших приветствовать нашу конференцию, поговорив с ними и понаблюдав за событиями, происходящими в мире, из Ташкента, я лишний раз убедился, что и в будущем народы всех стран и континентов придут к единству, к равенству, к слиянию источников культуры, к их соединению, к великому Человечеству.

Как-то в перерыве между заседаниями я с одним из моих друзей, делегатом Индии, беседовал о значении нашей конференции. Он сказал мне:

— В национально-освободительной борьбе — будь она вооруженная, как, например, в Алжире, или невооруженная, как у нас в Индии, — интеллигенция играет важную роль, выступает в авангарде движения. Особенно писатели. Я говорю так не потому, что я сам писатель, но это факт — ведь в наших странах большинство населения неграмотно. И, наверно, у вас в Турции дело обстоит так же. Зато народ очень хорошо умеет слушать стихи, легко заучивает их наизусть. В наших странах стихи распространяются с быстротой молнии, а рассказы читаются на народных собраниях. У нас стих острее меча. Поэтому, например, в Пакистане влияние сидящих здесь в зале Фаиза или Хафиза на народные массы, особенно по части призыва к борьбе, несравненно сильнее, чем влияние западных писателей на свои народы.

Слушая моего друга-индийца, я подумал: «Настоящий писатель — будь то на Востоке или на Западе — это и настоящий гражданин. Но в Азии и Африке настоящий писатель, кроме того, очень часто превращается в знамя борьбы: всей своей жизнью и даже своими страданиями, которые он терпит во имя своего народа, он служит примером для других. Сколько присутствует на нашей конференции писателей, которые только что вышли из тюрем Ирака, или тех, что годами сидели в темницах Пакистана и, может быть, попадут туда вновь; писателей, которые на своих спинах ощущали плеть французских, английских и американских империалистов?»

В середине нашего века наука подошла вплотную к открытию и покорению двух бесконечностей — атома и космоса. Человечество приступило к завоеванию этих двух загадочных миров. Открытием третьего чуда, своей бесконечностью, своей силой, своей созидательной мощью и своими возможностями не уступающего первым двум, заняты сейчас мы, писатели Азии и Африки, действующие от имени всего человечества. Мы открываем свои народы, их жизнь, их души. Ни в какой период истории, ни на одном континенте писателю не выпадает честь обработать столь грандиозный и сложный материал. Вот почему современная литература Азии и Африки в основе и в лучшей части своей — освободительная, народная, гуманистическая, ищущая, революционная и воспитательная. Именно поэтому она и сторонница мира.

Некоторые делегаты — правда, не в своих выступлениях, а беседуя в кулуарах, — утверждали, что наша конференция недостаточно широко занимается вопросами профессионально-писательского характера. Это правда. Ташкентская конференция, может быть, действительно недостаточно широко занималась, так сказать, техническими вопросами писательского ремесла, обменом опыта в области мастерства. Но это не потому, что мы не придаем значения вопросам, непосредственно относящимся к нашему ремеслу. Причина этого заключается в том, что мы старались в эти семь дней отставить на какое-то время на второй план узкопрофессиональные дискуссии и высказаться прежде всего по поводу самых важных, самых глубоких проблем нашей действительности, найти общий язык

в решении этих проблем. И, по-моему, в этом заключается важная особенность Ташкентской конференции, благодаря которой эта конференция войдет в историю культуры народов не только Азии и Африки, но и народов всего мира, и не только в историю культуры, а в историю в самом широком понимании этого слова.

Да, наш век оправдал свое название! Социальные революции и национально-освободительные движения расшатали здание империализма. Оно трещит и рушится. И недалеко то время, когда оно рухнет окончательно.

Большая часть делегатов жила в новой гостинице «Ташкент», напротив оперного театра имени Алишера Навои. Между гостиницей и театром — широкая площадь и сквер с фонтаном. Между гостиницей и театром с раннего утра и до поздней ночи двойной шеренгой стояли ташкентцы. Они приветствовали делегатов, аплодировали им, обступали их и подолгу беседовали с ними, дарили им подарки, пели вместе с ними песни. И суданец и индонезиец гуляли по Ташкенту, как у себя в городе, только с той разницей, что у себя на улице вряд ли они улыбались каждому или здоровались с каждым, как здесь в Ташкенте.

Один из делегатов Черной Африки сказал мне:

— Отсюда я поеду в Москву, хочу посмотреть Октябрьский парад на Красной площади. Побываю и в Кремле. В детстве я видел фотографию: негр, участник международной конференции в Кремле, сидит на троне русских царей. Я не хочу фотографироваться на том же троне, но я снимусь со студентами университета имени Ломоносова и пошлю фотографию своему другу — негру из Соединенных Штатов Америки. А на обороте фотографии напишу: «Если в Ташкенте смогли собраться писатели Азии и Африки, если студенты в этом университете, который ты видишь на снимке, так тепло меня встретили, если все негры Африки непременно добьются свободы, как и многие народы Азии и Африки, то это только потому, что сорок один год назад в далеком северном городе, ныне носящем имя Ленина, впервые было провозглашено об этих чудесах».

Писатель-негр, который сказал мне эти слова, не коммунист, даже не сочувствующий социализму, но он честный человек и не дурак. А для того, чтобы в 1958 году понять эту истину, достаточно быть честным и не быть дураком. И даже более чем достаточно.

Перевод с турецкого.



ПУБЛИЦИСТИКА

ВАГРАМ АПРЕСЯН

★

НА ПУТЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

На Первом Государственном подшипниковом заводе в Москве точнейшие сложные изделия — шариковые и роликовые подшипники — изготавливаются без прикосновения человеческих рук. И хотя об этом цехе-автомате немало рассказывалось в печати, все же, впервые придя сюда, непременно удивляешься вещам, никак не укладывающимся в наши обычные представления о них.

Вот стоит нечто очень большое, сильно вытянутое, закрытое со всех сторон кожухом. Здесь это сооружение называют токарным станком, хотя никаких привычных глаз деталей, вообще ничего характерного для этого вида станков в нем нет; впрочем, возле него нет и самих токарей. Подойдя поближе, можно услышать глухое гудение и шум фонтанирующей воды. В застекленное окошечко видно благодаря электрической лампочке, как внутри машины токарные резцы обтачивают кольца подшипников. Их щедро поливают тугие, желтоватого цвета, струи; дробясь, они разбрызгиваются тысячами бисеринок. Стружка уносится специальными автоматическими транспортерами.

Все же название «токарный станок» не совсем точно определяет эту машину. У нее не один рабочий орган, а целых восемь. В ее конструкции объединено восемь станков в одно целое и создан агрегат, действующий автоматически.

В цехе две автоматизированные линии. На одной изготавливаются шариковые подшипники, на другой — роликовые. Технологический процесс состоит из десятков операций. В этом первом в мире автоматизированном цехе для выпуска массовых подшипников применены замечательные достижения творческой мысли советских специалистов. Здесь используется термическая обработка холодом, бесцентровое шлифование отверстий, желобов, скоростное шлифование поверхностей, новые методы антикоррозийной обработки и так далее.

Транспортер доставляет кольца к токарному агрегату. Он принимает их, обрабатывает, снова выкатывает на транспортер, а тот переносит кольца вниз, вверх, делает повороты, вручает очередной машине, вновь принимает, пока, наконец, не закладывает их в магазинную коробку. Отсюда кольца попадают в печь для закалки, потом направляются на шлифовальные и сборочные автоматы. Здесь малые кольца занимают свои места внутри больших, сверху выпадает «заряд» роликов, располагаясь в предназначенных для них гнездах. Затем автоматический контрольно-измерительный аппарат проверяет качество и отправляет в упаковочный отдел годные подшипники.

Поодаль от машины спокойно стоит молодой человек в синем комбинезоне. Вот он встрепенулся, шагнул к одной из машин, открыл стеклянное окошечко и, остановив агрегат, начал что-то налаживать внутри. Нарушенный ритм был быстро восстановлен, и рабочий отошел в сторону.

Однажды я услышал здесь фразу, удивившую своей парадоксальностью. Кто-то из экскурсантов воскликнул.

— Оказывается, бездействие рабочего — признак наивысшей производительности труда!

Что ж, по существу он был прав. Его «открытие» в этом автоматизированном цехе произошло закономерно. В самом деле, пока механизмы исправно работали, выпуская продукцию, в каких-либо действиях человека не было надобности. Но как только в технологическом процессе что-то разладилось, производительность стала падать, — рабочий вынужден был приложить свой труд. Агрегат был исправлен, продукция пошла полным потоком, — и человек опять перешел лишь к роли наблюдателя.

Возможность «бездействия» человека, то есть осуществление идеи полного устранения ручного труда станочника, особенно наглядно представлена именно в таком вот цехе-автомате. И суть тут не в тех или иных формулировках, которыми займутся, надо полагать более удачно, экономисты и философы, а в той огромной роли, которую призваны сыграть подобного рода устройства в решении грандиозных задач семилетнего плана развития народного хозяйства СССР.

Подобные цехи — это островки нашего будущего производства, прообраз заводов завтрашнего дня. Они выражают собой главное направление нашей политики в области техники — комплексная механизация и автоматизация производства. Ручной труд у станка идет к своему историческому концу. Чудодейственные машины сами выпускают продукцию, в то время как человек, творец этих машин, стоит, фигурально выражаясь, сложа руки.

Наивысшая производительность труда достигается без физических усилий рабочего!

НА НОВЫХ РУБЕЖАХ

Советская наука и техника последовательно, шаг за шагом, идут к осуществлению заветной мечты человека — полному освобождению от тяжелого физического труда. Вспомним, что научное обоснование автоматической системы машин как высшей формы организации производства принадлежит еще Карлу Марксу. Развитие комплексной механизации и автоматизации производственных процессов — одно из тех средств, которые помогают нам ускорить темпы совершенствования материально-технической базы, необходимой для перехода к коммунизму. В нашей стране работы по широкому внедрению автоматических устройств, механизации трудоемких операций развернулись особенно плодотворно после XX съезда партии.

Еще тридцать лет назад автоматы у нас были редкостью. В машиностроении, например, обработка почти любой детали производилась в сочетании машинного и ручного труда. Токарь сам совершал на своем станке такие операции, как закрепление и снятие массовых деталей, подвод и отвод резца. Кузнец подавал тяжелую раскаленную поковку к парсвому молоту, затем манипулировал ею вручную; еще в большей мере вынуждены были употреблять физические усилия формовщики, обрубщики, рабочие многих других профессий. Следует заметить, однако, что, как ни велика была доля физического участия человека в производстве, участие это имело в основном вид вспомогательной работы. По мере прогресса техники эта доля уменьшалась и яснее вырисовывалась тенденция все большего сокращения ручного труда. Но в этой целеустремленной работе новаторов случались неожиданности. Прогресс не всегда шел прямолинейно и гладко, порой он приобретал в каких-то частностях характер, противоположный своей природе. Иллюстрацией может служить развитие скоростного резания.

В двадцатые годы лучшие резцы обрабатывали металл со скоростью тридцать—тридцать пять метров в минуту. В последующие два десятилетия благодаря твердосплавным лезвиям и их новой конфигурации скорости резания поднялись до тысячи и двух тысяч метров в минуту. Соответственно были усовершенствованы станки, повышена их мощность. И произошло нечто на первый взгляд удивительное. Резко возросло физическое напряжение станочника, хотя логически, казалось бы, этого не должно было случиться. Токарь, обрабатывающий деталь, скажем, в течение двадцати минут при скорости резания тридцать метров в минуту, снимал готовую деталь, зажимал в патроне очередную заготовку, подводил суппорт и включал станок через каждые двадцать минут. Но когда инструмент стал резать металл со скоростью шестьсот метров в минуту, те же физические усилия токарь совершал через каждую минуту работы станка. Производительность труда неслыханно возросла, но увеличилось

и мускульное напряжение. Известны «рекордные» случаи, когда станок за смену работал один час и даже полчаса, а остальные семь с половиной часов токарь закреплял и снимал детали, возился со станком. Нечто похожее происходило и в других видах работы, где рабочие перешли на скоростные методы труда.

Такое ненормальное соотношение между машинным и вспомогательным временем тормозило дальнейшее повышение продуктивности труда. Новаторы производства придумали всякого рода приспособления, выполняющие вспомогательную работу, они механизировали многие подсобные операции, добиваясь, чтобы станок производительно и на высокой скорости работал возможно больше часов в смену. Дальнейшее сокращение вспомогательного времени могло быть осуществлено лишь при помощи полной автоматизации, путем создания первоклассных автоматических агрегатов, линий, цехов-автоматов. И они в нашей стране уже созданы.

Свыше 40 процентов выпускаемых в стране станков — автоматы и полуавтоматы; широкое распространение получили агрегатные станки — с несколькими рабочими органами. Автоматические линии станков, совершающих множество операций над сложными деталями, с каждым годом все больше завоевывают место на наших предприятиях. Только в тракторном и сельскохозяйственном машиностроении страны действуют шестьдесят четыре автоматические линии. Успешно работает автоматизированный завод поршней, вступает в строй завод-автомат по выпуску роliko-втулочных цепей, который будет производить уже не отдельные детали, а готовое изделие. Применяется комплексная механизация на шахтах, в металлургии, на электростанциях.

Однако у нас есть немало заводов, где проблемам лучшей организации труда уделяется недостаточно внимания. Ручная формовка, например, все еще часто встречается в литейном деле; обработка массовых деталей практикуется на обычных станках с недопустимо большой долей вспомогательного труда. На том же Первом Государственном подшипниковом заводе кое-где соседствуют последние достижения техники и полукустарная работа. Рядом с превосходными автоматическими контрольно-измерительными аппаратами работают женщины, занятые так называемым визуальным контролем. Они берут в руки после закалки роликa и по цвету, на глаз, определяют их годность.

Вот цифры, определяющие объем ручного труда на предприятиях Московского городского совнархоза в начале 1958 года.

На предприятиях московской автомобильной промышленности ручной труд составлял 20 процентов основного производства; на машиностроительных предприятиях ручным трудом осуществлялось 30—50 процентов работ, в электромашиностроении — 50—60, в текстильной и трикотажной промышленности — 25, в обувной — 35, в мебельной промышленности — 57, в кондитерском производстве — 35 процентов.

Здесь надо оговориться: под определением «ручной труд» мы имеем в виду главным образом вспомогательную работу у станков, часто высокопроизводительных. И речь идет не о замене, скажем, кувалды паровым молотом, а о том, что на смену паровому молоту должен прийти автоматический ковочный пресс с обслуживающим его автоматическим транспортером и нагревательными установками.

Можно привести немало примеров достижений советских ученых, специалистов, имеющих мировое значение. У нашего народа есть все основания гордиться созданием атомных электростанций, искусственных спутников Земли, реактивных самолетов новейших конструкций, межконтинентальной ракеты, турбобура, горных комбайнов, автомата, установленного на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» и завертывающего по четыреста конфет в минуту, и так далее.

Но движение на путях технического прогресса совершается неравномерно. Если это изобразить графически, то получится что-то вроде линии фронта на карте, где отдельные наступающие подразделения вырвались далеко вперед, другие в разной степени отстали от первых, а третьи пока еще находятся на исходных позициях. И в этом нет ничего удивительного. Не могли наши предприятия наступать с одинаковой стремительностью по всему фронту технологических процессов. Сначала нужны были «прорывы» в каких-то определенных отраслях производства и даже на отдельных участках, после чего на основе накопленного передового опыта можно было расширять зоны освоенного.

Теперь этот опыт у коллективов предприятий и научных учреждений громаден, и достаточно сильно экономически страна, чтобы взяться за подтягивание и выравнивание всех участков промышленного производства, создать максимальную концентрацию мощностей на единице производственной площади.

Один из наших крупных конструкторов правильно сказал:

— Цех — это поле борьбы, где прежде всего решается наша основная экономическая задача — догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны. И главным направлением в этой борьбе является полная механизация и автоматизация производства.

На это ориентировал наш народ XX съезд Коммунистической партии. В директивах по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР говорится:

«В целях обеспечения дальнейшего технического прогресса, повышения производительности и облегчения условий труда резко усилить темпы механизации работ и внедрить в промышленность в широких масштабах автоматизацию производственных процессов...»

Перейти от автоматизации отдельных агрегатов и операций к автоматизации цехов, технологических процессов и созданию полностью автоматизированных предприятий».

Сейчас советская индустрия вышла на новые рубежи технического прогресса. Быть может, в повседневной жизни предприятий это не всегда бросается в глаза. Но разве несущийся в космосе наш спутник Земли сам по себе не говорит о том, что в цехах заводов, в лабораториях институтов существует оборудование, его породившее?

Наша страна обладает огромным арсеналом научно-технических новшеств, в их числе лучшие в мире станки, машины, приборы, технологические системы, новые материалы. У нас миллионы технически высокограмотных рабочих, талантливых исследователей, конструкторов, изобретателей, новаторов производства, отдающих сполна свои способности, знания, опыт делу дальнейшего развития науки и техники. И страна теперь может прибавить шагу в своем победоносном шествии вперед.

Эти возможности зорко изучает наша партия. В ходе выполнения народом плана шестой пятилетки партия нашла возможным пересмотреть его в сторону увеличения. Выдвигаются новые контрольные цифры развития народного хозяйства страны на семь лет. Их обсудит XXI съезд КПСС.

Предстоящая семилетка будет отличаться от предыдущих пятилеток небывалым размахом работ в области усовершенствования промышленного оборудования, его автоматизации, созданием новых форм и методов высокопроизводительного труда.

История не знает примеров такого всеохватывающего научно-технического прогресса, поступь которого мы уже чувствуем. На штурм новых высот двинутся миллионы, и в этом всенародном движении к коммунизму должны четко распределиться обязанности каждого отдельного, большого и малого, отряда тружеников.

РАЗВЕДЧИКИ НОВОГО

В решении задач, поставленных партией в области дальнейшего технического прогресса, большую роль призваны сыграть совнархозы. Кому же, как не им, виднее опыт масс, осязателее новаторская мысль, ближе результаты содружества науки и производства. И все это мы уже наблюдаем в жизни.

За полтора года деятельности совнархозов наша экономика почувствовала те неограниченные перспективы, которые открыла перед промышленностью и строительством эта новая форма управления. Практически это сказалось и на темпах выпуска продукции предприятиями, и на более эффективном использовании внутренних резервов производства, и на активизации социалистического соревнования, творчества новаторов.

Коммунистическая партия придает особое значение развитию промышленности, в первую очередь тяжелой индустрии. Многим совнархозам семилетка предъявит свои специфические требования. Эти требования будут вытекать из общей задачи технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Жизнь подсказывает, что

преимущественное внимание должно быть уделено количественному и качественному росту машиностроения, станкостроения, приборостроения и многих других отраслей новейшей техники.

Опыт говорит о целесообразности такого положения, когда в том или ином совнархозе будут сосредоточены предприятия главным образом одного профиля. В промышленности, например, Московского городского совнархоза ведущее место займет станкостроение. Позади остались долгие споры о технологических принципах. Прежде некоторые специалисты считали, что более эффективным является дробление технологии на мельчайшие операции, чтобы, упростив их, распределить между многими станками. Сейчас окончательную победу одержала идея концентрированных операций, что имеет важнейшее значение для будущего всей нашей индустрии. Следовательно, будет развито строительство так называемых многопозиционных агрегатных станков, преимущественно автоматических и полуавтоматических.

До сих пор эти станки представляли собой конструктивное целое. В результате многие автоматические линии, составленные в основном из таких станков, могли обрабатывать лишь то изделие, для которого они и созданы. Случалось, что не успеют построить сложную и дорогостоящую автоматическую линию, а намеченная для обработки на ней деталь «морально» уже устаревает, и линия требует капитальной переделки. Поэтому целесообразно изготавливать агрегатные станки и линии также и расчлененно, и тогда каждый завод-потребитель сможет из отдельных узлов собрать агрегатный станок, комбинируя по своим нуждам количество и характер рабочих органов. Из агрегатных станков будут составляться автоматические линии, опять-таки сообразуясь с условиями данного производства.

Предприятиям нужны «гибкие» автоматические линии, которые без особого труда можно переналадить для изготовления самых разнообразных деталей. Выпуск оборудования, необходимого для этой цели, значительно ускорит автоматизацию промышленности.

Московский совнархоз особенно развивает производство станков высокой точности с различными автоматическими устройствами. Приборостроители дадут средства автоматического контроля физико-химических и тепловых процессов, сигнализации на дистанционных передачах. Большое значение приобретают системы приборов, выполняющие операции регулирования температуры, расхода энергии, горючего, давления, вакуума, концентрации влажности. В блоках таких систем будут счетно-решающие аппараты, производящие сложнейшие вычисления. Ведущим направлением в развитии автоматизации явятся устройства централизованного контроля и регистрации технологических процессов. Стоя у пульта, человек сможет наблюдать за ходом работы всего участка или даже цеха.

Выделенные для этих целей ресурсы обеспечивают полную комплексную механизацию и автоматизацию около тридцати предприятий столицы и примерно столько же цехов и участков. В первую очередь реконструируются такие крупные заводы, как Автомобильный имени Лихачева, «Красный пролетарий», Первый подшипниковый, АТЭ-1, «Красный богатырь», фабрика «Красный Октябрь» и другие.

Охватываются самые различные производства, начиная с автозавода и кончая кондитерской фабрикой! Эти, так сказать, крайние точки хозяйственных забот как нельзя лучше подчеркивают огромный диапазон деятельности совнархоза в крупном экономическом районе, диапазон, каким не могли обладать министерства, которые ограничивались сферой сравнительно однотипных производств.

Совнархозы обладают богатыми возможностями, позволяющими развернуть в невиданных масштабах творческие силы новаторов. Совнархозы в состоянии ставить серьезные технические опыты, производить глубокие синтетические анализы, находить и изучать общие явления в практике и теории самых далеких друг от друга отраслей производства. Недолгая еще работа совнархозов показывает, как благотворно сказываются контакты и взаимовлияние различных производств. Широкий обмен мнениями и заимствования опыта ускоряют общий прогресс.

Но как бы ни была сегодня хороша новая система управления промышленностью, решение грандиозных проблем семилетки требует дальнейшего совершенствования **организационной работы.**

Массу людей, работающих над проблемами новой техники, можно условно распределить по концентрическим кругам. Первый круг — это специалисты совнархоза и научно-исследовательских институтов. Во втором кругу, неизмеримо более широком, находятся работники конструкторских бюро и групп, лабораторий, экспериментальных баз предприятий. В третьем кругу — сотни комплексных бригад и многотысячная армия рационализаторов и изобретателей.

Правильно расставить все творческие силы, верно их нацелить — весьма важное дело для успешного форсирования технического прогресса по семилетнему плану развития народного хозяйства.

При Московском городском совнархозе имеется технико-экономический совет. Он состоит из 245 членов. На наш взгляд, эта организация нуждается в дальнейшем улучшении. Дело в том, что совет не выносит решений, а лишь дает рекомендации, и если руководство совнархоза их не утверждает, то труды большого числа людей пропадают. Технико-экономическому совету нужно дать какие-то права, в частности право контролировать исполнение. Нельзя допускать, чтобы такой авторитетный и квалифицированный орган подчас действовал вхолостую.

Чтобы успешно претворять в жизнь смелые новаторские идеи, нужно укрепить ряды и создать самые благоприятные условия труда ведущего отряда творцов новой техники — конструкторов. Заводские конструкторские и экспериментальные группы — это та сила, от которой во многом зависит успех на производстве.

Жизнь показывает, что в деле усовершенствования оборудования и методов работы серьезную роль играют местные работники. Вот что пишет по этому поводу директор Первого Государственного подшипникового завода А. Громов: «Завод своими силами разработал, спроектировал и построил 7 групповых автоматических линий, 20 механизированных и конвейерных линий, модернизировал 950 и автоматизировал 560 станков, заново изготовил 550 единиц оборудования, 200 контрольных и сортировочных автоматов, 750 приборов активного контроля, свыше 800 единиц подъемно-транспортного оборудования. Как бы завершением этого этапа наших работ явилось создание первого в мире автоматического цеха для выпуска массовых подшипников».

Коллектив Первого Государственного подшипникового завода намечает в течение 1959—1965 годов полностью автоматизировать производство крупносерийных и массовых подшипников и за счет этого почти в полтора раза увеличить мощность предприятия.

Завод этот не станкостроительный и не приборостроительный, и все же его коллектив блистательно решил такие сложные задачи. Есть все основания утверждать, что подобные черты возможны на многих других предприятиях и экономически целесообразно проводить крупные работы по модернизации и автоматизации оборудования силами самих коллективов.

Разумеется, это ни в коей мере не умаляет значения трудов научно-исследовательских институтов в этой области. Хочется лишь подчеркнуть, что в связи с решением технических задач небывалых еще масштабов привлечение местных работников, правильная их направленность приобретают исключительное значение. Ведь именно заводские и фабричные конструкторы, будучи постоянно в гуще жизни производства, успешнее ищут и находят решение важнейших его проблем.

Совнархозы увеличивают состав творческих групп на местах, несколько меняется соотношение административных и инженерных работников в пользу последних. На крупных предприятиях создаются конструкторские отделы, которые будут заниматься исключительно проблемами механизации и автоматизации производства. Усиливаются также и экспериментальные базы, изготовляющие новые образцы станков, приборов, механизмов. Для этой цели Московский городской совнархоз, например, увеличивает число работников конструкторских отделов, лабораторий и механических цехов в общей сложности на десять тысяч человек.

Ответственные задачи поставит семилетка перед конструкторами предприятий. Используя свой опыт, опыт родственных заводов и фабрик, а также достижения других стран, они должны создать такие образцы техники, которые значительно ускорят осуществление призыва партии догнать и перегнать передовые капиталистические страны в технико-экономическом отношении.

Весьма плодотворно работают комплексные бригады новаторов, состоящие из представителей разных профессий. Находясь непосредственно в цехах, они проникают во все мелочи технологии, изучая и разрабатывая ее до последней детали. В одном из цехов Автозавода имени Лихачева комплексная бригада в составе заместителя начальника цеха Козловского, техника Кускова, технолога Родионова, мастеров Савина, Кутепова, Лучина, рабочих Фичковского и Панкратова и инженера Ткачука из Института труда разработала единый план усовершенствований на участке обработки кулачкового вала. За год своей деятельности бригада многое изменила в технологии, сократив ручной труд и сберегая большие средства.

На заводе теперь работают десятки комплексных бригад, имеющих свои творческие планы. В них сотни новаторов, терпеливо, по крупице совершенствующих труд. Это люди передовой линии, ведущие самую широкую разведку нового.

Было бы неверно думать, что комплексные бригады занимаются преимущественно проблемами цехового масштаба. На комбинате твердых сплавов комплексная бригада механика Кузнецова создала целую серию прессов и других машин своей конструкции, внесла серьезный вклад в науку о твердосплавной металлургии, сэкономила государству десятки миллионов рублей. На заводе имени Карпова комплексная бригада Даевой, Бабуринной, Файнштейн и Горячкиной усовершенствовала производство террамицина, достигнув общей экономии в три миллиона рублей. Такую же сумму сберегла государству за год бригада работников кожевенной и нефтяной промышленности в составе Добкина, Арбузова, Левенко, Веретенникова и Виниер, разработав новый способ жирования кожи с применением синтетических жиров.

Рационализаторы и изобретатели предприятий Московского городского совнархоза в 1957 году внесли 136 тысяч предложений, из которых было реализовано 80 тысяч; государство получило экономии в 350 миллионов рублей. За первые шесть месяцев 1958 года внесено без малого 70 тысяч предложений. Число новаторов и комплексных бригад бурно растет. К XXI съезду партии Москва приходит с могучим отрядом творцов новой техники, способным сыграть выдающуюся роль в успешном выполнении решений съезда по семилетнему плану.

ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА!

Всемерное содействие расцвету новаторства — важнейшее условие для решения проблем семилетки. Активное участие творческой мысли необходимо, в частности, в разработке вопросов высокой специализации производства, основой которой является механизация и автоматизация.

Один из хозяйственников сказал по этому поводу просто и убедительно:

— Завод — это не универмаг. Отдельные узлы и даже многие детали машины могли бы делать специализированные предприятия. Совнархозы должны не только производить, но и торговать, предлагать соседу дешево то, что у того получается дорого. И пускай у них зарождается соревнование по спросу и предложению.

Другими словами, речь шла о правильном и широком кооперировании в промышленности, о том, чтобы больше было у нас предприятий — мастеров своего дела.

Было время, когда кое-кто гордился универсализмом производства. Вот-де какой у нас завод, выпускает машины из стольких-то тысяч деталей, изготовляемых из десятков различных материалов. Правда, в нашей индустрии никогда не было чрезмерного увлечения универсализмом и вопросы кооперирования не снимались с повестки дня, хотя решались они не всегда так, как этого требовала жизнь.

Надо прямо сказать, что создание совнархозов открыло широкие возможности для большей специализации и кооперирования как в самом экономическом районе, так и во всем народном хозяйстве. Сошлемся на некоторые примеры.

Теперь каждому понятно, что подшипники не следует изготовлять самим автозаводам, лучше, если этим делом займутся специальные предприятия — выгоднее во всех смыслах. Но почему ряд других массовых деталей делают сами автозаводы? Это относится, конечно, не только к автозаводам.

Известна эффективность методов отливки изделий по восковым деталям. Точная модель детали из воска, вернее из стеарина, заливается керамическим составом, кото-

рый вскоре твердеет и превращается в скорлупу. После этого модель вытапливается, и в образовавшуюся пустоту наливают жидкий металл. Так получается точнейшая копия восковой модели, то есть деталь машины, которая подчас вовсе не нуждается в механической обработке или доводке. И все же метод этот применяется крайне недостаточно. Объясняется это тем, что потребность в высокоточном литье у многих заводов довольно ограниченная, и все здесь сводится к чистой кустарщине; отсюда и результаты получаются не весьма блестящие.

А как было бы хорошо, если бы точное литье производил и поставлял сотням потребителей один высокоавтоматизированный крупный завод. Надо сказать, что идея эта уже осуществляется: Московский городской совнархоз создает базовый завод литья по выплавляемым моделям. Такие заводы нужны, очевидно, всем совнархозам, имеющим широкую сеть машиностроительных предприятий.

В машиностроении очень много однообразных деталей — шестерней, втулок, болтов, осей. Создание специализированных предприятий, выпускающих в год десятки или сотни миллионов стандартных изделий, даст огромную выгоду. Разумеется, для этого нужны хороший учет потребности в такой продукции и фундаментальная ее унификация.

В таком же духе обсуждаются вопросы о некоторых видах материалов, например, о ферментах. Ферменты потребляются пищевой, кожевенной и другими отраслями промышленности. Спрос на них растет с каждым годом, а производство их очень специфично. И правильно сейчас ставится вопрос о строительстве всероссийского базового предприятия ферментов.

Все более видное место в машиностроении занимает химия. Химическая промышленность вообще приобретает новое качество: она в значительной мере становится машиностроительной, дает все больше деталей, нужных при изготовлении машин. В свое время министерство химической промышленности неохотно выступало в роли машиностроителя, в результате чего создавались лишь карликовые цехи, которые не могли внедрять передовую технику, выпускали мало продукции не всегда хорошего качества. Ныне требуются базовые химические заводы, целиком работающие для машиностроения.

Невозможно, да и нет необходимости, хотя бы бегло перечислить все технические идеи и проекты организационных улучшений, которые в преддверии XXI съезда партии обсуждаются работниками совнархозов, предприятий, всеми новаторами производства. Эти идеи и проекты выкристаллизовываются в деловых спорах, чтобы затем лечь в графы календарных планов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Лучшим мерилom прогресса в человеческих деяниях является выгаданное время. Это хорошо знают спортсмены, которым даже доля секунды может принести победу. Но много больше, красноречивее говорит нам о прогрессе время, сбереженное в труде.

Помнится, в начале тридцатых годов, чтобы сделать математические расчеты, реконструировать станок, привлекали ведущие инженерные силы завода. А ныне подобные работы выполняет и рядовой заводской человек. Подчас мы не сознаем до конца, насколько развилась творческая интуиция, техническое новаторство миллионов людей, насколько вооружены они практическими и теоретическими знаниями, хотя немало говорим о славных их трудовых подвигах. А они совершаются повседневно, повсюду.

На наших предприятиях развернулась борьба за предельное сокращение ручной работы станочников. Борьба эта осуществляется не только при помощи новой техники. Огромная работа ведется по перестройке и обновлению старого оборудования.

На заводе «Красный пролетарий» обычный сверлильный станок, имеющий одну головку, стараниями технолога Романова стал «семиглавым». Семь головок, и в каждой по три-четыре сверла, делающих по несколько отверстий сразу. Простой станок стал агрегатным. Раньше, работая на нем, человек терял много времени на установку приспособления, закрепление и снятие детали, смену инструмента. Теперь ничего снимать или менять не надо, переключение с одной головки на другую занимает не больше минуты.

А вот другой станок — фрезерный, тоже самый обыкновенный. Но вспомогательное время здесь сокращено почти до нуля — на станке создано приспособление, обеспечивающее непрерывное фрезерование.

В связи с переходом на семичасовой рабочий день на заводе имени Владимира Ильича пересмотрели и ввели 27 тысяч норм, отработав для них новую технологию. Каждый второй станок предприятия усовершенствован, снабжен быстродействующими пневматическими зажимами, облегчающими мускульную работу. В механосборочном цехе механик Гордеев «омолодил» серию станков. Вместе с группой помощников он выбросил кос-какие детали и узлы, заменив их другими, собственной конструкции, удвоил скорость оборотов отдельных станков, улучшил систему запуска, установил новые приспособления.

На Автозаводе имени Лихачева штамповку одной детали сложной конфигурации производят два паровых молота и три прессы. Скоро вместо них будет один ковочный и один обрешной прессы, число рабочих сократится вдвое. Грохочущие паровые молоты заменятся почти полностью прессами. Уменьшение шума улучшит условия труда, повысит его производительность. Печи упряднятся, ибо детали будут нагреваться за несколько секунд токами высокой частоты, подача деталей автоматизируется, разгрузятся проходы, в цехе станет просторнее.

В литейном цехе введена автоматическая загрузка земли в формовочные машины. Заливка форм металлом производится на конвейерах, выбивка литья из форм полностью механизирована, а на трех конвейерах автоматизирована. В дальнейшем будут построены автоматические линии для массового литья. Ликвидируется профессия выбивщика, механизуются очистные работы. Литейное производство, всегда бывшее наиболее грязным и вредным для здоровья, в корне меняет свою природу.

Коллективы многих заводов и фабрик решают проблемы массовой модернизации и замены старого оборудования новым. Будут механизированы и автоматизированы не только основные, но и вспомогательные работы в кузнечно-прессовых, литейных, механических цехах. Войдут в строй новые станки — многопозиционные, с программным управлением. Большую помощь в этом деле может оказать создание опытно-показательных предприятий, работающих по новейшим техническим схемам.

Москва — центр станкостроительной промышленности, создающей автоматическое оборудование, центр научно-исследовательской мысли — все больше становится школой механизации и автоматизации всей советской индустрии.

Столица превращается в гигантскую лабораторию, где темой исследования является предельное сокращение вспомогательной работы и полное освобождение человека от тяжелого или утомительного ручного труда. Цех за цехом, завод за заводом создадут себе условия, когда кажущееся «бездействие» рабочего будет не только признаком наивысшей производительности труда, но и фактором исторической победы разума над силами природы.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН

★

ВОЗМУЖАНИЕ ГЕРОЯ

И почему это в кино и в книгах, там, где описывается любовь, люди знакомятся, гуляют, и всегда им что-нибудь мешает, они страдают, и, наконец, поцелуй, свадьба, и все на этом кончается,— рассуждает Тоня, героиня нового романа Д. Гранина «После свадьбы» («Октябрь» 1958, №№ 7, 8, 9). И в самом деле, почему? Разве все, что произойдет после, будет уже безынтересно и обыденно или притупится и выветрится в семейной жизни острота чувств и впечатлений, исчезнут те сложности и конфликты, которые издавна питали фантазию авторов любовных романов и поэм?

Нет, наверное нет. Только написать об этом во много раз труднее. Может быть, потому, что сама материя эта как-то тоньше, сложнее. Может быть, и потому, что здесь нет такой прочной литературной традиции, как на хорошо протоптанной дорожке любовных завязок, коллизий и развязок. Впрочем, об одном из первооткрывателей семейной темы в русской литературе трудно не вспомнить, тем более, что о нем не забывает и автор романа «После свадьбы», откровенно учась его творческим приемам.

Это — Лев Толстой, писавший в своем дневнике: «Романы кончаются тем, что герой и героиня женились... Описывать жизнь людей так, чтобы обрывать описание на женитьбе, это все равно, что, описывая путешествие человека, оборвать описание на том месте, где путешественник попал к разбойникам». Славная шутка не заслоняет тут серьезной мысли. Малая ли задача для художника — показать, как две жизни, две судьбы сливаются в одно в новой молодой семье и сколько здесь своей поэзии, радости и открытий, сколько тревог, ошибок и неудач!

Еще совсем молодым писателем Толстой решил рассказать об этом в повести «Семейное счастье». По тонкости и изощренности психологического анализа это удивительная вещь. Все оттенки отношений, кризисы и болезни молодой семьи переданы с максимальной художественной верностью. Но что-то не удовлетворяло в повести самого Толстого и многих его современников. Это же в еще большей мере не удовлетворяет нас, сегодняшних ее читателей. Дело в том, что в повести был изображен крайне узкий и замкнутый мир благоустроенной помещичьей семьи. Толстой поместил молодых супругов в дистиллированную, очищенную от всяких внешних влияний, почти искусственную атмосферу «семейного счастья» и скрупулезно ее исследовал. На этом пути писателя не ждал успех.

Мы не думаем, разумеется, соизмерять дарование Д. Гранина и Льва Толстого. А вспомнили мы о «Семейном счастье», этом не самом удачном из сочинений будущего автора «Анны Карениной», потому, что любопытен тот резкий контраст, который при общности художественной темы разделяет — и не может не разделять — толстовскую повесть и «После свадьбы» Д. Гранина.

Старомодной и искусственной была бы попытка изобразить современную советскую семью в духе «Семейного счастья». А между тем нам пришлось уже слышать по поводу книги Д. Гранина разочарованные и недоуменные возгласы: «И это «после свадьбы»? Зачем надо было так называть роман, когда три четверти его посвящены производственным и общественным вопросам? Не обманул ли Д. Гранин читателей зазывным названием книги?» Ответить на эти вопросы нетрудно, если твер-

до сознавать, что художник, желающий быть правдивым и современным, не может живописать счастье любви и «семейного очага» в изоляции от гражданских, служебных, политических, общественно-моральных проблем, которые в нашу эпоху более чем когда-либо стучатся в дверь каждого, определяют личное поведение и жизнь людей. Да и как можно представить иное? В семью люди возвращаются вечером с работы, неся с собой настроение трудового дня, успешного или неудачного,— таков ежедневный опыт каждого.

А собрания, заседания, митинги, кампании? А радио, газеты, новости, толки о политике, войне, урожае? Разве можно все это посчитать несущественным для личных отношений и представить себе любовь и семейное счастье как нечто выключенное из этой жизни? И как может это обойти писатель, разрабатывающий даже самую «интимную» тему?

Но еще важнее и оправданнее в современном романе тот поворот семейной темы, какой она приобретает у Д. Гранина. Возмужание человека в труде, созревание его общественного сознания и чувства ответственности перед жизнью не может пройти бесследно и для отношений в семье, для личных переживаний. Эта мысль и определяет действие романа Д. Гранина.

В романе «После свадьбы» ощущение правдивости начинается как будто с мелочей, с незначительных для постороннего глаза, но таких важных для Игоря Малютина и Тони — молодых героев книги — подробностей первого месяца их семейной жизни. Освоение необжитой еще и пустынной комнаты, хлопоты о каких-то «абсолютно необходимых» вешалках и абажуре, тысячи милых забот и пустяков, отмечающих прелесть и новизну этой жизни вдвоем, и весь угар их молодого счастья. Дни, заполненные только радостью и нежностью, а потом — минута отрезвления, возвращение Игоря к своему проекту и чертежам, досада молодой жены, первая размолвка и «невнятная грусть», отметившая их прощание с этим самым ранним «празднично бестолковым началом их жизни».

Молодые герои романа Д. Гранина — обычные, ничем не выделяющиеся люди, которые на каждом шагу попадают в жизни. И отношения в семье Малютиных, в общем, безыскусны, обыкновенны и про-

сты. Тоня — отнюдь не героическая натура, но она, не колеблясь, едет за мужем в деревню, куда его посылают, поддерживает его в горькие минуты своим теплом, сочувствием, «нежной жалостью».

В описании жизни молодых в деревне много психологически безошибочных штрихов, тонких наблюдений над осязаемыми, но никогда не формулируемыми правилами и обычаями семейного «микросома». «Пока она не подойдет к нему, он не сможет заниматься. Он нуждался в ее утешениях. Он мог тысячу раз злиться, грубить, и все же он не мог обойтись без нее. Но почему она должна подойти первая? Мужчина заботит только собственное самолюбие, им стыдно показать свою зависимость и слабость».

В семье, как и вообще в жизни, все происходит незаметно. Поденно растет недовольство и недоумение, исподволь созревают решения и мысли. Когда Игорь с работы, к которой не лежит сердце, от чуждых ему людей убежал в семью, искал утешения у Тони, она чувствовала, что необходима ему и забывала свое одиночество, тоску по городу, по подругам, по всему, чего они были лишены в деревне. Но в Игоре постепенно происходят перемены, он втягивается в работу, начинает ощущать заботы о себе, о тракторах, о мастерских как свое, близкое дело. А Тоня не понимает и не разделяет происшедших в нем перемен. Она по-прежнему лишь ждет момента, чтобы уехать в город и «вытащить» из деревни Игоря. Разлад здесь, конечно, неизбежен. И, надо отдать должное художественному такту писателя, он не ищет искусственных дидактических решений, не стремится ни к мгновенному перевоспитанию Тони, ни к ее решительному очернению. В конце книги Тоня стоит на пороге новой любви к Игорю, но уже не любви-жалости, а любви-гордости и уважения к этому возмужавшему, сильному и решительному человеку.

Как бы ни были интересны сами по себе семейные сцены романа, но они составляют лишь самый верхний, самый, так сказать, наружный (чтобы не сказать внешний) пласт повествования. Основной интерес книги, несомненно,— в истории характера Игоря Малютина, в его возмужании и переменах. Хотя писатель и задумал, видимо, роман с семейно-психологическим уклоном, но бытовые и не психологиче-

ские черты приносят ему успех (об этом еще нам придется говорить). Существеннее всего в книге социально-моральная сторона: отношение героя к общественным принципам, к людям и к труду. И здесь возникает немало проблем общезначимых, не сводимых лишь к истории индивидуально-го сознания Игоря Малютина.

Писателя интересуют острые и значительные вопросы воспитания молодежи, формирования мировоззрения поколения пятидесятых годов, вступающего сейчас в жизнь. Д. Гранин отлично сознает, что в реальной жизни каждый конкретный случай зависит от разнородных обстоятельств, от сплетения индивидуальных и общих условий. И даже при очень хорошем владении теорией не всегда просто дать верный ответ в сложных и противоречивых конкретных случаях. Д. Гранин, как кажется, и сам не всегда четко представляет себе «ответы», часто как бы не додумывает мысль до конца, на полдороге бросает хорошо схваченные конфликты и удачно намеченные характеры, но самые вопросы, которые им ставятся, современны, нужны, а основная идейно-психологическая линия романа (путь в жизнь Игоря Малютина) кажется — при всех досадных промахах — в решающих чертах верной и убедительной.

Ровная и счастливая жизнь Игоря и Тони после свадьбы оборвалась неожиданно и резко. Никто не поговорил заранее с Игорем, не предупредил его. Просто вызвали на заседание комитета и предложили по путевке комсомола ехать работать в МТС. Это было ошеломляюще внезапно. Он только что женился, получил комнату, да потом и на заводе его ждали серьезные дела... Он почти закончил проект модернизации крупного станка... Игорь отказался. Между ним и секретарем комсомола Шумским произошел следующий диалог:

«— А все же почему вы отказываетесь? — как можно мягче спросил Шумский.

— Потому, что не хочу. Понятно? Мне и здесь не плохо, — сказал Игорь, вставая».

Надо сознаться, он вел себя на комитете нелепо, по-мальчишески. Не постарался ничего объяснить. Не сказал даже о модернизации «Ропага», над которой он работал. Не сослался на жену. Но его возмутило бесцеремонное вмешательство в его жизнь. И вот уже явились десятки обид-

ных, растрavляющих душу вопросиков: «Кому он мешал? Кому мешало его счастье? Ведь ему ничего ни от кого не нужно. Почему он должен? Кому он должен? Что значит должен? Почему он не имеет права жить, как хочет? Закончить свой автомат для «Ропага». Довести до рабочих чертежей. Собрать. Установить. Отладить»...

Какая-то внешняя сила вторглась в его личную жизнь, нарушила ее спокойный и радостный ход, и Игорь чувствует себя оскорбленным и потерянным. Но что же это за сила? Игорь отстраняется от таких вопросов, просто не хочет об этом думать.

Интересы государства, партии, народа — общие, коллективные интересы — стоят за этим словом «надо!», о котором поэтически и гордо пишет Д. Гранин, вспоминая комсомольские традиции пятилеток. «Ты нужен! Для молодости нет более манящих слов. Ты нужен осваивать Арктику, ты нужен на лесоразработки, ты нужен в тундре, в тайгу, тебя пошлют на край света, ты увидишь метели, голую землю, отсыревшую палатку, ржавую воду, вечную мерзлоту, испытаешь разлуку, тоску по родным, и гордость, и счастье идущего впереди».

Д. Гранин нисколько не упрощает конфликт, не стремится сделать его однолинейным и показательным. Здесь все так же сложно обусловлено, запутано и тонко, как это обычно и бывает в реальной, а не обобщенной до крайности жизни. Даже если на месте Игоря вообразить максимально сознательного героя, то и тогда решение расстаться с городом, квартирой, налаженной семейной жизнью, любимой заводской работой не могло быть принято легко, непринужденно и безболезненно.

И те, кто поехал в деревню по собственной воле и сознанию, и те, кто, как Игорь, сделали это «через душу», — все испытали вместе с манящим чувством новой жизни, небывалых перемен, и горечь: от разлуки с близкими, друзьями, родным городом, заводом, словом, старой своей жизнью. Это естественно, и странно, если бы было иначе. Но для Игоря расставание с городом было особенно болезненным и лично мучительным, потому что он не понял и не принял это «надо!» как свое, кровное и осознанное.

Но как это произошло? Как могло случиться так, что общие интересы, интересы народа, стали для молодого советского

парня-комсомольца пятидесятых годов как бы чужими и непонятными?

Гранин ищет, и верно ищет, ответ на эти вопросы в биографии героя, в его воспитании и личной судьбе. Игорь рос в чужой семье мальчишкой замкнутым и сдержанным. Но он был любознателен и пытливым, как все мальчишки в его возрасте, больше всего боялся фальши и недоумевал перед неправдой. В школе учительница называла Эдисона «типичным американским дельцом, присвоившим чужие изобретения», а в книге, которую он взял в дядином шкафу, Эдисон был назван великим ученым и было рассказано о его трудном и достойном пути в науке. Друзья дяди, приходившие к нему в гости,— все старые коммунисты и почтенные люди — с недоумением «спрашивали друг друга, зачем строят высотные дома, когда так плохо с жильем, зачем нужны эти колоннады, эти роскошные дворцы, когда еще столько коммунальных квартир и общежитий...»

Противоречия, недоумения, неясности откладывались тяжким грузом на душе и не давали успокоения. Вернувшись однажды к себе домой, Игорь узнал, что его дядя — директор крупного завода, старый партизанист — арестован. «Игорь вспоминал разговоры дяди и его друзей о высотных домах, о запущенных колхозах. Наверное, это были вражеские разговоры, конечно, вражеские. Он упорно доказывал себе, что они враги, но внутри что-то противилось. И он боялся, считая это затаенное сомнение преступным, часто старался подавить его, ни о чем не думать, избавиться от этих утомительных и ненужных мыслей».

Не в силах разобраться в сложности жизни, ее суровой диалектике, Игорь инстинктивно отгонял от себя всякое раздумье, всякую последовательную мысль. Он самозабвенно ушел в интересы завода, в свои технические замыслы. «Никакие тревоги времени не влияли на цифры, на схемы. Стальные спины станков служили непроницаемым убежищем». А тут еще встречи с Тоней, любовь, женитьба...

Растерявшийся и ушедший в себя Игорь где-то глубоко внутри решил жить, отстраняя все, что не касалось его работы и личных достижений. Даже возвращение на завод дяди как-то мало тронуло его. В этот момент мы и встречаемся с героем, уже мало похожим на того беспокойного мальчишку, которого иногда отчаянно под-

мывало поднять руку в классе и спросить: «Кто же, черт возьми, прав?»

Хорошо, что Д. Гранин показал предысторию Игоря. Это сделало понятнее те благодетельные перемены, которые произошли с Игорем в деревне. Ведь по сути дела Игорь очень славный, хоть и ничем особенно не выдающийся, честный «рядовой» советский парень, а его эгоизм и себялюбие не прирожденные и не роковые свойства.

Писатель исходит из того, что в характере молодого героя есть и хорошие черты, воспитанные социалистическим обществом, советским строем. Из школы Игорь вынес, разумеется, не одну досаду на злостную историю с Эдисоном, так же как разговоры взрослых, беседы с дядей, с товарищами дяди — старыми коммунистами возбуждали во впечатлительной душе подростка не только сомнения и противоречия, но укрепляли и веру в наш строй, в достижения социализма.

Надо оговориться. В переживаниях Игоря многое кажется не очень свойственным психологии мальчишки его возраста. Есть здесь что-то от рассуждений и жизненного опыта самого писателя и к тому же более позднего происхождения. Противоречия в сознании Игоря-школьника можно было бы изобразить менее рационалистично, более естественно, ближе его детскому разумению и интересам. Верно намеченная линия психологии Игоря только бы выиграла от этого.

Малютину послали в один из самых отсталых районов. Бедность, неустроенность, лишения встретили Игоря и Тоню в деревне. В ремонтных мастерских, которые принял Игорь,— грязь, беспорядок, искалеченные станки, бестолковщина. Очень тонко показывает Д. Гранин мотивы, которыми руководствуется Игорь в начале своей деятельности. Ему бы вроде и все равно — не сам же сюда просился, прислали. Но возмущают этот хаос и оскорбительное для заводского рабочего человека отношение к труду и к машине. Игорь любит цеховой порядок, любит ровную и слаженную работу машин, а здесь разболтанные, в ржавчине и грязи станки — невыносимая картина. Игорь пытается идти штурмом, вводит табель и гудок для рабочих мастерских, переживает их недовольство и неприязнь и от решительности переходит к малодушию, а потом, как всякий слабохарактерный человек, снова срывается в гнев и упрямство.

Поначалу жизненные принципы Игоря не испытывают в деревне никаких перемен. Он по-прежнему не считает работу здесь своей, настоящей, принятой по душе, а не из необходимости. Впрочем, Игорь готов честно исполнять свое маленькое дело, но на ссору, на отстаивание своей правоты он не пойдет. Зачем ему это нужно? Даже Тоня и та готова бросить ему упрек в трусости.

По сути дела, бодрость ему придает только самый последний довод — «была не была», «терять нечего», разве что в город обратно отправят. Но постепенно, мало-помалу, как-то «само собой» Игорь начинает втягиваться в дело, начинает чувствовать это дело своим, понимать, что он нужен людям. Получилось так, что люди поверили Игорю, и отступать уже было нельзя. «Когда человек борется один против всех, он волен в своих поступках и настроениях. Он один... Но теперь поздно. За ним уже шли, в него верили...»

Писатель подробно, шаг за шагом следит за возмужанием характера Игоря и не торопится дать нам результат.

Трудно работать в мастерских, нелегко наладить запущенное хозяйство, еще труднее завоевать доверие людей, но самое трудное, оказывается, другое. Сказать свое слово, свое мнение и отстаивать правоту до конца. Честность не терпит компромиссов, нельзя быть немножко честным или несколько бесчестным — тут не может быть степеней и градаций. Да или нет.

В самом начале романа Д. Гранин останавливает наше внимание на одном внешне малозначительном эпизоде заводского собрания. Все ждали, что Игорь вместе с Верой Сизовой выступит против главного механика Лосева, тормозившего идею модернизации «Ропага». От Лосева, начальника Игоря, зависело получение комнаты, а Игорь знал, что Лосев «не прощал тем, кто шел против него». На собрании Игорь молча сидел в заднем ряду, опустив голову. Ему было горько, скверно на душе, и он утешал себя тем, чем обычно утешаются люди в подобных случаях: «Вот получу комнату, тогда все выложу...»

В деревне Игорь попадает в гущу принципиальных споров, столкновений, конфликтов. Представитель области Кислов тянет на старое, на осужденные партией методы руководства, зажимает самостоятельность, не доверяет людям. С ним резко и принципиально спорит старый и

опытный коммунист — директор МТС Чернышев. Но Игорь уклоняется от этих споров. Он молчаливо соглашается с доводами слабодушного и до крайности робкого человека — инженера Писарева: «И откуда мы с вами знаем, какие там, наверху, у Кислова соображения? Мы слишком мало знаем, чтобы судить, правильно это или нет. Может быть, существуют какие-то высшие доводы». В слепом подчинении этим непостижимым «высшим доводам» гаснет у Писарева всякая самостоятельность мысли, стремление активно действовать и смело работать. Игорь может пойти и по этому пути: он опять на распутье. Директор МТС Чернышев, понимающий, что творится у Игоря в душе, умно и заботливо старается помочь ему. Он предлагает Игорю работать без Писарева, взять всю ответственность и руководство мастерскими на себя. Игорь отлично сознает, что Писарев мешает ему, — больше того, он чувствует, что Писарев внутренне влияет на него своим малодушием, трусостью. И все-таки он отказывается! Тогда-то и всплывает в памяти и больно мстит Игорю одна забытая было сцена.

«Воспоминание появилось медленно, как туманное изображение на фотобумаге. Игорь поднялся и вышел из мастерской. Да, то же самое было тогда на заводе, на производственном совещании, когда он промолчал и не помог Вере Сизовой. Потом она назвала его предателем».

Новый тяжелый кризис происходит в сознании Игоря. И он переламывает себя. Д. Гранин показывает это созревание в Игоре человека-творца, человека-коммуниста как сложный и часто болезненный процесс. Конечно, к новому сознанию Игорь приходит не путем абстрактного самоусовершенствования. Помогают Игорю и старшие товарищи — коммунисты Жихарев, Чернышев. Но больше всего поддерживают доверие коллектива, ребят-комсомольцев, рабочих мастерских и все растущая ответственность перед ними. И какое ликующее, праздничное чувство испытывает Игорь, чувство свободы, уверенности, мужества, когда уходит, исчезает прежде постоянно владевшее им ощущение боязливого беспокорства, нерешительности! Если он уверен в своей правоте, он теперь не уступит, и не ступается, и не промолчит, он будет бороться и добьется своего.

Памятуя о дурном опыте книг, в которых идейный и нравственный переворот в

сознании героя совершался с ошеломляющей внезапностью, Д. Гранин стремится представить всю постепенность и сложность ломки характера и взглядов Игоря. Намерение хорошее и выполнено оно, в общем, успешно, но, как кажется, даже с некоторыми излишествами. Чтобы показать изменение характера героя, не обязательно описывать обстоятельно и хронологически аккуратно весь путь человека. Важно найти такие художественные положения, моменты, в которых полнее и выразительнее всего сказывались бы логика характера, тенденции его развития, его реакции на окружающее. В жизни моментов, характеризующих человека, может быть неисчислимо множество, а в искусстве должны появиться лишь избранные из избранных. Д. Гранин во многих случаях поступает неэкономно, растягивает действие, вводит необязательные эпизоды (скажем, сцена, в которой Игорь ломает ногу и последующие разговоры с Жихаревым и Ченцовой). Словом, композиция романа — это относится в основном ко второй и в известной мере к третьей части — несколько рыхлая, несобранная, что, естественно, не способствует силе впечатления.

Однако дело не только в композиции. Д. Гранин изображает изменчивый характер, сложные чувства. Но и сложность и противоречивость бывают разные. В одних случаях это реальная жизненная сложность, в других — недостатки и противоречивость художественного исполнения. В романе Д. Гранина встречается, к сожалению, не только первое, но и второе.

В начале романа писатель так настаивает временами на мелочности, интеллектуальной узости, себялюбии, трусости и других непривлекательных чертах героя, что здоровая сторона его натуры порой совсем теряется и ускользает. Между тем Игорь начинает меняться к лучшему, а читатель долго еще остается в сомнении, стоит ли отдавать свои симпатии такому персонажу.

Трудным путем неудач и заблуждений приходит Игорь к подлинной сознательности. Идеи советского коллективизма, коммунистические идеи, которые он и раньше знал, но как нечто умозрительное, теоретическое, далекое от каждодневной жизни, стали наконец его мыслями и его опытом. «Так в школе на уроках физики он равнодушно заучивал закон Ома и схему электромотора, но как потрясло его,

когда он своими руками смастерил моторчик, включил его, и мотор завертелся!»

Неверно было бы отождествлять с мировоззрением ту сумму сведений о мире, о людях и идеалах, которую любой молодой советский человек выносит из школьных и студенческих занятий. Мировоззрение не вписывается в аттестат зрелости.

Мировоззрение — это активная и создающая мысль. Только закалка практикой жизни, участие в общем труде, дает возможность теоретическим идеям и общим представлениям войти в плоть и кровь, превращает пассивное знание в осознанное личное и неистребимое убеждение.

Настоящая идейная зрелость, мужество и закалка — это свойства таких людей, как Юрьев, как дядя Игоря — директор завода Логинов. Подлинные энтузиасты, испытанные и последовательные борцы за дело рабочего класса, они вместе с тем люди глубокого сознания, нравственного авторитета и высокой принципиальности. В самые тяжелые моменты эти лучшие представители первого поколения, строившего Советскую власть, сохраняли выдержку, упорство и веру в коммунистические идеи.

Нарисованные нешаблонно и порой как-то по-особому человечески тепло, образы коммунистов старшего поколения и партийных руководителей, таких, как Юрьев, много дополняют и проясняют в идее романа. Это они служат примером, образцом, а иногда укором молодым героям книги. С их вниманием, критикой и поддержкой Игорь и его сверстники вступают в большую жизнь.

Игорь «не по службе, а по душе» знает теперь, что он живет и трудится не ради себя, а ради общего счастья, ради людей, ради будущего, ради коммунизма. И это твердое, свободное и неискоренимое сознание делает его счастливым. «Я знаю, почему мне надо ехать: мне хочется ехать, и я еду,—бросает Игорь подлецу Ипполитову.—Вы знаете, Ипполитов, свобода—это, наверно, когда тебя не грызет совесть за то, что ты поступаешь не так».

Параллельно с историей Игоря и во внутренней, а не только сюжетной связи с ней разворачивается история Веры Сизовой. Это тоже путь воспитания характера и созревания мировоззрения, но в плоскости совсем иной и с точки зрения особой.

В начале романа Игорь и Вера — антиподы. Игорь — «безыдейный парень», замкнувшийся в личные дела и узкотехнические интересы. Вера, напротив, — один из наиболее активных членов комитета, комсомольский деятель, вожак. С первого взгляда она как будто не может не понравиться — прямая, откровенная, принципиальная, настоящая комсомолка! Но вскоре обнаруживается нечто, заставляющее по-другому взглянуть на Веру.

В ее суждениях о людях много суровой, не желающей ничего принимать в расчет категоричности. Представление Веры о мире книжное, окостенелое, сугубо прямолинейное. В жизни она не видит ни сложностей, ни противоречий, а все малопрятное объясняет или дурной волей или недоразумениями. У нее в голове возникла и своя классификация людей, которая так же неподвижна и определена, как расчетные данные ее технических схем. «Слабостей Вера не признавала. Человеческие слабости вносили путаницу в четкую систему оценки людей. Всех окружающих, все события Вера делила на положительные и отрицательные, на нужные и вредные». Настойчиво отстраняя от себя все личное и субъективное, Вера незаметно для себя сама впадает в беспринципность. С робеспьеровской беспощадностью она настаивает на том, чтобы Игоря отравили в колхоз. «...Надо силой приучить его жертвовать личным», — заявляет Вера. Она сама не замечает при этом, что, настаивая на кандидатуре именно Игоря (в чем не было, как выясняется, необходимости), а не кого-нибудь другого, она поддается чувству досады, антипатии к Игорю. Ее «принципиальность» граничит с капризным раздражением, с личным недоброжелательством. Как-то упустив из виду требование партии направлять в колхозы лучшие кадры, Вера хочет сделать из отправки в деревню нечто вроде исправительного наказания для Игоря, которого сама она незадолго до того клеймит как «предателя».

Вера не замечает этого явного противоречия, как не замечает и многого другого вокруг себя и в себе самой. И это не вина ее, а беда. Элементы искусственного, книжного восприятия жизни отличают не только Веру, но и некоторых других ее товарищей. История с Игорем заставляет серьезно задуматься секретаря комитета Шумского: «Парень как парень... стандарт

парня; и он подумал, что в его представлении и в представлении кое-кого здесь, в райкоме, существовал некий стандартный парень-комсомолец, наш парень, советский парень, с набором обязательных качеств. Отклонения от этого стандарта были также предусмотрены: хулиганистый парень, пассивный парень, трепач... То есть по той же шкале: лучше или хуже среднего образца». И недаром опытный партийный руководитель, житейски мудрый и хорошо разбирающийся в людях парторг Юрьев поправляет Шумского: «Ты рассуждаешь по-инженерному: какая машина быстрее выполняет задание, та и лучше. А люди бывают не только лучше и хуже, они бывают и другие».

Не только Вера и Шумский, но и Геннадий — веселый, боевой, жизнерадостный комсомолец, одно из привлекательнейших лиц в книге, — он отчасти заражен «Вериным» подходом к жизни. Составив себе «легкие, удобные и законченно-благополучные» понятия о жизни, он все чаще начинает замечать в себе «эту непривычную, пугающую потерю уверенности перед трудной сложностью жизни». И Геннадий, и Шумский, и Вера — в общем все неплохие ребята, комсомольцы, честные советские люди. Д. Гранин ведет борьбу, разумеется, не с ними, а за них, за их зрелость, за умение разбираться в жизни и не теряться перед ее сложностью. Это, по мнению писателя, необходимое свойство человека — коммуниста, борца и хозяина жизни.

Каждый из молодых героев идет своим путем к идейной зрелости и подлинной сознательности. Ближе стоящий к жизни и людям, эмоциональный и непосредственный, более чуткий к переменам и новому, Геннадий легче и органичнее проходит этот путь. В Геннадии вообще видны задатки по-настоящему цельного и привлекательного характера. Жаль, что этот герой остался эпизодическим, — выдвижение его на первый план повествования сделало бы представление о молодом поколении более полным и убедительным.

По-иному, чем у Геннадия, складывается судьба Веры. Если ей приходилось сталкиваться с жизненными противоречиями и сложностями, она не пыталась их понять и спокойно отметала все, что не укладывалось в ее схемы. «Придя на завод, Вера обнаружила среди рабочих множество людей, которых не отнесешь ни к плохим, ни к

хорошим,— талантливый рационализатор непристойно ругался с мастером из-за денег, пьяница перевыполнял норму, прогульщик исправно читал газеты. В цехах рядом с новенькими автоматами дребезжали станки Русско-бельгийского общества» и т. д. Но это не смугило Веру. Раз жизнь не укладывается в ту схему, которую Вера рисовала себе в институте, то «тем хуже для жизни»! Известно, что такой взгляд на вещи никогда не приводил ни к чему хорошему. Жизнь не любит, когда ей не доверяют и когда в ней сомневаются. Она жестоко платит за подобное высокомерие.

Самоуверенность и заносчивость Веры лишь подчеркивают ее слепоту и неумение разбираться в людях. Она не в состоянии разглядеть в подлесе и карьеристе Ипполитове его подлинное нутро. Он кажется ей идеалом, ей нравится в нем ласковая уступчивость, умение «сходиться с разными людьми, определенность его жизненных целей». Те самые свойства, которые Вера определяет такими почтенными словами,— это, по сути дела, беспринципность, карьеризм и шкурничество. Все вокруг видят истинную сущность Ипполитова, одна Вера ничего не замечает, доверяет ему, испытывает к нему нежные чувства, пока он беззастенчиво не предаст ее в трудный момент.

То же повторяется и с Лосевым. Ведя борьбу за внедрение проекта модернизации станка, который она разработала, Вера долго не может понять, что и кто ей мешает. Как будто все за рационализацию на заводе, но почему тогда так трудно дать делу ход? Крепко засевшие в ее голове искусственные, штампованные представления о людях гасят ее активность, лишают энергии борьбы. «Лосев был противником модернизации «Ропага», но это не значило, что его можно считать консерватором и рутинером. В ее представлении существовал определенный образ консерватора, никак не схожий с деловым, энергичным Лосевым, с его веселым гладко-розовым лицом, кожаной курткой на молниях, рубахой без галстука... И не бывает так, чтобы консерватор занимал столь высокую должность и чтоб никто этого не замечал». Вера не видит действительных своих противников и делает одну ошибку за другой. И только когда Лосев переходит в открытое наступление, называет действия Сизовой вредными и опасными, ко-

гда Ипполитов отступает от нее, она начинает понимать, кто ее друзья и кто враги.

Именно с такими натурами, как Вера, происходят в суровую минуту резкие кризисы, нервные потрясения. Они часто бывают смятены, дезориентированы и потеряны, если жизнь бьет их иллюзии. Они начинают метаться, страдать, мучиться и не всегда находят верный выход. Вера стала совсем другой. С досады она даже крикнула Геннадию, что думает жить теперь по другим принципам, как Лосев и Ипполитов. Злая обида на жизнь сменяется у Веры состоянием тупого безразличия. «...Она все более укреплялась в своем равнодушии, словно и впрямь махнув рукой на все прежние принципы, уже ничему не веря и над всем отчужденно посмеиваясь... На комитет она являлась неаккуратно, сидела скучная, не выступала и, когда ее спрашивали, говорила: «А я, как все, присоединяюсь». Метаморфоза, происшедшая с Верой, самым верным образом изобличает не только несостоятельность, но и ломкость, непрочность внешне таких основательных и правильных метафизических представлений о жизни.

Равнодушие Веры, ее разочарование во всем, разумеется, недолговечно и небезысходно. Это как апатия после тяжело перенесенной болезни, она предшествует выздоровлению и возвращению к жизни. Веру дружески поддерживают молодые рабочие, комсомольцы завода. В минуты горечи и обиды всегда рядом оказывается отвергнутый, но преданнейший друг Генка Рагозин. С участием относятся к Вере, переживают за нее, помогают ей директор Логинов и парторг Юрьев. Зная, что не только интересы дела, но и духовное выздоровление Веры связаны с реализацией ее проекта, они своим авторитетом и конкретной помощью способствуют пуску «Ропага». Сцена испытания станка—одна из лучших в романе. Д. Гранин вообще обладает редким умением вдохновенно и поэтически писать о работе умных и сложных машин. И это потому, конечно, что в любом механизме, автомате, моторе он видит не только технически рациональное сочетание деталей, но всегда выделяет, так сказать, гуманистическую, человеческую сторону: каждый станок, каждая машина для него — это плод труда, дерзания и таланта

многих известных и безыменных людей, изобретателей и рабочих.

Но в сцене пуска «Ропага» огромная эмоциональная энергия сконцентрирована еще и по-другому. Станок — это детище Веры Сизовой, и его пробуждение к жизни — это ее успех, ее победа, ее восторжествовавший труд. «Оцепнев, Вера следила за движением резцов. Выточив нужный диаметр, резец отошел и остановился в неподвижности. Станок словно задумался. Суппорт сбивчиво дернулся вверх, потом чуть вниз и снова неуверенно замер. Вера почувствовала, как холодеет спина. Неловко, изо всех сил она прижала кулаки к груди, удерживаясь, чтобы не кинуться на вырубку. В эти изнуряющие мгновения огромный станок стал для нее ребенком, ее собственным ребенком. Он взывал о помощи, он ждал ее.

И вдруг произошло что-то удивительное и чудесное. Она почувствовала это на мгновение раньше, чем резец осторожно скользнул вниз и решительно и точно перешел на новый профиль.

Это выглядело чудом. В этом было нечто таинственное, сверхъестественное. Именно эта заминка, по-детски беспомощная неуклюжесть сделала для Веры станок одушевленным. Все, что до сих пор существовало в ее сознании в виде схем, отдельных узлов, усилителей, датчиков, все это вдруг слилось в единое живое существо. В нем действовал разум, который она вложила в него. Ее собственный разум».

Очень хороша вся эта главка, где вспоминается о душах сотен людей, которые живут «в алом накале ламп, в движении тысяч моторов», где говорится о высоком торжестве Веры и мыслях ее о будущем, перед лицом которого «все ее горести и обиды показались мелкими и ничтожными».

Ничто в жизни не проходит даром, и этот трудный для Веры год, многое поломав, исправив и отбросив, лишь очистил и укрепил основное: доверие к труду и людям, к советскому коллективизму и коммунистическим идеям.

Умение изобразить общественное поведение человека в связи с его личными принципами, моральным потенциалом, всей нравственной структурой — это сильная сторона Д. Гранина. Есть два отношения к жизни, два типа морали, которые последовательно противопоставляет в своем романе Д. Гранин. Одно — свободно принятое и

осознанное чувство долга, чувство ответственности перед другими людьми, исходящее из общих интересов, общего блага. И другое, которое в романе «После свадьбы» выражено в законченно определенной, чеканной формуле, не раз повторяющейся на страницах книги: «Зачем мне это нужно?» Этот принцип жизни находит своего «теоретика» в лице молодого циника и преуспевающего мерзавца Ипполитова. «Всегда следует задать себе вопрос: зачем тебе это нужно?» — поучает Ипполитов Веру. Вся сила желчи, гражданского и человеческого негодования обрушивает писателя на этот жизненный принцип. Отрицательные персонажи у Д. Гранина — не закоренелые злодеи, не убийцы, не преступники. Это просто общественно бесчестные, эгоистичные, агрессивные в стремлении к личному процветанию и благоустройству люди. Этих людей, враждебных нашей идеологии, нашей морали, Д. Гранин ненавидит темпераментно и остро. Лосев всячески препятствует нововведениям, модернизации на заводе. И это не потому, что он не признает технического прогресса, что он принципиальный консерватор. Смысл его действий более простой и житейский. «На кой черт нам нужна эта морочка?» — выражает его мысль Ипполитов. — Не заикались бы мы про эту модернизацию, никто бы с нас ее и не потребовал...»

Есть у Лосева и другое соображение. Пуск «Ропага» будет победой молодых новаторов, победой Веры Сизовой, а этого никак нельзя допустить. Мало того, что Вера с ее прямоотой и активностью всегдашний потенциальный противник Лосева. Он ненавидит ее еще и потому, что она способный инженер, человек творческий и деятельный. «Руководя отделом, — пишет Д. Гранин, — Лосев выработал для себя правила, которые он применял в своей борьбе за существование: нельзя было допускать появления конкурентов, то есть людей знающих, хороших механиков; следовало выдвигать старшими инженерами и механиками цехов людей, не способных занять его место, и вообще малосведущих; такие будут зависеть от него, держаться за свою должность». Нововведения для Лосева приемлемы лишь тогда, когда их «можно засчитать к себе в актив». Вообще же «важно исполнять, а не предлагать». Во всеоружии этих правил Лосев и вступает в борьбу с проектом модернизации

«Ропага», с Верой Сизовой, с Генкой Рагозиным, с молодыми рабочими, комсомольцами. Борьба ведется Лосевым с изощренным умением и тонким искусством и все-таки приводит его к разоблачению и падению.

Д. Гранин не только удовлетворяет нравственное чувство читателя, развенчивая людишек типа Лосева и Ипполитова. Писатель учит нас на практике распознавать те формы, в которых маскирует свое лицо озлобленный мещанин, бюрократ, карьерист. Не просто заклеить врага, а раскрыть изнутри его логику, приемы, методы и технику борьбы, его защитную мимикрию — эту задачу выполняет Д. Гранин.

Мы говорим «бюрократ», и наше воображение услужливо подсказывает тип смешного и глупого толстяка, сидящего за массивным дубовым столом, заваленным бумагами. Мы говорим «мещанин», и память рисует нам мир кисейных занавесок, канареек, плюшевой мебели... Такие представления и ассоциации наверняка являлись у Веры Сизовой, пока жизнь не ударила ее больно и не продемонстрировала со всей наглядностью, что современный бюрократ и мещанин — это Лосев, Лосев в его пыжиковой шапке и кожаной куртке на молниях, Лосев — крепкий, веселый, энергичный.

Наивно было бы ждать, что лосевы будут как-то подчеркивать свое отличие от честных советских людей, будут открыто проповедовать свои принципы, громогласно прославлять карьеризм, рвачество и интриганство. Напротив, их забота — показаться самими идейными и бескорыстно принципиальными людьми, поборниками прогресса и справедливости. Их даже выдает иногда чрезмерный наигранный энтузиазм и желание выглядеть «более роялистами, чем сам король».

Лосевы хорошо выучили наш лексикон и часто шеголяют самыми «правильными» и идейными фразами. Особенно любят они вернуть словцо насчет бескорыстия и моральной чистоты. «Нет, дорогие товарищи, новую технику давайте будем двигать чистыми руками...» — так выражается Лосев, пытаясь набросить тень на репутацию Веры Сизовой. Разгромить, обличить, обесславить, прикрываясь самой высокой принципиальностью, — таковы его приемы борьбы. Лосев искусственно подогревает атмосферу подозрительности, шантажа, недоверия. Раздувая временную неудачу Веры

с «Ропагом», Лосев рассчитывает демагогией запугать людей, лишить их активности. «Стоило объявить действия Сизовой вредными, опасными, и никто не рискнет показать то полезное и нужное, что есть в ее работе. Критиковать любое новшество всегда безопасней, чем защищать его», — такова логика Лосева. В простых и веских словах Логинов возражает Лосеву: «Опыт неудач в технике — это тоже ценный опыт». И людям, сидящим на собрании, которое Лосев хотел превратить в место общественной казни Веры, вдруг становится ясно, что в неудаче Сизовой нет ничего криминального. «Возникло какое-то веселое и смущенное недоумение: как они могли поддаться этому ажиотажу подозрительности, скандала, когда, в сущности, с самого начала все было просто и ясно...» Такое чувство коллектива — предвестие окончательного поражения Лосева.

Шаткость положения таких людей, как Лосев, заставляет их все время держаться настороже, все учитывать, все использовать и ничего не упускать в своей маленькой политике. Настроившие свой ум на изворотливость и хитрость, они чувствуют себя в тревожном напряжении игрока. Каждое подслушанное неловкое слово, каждый факт, который может быть использован для очернения и компрометации, коллекционируется с завидной тщательностью, чтобы в удобный момент служить козырем в игре. Все здесь расчет, и ничто не дается даром. Выступает ли Лосев по поводу распределения квартир, высказывается ли против кого-то на техническом совете, или как бы мимоходом старается вызнать отношение парторга к тому или иному лицу, или просто пройдет мимо вас и не кивнет головой, а то, напротив, раскланяется преувеличенно любезно, — все это неспроста, все со значением. Арсенал средств у лосевых достаточно разнообразен. Если надо, они пускаются в откровенность, выказывают видимость дружелюбия, льют слезу и лицемерят. Они используют личные слабости людей, разжигают самлюбие и зависть, стараются сделать из единомышленников соперников, из друзей — врагов.

Лосевы порой имеют временный успех, особенно когда это люди ловкие и неглупые. Кажется, все сплетено отлично, все предусмотрено ими, нигде не сорвешься... И все-таки они неизбежно срываются, потому что есть в их логике самый корен-

ной, самый несправимый просчет. Жизнь не пошлая игра. А Лосев смотрит и на Логинова, и на Юрьева, и на других окружающих его людей тоже как на игроков, только, может быть, менее опытных и ловких, чем он сам.

Нельзя жить, вечно лавируя и приспосабливаясь к условиям. Когда-нибудь самая выверенная тактика, самая осторожная и продуманная «маленькая политика» дает трещину и пасует перед правдой наших идей и нашей морали. «Позолота сотрется — свиная кожа остается». Как только с лосевых сползает позолота заимствованных слов и громких фраз, открывается отвратительное и плотоядное лицо мещанина и приспособленца.

Д. Гранин изображает типы отрицательные, людей враждебных советской морали и идейности, уничтожая их самым всепроникающим и самым губительным оружием психологической сатиры. Писатель показывает их изнутри, стремится вскрыть всю механику, распутать и обнажить всю сеть приемов и защитных приспособлений, которые используются ими.

Искусство Льва Толстого служило в этом Д. Гранину ориентиром и напутствием.

На страницах романа «После свадьбы» часто встречаются знакомые толстовские приемы: «внутренний монолог», «разговор глазами» и т. д. Далеко не все в этом смысле получается у Д. Гранина удачно. Так, в романах Толстого мы часто находим прием психологической характеристики персонажа через детали его портрета, обычно не раз повторяющиеся: это и «короткая губка с усиками» маленькой княгини в «Войне и мире», это и оттопыренные уши Каренина, которые ненавидит Анна. Гранин использует такой же прием, характеризуя своего отрицательного героя Ипполитова. «Ипполитов с довольным видом погладил шею. У него была белая гибкая шея. «Нехорошо, когда у мужчины такая красивая белая шея», — подумал Логинов». И потом автор еще не раз вспоминает о «гибкой белой шее» Ипполитова, считая, видимо, находку удачной. Но этот штрих не срастается почему-то органически с образом Ипполитова, и кажется странным, отчего это все герои обращают внимание на эту шею. В этом случае, как и в некоторых других, прием выглядит заимствованием, копировкой, а не самостоятельным творческим открытием, хотя бы и в русле классической традиции.

В психологической манере Д. Гранина при верности частных наблюдений не хватает того, чем как раз и был велик Толстой, — диалектики характера в смысле угадывания нюансов, оттенков, переходов чувств, изображения непрерывности психического процесса. У Д. Гранина вместо этого часто дробность, прерывистость, мозаичность психологических картин.

Желая представить эволюцию, изменения в характере основных героев, Д. Гранин для каждого психологического момента строит обычно отдельную сцену, мотивирующую поведение персонажа. Причем именно «строит», потому что все это делается весьма рационально, мы чувствуем технику и легко догадываемся, какую перемену в психологии героя призван выразить тот или иной эпизод. А такая пронизательность читателя не на пользу книге.

Когда Тоня из села, где они живут с Игорем, едет зачем-то в отсталый колхоз и ужасается бедности, запустению, видит страшную картину гибели коров, вязнущих в грязи, мы заранее чувствуем, что это неспроста. Автору нужно показать, что она окончательно разочаровалась в колхозной жизни и должна устремиться в город.

Или другой пример. Когда Игорь ломает себе ногу, неподвижно лежит в гипсе и размышляет о смысле жизни, мы отлично понимаем, что эта каверза с неудачным падением Игоря была нарочно подстроена автором, чтобы герой имел время привести в порядок свои мысли и поделиться ими с читателем. «Приходил час, когда, заложив руки за голову, он лежал и думал. Раньше он никогда не занимался этим. Чтобы так, ничего не делая, лежать и только думать. Размышлять. Задавать себе вопросы. И самому искать на них ответы».

Надо сказать, это получается у Игоря с трудом. «Напрягаясь от непривычных усилий, он вылущивал из мелочи повседневных своих работ сокровенное». Верно, что иногда за горячкой каждодневных дел трудно бывает сосредоточиться. И все-таки сомнительно, чтобы живая мысль рождалась только во время вынужденного безделья, при помощи строгой системы вопросов и ответов самому себе. Естественнее ждать появления важных мыслей в спорах, в столкновениях, в общении с другими людьми, да и, наконец, в процессе работы. Д. Гранин показывает немало острых моментов, когда мысль героя не могла спать

и бездействовать, но все-таки для генеральных раздумий о смысле жизни он зачем-то придумывает особый эпизод несвойственного Игорю методического самоанализа.

Толстой любил говорить о том, что для каждого образа, характера, картины, а следовательно, и для психологических описаний, надо найти особый фокус, при котором наиболее выразительно, художественно достоверно выступили бы все стороны изображаемого.

В романе «После свадьбы» многие лица, такие, как Чернышев, Жихарев, Тоня, при общем их правдоподобию явно «не в фокусе». Многие сцены романа, как мы уже упоминали, утомительны, расплывчаты, а иногда просто излишни. Не оттого ли при серьезном достоинстве основных характеров и эпизодов и значительности основной мысли книга читается местами тяжело и не оставляет впечатления художественной цельности.

«Искатели» — первый роман, доставивший Д. Гранину широкую известность, прочитывался, что называется, залпом. Этому способствовала, между прочим, напряженность действия и неослабевающий до конца интерес к основному конфликту — борьбе за локатор, столкновению «искателей» с консерваторами.

Критики имели неосторожность упрекнуть тогда Д. Гранина в узости материала романа. Дескать, лаборатория, борьба за новую технику — это хорошо, но нельзя ли взять жизнь пошире?

Новый роман «После свадьбы» задуман Д. Граниным как произведение многоплановое, как некогда говорилось — «широкого дыхания», со сложными человеческими судьбами, разнородными противоречиями, сюжетными параллелями, лирико-публицистическими отступлениями, фигурами второго и третьего планов. Действие происходит то в городе, то в деревне, речь идет то о конфликтах в мастерских МТС, то о столкновениях вокруг проекта «Ропага».

Мы ни в коем случае не хотим поставить это писателю в упрек. Конечно, очень хорошо, если художник умеет видеть жизнь широко, в ее сложных взаимосвязях. Но со своим широким замыслом Гранин слал не вполне. В романе получилась диспропорция: заводские сцены куда художественно полновеснее (и просто увлекательнее) деревенских. На заводе, в конструкторском бюро, в лаборатории Д. Гранин знает, кажется, все, замечает любую

мелочь, горюет и переживает всякий беспорядок, как личную беду, искренне любит заводское хозяйство и рабочих людей. Причем особая, выстраданная страсть Д. Гранина — это новая техника, изобретательство.

Иное — сцены в деревне. Здесь тоже много наблюдательности и точных зарисовок. Но нет ощущения того, что запахи пашни, заботы о хлебе и урожае, несчастье с коровами так же глубоко входят в душу писателя, как это было с заводом, техникой, машинами. В деревенских сценах Д. Гранин внимательный, умный, доброжелательный, но гость, тогда как на заводе он свой человек, хозяин.

Не потому ли плохо чувствуется в книге поэзия сельского труда, не заражают описания природы, а персонажи второго плана, такие, как Игнатьев, Пальчиков, многие колхозники и трактористы МТС, ходят бесплотными тенями.

А это ведь далеко не безразлично и для развития образов основных героев. Вспомним: в Игоре наступает перелом, потому что в него поверили, за ним пошли люди, работающие рядом. И если эти люди художественно невыразительны, не волнуют правдой своих характеров, то и перелом в душе Игоря кое-что теряет в своей убедительности.

Мы ставили в заслугу Д. Гранину, что в его повествовании обычно нет ничего нарочитого, манерного. Но иногда — и чаще именно в связи с персонажами «деревенских» сцен — желание писателя бороться с литературным штампом дает непредвиденный результат. Так, в директоре МТС Чернышеве Д. Гранин не раз отмечает его любовь к искусству, подчеркнутую вежливость, изысканную интеллигентность. В разгаре спора по поводу пахоты он не забывает процитировать двестише Пушкина. Д. Гранин отталкивается от штампа, хочет «оживить» образ не предусмотренными по литературному эталону чертами, но выглядит это отчего-то неестественно, в этих «интеллигентных» штрихах чувствуется какая-то чрезмерность, излишний нажим писательской руки. Тот же налет искусственности есть и в образе агронома Надежды Осиповны. Понятно желание писателя не повторить привычный тип районного агронома — суховатой, деловой женщины, отрешившейся от всего личного ради забот о посевной. Но в чертах обольстительницы и чаровницы, заставляющей всех

в районе терять голову и несколько циничной в сознании своей неотразимости, есть какая-то иная, но тоже осязаемая искусственность.

У дарования Д. Гранина своя специфика. Есть писатели, которые умеют великолепно пластически нарисовать человека, они «видят» и «слышат» своих героев. Этим Д. Гранин владеет в меньшей мере. В его таланте главное — ум и современность. Д. Гранин обладает незаурядной способностью передать общественную сторону личных поступков, переживаний, страстей и устремлений.

Жизнь современного учреждения, лаборатории, завода во всей сложности служебных, административных, общественных и личных отношений, объединяющих самых разных людей, — вот где писатель в своей

сфере, вот где его изображение и типично и ярко.

Д. Гранин старается не избежать острых углов, глубоких конфликтов. И в романе «После свадьбы» много бескомпромиссных столкновений, грудной борьбы, неизжитых противоречий. Но после книги Д. Гранина не остается мрачного впечатления. Напротив, она заражает бодростью, оптимизмом, уверенностью в победном ходе нашей жизни. Жизнь идет... Работает «Ропак», созданный трудом и энтузиазмом молодых рабочих и инженеров завода, поднимаются ремонтные мастерские в Коркине, набирает силу прежде самый отсталый сельскохозяйственный район.

А главное — меняются и мужают люди, проходят закалку в борьбе, становятся зорче, мужественнее, сознательнее.



МИХ. ЛИФШИЦ

★

„ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ“ И. ВИДМАРА

1

Входа в игорный дом стоит бедно одетый субъект. «Купите мою теорию игры, и вы можете выиграть миллион». Спасибо, друг, попробуй выиграть сам, если тебе известно, как это делается.

Трудно объяснить, почему люди пишут об искусстве. Если вы узнали его секрет, пишите лучше романы или стихи и покажите пример другим. Не ожидая для себя ничего хорошего от общих рассуждений о методе и мировоззрении, читатель заранее начинает зевать. Еще хуже приходится автору таких статей. На зыбкой почве теории искусства он подвергает себя различным криволомкам.

Да, странное это ремесло. И все же при некотором напряжении ума можно понять, зачем люди пишут о том, что кажется им доступным человеческому разумению. Философ Гегель даже сказал, что бывают времена, когда теория искусства важнее самого искусства. Но Гегель был идеалист, и мы не станем защищать его позицию.

Гораздо труднее понять, зачем пишут статьи об искусстве те проницательные умы, которые знают, что художественное творчество недоступно органу мышления. Само существование такой теории говорит против нее. Утверждая, что эмоции художника недоступны мысли, нечего браться за перо и тревожить мысль своих современников. Непостижимое нельзя постигнуть. Следовательно, лучше молчать — в крайнем случае разрешается издавать нечто «простое, как мычанье».

Эти мотивы приходят в голову при чтении статей председателя союза писателей Югославии Иосипа Видмара. Он пишет статьи об искусстве, пишет о том, что искусство чуждо органу мышления и недоступно нашему пониманию. Читатель, может быть, вспомнит, что И. Видмар сделал по-

пытку истолковать литературные взгляды В. И. Ленина в духе современного ревизионизма. Представить Ленина сторонником иррациональности художественного творчества не так легко, но для новейшей техники нет никаких преград.

В прошлом году на страницах журнала «Новый мир» (1957, № 9) был помещен критический разбор теории Видмара, перепечатанный также в двух югославских изданиях. Отсюда с некоторой вероятностью можно сделать вывод, что эта теория, ложная в научном отношении и реакционная в своей политической тенденции, не пользуется общей поддержкой среди писателей Югославии. После значительной паузы И. Видмар ответил новой статьей («Наша содобност», 1958, № 5), в которой содержится целая философия искусства. В свете этой декларации принципов всякие сомнения должны рассеяться. Взгляды И. Видмара можно оценивать как угодно, но нельзя сомневаться в том, что они не имеют никакого отношения к марксизму. Или скорее — они решительно враждебны ему.

Признаки этой болезни были заметны и в первой статье И. Видмара — «Из дневника». Но, принимая во внимание почтенный возраст и общественное положение автора, мы не могли ограничиться сильными выражениями. Коммунистическую критику часто обвиняют в склонности к догматизму. Сам Иосип Видмар любит бранить других за сухие рассуждения о политике и философии, далекие от искусства. Чтобы выбить это оружие из рук противника, лучшее средство — перенести спор в область конкретного анализа явлений искусства. Статья, появившаяся в журнале «Новый мир», содержит разбор литературных примеров, взятых из творчества Льва Толстого и отчасти приведенных самим Видмаром. В ней содержится также род вызова: вы утвер-

ждаете, что «эмоциональное чудо» искусства недоступно переводу на язык мысли,— вот несколько примеров, доказывающих обратное. Назовите другие случаи, когда теоретический анализ произведения литературы с точки зрения марксизма бессилён перед тайной художника.

Убедить И. Видмара не удалось; однако в тактическом отношении расчет оказался верным. Произошла удивительная история. Автор, столь презирающий абстрактные рассуждения об искусстве, не принял боя на почве конкретного анализа и отступил в дебри философии. Он больше не говорит о сцене охоты из «Войны и мира», которая служила ему примером непостижимости художественного творчества. Он даже любезно одобряет наш анализ «Крейцеровой сонаты», вместо того чтобы наглядно показать несостоятельность этой попытки перевести одно из чудес искусства на язык мысли и реальной истории.

И. Видмар молчит об этом. Его внимание поглощено отвлеченными вопросами: он объясняет разницу между искусством и наукой, старается доказать, что объективной истины нет (откуда следует, что применить этот критерий к художественному творчеству невозможно), и т. д. Он ищет в рассуждениях своих противников логические противоречия. Этот поворот к отвлеченностям кажется удивительным, если вспомнить, что наш автор выше всего ставит живые образы, картины, эмоции. Но, в сущности, так и должно быть.

Анализ произведения искусства требует известной деликатности. Слишком грубое прикосновение к его внутренней жизни неловко и чем-то даже оскорбительно для всякого человека, способного чувствовать искусство. И дело не только в «специфике» художественного творчества. То же чувство неловкости возникает у нас по отношению ко всякой органической и самобытной силе, например — чужой жизни, молодому существу, женщине, растению и, наконец, даже по отношению к самой мысли, если она содержит в себе что-то оригинальное. Не знаем, легче или труднее проникнуть в содержание литературного образа, не оскорбляя это естественное чувство, но для всякой критики такой анализ — не простое дело.

Вот почему мы не станем отрицать, что наши анализы приблизительны и слабы по сравнению со всей полнотой реальности, заключенной в образах художественной ли-

тературы. Во всяком случае, это так, если речь идет о произведениях, равных «Войне и миру» или «Крейцеровой сонате» Толстого. И все же, пользуясь марксистским методом, можно и сейчас что-то сказать об этих произведениях. А что можно сказать о них с точки зрения критика, признающего тайну художественного творчества неизреченной?

В первой статье И. Видмар писал об изумительной свежести образов Толстого, которые действуют на читателя, как освежающее купанье в источнике жизни. Очень хорошо, что же дальше? Появляется еще несколько туманных характеристик, рожденных в тщетных усилиях выразить невыразимое. Картины Толстого «раскрывают жизнь невиданных сил, играющих в этом исключительном человеке», они рисуют его «небывалый, неповторимый контакт с великой природой» и т. д. Посидев немного за письменным столом, можно придумать еще несколько более или менее ярких фраз, в которых, по замыслу автора, нет ничего от философии, политики, морали и вообще не должно быть никакого конкретного содержания, доступного мышлению.

Невиданный, небывалый, неповторимый.. Уже это преобладание отрицательных эпитетов указывает на кризис фантазии. Количество подобных озарений всецело зависит от литературной изобретательности критика, которая быстро начинает падать вследствие недостатка в материале. Поиски оригинальных выражений, манерность и в конце концов полное ничтожество — вот единственная перспектива литературно-критических исследований, сделанных по рецепту Иосипа Видмара.

Критика, утверждающая беспомощность мысли перед лицом непостижимой природы художественного творчества, должна сложить свои полномочия. Если она продолжает строить предположения о том, что, по ее собственному взгляду, непостижимо, — она нечестна. Если ее может удовлетворить исследование того, что не имеет отношения к природе дела, — она смешна. В таких случаях люди более цельной жизни старались больше не думать, погружаясь в нирвану чистого созерцания.

2

Дальний родственник И. Видмара древнегреческий софист Кратил не решался называть вещи словами; он только указывал на них пальцем. И. Видмар не так последова-

телен, как Кратил, и даже заводит смешной спор о словах. В его статье «Из дневника» речь идет о мировоззрении писателя. Между тем противники И. Видмара вместо слова мировоззрение часто употребляют другие слова, например, «идея», «мысль», «идейная направленность», «теория» и даже «отношение к жизни». Это неточно, жалуются автор; шаткость терминологии приводит к путанице понятий. Нужно установить, что такое мировоззрение в отличие, например, от мысли,— тогда все разъяснится и вопрос будет решен.

Короче, И. Видмар обращается к старому правилу: прежде чем спорить, условимся о значении терминов. Правило это полезно; однако полезность его за пределами математики и родственными ей наук также не абсолютна. Люди, стремящиеся к совершенной точности слов, часто приходят к путанице понятий, и, наоборот, в самых серьезных книгах мира встречаются разные слова для выражения одних и тех же понятий просто потому, что сам предмет, выражаемый известным понятием, имеет разные стороны, которые переходят друг в друга, сливаясь в общем движении и образуя самостоятельные оттенки целого. Чтобы передать жизнь самого предмета, живая речь пользуется множеством близких друг к другу словесных образов, и было бы странно требовать от нее деревянного однообразия.

Тем более странно видеть такое влечение к рационалистической абстракции со стороны Иосипа Видмара, столь презирающего всякий рационализм. Слово само по себе значит очень немного; оно получает тот или другой смысл только в определенном сочетании с другими словами, то есть в развитии мысли. Отсюда вовсе не следует, что на поле боя все дозволено. Если противник, играя словами, вольно или невольно меняет содержание вашей мысли, вы имеете право жаловаться, ссылаясь на правила спора. Вот конкретный пример.

И. Видмар обнаружил в нашей статье следующую фразу: «Бывают гениальные художники с реакционным мировоззрением, но не бывает искусства, безразличного к революционному или реакционному направлению мысли». Он смотрит на эту фразу, как Бонапарт на Праценские высоты, ослабленные австрийцами, и немедленно дает сигнал атаки: «Значит, истина уже не является высшим критерием, и ее место занял морально-эмоциональный момент за-

интересованности и захваченности ею». По этому поводу И. Видмар пишет несколько страниц, уверенный в том, что ему удалось обнаружить слабое место в обороне противника. Если искусство не безразлично к содержанию, значит на первом месте эмоции, а не истина. «Разве это не заколдованный круг, разве важно в таком случае мировоззрение?» — заключает автор.

Весь этот пассаж основан на произвольном толковании слова «безразлично». И. Видмар знает русский язык, он опытный переводчик классической и современной литературы. Что же это такое? Не смеем думать, что почтенный автор лукавит.

Искусство не может иметь эмоций, достаточно того, что их имеет художник. В приведенной Видмаром фразе речь идет именно о том, что между личностью художника и объективным значением его искусства возможна трещина, иногда довольно значительная. Во всяком случае, это не одно и то же. Слово «безразлично» употребляется здесь по отношению к искусству, а не по отношению к художнику, и, следовательно, употребляется не в прямом, а в переносном смысле. Если, например, мыслитель высказал глубокую мысль, это не значит, что она глубоко засела в сером веществе его мозга, не так ли? То же самое и в данном случае. Искусство не безразлично к революционному или реакционному направлению мысли в переносном смысле, объективно, как лакмусовая бумажка не безразлична к химическому составу, в который ее погрузили. Никто не скажет, что лакмусовая бумажка «захвачена» стремлением выяснить этот состав, и вообще — эмоции здесь ни при чем.

В искусстве также бывают свои объективные закономерности. Писатель может иметь самые благородные намерения, он может быть искренне заинтересован в их осуществлении, захвачен истинной в морально-эмоциональном отношении, как пишет И. Видмар. Но если идеи писателя реакционны, то это скажется в самом произведении и душе искусства будет нанесена глубокая рана. Так, например, нельзя сомневаться в том, что Гоголь имел самые чистые намерения, когда он взялся писать вторую часть «Мертвых душ». Но благородство его моральных эмоций не могло победить реакционного направления мысли, принятого писателем в последние годы жизни, и он потерпел настоящее поражение, быть может самое поучительное во

всей истории литературы именно потому, что Гоголь был величайшим мучеником общественной правды¹.

Отсюда видно, что объективная истина не зависит от наших эмоций и взглядов. Горе тому, кто хочет нарушить этот закон. Нельзя обойти его ни хитростью, ни усилием, ни даже проявлением доброй воли. Истина все равно обнаружит себя, хотя бы отрицательно, в виде той внутренней силы, которая искажает образы писателя, делает их фальшивыми, если он отдал свой талант на служение реакционному направлению мысли.

И далее, хотя это неприятно И. Видмару, из приведенного примера следует, что для самого гениального писателя очень важно иметь правильное мировоззрение. Именно неспособность разобраться в окружающей общественной обстановке, то есть ложное сознание, а не отсутствие воли к добру, было непосредственной причиной трагедии Гоголя и множества других трагедий. Когда перед нами только ловкий делец, его претензия на художество смешна — ничего трагического здесь нет. Другое дело, когда жертвой своих реакционных идей становится великий писатель, то есть человек большого ума и сердца. Разумеется, если в прежней истории люди часто не понимали себя, то для этого были очень серьезные причины, лежавшие в самой природе общественных отношений их времени.

Словом: «Бывают гениальные писатели с реакционным мировоззрением, но не бывает искусства, безразличного к революционному или реакционному направлению мысли». Эта теория не претендует на оригинальность; ее не раз излагала демократическая критика еще в XIX веке. Даже пример Гоголя давно известен. Глядя на эту старину-матушку с высоты своего пьедестала, И. Видмар может презирать нас за отсталость и не соглашаться с нашими представлениями о законах искусства. Это его право. Но он не может при помощи произвольного толкования слова «безразлично» менять содержание нашей мысли, достаточно ясно выраженной во всей статье. Речь

идет именно об истине и заблуждении, о революционном и реакционном направлении в общественной борьбе, а не о «морально-эмоциональном моменте», как пишет И. Видмар. Это совсем другой вопрос, не лишенный значения, но другой.

Вот если бы нашему противнику удалось доказать, что, употребляя различные слова, близкие к понятию «мировоззрение», мы искажаем его мысль, нам пришлось бы краснеть перед читателем. Такие приемы запрещены правилами спора и при наличии серьезных аргументов обычно не применяются. Но об этом не может быть и речи. Сам Видмар в последней статье торжественно подтверждает содержание своих взглядов на искусство, которые были изложены нами в точном соответствии с истиной. Он пишет: «Мысли я отказываю лишь в решающей роли в области искусства, утверждая в то же самое время, что мировоззрение, независимо от его правильности или неправильности, чрезвычайно часто бывает для искусства опасно и вредно»¹.

Этого совершенно достаточно, чтобы признать эстетическую теорию И. Видмара несовместимой с идеями В. И. Ленина, которые он взялся комментировать. После всех уточнений и мирного урегулирования взаимных претензий осталась мелочь — полное несогласие взглядов на природу художественного творчества. И. Видмар не хочет согласиться с тем, что искусство есть род мышления, а именно мышление в образах. Поэтому и перевод содержания художественных образов на язык понятий, с его точки зрения, есть нелепость. Мысль и эмоции художника идут разным путем, это две разные стихии, лишённые общей меры. Если же мысль превращается в сознательное мировоззрение, то эти стихии даже враждебны друг другу. Иметь какое бы ни было мировоззрение для художника опасно и вредно. Так, по словам нашего автора, бывает в большинстве случаев или «чрезвычайно часто», а что происходит в более редких случаях, мы не знаем. Но исключения подтверждают правило.

3

Читателю может прийти в голову законный вопрос: если взгляды Иосипа Видмара так далеки от марксизма, зачем он взялся комментировать статьи Ленина о Тол-

¹ По мнению Н. Г. Чернышевского, только болезнь и смерть помешали Гоголю вернуться к основному направлению его литературной деятельности. В этом нет ничего невозможного, хотя болезнь великого писателя не так легко отделить от его общественной драмы.

¹ J. Vidmar. V začaranem krogu. „Naša Sodobnost“, 1958, št. 5, стр. 438.

стом? Решить эту загадку легко. В старые времена защитники религии прибегали иногда к очень скользкому доводу. Они утверждали, что настоящих атеистов не бывает — волей-неволей всякое дыхание славит господа. И. Видмар задумал показать, что в статьях о Толстом Ленин является невольным пленником чуждых марксизму взглядов на искусство. Тезис югославского критика таков: как политический деятель Ленин подходит к великому русскому писателю с точки зрения пропаганды определенных идей, но своим анализом противоречий Толстого он доказывает обратное, а именно то, что всякое вмешательство идей или, по крайней мере, законченного мировоззрения вредно для искусства.

Такой вывод по отношению к Ленину открыто сделать нельзя, поэтому затея Видмара приняла форму тенденциозного комментария. Другое дело — рядовые авторы марксистского направления. К ним можно применить тот же прием более откровенно. И вот И. Видмар назвал свою вторую статью — «В заколдованном кругу». Он утверждает, что нам некуда вырваться из этого круга. Против своей воли, так сказать вопреки своему марксистскому мировоззрению, каждый последователь Ленинизма должен делать уступки эстетической теории И. Видмара.

Какие это уступки, мы уже видели на примере странной истории слова «безразлично». Другие примеры столь же основательны. Две фразы: «рассказ Толстого опровергает его теорию» и «правда художественного изображения оказывается сильнее его замысла» И. Видмар считает невольной капитуляцией с нашей стороны. Если правда художественного изображения сильнее ложных взглядов Толстого, значит всякие теории только мешают художнику, значит самое важное в искусстве — не идея, а непосредственно данный в его рассказе комплекс эмоций, значит разделение мысли и творчества на два самостоятельных потока существует и должно существовать. Так рассуждает Иосип Видмар во всем блеске своей логики. По этой причине он находит нашу попытку объяснить роль мировоззрения в искусстве Толстого хотя и «остроумной», но непродуманной и противоречивой.

Очень может быть, что существуют более продуманные попытки решения указанного вопроса. За последнее время творческая мысль, работающая в этом направлении,

сильно оживилась, и мы, конечно, не станем выдавать свое добро за образец. Что же касается противоречий, то здесь И. Видмар — плохой судья.

Давайте рассуждать. Путешественник отправился из пункта А в пункт Б. По условиям задачи в руках у него компас, но компас неисправен. Следуя его показаниям, путешественник едва не забрел в другую сторону, но, к счастью, ему удалось найти верное направление, ориентируясь по солнцу и звездам. Через некоторое время наш путешественник все же прибыл в пункт Б, а вынужденные блуждания, может быть, даже обогатили его коллекции.

Если этот случай рассказать И. Видмару, он тотчас же сделает общий вывод: лучше ориентироваться по звездам, чем пользоваться компасом. Ничто не может помешать ему сделать еще более важное открытие: направление пути в путешествиях никакой роли не играет, его выдумали догматики-рационалисты, как пульс выдумали врачи. Важно быть хорошим путешественником — тогда все равно придешь в пункт Б.

Однако читатель может заметить, что И. Видмар рассуждает очень плохо. Правильный вывод из нашей притчи о путешественнике будет звучать так: лучше хорошо ориентироваться по звездам, чем пользоваться никуда не годным компасом. Лучше стихийно, на ощупь прийти к верному взгляду на те или другие явления жизни, чем подчинить свое творчество ложному направлению мысли. Но, разумеется, еще лучше выработать себе сознательное и верное мировоззрение. Так всегда думали революционные демократы и социалисты в России и во всем мире. Здесь никакого заколдованного круга нет, а есть реальное противоречие и его решение в развитии. Каков же смысл этого противоречия? Смысл есть. Хорошим путешественником можно назвать того, кто сумеет найти верное направление при всяких условиях. Нужно найти верное направление любыми средствами, хотя бы по звездам, но, разумеется, лучшее средство для этого — исправный компас.

Чтобы заранее отвести возможные кривотолки, скажем ясно, что купить себе самый лучший компас в магазине или достать его другим способом еще не значит быть путешественником. Но если этот инструмент в надежных руках, то получится хорошо, что и требовалось доказать,

И еще один существенный момент. Вынужденные блуждания могут быть полезны; они расширяют наблюдения, закаляют силы путешественника. Словом, нет худа без добра. Всем известны хорошие правила: «за битого двух небитых дают», «на ошибках мы учимся» и т. д. Логика Видмара ясна — или признайте, что таких противоречий не бывает, или давайте скажем: ошибки полезны, можете ошибаться сколько угодно — это хорошо или, по крайней мере, безразлично. Нет худа без добра, значит нет и разницы между ними.

Постойте, постоител, — ваша логика ничем не лучше самого деревянного «рационализма». Пожалуй, даже хуже, а впрочем, если человеческий род хочет продолжать свое существование, он должен обойтись без того и другого.

Способ мышления, сочетающий противоположности таким образом, что мысль не впадает при этом в пустое сомнение, не отрицает грани между добром и злом, истинной и ложью, называется диалектикой. Жить без некоторых, хотя бы самых элементарных навыков диалектического мышления в наше время все равно, что жить в темноте. Современность ставит множество вопросов, которые можно решить только посредством логики противоречия. Так, например, поддерживая движение угнетенных народов, мы не станем экзаменовать жителей Черной Африки на предмет того — верят ли они еще в бога Адудуа или уже перешли к научному мировоззрению. Можно верить в бога Адудуа и быть действительным борцом против империализма, и можно повторять самые передовые фразы и стоять на стороне колонизаторов. Это — противоречие, но оно не дает никакого повода для отрицания роли передовых идей и научного мировоззрения. Вспомните историю путешественника.

И. Видмар произносит слово «диалектический» с презрительной улыбкой. Метод мышления, который он хорошо усвоил, — это модная логика парадоксов, способная только выворачивать наизнанку общие места, абстрактные истины. Каждое противоречие становится для него источником сомнения и ретроградных выводов. Ленин писал: учение Толстого реакционно в самом точном и самом глубоком смысле слова. Если так, рассуждает Видмар, то реакционность или прогрессивность идеологии никакой роли в творчестве не играет или Толстой не гениальный писатель, и его

наследие нужно сдать в архив. Кто не согласен с такой постановкой вопроса, тот не может вырваться из порочного круга, уверяет автор.

Эта песня давно уже слышится,
Но она не ведет ни к чему,
Если нам так писалось и пишется,
Значит есть и причина тому!

Да, логика Иосипа Видмара — не новость. Если бы он знал, сколько раз все эти односторонние выводы уже прикладывались друг к другу во всех возможных комбинациях. Но он не верит в диалектику, а без нее нет выхода из подобных положений. С улыбкой житейской мудрости он смотрит на понятие «действительного содержания», которым мы пытались его урезонить в первой статье. И. Видмар воображает, что это только коммунистическая фраза, рассчитанная на внешний эффект. Если бы он знал, что категория действительности играет громадную роль во всей истории философии от Аристотеля до Ленина!

Не всегда блуждания приносят пользу путешественникам, не всякие разбитые армии хорошо учатся и не за всякого битого двух небитых дают. Здесь есть баланс положительных и отрицательных величин; иногда он бывает в пользу «добра», а иногда — в пользу «худа». Говоря просто, — конечно, слишком просто для таких понятий, — этот баланс представляет собой действительное содержание данного явления. Его следует отличать от формальной стороны, которая может обманывать нас. Хорошо, если бы каждое явление само говорило, что оно представляет собой на деле, но оно не всегда это говорит, а иногда говорит прямо противоположное тому, что есть.

Ссылаясь на реакционные аграрные утопии крестьянства и религиозный социализм Толстого, меньшевики утверждали, что эта сила тянет Россию назад, ко временам китайского реформатора Ван-ган-че (так изображали это имя в 1906 году), а либеральные помещики с их идеалом крупного капиталистического хозяйства играют более прогрессивную роль в жизни страны. На самом же деле взаимное отношение этих общественных сил складывалось совсем не так. На стороне крестьян были стихийно-революционные требования демократии, облеченные в форму романтической мечты о давнопрошедших временах, на стороне

буржуазии и помещиков — защита реакции, облеченная в форму прогрессивных парламентских фраз. В одном случае баланс положительных и отрицательных величин был в пользу «добра», в другом — в пользу «худя». По форме, которая больше всего бросается в глаза, преимущество, казалось, на стороне либеральных помещиков, в действительности будущее России было связано с народной революцией, а реакционная форма патриархальных крестьянских идей отступала на задний план по сравнению с этим реальным историческим содержанием.

Ленин чрезвычайно уважал Плеханова как теоретика, но ставил ему в вину склонность судить об идеях на основании их формального смысла, то есть абстрактно, без анализа действительного содержания этих идей в классовой борьбе. Очень поучительны в этом отношении замечания Ленина на полях книги Плеханова о Чернышевском. Тот же недостаток портит статьи Плеханова, посвященные оценке деятельности Льва Толстого. В этих статьях перед нами виртуозное доказательство отсталости великого русского писателя во всем, что касается науки, социализма и демократии. Напротив, исследуя взгляды Толстого, Ленин старается показать, какой урок они заключают в себе для рабочего класса, революционного не стихийно, как громадная масса крестьян, а сознательно или для себя, по известной терминологии известного немецкого философа, которая применяется и в марксизме. Просим прощения за эти бледные цветы философии — люди часто не понимают или не хотят понять, что речь идет о предметах, стоящих «на самом высоком уровне», пока эти предметы излагаются простыми словами.

Статьи Ленина о Толстом имеют великое значение для коммунистов не только в области художественной литературы. Они дают, например, ключ к пониманию таких фигур, как Ганди. Множество деятелей национального или религиозного движения, большие массы людей, принадлежащих к «средним слоям», крестьянству, интеллигенции, — все это действительные или возможные союзники рабочего класса, хотя, с точки зрения формального масштаба, их не всегда можно признать даже демократами, а их фразы о социализме — часто вовсе не социализм. Это не значит, как утверждает живая буржуазная пропаганда, что комму-

нисты являются беспринципными политиками, которым безразличны идеи. Такая точка зрения была бы полным отказом от ленинизма. Нет, это значит, что действительное содержание идей проверяется всей общественной практикой, а не формальным анализом и заключает в себе возможность развития от стихийного к сознательному. Само собой разумеется, что этот ленинский принцип имеет громадное значение для всякого, кто хочет понять историю литературы и вообще художественное развитие человечества.

Темы, взятые из библии, пишет И. Видмар, лежат в основе великих памятников искусства, но кто же верит теперь в эти старые басни? Между тем искусство живет и будет жить, пока существуют люди на земле. Да, это так. Но отсюда вовсе не следует, что искусство безразлично к своему содержанию (или к идеологии, мысли, мировоззрению художника, если угодно, — все это различные оттенки для выражения одного и того же понятия). Библейские истории ложны в их формально-религиозном значении, как ложна всякая религия — еврейская, греческая, христианская. И все же искусство сумело взять в этих сказаниях не мертвый религиозный элемент, а то действительное общественное и человеческое содержание, которое они заключали в себе, которое отразилось в них, несмотря на тяжесть духовного рабства. Только с этой точки зрения понятны пластические боги Эллады и «Блудный сын» Рембрандта, египетские сфинксы и «Троица» Рублева. Храмы строились не в честь религии, а в честь архитектуры, сказал Фейербах, и он был прав. Из этого вовсе не следует, что творчество бесконечно, а идеи приходят и уходят. Из этого следует, что самые прочные заблуждения не могут выдержать испытания временем, а истина остается.

Легко доказать, что в наши дни Шекспир был бы самым отсталым человеком. Он верил, что призраки убитых являются злодеям, что ведьмы варят свой адский напиток из жала змей и глаз ехидны, — или делал вид, что верит в эти сказки. А между тем — попробуйте сравниться с его искусством! Значит, мировоззрение здесь ни при чем, рассуждает Видмар, ссылаясь на Элиота.

Смешные люди, кто же вам велит экзаменовать Шекспира, как школьника? Гораздо умнее понять то действительное содержание, которое заложено в его благо-

родном искусстве, несмотря на веру в духов или монархические предрассудки, неизбежные в его время и в его классовых условиях.

Процесс наслаждения образами искусства состоит именно в том, что мы ощущаем и сознаем присутствие этого содержания, а при более глубоком обдумывании можем даже перевести его на язык понятий. Но здесь начинается уже другой процесс, который обычно называют критикой. Оба эти процесса поистине неисчерпаемы, как неисчерпаемо содержание самой действительности, отраженное в подлинном произведении искусства. Извлекаем ли мы при этом из произведения искусства ровно столько, сколько было сознательно вложено в него художником, или гораздо больше — это уже другой вопрос, и, чтобы вполне объяснить его, нужно было бы написать небольшую эстетику, а может быть, и не только эстетику.

И. Видмар ссылается на то, что наука находится в постоянном движении от низшего к высшему, она «строится и развивается», а произведение искусства ценно само по себе, независимо от прогресса мысли. В этом есть небольшая часть истины, сильно испорченная логикой нашего автора. Чтобы остановить стремительный поток его выводов, достаточно вспомнить, что и в науке не все поглощается прогрессом от низшего к высшему. Любой современный школьник знает больше, чем величайший ученый древности, например Гераклит или Аристотель. Однако гениальные афоризмы Гераклита и ясная мысль Аристотеля всегда будут интересовать человечество, как интересуют они образованных людей и сейчас. Значит ли это, что прогресс научной мысли не имеет значения в самой науке? Если рассуждать отвлеченно, как рассуждает Видмар, то одно из двух: либо чтение Гераклита — пустое дело (лучше читать учебник для седьмого класса), либо не нужно учиться — все равно Гераклитом не станешь.

Но у Иосипа Видмара есть про запас еще один убийственный аргумент. «Если бы мысль и истина действительно были сутью искусства, мой противник должен был бы писать, скажем, романы Толстого лучше, чем сам Толстой, так как ему до тонкостей известен образ мысли Толстого и он его понимает иногда лучше, чем сам Толстой». Это сильный удар по «рационализму», как оценивает нашу позицию И. Видмар. Иро-

ния его язвительна. Не можете написать «Анну Каренину», а туда же лезете рассуждать!

Но попробуем отвести меч, занесенный над нашей головой. И. Видмар пишет комментарий к статьям Ленина о Толстом. Следовательно, он до тонкостей знает, что хотел сказать Ленин своими статьями об этом писателе, и знает лучше, чем Ленин, ибо в его комментарии ясно слышится претензия на более последовательное изложение ленинских идей. Допустим, что Видмар прав. Почему же он не может писать статьи о Толстом, как Ленин? Не может, — представьте себе, это видно даже невооруженным глазом.

Рассуждая вслед за нашим неумолимым автором, следует признать, что истина не является основой науки, а мысль не играет в ней существенной роли. Нравится ли вам этот вывод? Если же вы не хотите согласиться с такой очевидной нелепостью, будьте любезны признать, что ученый-физиолог не может иметь язвы желудка, а сочинитель книги о Наполеоне должен сначала разбить австрийцев при Лоди и Ваграме или, по крайней мере, основать небольшую империю. В противном случае И. Видмар признает вашу позицию непродуманной и противоречивой.

Таким образом, ссылка на то, что пишущий эти строки и никто другой не может написать «Анну Каренину» (которая, впрочем, уже написана), не есть доказательство исключительного положения художника по отношению к мысли, которая стремится познать его творчество. Так обстоит дело и с научным творчеством (и всяким другим делом). Чтобы избавить мир от новых недоразумений, связанных с логикой нашего автора, скажем заранее, что причина этого вовсе не в слабости всякого знания перед лицом творчества. Дело даже не в гениальности Ленина и Толстого, что само по себе до некоторой степени объясняет, почему мы с Иосипом Видмаром не можем писать так, как писали эти удивительные люди, а только стараемся познать их творения (что является нашим законным правом).

Главная причина в другом. Если И. Видмар не может писать, как Ленин, хотя и берется толковать его произведения, то ведь и Ленин также, при всей его гениальности, не мог бы писать так, как пишет И. Видмар, и пишет легко, не задумываясь над тем, что он делает. Всякому свое,

говорит пословица. В этом и заключается ключ к решению задачи.

Способность что-нибудь сделать в науке или искусстве не измеряется простой веревочкой, более или менее длинной. Эта способность имеет свою качественную сторону, не только количественную протяженность. Всякое количественное измерение отвлекается от конкретных особенностей тех предметов, которые мы хотим измерить при помощи общей меры. Такая абстракция бывает полезна в науке, и можно на время забыть об этих особенностях, но только на время. В конце концов истина конкретна, и сердце ее в самой действительности.

Рассматривать мысль как формальный масштаб, имеющий только градации высоты, значит игнорировать качественные особенности духовной жизни, в которых выражается ее связь с конкретным содержанием действительного мира. Это относится ко всякому мышлению — в искусстве, как и в науке. Вот, например, И. Видмар — лично умный человек, но позиция его вовсе не умна, и это ставит его позади многих очень недалеких и совсем не развитых людей, стоящих на другой, более благодарной позиции. «Поменяемся королями и потом померяемся силами», — говорили ирландские солдаты Иакова II после поражения при Бойне. Этим они, быть может, хотели сказать, что даже военное искусство зависит от дела, во имя которого сражаются люди, от содержания и направления их деятельности (или, если хотите, от их мировоззрения, идеологии).

С другой стороны, преимущества самого передового направления могут быть сведены к нулю, если оно для вас только абстракция, система слов, если это направление не прошло через вашу личность, не в крови у вас, как писал Белинский, а только на устах. Путь от абстрактного к конкретному велик и сложен. Он охватывает множество ступеней и типов, исторических и личных, культурных и нравственных... Неподражаемы такие люди, как Ленин, представляющие самое передовое направление своей эпохи, и представляющие его наиболее полно, конкретно, действительно.

В лице Толстого перед нами сложная фигура. Но если направление его деятельности противоречиво, как само развитие революционного движения «серого народа» в России, то исторический размах этого движения и та энергия, с которой русская литература в лице Толстого обратилась к ве-

ликой народной драме, делают смешными всякие попытки мерить идеи и образы великого писателя школьной меркой. «Всякому свое» — и это свое у Толстого не только в основе своей хорошо, умно и верно, несмотря на все его заблуждения, но и в самом деле «свое», то есть сказано человеком, который не знает, что такое игра в идеи, сказано с полной конкретностью и силой убеждения.

Вот почему сказанное им нельзя заменить ничем и никакое даже действительное превосходство мысли следующих поколений, не говоря уже о простом чванстве, которое всегда отвратительно, не может ослабить значение этого дара. Толстой знал меньше нашего поколения, но то, что он мог знать, он знал крепко, не только в форме готовых выводов, но только в абстракции. Он знал это умом простого мужика, имеющего тысячелетний запас наблюдений, народной мудрости, горького опыта. Если бы каждый из нас владел величайшими идеями современности — идеями коммунизма — с такой глубиной и конкретностью, сколько задач было бы решено! Недаром Ленин, особенно в послереволюционный период своей деятельности, подчеркивал, что путь от усвоения общих выводов коммунизма до претворения их в плоть и кровь, до превращения их в дело привычки миллионов, дело культуры, народного обычая, моральной силы есть содержание целой исторической эпохи.

Итак, несмотря на все примеры И. Видмара, основой искусства, как и науки, является истина (а потому и мысль), но истину нельзя мерить аршином, она конкретна и сердце ее в самой действительности. Главный порок рассуждений И. Видмара состоит в том, что он сводит мысль к абстракции, а все, что не укладывается в эти узкие рамки, начинает отгораживать от разума или вовсе объявляет иррациональным. Так отгораживаются от разума чувственные впечатления и эмоции, которые все же имеют свое содержание, доступное мысли. Природа этого содержания состоит не в том, что оно враждебно разуму, а в том, что оно действительно. И. Видмар смешивает эти понятия. Живые формы действительности, изменчивые и текучие, стройные и пронизанные светом или более запутанные и угрожающие, но в конце концов открытые для нашего понимания, как книга, написанная на родном языке, представляются ему хаосом темных сил.

Отступая из мира явлений искусства в

область философии, он создает новую ситуацию. Здесь открываются такие виды на его собственное мировоззрение, что всякие уговоры просто смешны. Скорее Дунай потечет обратно, чем автор статьи в журнале «Наша содобност» поймет основы марксистской критики,— пока сей автор будет стоять на тех философских позициях, которые изложены им в этой статье.

Речь идет о современном идеализме, идеализме в смысле двадцатого века — со всеми признаками отрицания роли разума и обращения к тайнам иррациональных начал. Такое мировоззрение, безусловно, опасно и вредно для искусства.

4

Не следует, конечно, преувеличивать современность философских взглядов И. Видмара. С точки зрения западной философии последнего образца, их можно даже считать отсталыми по крайней мере лет на тридцать—сорок. И. Видмар — модернист старого закала. В годы его молодости, а это были годы молодости нашего столетия, мировоззрение западного человечества или, говоря более реальным языком, господствующая идеология буржуазного общества вступила в период кризиса, брожения, поисков новых, более сложных иллюзий, которые помогают людям оправдывать свое обеспеченное существование, свое господство над другими людьми. Мы знаем, что этот язык не по душе И. Видмару (он даже презрительно называет его «жаргоном»), но, взявшись за разработку сюжетов, имеющих отношение к марксизму, он должен терпеть.

Итак, в первые десятилетия нашего века моральный климат Западной Европы и Америки начал меняться. Повеяло сыростью, гнилыми испарениями старых идей, которые быстро разлагались под жарким дыханием наступающей эпохи войн и революций. Сначала это были только предчувствия, темное ощущение исчерпанности всех идеалов буржуазного строя, его претензий на естественность и разумность, его стихийного жизненного порыва, *élan vital*, по терминологии Бергсона. На этой почве среди буржуазной публики получила широкое распространение модная философия, представленная миру как мудрость живого человека, уставшего от механической цивилизации, книжной учености, мещанской морали и выродившегося в эпигонство класси-

ческого искусства. Для буржуазного сознания упадок капитализма превратился в трагедию культуры.

Грехи общества были возложены на чрезмерное развитие интеллекта, задачи времени сведены к освобождению эмоций от гнета разума и цензуры общественных норм. На смену трезвому буржуазному рассудку прежних времен пришел культ непосредственных переживаний, первобытных жизненных сил, личной оригинальности, дионисического экстаза. Новая моральная эпидемия поразила умы «образованных людей» — погоня за свежими впечатлениями, боязнь повторения, скуки, возбуждаемой общими понятиями и всякой определенностью форм. Модный в начале века американский профессор Вильям Джеймс сравнил традиционные идеи философии с курортным пансионом, в котором нельзя получить отдельной спальни. Историк импрессионизма Рихард Гаман сообщает, что в годы его молодости среди буржуазной интеллигенции было модно не иметь постоянной квартиры и жить в отелях.

Эта моральная эпидемия получила название «философии жизни»; так, по крайней мере, ее называют немецкие авторы, а за ними и прочие. Все основные черты этой философии развились еще в XIX веке, но самый большой успех и, можно сказать, серийное распространение она получила накануне первой мировой войны и в годы, непосредственно следующие за ней. Университетским чиновникам пришлось потесниться, настало время красноречивых риторов, писавших в духе Ницше и Бергсона. Позднее устами графа Кайзерлинга сама философия была объявлена искусством.

Более проникательные умы среди буржуазной интеллигенции давно открыли, что лихорадочное возбуждение философии жизни было признаком слабости жизненных сил, а не здоровья (об этом писал, например, Макс Шелер). Однако новая философия родилась в горячее время истории, когда из всякой плесени может возникнуть опасная зараза. Сошлемся на такого свидетеля, как Бертран Рассел. Он говорит о настроениях, родственных философии Бергсона: «Виталист по темпераменту — неактивный человек с романтическим восхищением перед действием. Накануне 1914 года мир был полон таких людей. В основе их темперамента лежали пресыщенность и скептицизм, откуда страсть к возбуждению и поиски иррациональной веры, веры, которую они

наконец нашли в убеждении, что их задача — заставить людей убивать друг друга. Однако в 1907 году они еще не имели такой разрядки, и Бергсон дал им нечто взамен»¹.

В этих словах англичанина Рэссела, принадлежащего к другому направлению современной западной мысли, есть доля правды, и немалая. Активный тон философии жизни, ее полемика против старых канонов и норм, поиски «здорового варварства», шероховатой поверхности вещей (в модернистской поэзии и живописи) — все это по своему отвечало общему повороту буржуазии от демократии к насилию, от пацифизма к войне, от старой, «честной» коммерции к спекулятивной горячке и хищной борьбе за раздел добычи между монополиями. Догмой сухого рассудка были объявлены прежде всего демократическая и социалистическая традиции XIX века. Открылась та роковая дорожка, которая вела от философии жизни к расовой политике, мифологии крови и почвы — к фашизму во всех его разновидностях.

Такие выводы, конечно, вовсе не обязательны. Философия жизни уживается и с либеральной оппозицией против фашизма, в лице, например, Бенедетто Кроче. Среди ее наиболее видных представителей были Вальтер Ратенау и Теодор Лессинг, убитые немецкими фашистами. Да и сам Бергсон умер при тяжелых обстоятельствах, во время гитлеровской оккупации Франции. До первой мировой войны философия жизни имела большое распространение в анархо-синдикалистских течениях. Примером могут служить идеи Жоржа Сореля или у нас в России — «философия живого опыта» А. Богданова и его последователей. Идеи этого направления могут принимать социологические, «классовые», почти-марксистские формы. Они, наконец, имели большое влияние на художественную литературу декадентской поры, и даже такие люди, как Александр Блок, не избежали подобных соблазнов мысли.

Успеху этой популярной волны иррационализма способствовала его подкупающая внешность, его — на первый взгляд — едва ли не революционная проповедь раскрепощения чувств и возвращения к подлинному сердцу жизни, обманутому лицемерными фразами буржуазной цивилизации. Для

многих такие настроения могли служить ступенькой к более глубокому и верному пониманию содержания нашей эпохи. Но все это не изменяет основного факта. Несмотря на двусмысленность внешних признаков и разнообразие течений, охватываемых понятием «философия жизни», ее действительное существо несет на себе печать буржуазного происхождения и остается в конце концов реакционным.

Вследствие недостаточного знакомства с литературной деятельностью И. Видмара (в чем нам приходится винить только самих себя, ибо это имя принадлежит известному литератору), мы не можем сказать, какое направление философии жизни является источником его эстетической теории. Возможно, что он заслужил рыцарские шпоры под знаменем Бергсона или Зиммеля. Другие черты его литературных взглядов напоминают школу Дильтея, особенно в том ответвлении ее, которое связано с именем Гундольфа — влиятельного немецкого историка литературы, умершего в 1931 году. Есть основание думать, что И. Видмар начитался Т. С. Элиота, хотя общая тенденция этого английского автора, его оценка роли интеллекта в поэзии — другая, более «современная». Биологический оттенок рассуждений нашего автора заставляет вспомнить Ницше и Клагеса. А может быть, и так: его философия просто свод популярных мнений, вошедших в повседневный обиход философской литературы двадцатого века. Самое забавное — это поза оригинальности и превосходства, которую принимает Иосип Видмар, произнося свои избитые, напыщенные фразы в стиле модерн. Если говорить о жаргоне, то вся эта декадентская словесность не первой свежести, конечно, больше всего заслуживает такой оценки.

Лев Толстой сказал однажды В. Г. Черткову, что самое важное в литературе — это отношение писателя к жизни. И. Видмару понравились слова Толстого, приведенные в нашей статье, и вот какую музыку он сочиняет на эти слова. «В моем представлении отношение к жизни есть основное жизненное настроение, вытекающее из всей психофизической природы данного человеческого существа как целостная результат всех его непосредственных и естественных реакций на жизнь и все ее явления. Оно дано человеку вместе с его физиологической природой, так сказать, а priori; в ходе жизни в него вливаются все новые и

¹ „Philosophy in the Twentieth Century“, впервые напечатано в 1924 году. Цит. по „Twentieth Century Philosophy“, ed. by Dagobert Runes, 1943, стр. 503—506.

новые эмоциональные и логические элементы, ассимилируемые им, развивающие и обогащающие его, но не способные изменить его основу. Целое этого основного, длительно действующего жизненного настроения по своему психологическому характеру прежде всего чувственно, или эмоционально. В зеркале этого элемента каждый предмет, каждый факт приобретает единственный в своем роде, совершенно личный характер и новое, неповторимое освещение, какое можно найти только в картинах жизни, созданных художниками. Поскольку этот эмоциональный элемент в психологическом процессе действует непосредственно и действует в первую очередь, поскольку это самый точный реагент, который в согласии с природой личности реагирует на мир в целом и на всякую деталь его, он является единственно возможным, подлинным и существенным органом для создания воплощенных определенной индивидуальностью картин жизни, называемых искусством».

Легко себе представить ироническую улыбку Ленина, его возмущенное «Уф!» на полях статьи Иосипа Видмара.

У каждого человека есть свое «отношение к жизни». Это так, хотя иногда кажется, что у каждого человека не одно, а множество отношений к жизни, будто в нем сидят разные люди. Читайте Монтеня. Если бы все зависело только от задатков, полученных нами при рождении, то постоянство личности было бы фикцией, настолько разнообразны возможности, заложенные в каждом человеке. Но человек становится тем, что он есть, в ходе своего личного и общественного развития. Он становится чем-то определенным, хотя до последнего дыхания истина «познай самого себя» стоит ему многих хлопот. При этом убеждения принадлежат его личности отнюдь не меньше, чем эмоции, если это настоящие убеждения, а не система слов, принятых внешне или ради карьеры. Дешевые эмоции могут быть так же фальшивы, как и дешевые убеждения,— здесь нет никакой разницы. Однако спорить об этом с Видмаром, ссылаясь на факты психологии и общественной жизни, мы не станем, так как излагаемая им теория не имеет прямого отношения к более частным вопросам о наследственности, приобретенных свойствах и т. д. В данном случае перед нами чисто философская поэма, и ее нужно оценивать по всем правилам этого искусства.

Итак, существует исконное, биологически

данное жизненное настроение, присущее определенной личности,— все остальное носит вторичный и преходящий характер. «Мир в целом» упоминается в рассуждениях Видмара, но роль его невелика. Он служит только раздражителем для подъема основного жизненного настроения, присущего данному существу. Основное настроение, или «отношение к жизни», не изменяется под влиянием внешней действительности или изменяется только в количественном отношении. С другой стороны, само это «отношение» сообщает всему окружающему миру неповторимо личный оттенок.

И. Видмар не хочет жить в общезнании и требует себе отдельный номер. Но как быть с объективным содержанием жизни природы и общества? Разве для нашего «отношения к жизни» не важно, что собой представляет сама жизнь? Ведь отношение не может быть одинаковым к хорошему и плохому, великому и малому. Если же все измерения зависят только от самого субъекта, то «отношение к жизни» превращается в отношение к собственной личности.

Действительная жизнь имеет общие черты, общие не только для всех людей, но и совершенно независимо от них,— общие закономерности и формы бытия, типы и отношения, роды и виды, условия их развития и классификации. Старая кантианская философия утверждала, что эти условия принадлежат субъекту — нашему созерцанию и мышлению, даны нам а priori, то есть до всякого опыта. При всей ее ложности, философия Канта и кантианцев (за исключением отчасти «баденской школы», сделавшей большие шаги в сторону иррационализма) не отвергала, а, наоборот, подчеркивала всеобщий характер процессов духовной жизни. У И. Видмара это не так. В полном согласии с более поздними буржуазными взглядами он признает только а priori тела, иррациональный голос «психофизической природы». Таким образом, условия познания окружающего мира теряют свой всеобщий характер — они связаны только с биологической длительностью индивида, с его нутром.

И. Видмар играет словами, говоря об «отношении к жизни». На самом деле его философия уходит от жизни гораздо дальше, чем любая прежняя форма идеализма. Действительная жизнь природы и общества, существующая независимо от нас и определяющая наше отношение к ней, полностью растворилась во всяких «реагенсах». Для

И. Видмара «отношение к жизни» это и есть сама жизнь или, по крайней мере, жизнь в ее высшей форме — как «основное жизненное настроение» неповторимой личности.

Необходимо сообщить читателю, что наш автор не хочет прослыть «ликвидатором мысли». Он защищается от подобных обвинений. Но посмотрите, какую роль его философия уделяет мышлению. На каждой странице своей статьи он не устает объяснять, что непосредственное, немслящее «отношение к жизни» имеет громадное преимущество перед разумом. Речь идет о двух разных органах, утверждает Видмар, занимая эту терминологию из плохо понятого Гёте. «Отношение к жизни» есть орган, заслуживающий доверия, — «самый точный реагенс». Напротив, орган, производящий мысли, — это источник всяческих заблуждений и беспорядков. В искусстве, например, «механические и прочие ухищрения, разумеется, исключительно дело мысли». Да и за пределами художественного творчества роль мышления является сомнительной.

Во-первых, разум со своим анализом приходит после «непосредственной реакции» нашего существа на узнавание предметов и событий». Во-вторых, в отличие от эмоциональных движений, которые всегда индивидуальны и неповторимы, «мысль по своей природе безлична, всеобща и тяготеет к обобщениям и абстракциям». И это еще не все. «Наш чувственный реагенс в каждом своем акте присутствует весь, и присутствует как целое; мысль же строится и развивается, и путь от простейшего познания до мировоззрения запутан и полон опасностей, которых нелегко избежать при наших ограниченных возможностях в любое время; да, каждое новое время приносит с собой все новые и новые возможности для новых и новых ошибок и заблуждений. Что же касается «отношения к жизни», то здесь попросу бессмысленно говорить о заблуждениях и ошибках. Это отношение — реальный факт, кусок действительности, так же, как камень, цветущее дерево, как индивид, неповторимость которого выражается в этом отношении».

Вот почему И. Видмар проводит резкую грань между убеждениями писателя и его отношением к жизни. Он объясняет, что никоим образом нельзя смешивать эти понятия. Убеждения — дело сознательной мысли с ее абстракциями и обобще-

ниями. Все убеждения относительны, зависят от условий места и времени, связаны с политикой, подлежат суду и следствию с точки зрения истины, прогресса и т. п. Что касается отношения к жизни, то оно не знает таких опасностей. Как непосредственное выражение натуры писателя оно, безусловно, и стоит по ту сторону добра и зла.

Из этих параллелей между «чувственным реагенсом» и мышлением следует, что последнее приносит больше вреда, чем пользы, особенно в искусстве. Справедливость требует отметить, что И. Видмар не ставит вопроса о ликвидации мысли на основе сплошной неповторимости наших чувственных реагенсов. Он только подчиняет ее «основному жизненному настроению». Мысль может играть важную роль даже в художественном творчестве, если она знает свое место. «Она призвана осознать, может быть обобщать и в своем роде формировать то, что в подобиях и видениях говорит художнику его отношение к жизни».

Отсюда ясны пределы компетенции мышления. Его задача чисто формальная. Дело мысли — привести в порядок поток непосредственных жизненных ощущений, текущих из основного органа — «отношения к жизни», данного нам а priori, то есть до всякого соприкосновения с внешним миром. Сознание, в глазах И. Видмара, есть достижение ясности, мысль есть классификация непосредственных эмоций, а мировоззрение он определяет как «осознанную, логически построенную систему мыслей». Было бы неправильно обвинять И. Видмара в непонимании полезной роли таких систем. Но разница, с его точки зрения, заключается в том, что «отношение к жизни» дает нам что-то настоящее, первичное и безусловное, а мысль представляет собой только внешнее орудие человека с ограниченной сферой действия. Она замкнута в пределах субъективного «отношения к жизни», не имеет выхода в мир действительный.

И это орудие нужно держать в узде, иначе оно может вырваться, и дело дойдет до кризиса. Мысль стремится к самостоятельности, она угрожает жизни. Такая претензия растет по мере того, как наше мышление приобретает ясность, становится чем-то законченным и целым. И. Видмар пишет: «Мысль, которая своим абстрактным путем пришла к каким-то заключениям, — может быть, даже к целостной картине мира, называемой мировоззрением, — приобретает тем большее стремление высказаться от

своего собственного имени, чем более она завершена». Тут, можно сказать, возникает опасность бюрократизма мысли.

Теперь понятно, почему И. Видмар обратился к статьям В. И. Ленина о Толстом. В противоречиях Толстого, так ярко раскрытых Лениным, он думал найти подтверждение своей философской сказке о «борьбе двух сил». Силы эти — жизнь и мышление. Мысль убивает все живое, но приходит неповторимая личность художника и, как святой Георгий, бьется с драконом, пока древо жизни, засушенное было мертвым дыханием мысли, не зацветает вновь перед изумленными взорами людей. Поле боя является искусство. Толстой, великий художник, в котором кипят невиданные жизненные силы, способен одолеть свою собственную склонность к системе, мировоззрению. У более слабых борцов мировоззрение побеждает жизнь. «Когда в искусстве возобладает идея или мировоззрение, как это было описано, то получается не чудо, а сухие резоны, независимо от того, правильна ли эта идея сама по себе или нет».

Просим прощения за то, что в приведенной цитате слова «идея» и «мировоззрение» употребляются как равнозначные, но это написано самим Видмаром. Мы дали возможность читателю насладиться системой взглядов нашего автора в ее первобытном виде. Миф о борьбе двух сил — жизни и духа, эмоций и мышления — является любимой темой современной буржуазной философии. Одно из популярных сочинений на эту тему называется «Дух как антагонист души», другое носит не менее выразительное название — «Земля как жертва духа». И. Видмар пересказывает нам эту современную мифологию, и он не может сердиться на нас за то, что мы относимся к его сказаниям с полным недоверием. В самом деле, ездят ли ведьмы на метле?

5

Теперь перейдем к самому важному пункту наших разногласий. Нужно, чтобы читатель понял главное содержание этого спора. Не следует думать, что одна из спорящих сторон больше подчеркивает эмоциональный, чувственный характер искусства, а другая приближает его к абстрактной мысли. Это было бы совершенно неправильным пониманием сути дела, выгодным нашему противнику и сеющим иллюзии среди малых

сих, способных обольщаться такими иллюзиями.

Кто не знает, что отличительной особенностью художественного творчества являются живые, наглядные образы, волнующие человеческое сердце, тогда как труд мыслителя выражается в понятиях и силлогизмах (хотя научная мысль также способна вызывать эмоции, а образы искусства заставляют думать)? Трудно сочинить такую вздорную теорию, в которой не сохранились бы остатки реальности. Нечто подобное брезжит и в рассуждениях И. Видмара о различии между двумя «органами». Известно также, что абстрактное мышление может утратить связь с действительной жизнью (как, впрочем, и фантазия художника). Еще более известно, что холодный рассудок губит свежесть непосредственного чувства в поэзии, а писатель может испортить свое произведение, если он становится резонером. Все это верно: единожды один — один. Тут и спорить нечего, и если бы наш неповторимый автор хотел напомнить нам эти общеизвестные истины, то мы из вежливости постарались бы выслушать его со вниманием, хотя выслушивать такие истины бывает скучно. Но дело не в этом и совсем не в этом.

Дело в том особом повороте, который эти невинные истины получают в современной «философии жизни». По учению И. Видмара (если можно так выразиться), непосредственное отношение к жизни, строго обособленное от мышления, становится неменяемым и безответственным, ибо оно само есть кусок жизни, реальный факт. Тут невозможно говорить об ошибках и заблуждениях, как не может ошибиться «камень, цветущее дерево или индивид». И. Видмар постоянно возвращается к этой любимой теме — она представляется ему чрезвычайно богатой содержанием. «Для человека, чувствующего искусство, художник — это человек, который, увидев цветущее дерево или извержение вулкана, может словами достичь того, что дерево зацветает во мне и стихийную катастрофу я могу ощутить всеми своими чувствами, нервами и внутренними органами. Где же мерилла для этой способности? Вопрос об истине или лжи перед лицом этого дара, или «чуда искусства», попросту лишен всякого смысла. Как подступиться с этим мерилом к стольким изумительным толстовским эпизодам на лоне природы, к блестящему и привлекательному образу Анны Карениной

или мрачной и дико-могучей картине смерти какого-нибудь Хаджи-Мурата, полной первобытной, беспримерной поэзии жизни и смерти?»

Как подступиться к образам Толстого, мы пытались по мере сил объяснить в прошлой статье. И. Видмар пропустил наши примеры мимо ушей и снова зарядил свою пушку дико-могучими картинками и первобытной поэзией. Видимо, нет никакой надежды убедить его, даже если бы нам удалось показать, что образ Анны Карениной «поддается измерению рациональными мериллами». Поэтому вернемся к философии.

Допустим, что художник хочет изобразить цветущее дерево. Если это талантливый художник, то он сумеет достигнуть своей цели, и дерево, по выражению И. Видмара, «зацветет во мне». Здесь-то и возникает вопрос: должен ли я отличать то дерево, которое цветет во мне, от другого дерева, которое цветет на самом деле, то есть в саду? Похоже ли первое дерево на второе, и можно ли сравнить изображение с оригиналом с точки зрения истины и лжи?

По мнению И. Видмара, дерево, цветущее во мне, не может быть истинным или ложным изображением дерева, цветущего в саду, так как первое дерево вообще не является изображением второго. Образ дерева есть продукт «основного жизненного настроения» художника, а это настроение само по себе — «реальный факт, кусок действительности, как камень, цветущее дерево или индивид». Словом, два цветущих дерева сливаются в одно.

Если тонкий слух И. Видмара уже привык к нашему жаргону, то мы позволим себе сказать, что его позиция есть чистейший идеализм. В прежние времена идеализм при помощи некоторых ухищрений старался сохранить «рациональные мерилла» — задача нелегкая, ибо такие мерилла возможны только при наличии определенной разницы между субъектом и объектом. Если эта разница существует, то субъективный образ предмета можно сравнить с его оригиналом, чтобы установить верность отображения. Если же талер в уме и талер в кармане есть одно и то же, то «рациональным мериллам», конечно, делать нечего. Современный идеализм охотно признает этот факт и обращается к стихии иррациональных начал.

Правда, И. Видмар пользуется такими понятиями, как «отражение», но, при его общем взгляде на духовный мир художника,

это игра слов, не более. Ведь именно отражение действительности, которое может быть близким к оригиналу или далеким от него, похожим или не похожим на жизнь, истинным или ложным, не является, с точки зрения Видмара, естественным свойством искусства. В его эстетике речь идет о другом. Здесь образы искусства — не отражение внешней действительности, а скорее выражение жизненной силы или основного жизненного настроения, вытекающего из природы художника. Они не могут быть правдивы или ложны в смысле верности заключенной в них картины общественных отношений и окружающей природы. Эти образы — вне таких критериев, они сами по себе «куски действительности», явления жизни, и только.

Иногда круг расширяется до общественной ситуации, как это допускает И. Видмар по отношению к Толстому в своей первой статье. Для философии жизни не составляет никакого затруднения признать, что художник выражает свою эпоху. Существует родственное этой философии течение буржуазной мысли (так называемая «социология знания»), которое широко пользуется понятием класса и классово-идеологии. Общество или природа служит материалом для выводов современного иррационализма — это не важно. Важно то, что при этом речь идет о таком понимании сознания, которое лишает его основного признака — сознательности и делает его чисто стихийным процессом, подобным цветению дерева, движению камня, ночным видениям больного или юрисдикции князя из пьесы Сухово-Кобылина, известного тем, что он решал дела в зависимости от действия содовой на его желудок.

Очень важно и в высшей степени поучительно — там, где современный ревизионизм касается более общих вопросов, он неизбежно открывает поход против материалистической теории отражения. В чем смысл этой атаки с точки зрения общественной борьбы, мы скажем в конце статьи. А пока нам остается напомнить читателю, что духовный мир человека — не простой продукт его биологической и социальной жизни. Сознание представляет собой нечто большее — оно является зеркалом объективного мира. Именно это обстоятельство делает человека вменяемым существом, ответственным за свои помыслы и деяния, совершаемые им в процессе исторической практики, которая связывает воедино обе стороны духовного

процесса, побуждая людей занимать ту или другую сознательную позицию. А эта позиция, разумеется, приносит им много опасностей и беспокойства, ибо она немедленно подлежит суду с точки зрения «рациональных мерил», то есть правды познания и правды общественной (борьбы классов и партий).

В прежние времена критики марксизма выступали против него с точки зрения вечных истин разума, добра и красоты. Это был язык буржуазной демократии, давно превратившийся в либеральное красноречие. В наше время критика марксизма направлена главным образом против его доверия к «рациональным мерилам». Это язык современной буржуазии, утратившей веру в объективное содержание духовной жизни и отравляющей своим идейным распадом всю общественную психологию. Таково происхождение болезни, которая одолела и Иосипа Видмара.

Его эстетика представляет собой типичное для новейшей буржуазной философии, для модернистской поэзии и живописи бегство из сознания. Мысль ощущается как проклятие, слепая жизнь камня, дерева, человеческого тела — как идеал бытия, свободное от ответственности перед истиной, общественным долгом и прочими инстанциями, ведающими сознательной деятельностью человека. Психологически, с точки зрения социальных процессов двадцатого столетия, это, пожалуй, можно объяснить, но поздравить с таким настроением никого нельзя.

Вернемся, однако, к вопросу о «мерилах», применяемых литературной критикой. По мнению И. Видмара, духовный мир каждого человека в последнем счете определяется «отношением к жизни» данной неповторимой личности, а это «отношение» есть самостоятельный орган высшего порядка — его показания безусловны. Но вот вопрос: существуют ли разные степени напряжения этого органа и, соответственно, разные степени доверия к его показаниям? Этот вопрос Видмар оставляет в тени. Между тем ему, вероятно, приходилось встречать немало людей с очень бессодержательным «отношением к жизни». Не все люди, умеющие держать перо, способны заставить дерево расцвести во мне. Существует громадная разница между гениальным автором «Крейцеровой сонаты» и бездарным графоманом, осаждающим читателя своими претензиями на творчество. Тем не менее каждый гра-

фоман является неповторимой личностью. Он также имеет право на собственное «отношение к жизни» и желает выразить его в стихах или прозе. Как быть? Видимо, показания вышеозначенного «органа», при всей их непосредственности, не столь безусловны, как утверждает И. Видмар.

Последовательное применение его теории приводит к абсурду. Если все дело в неповторимости «основного жизненного настроения» художника, то гоголевский Фемистоклос рисует не хуже Леонардо. Каждая личность неповторима, однако неповторимость бывает разная. Своеобразие личного стиля Леонардо тесно связано с известными чертами реальности, впервые указанными его рукой. И мы называем улыбку женщины «леонардовской», если она действительно такова. У гениального художника все неповторимое в нем наполнено объективным содержанием, поэтому оно и обладает для нас бесконечной ценностью. И. Видмару не приходит в голову, что, воздавая хвалу гениальности Толстого, он становится на почву сравнения, а всякое сравнение предполагает наличие «рациональных мерил».

Если условием подлинного искусства является правдивость образов художника, если мерой его таланта может служить степень приближения этих образов к действительности во всей полноте и многообразии ее сторон, во всем богатстве ее передового развития, то сравнение между творчеством двух неповторимых личностей возможно, и превосходство образов Толстого над бледным созданием графомана приобретает некоторую измеримость. Без этого тысячи бездарных авторов так же хороши, как гениальный писатель. Выходит удивительная история — только «рациональные мерила» являются до некоторой степени гарантией исключительности гения. Мы не знаем, как перенесет такое известие И. Видмар. Ведь для него это все равно, что часовой с автоматом возле «Моны Лизы» Леонардо.

И все же его собственная теория также допускает некоторые меры строгости и пресечения. В своем последовательном развитии принцип иррациональности исключает сравнительную оценку неповторимых творческих личностей. Однако некоторое годование общего мерила в теории И. Видмара содержится. По смыслу этой теории, чем свободнее «основное жизненное настроение» от «ментального элемента», то есть от вмешательства мысли, тем чище и сильнее

звучит неповторимый голос художника. Отсюда обилие таких эпитетов, как «первобытный», «беспримерный», «исключительный» и т. п. На этой почве может возникнуть целая иерархия первобытности и неповторимости. Одни люди более первобытны, другие поддаются слабости, известной под именем мышления. Вот вам и общий критерий. Не всякий может быть таким беспримерным, как Толстой, но «быть беспримерным» становится чем-то вроде обязательной нормы. Как видит читатель, во имя этой теории также можно поставить часового к «Моне Лизе». Разница только в том, что требование жизненной правды, внушаемое теорией «рациональных мерил», будет при всех обстоятельствах полезно для развития художественного творчества, а требование беспримерности может привести только к пустой рефлексии и модничанию. По той шкале эстетических ценностей, которая содержится в теории И. Видмара, Лев Толстой едва ли займет одно из первых мест. В соревновании на беспримерность лавры достанутся скорее какому-нибудь искателю невиданных литературных форм.

6

Итак, главное содержание позиции И. Видмара заключается в том, что он не признает способности человеческого сознания быть «органом» объективной истины. Отсюда частный случай: мерило истины неприменимо к образам искусства. Значит, образы эти не образы-картины внешней действительности, а символы внутренней жизни художника. «Отношение к жизни», лежащее в основе образной ткани, есть нечто принципиально отличное от мысли, мировоззрения, системы философских и политических взглядов. Все существо, все главное в художественном произведении — вне мышления и не может быть измерено понятием истины. Последняя есть достояние времени, ограниченных и преходящих условий исторического развития, она относительна и условна.

Если так, то и в самом мышлении нет места для истины в подлинном смысле слова. Мы уже говорили о том, что задача мысли, с точки зрения Видмара, чисто формальная — приведение в порядок материала, созданного деятельностью «основного жизненного настроения». Все системы разума условны и преходящи; никакого объективного содержания в них нет, как

об этом повествует сам автор. Слово «истина» он произносит с презрительной улыбкой. «Истина и неистина? Какая истина? Какая истина до сих пор оставалась истинной дольше, чем на несколько эпизодов в жизни человечества?»

Увы, нас лишают последней надежды Безжалостной рукой И. Видмар сорвал покрывало Изиды, и мы увидели... Увидели, что спорить с этим югославским товарищем по вопросу, касающимся марксистской философии, это все равно, что спорить с глухим о музыке. Сначала нужно лечить его от глухоты, а это — дело длинное.

Автор статьи в журнале «Наша содобрность» — законченный представитель современного релятивизма, типичного для буржуазной «философии жизни». С этой гочки зрения, вся история человеческого сознания превращается в ряд мифологических картин, выражающих разные жизненные ситуации, безусловно относительных, одинаково истинных и, следовательно, одинаково ложных.

Трудно найти слова, чтобы выразить всю глубину пропасти, отделяющей эту теорию от марксизма, а потому и уговаривать И. Видмара неловко, пожалуй даже смешно. Лишь одно замечание можно себе позволить. Если все критяне лгут, то лжет и тот критянин, который сделал это открытие. На каком основании мы должны верить И. Видмару, если сам он говорит, что все истины пригодны только для эпизодов? Его собственная теория не может быть исключением. Значит, дела истины не так плохи, как он нам сказал.

Нет, положительно И. Видмару не везет. Зачем пустился он в логические рассуждения? Ведь сказано, что «ментальный элемент» до добра не доводит. Таковы современные мистики — скажут, что думать вредно, и продолжают писать статьи. В прежние времена, когда слово и дело не расходились так далеко, И. Видмар давно бы вырыл себе пещеру в пустыне Фиваиды и предавался «неповторимому контакту с великой природой».

Но мы не хотим унижить почтенного автора, изобразив его немывтым отшельником или Пилатом, умывающим руки (этот римский карьерист и скептик также спрашивал: «Что есть истина?»). Нужно признать, что позиция нашего противника не лишена благостной, подкупающей внешности. Она немного напоминает «революционный романтизм» французского ревизиониста Ле-

февра и другие примеры фальшивой гуманистической риторики, в которой благородство чувств ставится выше правды содержания. И. Видмар вовсе не против стремления к истине, он не отрицает того, что поиски истины могут способствовать великим художественным достижениям. Но только поиски истины, а не сама истина.

Согласно его теории художник создает образы, полные первобытной поэзии, и эти образы, как мы уже знаем, не подлежат суду с точки зрения рациональных начал. «Разумеется, — продолжает автор, — художник остается при этом человеком, говорящим о делах человеческих, обладающим человеческими стремлениями и, как человек, ищущим свою истину. В этих пределах он подвержен опасности ошибок и заблуждений, как все мы. Но это неважно. Важно нечто другое. Важна страсть его сердца к истине и добру или, если прибегнуть к выражению Лифшица, заинтересованность в них». Читатель помнит, что И. Видмар сочинил это «выражение Лифшица», но послушаем до конца: «Важны богатство и сила его внутренней жизни, его благородство, полнота и размах его мысли, ибо в заинтересованности в истине и в размахе его мысли — значительность последней. Важно разумное благородство его усилий и мук, его пафоса и отчаяния. Важны широта его взгляда и димензии его души».

Отсюда видно, что И. Видмар высоко ставит «морально-эмоциональный момент», «заключенный в стремлении к истине, но весьма низко расценивает результаты этого стремления. У каждого своя, особая истина. Общезначимую и безусловную ценность имеет только добрая воля, которая проявляется в погоне за этой фата-морганой, своего рода воля к вере, ибо мы никогда не можем сказать, что знаем предмет наших стремлений, — ведь знание предполагает наличие объективной истины. А так как истин много и все они особые, то критерием оценки становится заинтересованность, страсть, размах, пафос в защите своей позиции, независимо от ее содержания. Измеряется не содержание этой позиции, а ее субъективный накал. Вот почему, с точки зрения И. Видмара, нужно говорить о «значительности» идей писателя, а не о правильности их.

Вышеизложенная теория вполне совпадает с обычным для современной буржуазной философии лжеучением, согласно кото-

рому все человеческие идеи, особенно в социальной области, суть мифы, но стремление к ним благородно и прекрасно. Цель — ничто, движение — все. Формула эта известна еще со времен Бернштейна. Обращает на себя внимание и другая возможная параллель. Странно, даже удивительно: с некоторых пор в Югославии слово «прагматизм» стало ругательным выражением, которое применяется к идеологии коммунистических партий других стран, между тем теория, подобные вышеизложенной, ничем не отличаются от американского прагматизма.

Взгляды И. Видмара могут служить школьным примером идеалистической философии современного типа. Они изложены достаточно ясно, без уклончивой эклектики и марксистской фразеологии, которая иногда служит прикрытием для подобных взглядов. Но этим, собственно, исчерпываются их достоинства. Спорить с И. Видмаром по философским вопросам — значит излагать азбучные истины материалистического понимания мира. При всем уважении к почтенному автору и его должности писать специально для него было бы слишком большой роскошью. Читатель не любит повторения азбучных истин.

Заметим только, что всякий, кто приближается к точке зрения И. Видмара, становится жертвой безвыходных противоречий. Вместо истины, то есть верного отражения объективной действительности, здесь выступают другие мерила, а именно: «заинтересованность», «страсть к истине», «значительность мысли», «благородство» и т. д. Но откуда вы знаете, какую мысль следует считать значительной? Откуда известно, что наблюдаемая заинтересованность есть заинтересованность в истине, а не какая-нибудь блажь, вздор, напыщенность или даже реакционный фанатизм? Вспомните Торквемаду, который с такой страстью преследовал еретиков, что, по словам Льюренте, сжег не менее десяти тысяч человек.

Если «страсть к истине и добру» следует отличать от страсти сжигать еретиков, то существует объективная разница в содержании наших эмоций. При этом инквизитор может воображать о своем рвении все, что угодно, но мы-то с Иосифом Видмаром должны в конце концов знать истину и пользоваться ее мерилom? Иначе грош цена нашим оценкам. «Философия жизни» утверждает, что истины бывают разные, а заинтересованность есть черта, общая всем, кто стремится иметь определенную точку

зрения,— следовательно, она и должна быть критерием нашей оценки. На самом же деле заинтересованность также бывает разная, и для того, чтобы судить о ее содержании, нужно иметь объективный критерий истины.

Всякое сознательное мировоззрение вредно, всякая эмоциональная заинтересованность хороша, полагает И. Видмар. Почему? Теория есть дело расчета, а страсть — проявление благородства. Что ж, бывает и так, но бывает и наоборот — смотря по тому, как а я теория и как а я страсть. Тут все дело в содержании того и другого. Страсть Гарпагона, посылающего слугу продать старый хлам, чтобы на вырученные деньги выкупить сына, попавшего в плен к пиратам, вся состоит из мелких расчетов, хотя поистине она достигла громадных «дмнзний». Скупость, корыстолюбие, стремление сделать себе карьеру, тщеславие и дюжина других страстей, включая сюда и так называемые благородные страсти, выражаемые тройственной формулой: вино, женщины и карты, еще никого не сделали художником. А если И. Видмар сошлется на то, что любовь рождает поэтов, а вино согревает их, то придется напомнить нашему автору его собственные слова о «разумном благородстве» художника. Действительно, бывает и неразумное. Страсть шевалье де Грие к Манон Леско не лишена благородства, но едва ли вышеуказанный кавалер мог бы создать реалистическую повесть аббата Прево, в которой есть и сочувствие к этой страсти и еще кое-что в придачу. Вот это «кое-что», по всей вероятности, имел в виду И. Видмар, говоря о разумном благородстве художника. Но если благородство художника является в основе своей разумным, значит разум имеет доступ даже в область моральных и эстетических эмоций.

Нельзя смешивать два разных вопроса. Одно дело — какую форму имеет определенное содержание духовной жизни: рациональную или чувственную, сознательную или стихийную. Другое дело — существует ли вообще это содержание и доступно ли оно мышлению в понятиях. Чувственные впечатления, интересы, страсти, эмоции — все это имеет определенный смысл, не исключенный из сферы сознательного анализа (если в этом есть необходимость и если налицо соответствующий «орган» мышления). Когда крестьянин, услышав лай, выражает свое удивление словом «собака», он, по словам Спинозы, имеет в виду то же са-

мое, что Аристотель, делающий логическое заключение: «все, что лает, есть собака». Это общее содержание эмоции и мышления берется из самой действительности, и у каждого из нас оно другое, так как нет совершенно одинаковых положений в действительном мире, частью которого является сам человек. Но именно потому, что субъективная позиция бывает разная и «всякому свое», это свое подлежит разбору и оценке с точки зрения объективной истины. Здесь нет ничего обидного для непосредственной стороны нашего существа и нет никакого унижения для художественного творчества. Произведение искусства представляется нам естественным чудом именно потому, что в нем содержится много правды — больше, чем в отвлеченных представлениях, но не больше, чем в конкретном мышлении, способном выразить ту же правду в понятиях.

Переходя к общественной жизни, можно сказать, что и здесь заинтересованность бывает разная. Это относится и к различию между грубой заинтересованностью Мальтуса, искажающего выводы науки в угоду имущим классам, и «заинтересованностью в истине» Рикардо, который не знает другого возможного общества, кроме буржуазного, но готов пожертвовать интересами своего класса, если они приходят в противоречие с безграничным развитием производительных сил. Это относится и к партийности всякой идеологии. Материализм, писал Ленин в своем известном сочинении против Струве, включает в себя партийность. Он обязывает при всякой оценке событий становиться на сторону определенной общественной группы. Но именно м а т е р и а л и з м, а не что-нибудь другое. Без прочного материалистического основания признаваемая каждым марксистом активность субъекта превращается в иррациональный диктат, устраняющий главное свойство сознания — его способность быть зеркалом действительности. Забыть об этом — значит отказаться от ленинского наследия (что обычно бывает связано и с некоторой слабостью «морально-эмоционального комплекса»).

Правильно или неправильно наше мировоззрение — это неважно, гласит «философия жизни», слегка подкрашенная в социалистические тона. Важен субъективный накат, важно, чтобы мировоззрение было сильным, значительным, заинтересованным в известной системе идей. Нет, это не так. Раз-

ные бывают системы идей, разные общественные интересы, разные не только в смысле субъективной окраски, но и в смысле их исторического содержания. Наша позиция прежде всего должна быть правильной, отражающей действительное положение вещей в его революционном развитии. Такая позиция способна вызвать и подлинную страсть и «разумное благородство», которые в свою очередь способствуют успеху сознательной мысли. Говоря об активности субъекта в познании, мы имеем в виду социалистическую сознательность, партийную точку зрения коммунизма, а не право на ложь, представленное в виде таинственного «отношения к жизни» или особого «видения» художника, более важного в искусстве, чем идеи. Нельзя считать писателя специалистом по преломлению общих идей в субъективной призме. Для этого хорош и грешный язык обывателя, и празднословный и лукавый, не нужен «угль, пылающий огнем», вместо сердца.

Можно, конечно, пойти по другому пути, он ясно намечен в сомнительных рассуждениях И. Видмара. Можно признать, что всякая «заинтересованность» хороша, независимо от ее содержания, лишь бы она проявлялась достаточно сильно, с размахом. Но в таком случае гитлеровский гимн «Хорст Вессель» будет не хуже симфонии Бетховена, ибо в тупом энтузиазме нацистов сомневаться не приходится. На этом пути мы дойдем до полного релятивизма и полного исключения всех «рациональных мерил», так что нам останется только закрыть наш мозговой трест и предаться жвачке, подобно известной в древности свинье Пиррона.

Вот, собственно говоря, два возможных пути, открывающихся перед нашим витязем на распутье. Либо к признанию объективной истины, и тогда — прощай «философия жизни» со всеми ее стремлениями поставить заинтересованность выше правды, либо к полному абсурду и отказу от мышления. Едва открыв рот, чтобы рассуждать, вы уже признаете способность верного отражения действительности естественным свойством нашей головы. Не клеветайте на эту драгоценную способность или перестаньте рассуждать.

7

Если каждую систему идей нужно оценивать по ее действительному содержанию, то к системе идей Иосипа Видмара также сле-

дует применить это общее правило. Противоположность двух взглядов на природу искусства, столь ясно обозначенная в этом споре, ведет к более общей противоположности между теорией отражения Ленина и «философией жизни» современного иррационализма. Речь идет о самых серьезных вопросах мировоззрения.

В общих чертах это известно читателю. Однако частое повторение общих мест сделало его осторожным по отношению к литературе, излагающей философские вопросы. Признавая законный характер этой осторожности, нужно сказать, что в данном случае практическая важность таких вопросов слишком велика и слишком близка.

Несмотря на все заклинания буржуазной печати, «кризис марксизма» не существует. Учение Маркса и Ленина имеет глубокие корни в современной истории, любые трудности не остановят его развития. Но отношение к марксизму многих партий и течений, претендующих на близость к рабочему классу и демократической части населения буржуазных стран, действительно находится в состоянии кризиса. От догматического марксизма II Интернационала в настоящее время осталось очень мало. Его влияние в социалистических партиях Запада давно сменилось открытым походом против великих традиций рабочего класса. В связи с пересмотром программных документов в этих партиях сильно правое крыло добивается полного отказа от теоретических основ научного социализма, даже в терминологии. Роль образца играет при этом нео-реформистское течение лейбористов Стрэчи, Кросмена, Кросленда и других. Недалеко от того приюта муз, где пьет из источника жизни Иосип Видмар, особенно резкие голоса против марксизма раздаются из круга австрийских «культур-радикалов» — болтливой течения псевдосоциалистической интеллигенции, названного так левым социалистом Гиндельсом.

В центре спора — вопрос о том, является ли социализм мировоззрением и что такое мировоззрение вообще. Дискуссия на эту тему, идущая в социалистической печати Австрии и Западной Германии, имеет свои практические причины.

Дело в том, что реформистская политика так называемого «демократического социализма» при всей ее живучести рано или поздно ведет к поражению, что доказано опытом последних десятилетий. Неудовлет-

воренность этой политикой в массах — одна из самых важных причин подъема националистических и демохристианских партий. Не имея желанья отказаться от практического оппортунизма, наиболее тертые политики из числа социалистических вождей выбирают другой путь. Чтобы предотвратить возможное повторение событий тридцатых годов, они предлагают заимствовать некоторые сильно действующие средства социальной демагогии из арсенала более счастливых соперников — католической церкви и правых партий. Отсюда неожиданное внимание к пошлым фразам ничтожных «культур-радикалов», утверждающих, что своими поражениями в прошлом социал-демократия обязана не политике соглашения с буржуазией, а чрезмерной привязанности к марксистской традиции. Эта традиция будто бы ограничила сферу влияния социалистов, так как она привела к слишком высокой оценке материальных фактов и организационной силы в ущерб духовным интересам.

Более глубокой предпосылкой этих маневров является изменение роли средних слоев, особенно интеллигенции, в современном капиталистическом обществе, ее численный рост и постоянно растущее унижительное подчинение капиталу. Недовольство теми стеснениями, которые создает господство монополий для каждой отдельной личности, растление духовного труда и связанное с этим отвращение к его искусственным продуктам, к «манипуляции» человеческим сознанием посредством печати, кино, радио и рекламы — все это служит пищей для демагогии всех буржуазных партий, направленной в конце концов против коммунизма. Самое сильное оружие этой демагогии есть возбуждение страха перед властью организации, перед стерильным господством общих идей, исключающим стихийные движения личности. Проблема бюрократизма стала находкой для буржуазной пропаганды которая старается доказать, что эта опасность заложена в природе марксистского мировоззрения.

Вст почему сегодня такие вечные темы, как вопрос о существовании объективной истины и возможности применения к ней «рациональных мерил», выступают в очень ясной политической рамке. Идет ли речь о сочинениях английских неореформистов или о материалах съезда западногерманской социал-демократии, повсюду одна и та же черта — стремление доказать, что теория

научного социализма устарела, и устарела именно потому, что она выдвигает свой идеал как объективную истину, основанную на знании необходимого развития экономических фактов. Обычные обвинения против марксистской теории заключаются в том что она представляет собой род «религиозной догмы», «логодиции», веры в «миллениум», тысячелетнее царство. Но, отказавшись от научной основы социализма, эти господа сами превращают его в дело веры. Социализм становится полезной условностью, несбыточной красивой мечтой.

Возьмем в качестве примера статью Теодора Неймана, одного из авторов венского журнала «Ди Цукунфт», под характерным названием — «Обращение к «социалистической мечте». Нейман полностью отрицает объективную истинность теории социализма. «Люди XX века — умудренные печальным опытом — стали скептиками. Мы больше не верим в то, что все мировые загадки решены, что рецепты лучшего будущего уже существуют и знаем эти рецепты осталось только дожидаться удобного случая, чтобы осуществить их».

Среди людей XX века многим досталось неизмеримо больше, чем этим «скептикам», и все же опыт жизни не заставил их отвернуться от ее разумного содержания. Похоже на то, что умудренные опытом скептики были заранее готовы к принятию мудрости и потому легко отказались от «заблуждений XIX столетия». Таким заблуждением автор считает марксизм. Вся ответственность за неудачи социалистов возлагается на остатки марксистских идей. Обычную практику соглашения с буржуазией Нейман предлагает дополнить «волюнгаристски-смелым подходом». Место объективной истины как основы социалистического идеала занимает у него что-то похожее на видмарианскую «заинтересованность» или «захваченность» условной идеей социализма. Нужен миф, способный волновать массы, творимая легенда. «Социализм для нас только руководящая картина, — объясняет Нейман, — а приближение к ней является нашим жизненным содержанием». С этой точки зрения он обращается против излишнего доверия к мышлению, теории, «Это ошибка, когда полагают, что человек XX века неспособен откликнуться на обращение к чувству. Напротив, человеческое чувство — единственное, что осталось у нас после разочарования, подготовленного философами, учеными и вождями».

Логика этих рассуждений достаточно ясно показывает практический смысл вопроса, поставленного И. Видмаром: «Истина? Какая истина?». За философией стоит здесь нечто в высшей степени реальное — сомнение в идеях социализма, вызванное противоречиями и трудностями современной истории. Уходят идеи, остаются личные чувства... Однако послушаем заключительный вывод Тео Неймана: «Социалистическая партия Австрии должна без стеснения поставить в центр своей программы «социалистическую мечту». Со всей возможной честностью и прямотой нужно сказать, что мы не верим, будто социализм неизбежно должен наступить, что мы не уверены даже в том, что он вообще когда-нибудь будет осуществлен; что, несмотря на это, мы каждый день и час, в большом и малом, будем работать над тем, чтобы приблизиться к нему, что социализм есть руководящая нить всех наших духовных устремлений и нашей борьбы во всех областях жизни»¹.

Словом, И. Видмар не одинок в своем стремлении перенести центр тяжести с объективной истины на «морально-эмоциональный комплекс». Теория, лежащая в основе подобных взглядов, есть высокопарное выражение мешанского неверия в реальность социалистического общества. Слепой оппортунизм практических дел дополняется возбуждающими фразами, обращенными к воле и вере.

В этом отношении характерны экзистенциалистские фразы Адольфа Арндта — докладчика по вопросам культуры на Штутгартском съезде западногерманской социал-демократии. Если полвека назад социалисты, желающие жить в мире с буржуазией, искали опоры в преклонении перед фатальным развитием производительных сил, то в настоящее время они гордятся «преодолением веры в историю». Арндт всхваляет свободу воли как «дерзание», риск исторического действия без всякой гарантии и уверенности в объективной логике жизни. Главное содержание культурной политики социал-демократов должно состоять не в заботе о развитии школьного дела, науки, искусства, а в воспитании духовной

выдержки, необходимой для «созерцания собственной гибели»¹.

Нет больше истины, есть социальный миф, «руководящая мечта». Эти заведомые грезы противопоставляются реальному содержанию действительного мира как низкой вещественности, с которой борется субъективное начало. Большинство участников дискуссии на страницах австрийской социалистической печати высказалось за то, что социалисты должны иметь свое мировоззрение. Но характерно, что само мировоззрение трактуется в этой дискуссии как условная система идей, связанная только с определенным «культурным кругом» и общественной позицией. «Мировоззрение есть нечто субъективное. Не бывает объективной картины мира», — пишет Фриц Кленнер. «Мы определили мировоззрение как субъективную и весьма дифференцированную картину мира»². Впрочем, вся история понятия «мировоззрение» в двадцатом веке показывает, что буржуазная мысль пользуется этим понятием для борьбы против материалистической теории отражения (достаточно вспомнить «Типы мировоззрения» Дильтея, «Психологию мировоззрений» Ясперса и т. д.).

В только что вышедшей книге венского профессора Эрнста Топича³ перед нами другой вариант той же темы. Связанный с традицией так называемого «венского кружка», Топич рассуждает во имя науки, но отличительной чертой науки является в его глазах сознание опасности всякого мировоззрения как источника фанатизма и массовых психозов.

Для успеха в общественной борьбе необходимо, чтобы люди не задумывались над предпосылками своего мировоззрения, чтобы они верили в его объективность, в некий «мировой закон», из которого проистекает их идеал. На самом же деле, утверждает Топич, в основе таких построений лежат чисто субъективные предпосылки — биоморфные, техноморфные и социоморфные «интенции» известной общественной среды, которые проецируются вовне и принимают вид объективной картины мира. Таково происхождение христианства, консерватизма, либерализма и т. д. Но самый опасный тип этой веры в объективный мировой закон представлен Гегелем и Марксом. Маркс

¹ „Die Zukunft“, 1958, № 1. Другая статья Т. Неймана называется «Да, мы изменились!» (1958, № 2). Ср. также статью Ф. Крейцера (там же, 1957, № 10). Понятие «социализм» необходимо сохранить ввиду потребности современного человечества в грезах, пишет Крейцер.

¹ „Vorwärts“, 30 мая 1958 года.

² „Die Zukunft“, 1958, № 7.

³ Vom Ursprung u. Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik. Wien. 1958.

превратил «созерцательную логодицею Гегеля в политико-экономическую идеологию». В духе всей буржуазной мысли Топич различает в марксизме научную сторону и утопию. Марксизм, с его точки зрения, научен, пока он доказывает субъективность всякой идеологии, но он порывает с наукой, когда выдает собственную идеологию за объективную истину.

Что же остается на долю человека, если все мировоззрения являются только субъективными условностями? От чистого Ничто, по выражению Топича, нас отделяет только слабая преграда — «поиски знания того, что, как всякое человеческое стремление, находится в ценностно-иррациональном мировом потоке»¹. Поиски истины, не сама истина.

Книга Топича рекламируется журналом «Ди Цукунфт» как лучшая основа для борьбы против «интенциональных моментов в социализме», или, говоря более простым языком, — против марксистского мировоззрения как объективной теории исторического процесса, ведущего к социалистическому обществу².

Все это, конечно, не ново. Превращение социализма в «руководящую мечту», посредством которой можно управлять толпой, — давно известный путь желтой, социал-империалистической политики и теории. Но политика и теория этого типа все же меняются. И теперь «руководящая мечта» — уже не идеал чистого разума, а современный миф, захватывающий подсознательные желания, глубоко скрытые первобытные инстинкты «массового человека», его стихийные эмоции и т. п. Изукрашенные модернистской фантазией, но, во всяком случае, достаточно темные, эти силы всегда считались сферой влияния открыто реакционных партий. Теперь возникают новые комбинации. Самое поражающее в современных попытках выработки идеала другого, некоммунистического социализма заключается в новой оценке темных сил, их роли в общественной жизни и политике. Какие мысли бродят в голове социалистического чиновника, озабоченного модернизацией своей идейной техники, показывает брошюра видного деятеля фабрианского общества Остина Элбу, посвященная специально

вопросу о месте иррациональных начал в современной жизни и необходимости учитывать их для успеха лейбористской тактики.

«Фашизму, — по словам автора этой брошюры, — суждено было дать громадный толчок изучению индивидуальной и общественной психологии». Стало ясно, что люди руководствуются в своем поведении не только рациональными расчетами, но и подсознательными мотивами. Поэтому лейбористам также необходимо пересмотреть свой традиционный рационализм, идущий от Бенгтама и его последователей. Эта традиция, пишет Элбу, связана с эпохой личного эгоизма и свободной конкуренции. Поскольку же для социалистов речь идет о создании коллективных порядков, им следует основывать свои расчеты на поведении целых социальных групп (изучаемых главным образом американской социальной антропологией), а это поведение связано с пережитками прошлого и не может быть сведено к рациональным мотивам.

Особенно важно массовое недовольство тем, что современная техника предполагает концентрацию всех духовных сил в руках немногих специалистов высокого уровня и подчиненное положение большинства людей, вынужденных подавлять свои претензии на успех и присущее каждому человеку чувство собственного престижа. Задача социалистической партии — найти средства, способные ослабить подобное недовольство, открыть дорогу «эмоциональному зову», звучащему в сердце каждого человека.

Автор считает это основной проблемой современного социализма, хотя дает понять, что создание объективного плана общественных изменений, способных устранить причины внутренней дисгармонии личности, невозможно. «Некоторые полагают, — пишет Элбу, — что успехи науки о человеческом поведении и человеческих эмоциях приведут к тому, что все политические решения можно будет принимать автоматически, на основе точно установленных фактов. Я думаю, что это тоталитарная ересь». Любые практические меры, дающие массам «нечто эквивалентное счастью», зависят от субъективных ценностей. «Ученые-социологи, полагающие, что решения, основанные на их выводах, свободны от предпосылок, связанных с ценностными суждениями, просто принимают свойственную им систему ценностей за аб-

¹ Vom Ursprung u. Ende der Metaphysik, стр. 312, см. также стр. 221, 246, 257, 291 и другие.

² Статья Э. Глазера «Критика мировоззрения» («Die Zukunft», 1953, № 7).

солютную истину. Этот способ мышления ведет к тоталитаризму»¹.

Но если слова имеют смысл, то Остин Элбу и его единомышленники предлагают отказаться от умеренности и аккуратности старых реформистов именно в пользу тоталитарных идей. Единственная разница, которую они желают подчеркнуть, — право на субъективный характер социалистического идеала — вовсе не является гарантией от наплыва реакционных настроений и победы темных сил.

Еще более интересна в этом отношении статья австрийского социалиста Эрнста Гемахера в уже известной нам дискуссии о мировоззрении. Она называется «Политика и подосознание. Социализм и современная душа». Статья проникнута страхом перед конкуренцией буржуазных партий, владеющих громадным аппаратом рекламы и тотальной политической «манипуляции». Очень подробно рисует Гемахер американский и прочий опыт обращения к иррациональным инстинктам среднего человека, что, по мысли изобретателей этого метода, действует гораздо сильнее, чем логические аргументы. Чтобы не отстать от других, автор советует своей партии обратиться к подавленным «глубинно-психологическим желанием» избирателей, выдвинуть перед ними такое мировоззрение, которое «могло бы связать прочную систему ценностей, разумных оснований с энергиями наших чувств и с пользой для дела включало бы также негативные побуждения агрессии и мазохизма»².

При чтении этих строк нельзя удержаться от улыбки, хотя совсем не смешно, а скорее мрачно выглядит предложение извлечь уроки для социализма из школы Гитлера. Ибо таков именно объективный смысл статьи Гемахера, принадлежащего к тем социалистам, которые с гордостью считают себя поколением сегодняшнего дня. Каждый извлекает уроки по-своему.

Чтобы дополнить эту картину, нужно сказать, что нападки на теорию познания марксизма и модернистские вылазки в сторону иррациональных начал сопровождаются шумными обличениями «управленческого социализма», сливаются воедино с восхвалением частной инициативы и борьбой против «государственничества». В этой связи

обращение к иррациональным инстинктам и стихийным эмоциям приобретает острый привкус агитации против коммунистических идей.

В том же органе австрийских социалистов можно познакомиться с позицией белградского автора, ближайшего соратника Джиласа — Владимира Дедьера¹. Основной тон его статьи — разочарование в объективной истине социалистического идеала. По словам Дедьера, представление о социализме не может быть выражено в рациональных формулах. «Подобно всем идеалам, оно неизмеримо». И далее: «Ему не свойственно то, что делает возможным объективное и абсолютное определение, а потому оно не может быть точным пунктом программы». Кто думает иначе, тот защищает бюрократические извращения. В наши дни, говорит Дедьер, под социализмом следует понимать «прикладную этику», а не осуществление целей, подобных ленинской формуле: советская власть плюс электрификация. Вообще социализм есть только «живое осуществление самого себя», а не реальность определенных идей. Здесь тот же гнилой эмпиризм, похожий на «философию жизни» И. Видмара, дополняется «морально-эмоциональным комплексом».

Последний пример — печально известная книга самого Джиласа «Новый класс», бездарный памфлет против коммунизма. Чтобы обосновать свой переход на сторону капиталистического мира, автор не стесняется повторять бульварные рассуждения реакционных невежд. Карл Маркс вышел из школы Гегеля, а Гегель был создателем системы абсолютной истины. Отсюда, с точки зрения Джиласа, происходят все «пороки» коммунизма — его претензия на абсолютность, отрицание возможности других взглядов, «исключительность» и «деспотизм». Все это связано с признанием объективных законов действительности, существующих независимо от человеческой воли и лежащих в основе нашего сознательного действия. Но по крайней мере в общественной жизни, утверждает Джилас, таких законов нет, действия людей направляются лишь их субъективными устремлениями, условной системой взглядов, верой в определенную идеологию².

¹ Austin Albu. *Socialism and the Study of Man*. Second in the series of Fabian autumn lectures, 1950, стр. 14 и другие.

² „Die Zukunft“, 1958, № 7.

¹ „Die Zukunft“, 1958, № 4—5.

² *The New Class. An analysis of the communist system*. London, 1958, стр. 2—9, 124—126, 129 и другие.

Книга Джиласа, поразительная для бывшего вице-президента целой страны, показывает, как ничтожно мало он знал о марксизме и как слабо сидело у него в голове то, что он знал о нем. Мы не говорим уже о смешных жалобах на Маркса (который назло Джиласу не заметил Шопенгауэра), о грязных сплетнях по поводу мнимой неосведомленности Ленина в философии и т. д. Обвинение марксизма в «исключительности» является глупым фарсом. Неужели научные идеи, касающиеся таких вопросов, как развитие общества к социализму, высказываются только для того, чтобы тешить друзей в послеобеденный час, а не для того, чтобы сделать эти идеи достоянием всего человечества? Разве речь идет о футбольной команде или марке папирос? Истина — не предмет умственного комфорта, она не является частным делом и неделима на точки зрения.

Обывательские фразы Джиласа лицемерны и отвратительны. Но особенно пошлы его рассуждения о том, что бюрократизм и нарушения законности вытекают из теории истины Маркса и Ленина. Значит, если Джилас в качестве должностного лица в Югославии творил безобразия, — виноваты Гегель, Маркс, Ленин, объективная истина, коммунизм — все, что угодно. Это характерный ход мысли для таких людей, представляющих большую опасность даже независимо от их открытого перехода на сторону буржуазного мира. Один из польских

ревизионистов, Роман Зиманд, в припадке самобичевания признал, что в течение ряда лет он являлся самым свирепым проводником схематизма в области искусства, но виновата в этом... теория отражения. Опасные люди!

Нельзя считать Иосипа Видмара ответственным за все приведенные выше взгляды врагов марксизма. Для этого у нас нет никаких оснований. И все же сравнить его «философию жизни» с фактами жизни есть наша обязанность. В статьях И. Видмара сказались некоторые обстоятельства, относящиеся не только к эстетике и философии. Мы имеем в виду современный напор буржуазных идей, обращенный в первую очередь против социализма как объективной реальности, а не системы условных фраз. В такую систему готов поверить и Джилас, в нее поверят любые «культур-радикалы» из буржуазной интеллигенции, любые чиновники-социалисты, но массы сражались и будут сражаться за настоящий социализм, а не за условность, миф, «социалистическую мечту».

В этом и заключается действительное содержание спора о теории отражения в настоящее время. Если перевести на практический язык любые слова об условности истины — слова всегда найдутся, — то за ними стоят обывательское разочарование, циничный скепсис, равнодушие к тем идеям, во имя которых сложили свои головы тысячи лучших людей революции.



Н. ТРИФОНОВ

★

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ В БОРЬБЕ ЗА РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(К двадцатипятилетию со дня смерти)

История советской литературной критики и советской эстетики еще не написана. Когда она будет создана, то одна из первых глав ее будет посвящена Анатолию Васильевичу Луначарскому. Выдающийся деятель социалистической культуры, первый народный комиссар по просвещению Страны Советов, Луначарский в развитии советского искусства сыграл чрезвычайно большую роль и как организатор и руководитель, и как критик, теоретик, ученый.

В своих многочисленных книгах, статьях, докладах, выступлениях Луначарский поднял и осетил со свойственными ему блеском, талантом, эрудицией самые важные, самые острые, самые принципиальные вопросы развития искусства и литературы. Правда, его многогранная кипучая государственная деятельность, огромное количество разнородных и сложных обязанностей не позволяли ему целиком отдать себя столь привлекавшей его работе критика, литературоведа, теоретика искусства, и порой он вынужден был ограничиваться, по собственному признанию, только первоначальным подходом к волновавшим его явлениям и проблемам художественной жизни, только постановкой некоторых основных вех.

Энциклопедически разносторонний по своим интересам и знаниям, Луначарский сказал свое авторитетное слово во всех областях искусства, включая и музыку, и живопись, и прикладное искусство. Но ближе всего Луначарскому были две области художественного творчества, относящиеся к сфере искусства слова,— литература и

театр. Здесь Луначарский выступал не только как исследователь и критик, но и как художник. Литературе и театру посвящено наибольшее количество его работ, за развитием этих видов искусства он следил наиболее пристально, на их материале чаще всего ставил и решал коренные эстетические проблемы.

Луначарский-марксист, Луначарский-революционер посвящал искусству так много сил и внимания не только потому, что его эстетически одаренную натуру неудержимо влек к себе красочный, эмоциональный, переливающийся всеми цветами радуги мир художественного творчества, но и потому, что он с исключительной отчетливостью сознавал и ценил огромную социальную роль искусства.

Многочратно опровергая еще на заре своей литературно-критической деятельности взгляды тех, кто проповедовал самодержавность искусства и его независимость от жизни, тех, кто превращал его в средство забавы и развлечения, Луначарский всегда отстаивал чрезвычайно общественную важность и полезность искусства. Одновременно он полемизировал с теми вульгаризаторами, которые понимали эту полезность примитивно, сводя искусство только к деланию вещей.

Отдавая должное искусству прикладному, искусству, украшающему быт, Луначарский главное внимание уделял идеологической роли художественного творчества. При этом он говорил не только и не столько о познавательно-информационной функции искус-

ства, чем склонны были ограничиваться некоторые критики и теоретики, но прежде всего о его воспитательной роли, о колоссальной силе его воздействия на человеческий характер, на человеческую волю, об искусстве как самой могучей форме агитации, которая когда-либо существовала, агитации тем более сильной, что она обращается к людям на самом доходчивом языке, адресуется не только к разуму человека, но и к сфере его чувств.

Как большая этически-направляющая сила, помогающая формировать новое миропонимание, новый образ чувствования, искусство является незаменимым помощником партии в строительстве нового мира. Оно, по образному выражению Луначарского, засучив рукава, с веселой песней работает рядом с каменщиками, которые закладывают здание социализма. Степень участия в строительстве новой жизни и была для Луначарского основным критерием при определении ценности художественного произведения в настоящее время: по его словам, «все, что не является содействующим нашему строительству, падает далеко вниз в смысле нашей оценки». Деятельность Луначарского была направлена прежде всего на то, чтобы искусство, литература успешно выполняли эту свою задачу, воспитывая человека в «направлении энтузиазма к общему делу».

Луначарский больше и лучше, чем кто-либо другой, пропагандировал великое художественное наследие прошлого и считал своей первой заботой «дело введения пролетариата во владение всей человеческой культурой». Призывая следовать мудрым заветам Ленина, Луначарский давал отпор разным демагогам и нигилистам футуристического или пролеткультовского толка, готовым попросту сдать в архив чуть ли не все, что было создано в области культуры и искусства до революции. Сокрушительной критике Луначарского подверглись и вульгарные социологи, которые усиленно «прорабатывали» и «развенчивали» классиков. Иронизируя над современными Неуважай-Корыто, над анархистствующими интеллигентами, Луначарский не уставал повторять, что богатейшее классическое искусство прошлого сохраняет всю свою эстетическую прелесть и все свое воспитательное значение, что, в частности, великие русские писатели XIX века являются нашими настоящими соратниками.

Но, высоко ценя достижения старого ис-

кусства, Луначарский всегда утверждал необходимость развития своего, революционного, пролетарского искусства, в котором будут выражены наши идеи, наши принципы, наши воззрения. В противовес всяким капитулянтам он неизменно выражал уверенность, что наше героическое время, «самое великое время, которое когда-либо знало человечество», создаст такое искусство. Ростки этого искусства Луначарский стремился поддерживать и выращивать еще в дооктябрьскую эпоху. После Октября он приветствовал армию талантливых писателей, выдвинутых революционной новью. Опровергая вражеские домыслы о мнимом оскудении русской литературы, Луначарский говорил о росте и расцвете новой, советской литературы.

В двадцатые годы еще шли ожесточенные споры по вопросу о том, можно ли молодой советской литературе учиться у писателей прошлого. В то время, по ироническому определению Горького, проявлялась боязнь учебы у классиков, опасение, «что классик схватит ученика за ногу и утащит его в могилу к себе». Луначарскому приходилось разъяснять, что нельзя строить новую литературу, ни у кого не учась, что «оригинальность невежественности» хороша только как объект сатиры. Он с удовлетворением отмечал на примере «Разгрома» и «Тихого Дона», что лучшие из молодых советских писателей успешно и плодотворно учатся у своих великих предшественников.

Но Луначарский никогда не защищал эпигонство в искусстве, простое подражание прошлому. Это было для него равносильно застою. Его нашумевший лозунг «Назад к Островскому», разумеется, также отнюдь не обозначал отказа от исканий в области драматургии и театра, он был лишь призывом к созданию новых социальных реалистических пьес, к преодолению абстрактности и формализма, чем нередко грешил тогдашний театр.

Литераторы-эпигоны типа послушных учеников, которые только держались за фалды фрака классика и фыркали на все новое, ассоциировались у Луначарского с Молчаллиным. Из двух крайностей он готов был предпочесть «вихрастых озорников». Задор был для него, во всяком случае, привлекательнее, чем застой.

Луначарский призывал деятелей искусства быть новаторами, прокладывающими новые пути, работать на новом материале.

Однако Луначарский последовательно различал и противопоставлял подлинное новаторство и несостоятельные потуги на него, псевдоноваторство. Как известно, в первые годы после революции на роль новаторов в области искусства претендовали многие группочки и кружки. Но по большей части это было только кривляние, шарлатанство, трюкачество, являвшееся преимущественно средством саморекламы, средством обратить на себя внимание, эгоцентрически выдвинуть свою личность. Об этих явлениях Луначарский говорил с возмущением или насмешкой. Как шарлатанство аттестовал он, например, имажинизм.

Продуктом разложения буржуазной культуры считал Луначарский и футуризм с его проповедью бессодержательности, беспредметности, чистого формализма. Правда, к футуризму одно время он готов был отнестись более снисходительно, потому что футуристы, в отличие от большинства деятелей дореволюционного искусства, сразу и охотно откликнулись на призыв Советской власти к сотрудничеству и потому что он видел среди них людей, способных отбросить декадентско-формалистские плевелы и работать над созданием искусства Революции. Однако если как руководитель культурной политики Луначарский проявил к футуризму излишнюю терпимость и снисходительность, чем и вызвал серьезное недовольство Ленина, то как критик он неоднократно резко и определенно выступал против футуризма как безжизненного фокунничества, как стремления «навязать народным массам неясные, сбивчивые, путающие, пугающие формы искусства, отказавшись от всякого содержания».

С сожалением отмечал Луначарский, что стремление к ложной оригинальности заразило и некоторых талантливых молодых пролетарских писателей, которые, подпав под формалистское влияние, начинают придумывать себе какой-то заумный стиль, стремясь удивить читателя различными трюками и манерностью. Указывая на то, что формалистские эффекты и фокусы ранят в художественном произведении само содержание, уродуют образы, мысли, чувства, Луначарский рассматривал формализм как болезнь, которую советское искусство должно решительно изжить.

Отстаивая новаторство революционной литературы Советской страны, Луначарский имел в виду «открывшиеся перед писателя-

ми новые миры», «огромное богатство новыми мыслями и чувствами», имел в виду новое содержание, подсказанное новой действительностью.

В отличие от пролеткультовских теоретиков, которые хотели свести пролетарское искусство к изображению рабочего, к фабрично-заводской тематике, Луначарский ратовал за широту содержания нового искусства. Он утверждал, что «пролетарий и тот новый человек вообще, который вырабатывается в процессе социалистического строительства, не чужд ничему, что существует в природе и в жизни. Пролетариат вовсе не отрекается от красоты природы, а стало быть, от пейзажа, от цветов, животных, от красоты человека — мужчины, женщины, ребенка...» Луначарский брал под защиту лирические темы в литературе, когда они оказывались на подозрении у некоторых чересчур пуритански настроенных критиков. Он говорил о важности художественного изображения прошлого и сам как драматург обращался к этому прошлому в качестве объекта изображения.

Но для Луначарского не было никакого сомнения в том, что в центре внимания нашего искусства должна быть наша современность, наша борьба за социализм. Основная задача советского искусства, считал он, — дать «портрет нашего времени», отразить «несравненный, небывалый момент в мировой истории». «Ясно, что для нас, — писал он в одной из статей 1929 года, — на самом первом месте должна быть тема, прямо или косвенно связанная с революцией или с социалистическим строительством». Луначарский высмеивал тех художников, которые твердили об узости революционной тематики: на самом деле «эта тематика, т. е. огромный пафос революционного строительства, все радости и горести, с ним связанные», дает «неисчерпаемое количество художественных импульсов». Поистине жалок тот современный писатель, который не находит в нашей современности ничего глубокого и значительного.

Отвергая «филистерский тезис о недолговечности злободневного», Луначарский доказывал, что великие писатели прошлого и их наиболее значительные создания были глубочайшим образом современны.

Защищая злободневность в искусстве, Луначарский не упрощал вопроса: он напоминал, что наряду с чрезвычайно быстрыми откликами писателей-«моменталистов», наряду с художественным репортажем, напи-

санным на колене вместо письменного стола, должны создаваться большие полотна, произведения, в которых разрабатываются «проблемы, доминирующие над нашим годом, над нашим десятилетием, над нашим столетием».

В своих выступлениях Луначарский не раз подсказывал писателям темы, выдвигаемые современностью. Так, например, в 1927 году, отмечая сложные процессы, которые происходили в жизни нашего общества и, в частности, среди молодежи, Луначарский обращал внимание писателей на необходимость постановки этических, морально-бытовых проблем, освещения вопросов о формах человеческих взаимоотношений. А в 1933 году, когда в Западной Европе сгустились тучи, когда в Германии пришел к власти фашизм, Луначарский отмечал такой пробел в советской драматургии, как «отсутствие отщепенца хотя бы важнейших элементов борьбы наших братьев на Западе».

Разумеется, за разработку актуальных тем настоящий художник должен браться не по какому-то внешнему заказу, а по внутреннему убеждению. Лефовскую теорию «социального заказа», которая превращала художника только в послушного исполнителя, Луначарский не раз подвергал жестокой критике.

Луначарский подчеркивал, что советский писатель должен быть органически связан с современностью, должен стать страстным и глубоко осведомленным участником нашего строительства, должен слышать громкий голос жизни и откликаться на ее запросы. Огромное значение имеет для советского писателя то, что говорит и решает по животрепещущим вопросам нашего строительства партия. «Не может пройти пленум ЦК Коммунистической партии или заседание какого-нибудь большого советского или партийного съезда, относительно которого драматург мог бы сказать: «Ну, знаете, они о политике говорят, а я свою драму оканчиваю,— вообще не мое дело это, у меня другие петлички на мундире». Когда партия сигнализирует основные жизненные моменты,— это сигнал по всему фронту пролетарской борьбы. Кто хочет быть частью этого фронта и достойным борцом этого фронта, тот лихорадочно смотрит,— что же отсюда следует для меня?»

Но писателю отводится роль отнюдь не иллюстратора, подыскивающего примеры и доказательства к уже выработанным по-

ложениям нашей программы, роль не только певца, начинающего воспевать, когда споры уже решены. Настоящий писатель, по определению Луначарского, это пионер-экспериментатор, разведчик, «он должен идти впереди нашей армии, углубляться во все стороны пролетарской жизни и опыта, ... доставлять нам полнокровные, яркие обобщения относительно того, какие сейчас процессы совершаются вокруг нас...».

Говоря о нашей современности, о нашей эпохе, Луначарский находил для нее самые возвышенные слова, самые восторженные эпитеты: «...еще долго-долго, когда революция сделает свое дело, когда будет полный социализм и полный коммунизм, об этой эпохе, в которую мы живем, будут говорить как об изумительной эпохе». Критик и призывал писателей отразить в зеркале литературы эту «небывалую пору человечества», этот взлет, эти «процессы строительства новой жизни, включающего в себя и создание великих вещей, и создание нового человека». Задачу показа нового, выпрямленного во весь рост человека, показа его возможно более полно, всесторонне и живо Луначарский выдвигал перед литературой в качестве главной и увлекательной задачи. Попытки изображения нового, социалистического человека, которые делались в литературе двадцатых годов, Луначарского не очень удовлетворяли.

В то время как рапповские и перевальские теоретики выдвигали лозунг «За живого человека в литературе» и понимали под этим поиски в людях обязательно какой-нибудь «червоточины», раздвоенности, чеполноценности, Луначарский решительно отвергал рецепт, по которому полагалось для придания убедительности непременно примешивать к положительному типу какое-то количество отрицательных черт. Он видел, что «уже в наше время авангардный тип, тип законченного партийного советского строителя, очень высок».

Ратуя за создание положительных образов, Луначарский имел в виду прежде всего их большое воспитательное воздействие как примера, который способен помочь тем, кто еще не освободился от гнета старых чувств, мыслей и навыков.

Но, призывая отмечать положительные явления, Луначарский предостерегал от того, «чтобы не вышло прописи... реляции о казенном благополучии... розовых комплиментов и самохвальства», чтобы не полу-

чилося «условно сентиментального сахарина и барабанно-ходульного героизма», надуманных идеальных образов, созданных по шпаргалке.

Требую от писателей правды, Луначарский учил видеть диалектику и сложность жизни. Он говорил: «Мы довольны действительностью, поскольку она представляет собой развитие, поскольку тенденции ее развития нам родственны». Но эта формулировка дополнялась другой: «Мы не совсем довольны действительностью. Действительностью в разрезе сегодняшнего дня мы очень часто недовольны, у нас много врагов и у нас много сотрудников и союзников, которые не всегда на высоте наших задач». Необходимо показывать и величие нашей современности и противоречия наших дней, когда еще диалектически сплетаются вчерашнее и завтрашнее. Необходимо не только возвеличивать, но и критиковать.

Часто цитируя изречение «мертвый хватает живого», Луначарский напоминал о том, что еще продолжает влачить существование всякая нечисть и мразь, отравляя вокруг себя атмосферу. В качестве средства социальной дезинфекции, способного заставить исчезнуть всю эту погань, в качестве великого социального санитара должен быть использован смех во всех его разновидностях. Луначарский призывал создавать нашу советскую сатиру. Великолепным исправителем наших собственных недостатков и слабостей считал он также юмор. Но по отношению к подлинному врагу, в частности к ненавистному духу мещанства, Луначарский требовал смеха бичующего, «с оттенком сарказма, гнева и презрения». Недостаток именно такого смеха, подменяемого добродушным юмором и веселым зубоскальством. в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова вызвал у Луначарского по адресу талантливых авторов критические замечания.

В предисловии к американскому изданию этой книги Луначарский писал: «...авторы дали очень ловкому плуту вращаться в нереальном мире, где только обыватели без строителей».

Признавая необходимость критики пороков и недостатков нашей действительности, Луначарский в то же время серьезно предостерегал писателей от перегиба в сторону преувеличения опасности, преувеличения отрицательных сторон. Некоторым современным литераторам не мешало бы хорошенько запомнить слова Луначарского:

«Легко, стараясь быть правдивым, власть во вредную для нашего времени самокритику, граничащую с самопаквилем». Он решительно возражал против того, чтобы считать писательской честностью только склонность подмечать и усугублять гримасы и искривления.

Во второй половине двадцатых годов стали появляться литературные произведения, односторонне, однобоко изображавшие жизнь нашей молодежи, подчеркивавшие преимущественно ее теневые стороны. Осуждая это сгущение мрачных красок, это «писание горьких картин о комсомольском упадке, разврате», Луначарский признавал, что «комсомол не есть однообразная среда, не есть праведный марксистский монастырь», что на молодежь оказывают влияние и мещанские силы, но в то же время он напоминал, что великая идея коммунизма охватывает нашу молодежь все шире, проникает в нее все глубже, с неслыханной мощью перевоспитывает эту молодежь. «Как же может не быть тут,— восклицает Луначарский в статье о комсомольском писателе Марке Колосове,— самых горьких столкновений? Но как же может не быть тут и прямых героев своего великого долга?»

Луначарский всегда, начиная с программной статьи «Задачи социал-демократического художественного творчества», отстаивал оптимистичность революционного, пролетарского, социалистического искусства, радостную, победную трактовку взятых тем, что отнюдь не обозначало отказа от мотивов скорби и грусти в этом искусстве. Критик различал два вида оптимизма: оптимизм еще до испытаний, до страданий, оптимизм, по его выражению, несколько телячьего характера и «оптимизм человека, который выстрадал свое право на то, чтобы сказать — несмотря на все невзгоды,— нам хорошо живется». Именно этот мужественный оптимизм характерен для нашей литературы, в результате чтения которой в нашем сознании «вырастает чувство уверенности рядом с чувством огромной сложности нашего дела и многообразия препятствий, стоящих на нашем пути». Луначарский отказывался признавать правдивыми те произведения, в которых все, что видит писатель, обволакивается темной дымкой под влиянием его случайного индивидуального настроения. Критик приветствовал писателей, умеющих осветить жизненные явления «настоящим правдивым све-

том, не светом случайного настроения или случайной мыслишки, а светом нашей великой идеи и того чувства боевого энтузиазма, которые не могут не быть доминирующими среди нас».

Протестуя против создания «художественных фотографий заднего двора нашей революции», Луначарский предупреждал писателей об опасности потери верной перспективы, что может привести к пессимистическим выводам. Надежным путеводителем для советского писателя служит передовое мировоззрение, наши партийные взгляды, которые «во всем основном и главным... представляют собой самую чистую, самую четкую, самую объективную истину относительно общественной жизни, какая только имеется сейчас в распоряжении человечества».

Луначарский осуждал литераторов, склонных «в угоду предвзятой теории ломать факты жизни». Он призывал изучать правду самой жизни. Но он предупреждал писателей от поспешного противопоставления эмпирически воспринятых фактов теоретическим положениям и от пренебрежения к последним. Сохраняет всю свою актуальность мудрый совет писателю, если он соприкасается с фактами, противоречащими тем представлениям о текущей жизни, которые выработаны партией, «прежде всего проверить, во всех ли своих деталях поняты эти факты, действительно ли они типичны».

В двадцатые годы теоретики группы «Перевал» стремились умалить роль сознания, разума, мировоззрения в искусстве, выдвигая на первый план подсознательное, интуицию и объявляя только последнее важным и определяющим для художника. Луначарский неоднократно выступал против перевальских теорий, воевал с принижением роли разума, боролся за художника-мыслителя. «Самое интересное, что было создано в мире искусства,— утверждал критик,— принадлежит не к интуитивному, фантазматическому и безмозлому». Луначарский так раскрывал объективный смысл позиций перевальцев: «...всячески отставив право творить всем нутром, всячески осуждая искусство головное... они на самом деле защищают свое право на литературное выражение отхода от основных линий партии и класса».

Давая высокую оценку творчеству такого писателя, как Фурманов, Луначарский с удовлетворением подчеркивал у него наличие «внутреннего марксистского регулято-

ра»: «Самые хаотические впечатления... не заставляют его заблудиться...— он доминирует над этой действительностью и от времени до времени взглядывает на марксистский компас, с которым не разлучается».

Но в то же время Луначарский возражал против полного игнорирования значения творческой интуиции, против приписывания художественному творчеству чисто головного характера. Он предупреждал писателей от чрезмерного рационализма, от того, чтобы литература оказывалась «только слегка перереженной в беллетристические одежды теорией».

По вопросу о роли разума и подсознательного в творчестве у Луначарского бывали иногда недостаточно четкие и несколько односторонние высказывания. Порой он слишком отделял художника от публициста, мыслителя, слишком преувеличивал, абсолютизировал специфические свойства художника. Все это давало повод некоторым из писавших о Луначарском говорить о недооценке им роли сознания в художественном творчестве. Однако с этим выводом нельзя согласиться. Стремясь избежать ошибочных крайностей, Луначарский утверждал, что «только диалектическое соединение, сливающее в единстве богатую интуицию и светлый диалектический ум, может дать крупного художника». У некоторых советских писателей Луначарский отмечал известное расхождение между их сознанием и подсознательным, между разумом и привычными путями их чувствований, и тут он в противовес перевальцам категорически высказывался «за контроль сознания, за его преобладание».

Органически усвоенное художником мировоззрение диктует ему его позиции, его оценку всей действительности. Для Луначарского был неприемлем объективизм тех повествователей, которые изображают действительность, не высказывая собственного суждения и оценки, воздерживаются от выводов. Он считал плохим художником того, кто фотографирует вещи и явления, но не реагирует на них, кто не знает, что же следует из того, что он рассказал. Луначарский осуждал произведения, «по чувству и симпатиям неопределенные», равнодушные, претендующие на беспристрастие. Разговоры о том, что врага надо изображать, не навязывая своей точки зрения на него, он квалифицировал как ошибку или как сознательную ложь.

Луначарский отстаивал партийность ис-

куства, произносящего приговор над явлениями жизни с определенных, партийных, коммунистических позиций. Эта партийность ни в малейшей степени не противоречит объективности, правдивости. Луначарскому принадлежит очень выразительная и меткая формулировка: «...партийность классов без будущего безобразно искажает действительность. Партийность класса, которому суждено построить будущее, воспитывает зоркость и бесстрашие и является единственной формой подлинной объективности». Анализируя горьковскую эпопею «Жизнь Клим Самгина», критик приходит к выводу, что это — «произведение партийное, пролетарское и именно потому объективное, правдивое».

Нашим художникам, утверждал Луначарский, в отличие от буржуазных, незачем скрывать и прятать партийность своего искусства. Иметь возможность назвать свое произведение пролетарско-партийным — это высокая честь и доблесть для художника, потому что «наша партийность, входя в искусство, подымает его до высокого участия в переделке мира и человечества».

Однако, борясь за партийное, воспитывающее искусство, Луначарский отнюдь не защищал назойливой дидактичности, нехудожественной тенденциозности или скучного проповедничества в искусстве. Такое искусство, в котором тенденция выступает грубо, из художественных одежд которого торчит голый скелет поучений, теряет все свое обаяние, ему перестает верить.

Луначарский целиком присоединялся к мнению великих критиков прошлого — и Белинского, и Чернышевского, и Плеханова — о том, что «художественное произведение должно быть художественным прежде всего, и что насыщенность лучшими идеалами, самыми лучшими намерениями не имеет никакой цены, если литературное произведение не живет жизнью своих образов, не захватывает ими читателя». Поэтому Луначарский подчеркивал необходимость для художника непрестанной заботы об эстетической силе и впечатляемости искусства, необходимость упорной работы над формой, над мастерством выражения.

Луначарский протестовал против того, что у нас «слишком легко принимают за искусство едва-едва помазанную красками публицистику, слишком легко склоняются к предъявлению художнику требования — дать прежде всего правильный с идеологической точки зрения костяк, слишком

легко пренебрегают самым художественным стилем, которым этот костяк должен обрасти». Заявления некоторых литераторов о том, что в литературном произведении главное — идейная направленность и классовая выдержанность, а все остальное приложится, Луначарский называл ударом по собственным ногам. «Каждый писатель-коммунист должен петь по-коммунистически, но это должна быть песня яркая, завлекательная».

Перед советской литературой Луначарский выдвигал задачу создания произведений значительных и долговечных, что невозможно без высокого мастерства.

Нужно оговориться, что проблему мастерства Луначарский не сводил к вопросам формы. В понятие мастерства художника он включал и запас жизненной мудрости, и богатство опыта, и степень понимания, освоения этого опыта, широту и глубину восприятия действительности. «Нет мастера без великого содержания», — утверждал он. Для этого содержания и должны быть найдены соответствующие ему, убедительные и яркие средства выражения.

Луначарский горячо ратовал за оригинальность, своеобразие формы художественного произведения, но он, как мы видели, был решительно против оригинальничания, против орнаментов и завитушек формы, к которым тянет пресыщенных эстетов, против вычурности, манерности и туманности. Художественное мастерство никогда не обозначало для Луначарского условности формы, чрезмерной утонченности, рафинированности. Говоря о требованиях к художественной форме, критик выдвигал на первый план максимальную ясность, естественность. Он звал к поискам наиболее простой литературной манеры, которой следует учиться у классиков.

Эти качества формы помогают найти для искусства широкую народную аудиторию, в чем не может быть не заинтересован советский писатель. Вслед за Лениным Луначарский отвергал аристократическое искусство для немногих гурманов и ценителей. Он выступал за искусство общедоступное, адресованное народным массам — главным творцам жизни. Но Луначарский оговаривался, что искусство для масс нельзя рассматривать как второсортное, элементарное, что не надо становиться на корточки и сюсюкать перед читателем. Еще в годы гражданской войны Луначарский отмечал, что массовый читатель и зритель, пролета-

рий или красноармеец, не хочет примитивных агиток, ему нужно настоящее искусство, подлинная художественность.

Призывая всемерно заботиться о доступности искусства для миллионов, Луначарский разъяснял, что писателю не следует равняться только на отсталого или начинающего, самого неискушенного читателя. Защищая простоту художественных форм, Луначарский подчеркивал, что стремление к простоте не должно наносить ущерба сложности замысла, богатству содержания.

На протяжении всего первого пятнадцатилетия существования советского строя перед молодым искусством нашей страны остро стоял вопрос о направлении, по которому оно должно идти, о художественном методе. Активно участвуя в решении этого важнейшего вопроса, Луначарский всегда отставал реализм как основной путь, исходя прежде всего из познавательной задачи, стоящей перед искусством, из того, что художественная литература должна помочь нам ориентироваться в действительности, содействовать ее уяснению и ее дальнейшей перестройке. Выполнению этой большой задачи не может помочь абстрактная стилизация, искажающая жизненные явления, не могут помочь символистские туманы и формалистические фейерверки футуризма.

Наблюдая эти чуждые духу революционного народа явления в искусстве двадцатых годов, Луначарский с одобрением отмечал, что в советской литературе побеждает и утверждается новый реализм.

В борьбе за реализм советской литературы Луначарскому приходилось наносить сокрушительные удары разным вульгаризаторским «теориям», в частности критиковать лефовскую «теорию литературного факта», лефовские выступления против «выдумки» в литературе. Лефовская фактография уподобляла художника фотографу, отрицала художественное обобщение. «Искусство,— утверждал Луначарский,— если оно не есть обобщение в любой своей строке... чрезвычайно малоценно и теряется вообще в фактах жизни». Луначарский требовал от искусства создания полноценных типических образов, каждый из которых является ключом для понимания целого ряда явлений, положений, лиц, событий. «Художник-реалист,— писал Луначарский,— потому-то и называется и художником и реалистом, что он умеет придать действительности ту губину значительности, синтетичности, типич-

ности, которой обыкновенный наблюдатель не заметит в жизненном факте».

Луначарский, разумеется, не рассматривал реалистическое искусство как нечто единое и постоянное. Еще в дооктябрьский период он развивал мысль о том, что революционный пролетариат не может удовлетвориться теми формами реализма, которые порождены прошлым. Критический реализм (Луначарский чаще называл его отрицательным реализмом) не знал, что предложить взамен развенчиваемой им действительности. Еще менее близка революционному пролетариату та разновидность реализма, которую Луначарский определял как эпигонский буржуазный, статический реализм.

Вместе с рядом других советских литераторов Луначарский искал термина для определения основных особенностей нового, революционного искусства. Еще в 1906 году он писал о пролетарском реализме. В двадцатых годах он говорит обычно о новом, социальном реализме. В 1932 году мы находим у Луначарского слова о «выработке пролетарского активного и диалектического реализма». А вскоре Луначарский горячо одобряет термин «социалистический реализм», к которому пришла наша литература в результате коллективных поисков: по мнению критика, этот термин «динамичен, насквозь активен», «термин хороший, содержательный, могущий интересно раскрыться при правильном анализе».

Луначарский критически относился к раповскому лозунгу диалектико-материалистического творческого метода, к «попыткам поверхностного внедрения терминологии диамата в совершенно не освоенные им области», попыткам, «несомненно компрометирующим всю нашу великую теорию». Иногда сам употребляя этот термин, Луначарский критиковал абстрактно-схоластическую постановку вопроса о художественном методе. Он возражал против требований, чтобы художник посвящал сначала много времени отвлеченно-теоретическому обдумыванию вопроса о том, как применять законы диалектики к художественному творчеству, а только потом уже писал; такая установка может лишь засушить творческий процесс, парализовать дееспособность писателя. В связи с этим Луначарский вспоминал сказку Мейринка о недоброежелательной жабе, спросившей сороконожку, что происходит у нее со ступней двадцать седьмой ноги, когда четырнадцатая и девят-

надцатая ногигибаются в колене. В результате сороконожка так над этим задумалась, что не могла больше ходить. Луначарский призывал писателей исходить не из абстрактной теории, не из книги, а из жизни, из изучения революционной практики, насколько не преуменьшая при этом важности для художника усвоения марксистско-ленинского мировоззрения.

Луначарский первый из литературных критиков дал ответ на вопрос, в чем заключается социалистический реализм, — ответ, во многом предвосхитивший ту формулировку, которая прозвучала на Первом съезде советских писателей и вошла в устав Союза.

Еще в 1930 году Луначарский подчеркивал, что «наш реализм ни на одну минуту не может быть статичен», что наш писатель рассматривает все явления жизни «с точки зрения становления нового человека», что для него «всякий кусок социальной жизни... является картиной борьбы вчерашнего и завтрашнего дня, — борьбы, к которой равнодушным он быть не может». Эти мысли и положения Луначарский развивает и уточняет в известном докладе о задачах советской драматургии на втором пленуме оргкомитета ССП в феврале 1933 года и в статье «Вместо заключительного слова»: дело нашего писателя — «внимательно изучать жизнь... под углом зрения боевым образом развивающихся в ней социалистических начал, постепенно оттесняющих старые жизненные формы»; в этой борьбе социалистический реалист «определяет себя как активную силу, которая стремится к тому, чтобы процесс шел так, а не иначе». Возражая против «реалистического» копания на заднем дворе революции в момент незаконченного строительства, Луначарский со свойственной ему образностью и яркостью говорил: «Социалистическую правду может сказать только тот, кто понимает, какой строится дом, как строится, и кто понимает, что у него будет крыша. Человек, который не понимает развития, никогда правды не увидит, потому что правда — она не похожа на себя самое, она не сидит на месте, правда летит, правда есть развитие, правда есть конфликт, правда есть борьба, правда — это завтрашний день...» К этим мыслям примыкают и положения Луначарского о том, что художник социалистического реализма стремится заглянуть в будущее и что социалистический реализм включает в себя элементы социалистической романтики.

Намечая основные черты нового искусства, Луначарский возражал против попыток превратить социалистический реализм в свод каких-то правил и норм для художника, против ненужной, стеснительной регламентации. «Поменьше замыкания в нормы. Поменьше преждевременных правил», — писал он в статье, посвященной проблеме социалистического реализма.

Луначарский не сводил социалистический реализм к понятию стиля. Он говорил о социалистическом реализме как о направлении, о школе, о целой эпохе в развитии искусства. Луначарский еще не называл социалистический реализм методом. Слово «метод» он обычно употреблял в более узком смысле, для обозначения способа изображения. Поэтому у Луначарского можно встретить фразу о том, что социалистический реализм включает много разных методов. Но важно отметить, что для Луначарского социалистический реализм был широкой программой, допускающей многообразие художественных форм, многообразие не только жанров, но и стилей. Луначарский отстаивал в советском искусстве стремление к «величайшему единству при величайшем разнообразии».

Разнообразие советского искусства определяется не только обилем и своеобразием творческих индивидуальностей художников, но и его многонациональностью. Луначарский еще до революции решительно опровергал тех, кто говорил о «социалистической нивелировке» и о «торжестве какого-то бесцветного космополитизма в случае победы пролетариата». Своей критической деятельностью Луначарский тогда помогал борьбе угнетенных наций за свободу самобытного культурного развития, за то, чтобы каждая нация со всей силой могла поднять свой собственный голос в культурном хоре человечества. Радуюсь, что Октябрь широко распахнул двери литературам всех народов, населяющих Советский Союз, Луначарский приветствовал всемерное развитие национальной самобытности их искусства и в то же время объединение всех национальных мотивов в единую социалистическую симфонию.

На протяжении многих лет Луначарский осуществлял политику Коммунистической партии и Советской власти в области искусства. Естественно, что вопросы художественной и культурной политики занимали в его статьях и выступлениях большое место.

В недавние годы наблюдались попытки представить Луначарского сторонником чуть ли не полного невмешательства Советского государства в жизнь искусства. Это, конечно, явное искажение истины, предпринимавшееся для прикрытия ревизионистских наскоков на политику партии в данном вопросе.

В действительности Луначарский давал отпор тем, кто проповедовал отказ от партийного и государственного руководства в области искусства. Он решительно отвергал точку зрения „laissez faire, laissez passer” («пусть себе все идет своим путем»). Такую позицию он квалифицировал как меньшевистскую, либеральную, контрреволюционную. Луначарский хорошо помнил и, цитируя, подчеркивал слова Ленина: «...Мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты».

Признавая, что вмешательство буржуазного государства в жизнь искусства наносит ему обычно вред, Луначарский напоминал, что наше государство принципиально совершенно иное, что оно в высочайшей мере прогрессивно и его влияние на искусство чрезвычайно благотворно. Именно потому, что искусство — оружие огромной силы, Советское государство и партия не имеют права отмахиваться от вопросов искусства. Они обязаны внимательно следить за развитием искусства и литературы, содействовать росту нового, передового, указывать, в какую сторону должны быть направлены силы художников, предостерегать от ошибочных путей, советовать. Порой нужно говорить и голосом власти. Для того чтобы защищать революцию от враждебной агитации, чтобы выбить оружие из рук врага, нужна и цензура.

Но, затрагивая тему о художественной политике, Луначарский всякий раз подчеркивал необходимость величайшего такта в этой области, призывал считаться с особыми законами художественного творчества. Он говорил об опасности неумелого подхода, голого администрирования, злоупотребления директивами, что может омертвить искусство, породить неискренность, художественные фальсификаты. Луначарский возражал против привнесения в художественную политику субъективных оценок, личных вкусов того или иного представи-

теля власти, против навязывания их деятелям искусства.

По вопросу о художественной политике были у Луначарского иногда и неверные высказывания. Так, одно время он готов был отстаивать тезис о нейтральности государства в отношении к разным художественным направлениям. Это выливалось на практике в примиренчество и чрезмерную терпимость к уродствам футуристов или ошибкам пролеткультовцев.

Но в основном позиция Луначарского была здоровой и плодотворной и соответствовала линии партии в сложной литературно-политической обстановке двадцатых—начала тридцатых годов.

Луначарский выступал как пламенный пропагандист решений партии по вопросам литературы и искусства, в частности резолюции ЦК РКП(б) 1925 года, в подготовке которой он сам принимал активное участие. Луначарский отмечал, что такие документы партии надолго сохраняют свою актуальность и свое значение, в них устаревают лишь те или другие детали, но даже бурно развивающееся время не заставляет отказываться от лежащих в их основе принципиальных положений. Луначарский подчеркивал мудрость и непоколебимый авторитет партии в руководстве идеологической сферой. «Партия знает,— говорил он,— где ей нужно дать твердые указания, где оставить более широкие рамки и какой вопрос объявить дискуссионным».

Луначарский призывал к творческим, теоретическим спорам, к оживленной полемике, он считал естественными творческие разногласия. Но он говорил работникам литературы и искусства и о том, когда споры должны умолкнуть: «...после того как партия имела о том или другом положении свое суждение, всякие разногласия с ней, так или иначе отражающиеся вовне, в объективной деятельности человека — литературной и тем более политической, являются дезорганизацией нашей работы».

Большое значение в деле борьбы за новое, революционное искусство Луначарский придавал литературно-художественной критике. Роль критика заключается, с одной стороны, в том, чтобы быть путеводителем — комментатором для современного широкого читателя, очень ценного по своим социальным качествам, но часто еще недостаточно опытного и искушенного в вопросах литературы. Критик должен учить чи-

тателя читать, помогать делать выводы и обобщения на основе художественного материала, раскрывать красоты или недостатки там, где неизощренный глаз их не замечает.

С другой стороны, критик должен быть помощником, учителем, наставником самих писателей. Его дело — направлять и предостерегать художника, подсказывать ему назревающие задачи, объяснять не вполне понятные общественные явления, содействовать преодолению заблуждений, помогать в поисках адекватной для данного содержания формы.

Луначарский спорил с Плехановым, у которого получалось, что настоящая научная критика должна действовать по принципу «не плакать, не смеяться, а понимать» и что дело марксистского критика лишь объяснять художественное произведение, а не произносить оценочное суждение. Решительно осуждая этот пассивный подход к явлениям литературы, Луначарский утверждал, что критик-марксист отнюдь «не литературный астроном, поясняющий неизбежные законы движения литературных светил». Он активный боец и строитель, поэтому для него обязательна определенная позиция в литературной борьбе и вполне отчетливая оценка художественного произведения. И главным критерием этой оценки является вопрос, помогает ли данное произведение или вредит — и в какой мере — великому делу коммунизма. Критик прежде всего должен выяснить основную социальную тенденцию, основной социально-идейный смысл произведения, выяснить, куда оно, произвольно или непроизвольно, метит или бьет. При этом критика должна быть очень строгой и вместе с тем чрезвычайно тонкой, одновременно и общественной и эстетической критикой. Наш критик не может не быть политиком, социологом, этиком, но, кроме того, он сам должен быть художником, чтобы своими меткими, яркими, эмоциональными, агитационно горячими выступлениями влиять на массы, усиливая или, наоборот, парализуя воздействие данного произведения искусства. Именно таким критиком и был сам Луначарский.

С величайшим вниманием и сочувствием относясь к свежим росткам молодого со-

ветского искусства, всемерно помогая росту новых творческих сил, умело и тактично содействуя революционному воспитанию и перевоспитанию художников, сформировавшихся в условиях буржуазного общества или несущих на себе груз влияний мелкобуржуазной среды, давал отпор произведениям идейно враждебным, борясь с вульгаризаторами, догматиками и сектантами всех мастей, Луначарский оказывал сильное и благотворное воздействие на весь ход литературно-художественной жизни Советской страны.

В высказываниях Луначарского по вопросам литературы не все бесспорно, в них можно найти противоречия и прямые ошибки, коренившиеся иногда в прежних увлечениях некоторыми философами-идеалистами, иные формулировки впоследствии уточнялись и исправлялись самим Луначарским, но основное направление деятельности его как критика в советскую эпоху было безусловно верным. Он боролся за главную линию развития советской литературы и советского искусства.

Литературно-критическое наследие Луначарского в преобладающей своей части выдержало испытание временем и сохраняет свое значение для нас и сегодня.

Не удивительно, что в последнее время в разных издательствах (Гослитиздат, «Искусство», Учпедгиз) вышли сборники статей Луначарского. Неизвестные доселе стенограммы его выступлений — в частности, стенограмма интересного выступления против футуризма на диспуте «Первые камни новой культуры» в 1925 году — опубликованы недавно в 65-м томе «Литературного наследия» («Новое о Маяковском»). С удовлетворением встречено сообщение о подготовке собрания его сочинений.

Многие мысли Луначарского-критика помогают нам продумывать и решать актуальные вопросы литературы и искусства, помогают бороться с нашими идейными противниками, современными ревизионистами и защитниками реакционного модернизма, помогают отстаивать принципы социалистического реализма и повышать идейно-художественный уровень литературы, служащей делу народа, делу коммунизма.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Швейцер. Начало пути.— **А. Берзер.** О старом бобре и молодой белке.— **Инна Борисова.** Когда герои свидетельствуют против автора...— **А. Турнов.** Книга о великом сатирике.— **Валентина Дынник.** «Семья Тибо» и традиции реализма.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Пешкин. Кузнецкий металлургический.— Член-корреспондент Академии наук СССР **А. Сидоров.** Искусство редактирования.— **Е. Немировский.** Бизнесмены от литературы.— Кандидат исторических наук **Вал. Зорин.** Враг, о котором нельзя забывать.

Литература и искусство

Начало пути

Виктор Кеулькют — первый профессиональный чукотский поэт. И нет ничего удивительного в том, что почти одновременно в разных издательствах вышли на русском языке сразу две его «первые книги»: ведь сейчас, как никогда, велик интерес к жизни и культуре народов Севера.

Кеулькют пишет о своем крае, о том, что ему ближе всего, что он знает и любит с детства.

Иногда от людей я слышал,
Что у нас не житье, а горе:
Злые ветры срывают крыши,
Постоянно бушует море;
Летом грязь, а зимой заносы,
Тундра топкая, словно студень,
Караулят лиман торосы —
Ни пройти, ни проехать людям.
Скучно, холодно и пустынно.
Ни весны, мол, здесь нет, ни лета...
Вы спросите Чукотки сына,—
Я отвечу:

— Неправда это!

(«Это неправда!». Перевод Л. Соловьевой)

Да, конечно, бывают и пурга, и злые ветры, и долгие ночи (на то это и Север!),

Виктор Кеулькют. Пусть стоит мороз. Первая книга стихов. Авторизованный перевод с чукотского Н. Старшинова. Редактор В. Сякин. 62 стр. «Молодая гвардия». М. 1958.

Кеулькют. Моя Чукотка. Стихи. Перевод с чукотского Л. Соловьевой. Редактор Б. Некрасов. 106 стр. Магаданское книжное издательство. 1958.

но для поэта Чукотка — родина, и цветы в тундре кажутся самыми красивыми, и солнце самым ярким, и люди самыми близкими.

«Моя Чукотка» назвал Кеулькют один из своих сборников. Его Чукотка — наша, современная. Мы много знаем о преобразованиях, которые произошли на советском Севере за сорок лет. Очеркисты, побывавшие там, любят сравнивать — посмотрите, что было раньше и что стало теперь. Они восхищаются: были шаманы, а стали школы, была глушь и темнота, а теперь клубы и радио, была беспросветная нужда, а теперь колхозы. Тоненькие книжки стихов В. Кеулькюта говорят об этих преобразованиях, пожалуй, ярче самых красноречивых очерков. В первой книге первого поэта-чукчи нет ни одного упоминания о шамане, зато есть и аэродром, и выборы в Совет, и школа, и колхоз. И главное — все это не вызывает у поэта ни удивления, ни умиления. Что удивительного в том, что в доме слушают радио, а над тундрой летят самолеты? Что удивительного в том, что мама с утра везет мальчишку «на работу» в детский сад, а там у него столько дел и игрушек, что некогда и поплакать? Разве будет восьмилетняя Ильга удивляться тому, что стала первоклассницей? Для нее это так и должно быть. Новое встречается у Кеулькюта на каждом шагу, но то, что для молодого поколения это новое — и радио, и

самолеты, и школы — стало привычным, повседневным явлением, говорит о преобразованиях на Севере ярче всего.

Почти все стихи Кеулькута сюжетны. Они знакомят нас с бытом, нравами чукотского народа. Существует традиционное представление о людях Севера: все они необыкновенно сильные, смелые, выносливые и даже, кажется, все молодые. Вот и Кеулькут пишет, обращаясь к далекой подруге:

Ты б хотела увидеть сама
Север — родину сильных и смелых?

На самом же деле (и спасибо ему за это!) люди в его стихах, как и в жизни, разные: молодые и старые, трудолюбивые и лентяи, сильные и смешные. Вот хвастун, который, размышляя о своих достоинствах, падает в сугроб («Болтун»). Или человек, хорошо всем знакомый, — лодырь. Утром он никак не может встать, чтобы идти на работу, — все ему кажется «слишком рано», когда же наконец проснется — уже «слишком поздно».

И так живет
из года в год.
А выйдет на работу,
стоит весь день, разинув рот, —
не побороть зевоту.

(«Лентяй». Перевод Н. Старшинова)

Но большинство людей в стихах Кеулькута — охотники на моржей, которым часто приходится вступать в единоборство с морской стихией, рыболовы и пастухи, дровосеки — действительно сильные, выносливые и смелые: жизнь на Севере вырабатывает все эти качества. Они не совершают необыкновенных подвигов, а просто ежедневно делают трудную и опасную работу. У них есть чему поучиться, с ними хочется дружить.

Удается Кеулькуту пейзажная лирика. Она передает разнообразную и суровую красоту Севера, потому что написана человеком, влюбленным в этот край. Много стихов посвятил он малышам: олененку, малышке чайке и маленьким мальчишкам и девочкам. Все это лиричные, милые стихи, написанные тепло и с юмором.

Трудно говорить об особенностях стиха поэта, которого читаешь в переводах. Но о переводах сказать необходимо. Перевод первой книги Виктора Кеулькута, вышедшей в Москве, сделан Н. Старшиновым. Иные его переводы хороши, а некоторые страдают похожестью ритма на что-то

давно знакомое, обилием общих мест, отсутствием конкретной образности, вследствие чего теряется колорит Севера. Не все удачно и в переводах Л. Соловьевой (Магадан), но у нее есть переводы конкретные, зримые.

Не зная чукотского языка, мы не можем судить, кто из переводчиков в том или ином случае ближе к подлиннику. Тем не менее поразительно, как из одного стихотворения при переводе получаются два совершенно разных. Вот стихотворение «Ветер» в двух переводах.

Яростный ветер стремительно мчится.
Мечутся в страхе, спасаются птицы,
Травы испуганно жмутся к земле,
Трубы печные завывли в селе.

Тучи огромные порваны в клочья,
Ветер свистит, завывает, рокошет.
Речку заметил, и вот, глубока,
Пойманной птицей забилась река.

Вздыбились волны, вода потемнела,
Рвется, клокочет под пеною белой.
Шторм! Начинается шторм на реке!
Чья это лодка плывет вдалеке?

Рвет паруса разъярившийся ветер.
Нет! Тишины не бывает на свете!..
В лодке суровый старик рулевой
Бьется упорно с волной штормовой.

Лодка на гребень огромный взлетела.
Только б к фарватеру выйти успела!
С грохотом в борт ударяет вода,
Лодку бросает туда и сюда...

Ветер, стремительный ветер несется!
Кренится лодка, вот-вот разобьется!
Тянется к лодке большая волна, —
В гнев опасна река и страшна...

Яростный ветер стремительно мчится.
Пену взбивает, хохочет и злится,
Но по фарватеру твердой рукой
Лодку отважный ведет рулевой.

(Перевод Л. Соловьевой)

О ветер привольный!
Над ширью речной
огромные волны
ты поднял стеной.

Под тучею черной
сгущается мгла,
и в тундре покорно
трава полегла.

Все крепче удары,
темней небеса.
Но мчится байдара,
подняв паруса.

И воды под нею
ключами кипят.
И снасти сильнее
скрипят и скрипят.

А ветер все громче
гудит у реки.
Но опытен кормчий,
и руки крепки.

Обходит он мели,
байдару ведет
к намеченной цели —
вперед и вперед.

А буря крепчает.
Нависла беда.
Байдару качает
туда и сюда.

О ветер привольный!
Над ширью речной
огромные волны
ты поднял стеной.

(Перевод Н. Старшинова)

Эти два стихотворения различны по задаче, которую ставят себе переводчики. Л. Соловьева всей системой образов, ритмичной напряженностью стремится передать ощущение конфликта, драматизма. Н. Старшинов просто дает как бы зарисовку с натуры, картинку северной природы. Стихотворения различны по эмоциональному воздействию, по впечатлению, которое они производят на читателя, и ритмически они звучат совсем по-разному, даже количество строк в них неодинаково. Все это не вызывало бы возражений, если бы они не были переводом одного стихотворения.

К сожалению, стихотворение «Ветер» в этом смысле не исключение. Подобное произошло со стихотворением «Поющая де-

вушка» и некоторыми другими стихами В. Кеулькута. Например, в одном переводе сказано: «Над аэродромом наступает тишина», в другом в этом же месте: «И стальные птицы над аэродромом целый день гудят, не умолкая» («На аэродроме»). В стихотворении «Весной» в переводе Л. Соловьевой рассказывается о том, как старик дровосек, проработав до утра, не ложится спать, а идет на охоту, и, конечно, неудачно. В переводе Н. Старшинова в этом стихотворении два человека: один — дровосек (он уже и не старик вовсе!), который утром вернулся и уснул, а другой — старичок, который пошел утром на охоту.

Вопрос о качестве переводов национальных поэтов ставится давно и часто. Поэта, заслуживающего того, чтобы быть представленным всесоюзному читателю, надо переводить бережно, сохраняя дух и смысл подлинника. Тогда невозможны будут такие случаи, как те, о которых мы только что говорили.

Очень хорошо, что в обеих книгах есть биографические справки о В. Кеулькуте. Радует, что в издании «Молодой гвардии» большинство стихотворений иллюстрировано хорошими рисунками П. Караченцева (фамилию которого, к сожалению, можно с трудом отыскать лишь на последней странице). Пусть почаще выходят так любовно оформленные, такие праздничные «первые книги»!

В. ШВЕЙЦЕР.

★

О старом бобре и молодой белке

В новой повести А. Шарова «Ручей старого бобра» есть одна очень важная для этого произведения сцена.

...По узкой лесной тропинке идут герои произведения — подросток Николай Колобов, учитель биологии Шаповалов и приехавший в здешние места художник, от имени которого ведется повествование. «Впереди на тропинке показалась белка, добежала до середины и надолго замерла. Я раскрыл альбом и карандашом набросал ее силуэт. Коля заглянул через плечо и тихо, как будто ему неловко указывать самоочевидные вещи, заметил:

— Да она же старая, а вы нарисовали, будто молодая.

А. Шаров. Ручей старого бобра. «Юность», 1958, № 9.

— Старая, конечно, — не глядя на рисунок, кивнул Шаповалов.

Белка продолжала спокойно позировать, но я не рисовал больше, а вглядывался в маленького зверька, страстно желая понять, почему это, по каким признакам сразу видно, что белочка на тропинке стара, а та, что нарисована мною, молода. Я старался уловить различие, сразу бросившееся в глаза Коле, с грустью понимая, что это мне не по силам. А я люблю природу».

И далее художник с «печальной ясностью» думает о том, что воспринимает он природу «в общем и целом», а это «самое большое несчастье — воспринимать окружающее «в общем и целом»».

Повесть Шарова и написана об этом живом, конкретном — во всех подробностях,

со всеми красками и запахами — познании мира природы, таком познании, при котором одной лишь любви недостаточно, здесь нужны самопожертвование и творческая одержимость. Тогда не может быть губительного «в общем и целом» ни в отношении к природе, ни в жизни людей, ни в искусстве; тогда белка в альбоме художника не будет лишь условным обозначением белки на лесной тропинке.

Это отношение к жизни в повести А. Шарова выражено прежде всего в образе ее главного героя — Коли Колобова, мальчика лет четырнадцати, с лицом строгим и сосредоточенным.

Коля — натуралист, естествоиспытатель. Он все время что-то исследует, изучает, проверяет. Он должен понять все сам, свой опыт, свой вывод для него — главное, он не может жить чужим умом, чужим опытом.

Весь несложный сюжет повести сосредоточен на истории взаимоотношений мальчика и старого бобра. Это очень серьезная, очень поэтичная и печальная история.

...В поселке Рагожи, где протекает действие повести, есть бобровая ферма. И вот на этой ферме происходят странные события: по ночам кто-то ранит маленьких бобрят.

Николай не ест и не спит, он целиком отдается поискам, и именно он находит виновного. На рассвете мальчик появляется на ферме — похуевший и растерзанный, с испуганными и одновременно сияющими, счастливыми глазами. Он поймал бобра — старого, одинокого, печального зверя, «неуживчивого от неутолимой звериной тоски», но мудрого, благородного и сильного.

Таким увидел бобра Коля, и это не столько внешний «портрет», сколько внутренний, выражающий одновременно и облик зверя и характер восприятия мира мальчиком, потому что «вера в справедливость животных, природы, вообще всего мира не оставляла его. Вероятно, суждено было ему прожить с этой верой всю жизнь».

Коля воссоздает историю бобра с Холодного ручья: недавно погибла его бобриха, и он остался совсем один, «инстинкт звал его на люди, «на бобры», если можно так выразиться. Особенно сильно зверя, очевидно, тянуло к маленьким бобрятам». По ночам он подплывал к бобровой ферме и звал бобрят, а когда те, испуганные, раз-

бегались, старый бобр пытался удержать хоть одного и клыком воззался ему в хвост.

Так раскрывается эта загадка.

Но, конечно, не история старого бобра в центре повести А. Шарова. «...Цель-то разве бобр? Цель — человек», — говорит старый учитель, директор школы Зайцев. И это имеет не только чисто педагогическое, воспитательное значение, но и художественное, потому что образ Николая раскрывается в повести прежде всего и полнее всего в этой истории.

Все действия, все поступки мальчика сосредоточены на том, чтобы приручить старого бобра и облегчить ему жизнь. Николай — характер сосредоточенный, поглощенный одной мыслью, подчиняющий все этой мысли. Наблюдения над зверем приводят его к выводу о необходимости найти средство, которое предотвратило бы вымирание бобров вообще.

Шаров умеет обнажать движение мысли героя, показать ход его суждений, вовлечь в них читателя (эти черты дарования писателя видны и в других его произведениях). Его привлекает юношеский характер, одержимый мечтой, жадной узнавания, открытия, характер цельный и чистый.

Коля Колобов именно такой герой. И вместе с тем это характер мальчишеский, несмотря на всю серьезность и значительность его переживаний.

Однажды старый бобр прокусил ему до кости руку. Коля пытался это скрыть, но не удалось, врач «посоветовал сделать уколы против бешенства».

«— Бобры бешеные не бывают, — отрицательно замотал головой Коля.

— Откуда ты знаешь? На всякий случай надо.

— Мой бобр не бешеный.

— Водобоязнь — болезнь смертельная, — пожал плечами врач.

— Не бешеный, не бешеный! — задыхаясь от волнения, повторял Николай».

Речь мальчика передает его характер своеобразно. В приведенном выше диалоге Коля повторяет все время, собственно говоря, только одно: «не бешеный» — сначала спокойно, потом с волнением.

«Не могу я, — объяснил он, виновато, но твердо поглядывая на старшего брата. — Бобр не бешеный, я знаю..»

Мальчик любил бобра, гордился им, и, вероятно, ему казалось предательством да-

же заподозрить бобра в том, что тот бешеный».

Последняя разъяснительная фраза в общем-то и не нужна, все понятно и без нее из этих коротеньких, отрывистых, неловко произнесенных слов.

Писателю удалось разрешить сложную задачу: в речи героя он сумел передать его молчаливость, стеснительность, боязнь громких, красивых слов. Коля немногословен, лаконичен, он часто обходится одним только словом, и поэтому слово это становится очень емким.

Все это, конечно, детские переживания, но это благородные детские переживания. И Шаров пишет о них с серьезностью и уважением. Точно так же он писал в повести «Путешествие продолжается» и об открытии ленинградского школьника, расшифровавшего таблицы с острова Рапануи. Обе повести связаны между собой глубоко понимающим, сочувствующим и сопереживающим отношением писателя к своим героям, мыслью о том, что формирование будущих землепроходцев и мореплавателей, будущих великих ученых начинается еще в эти босоногие мальчишеские годы.

Это главная мысль писателя, выраженная в образе Коли Колобова. Но есть в повести еще герои, которые несут эту же идею уже в прямой форме. Это два директора школы — Зайцев и Шиленкин.

К сожалению, о них можно сказать лишь, что Шиленкин — плохой, а Зайцев — хороший. Зайцев произносит благородные речи о бережном отношении к маленькому человеку, к его интересам, тревогам и волнениям, о том, что воспитание и духовная свобода — совпадающие понятия.

А Шиленкин говорит речи глупые, тупые и торопится разоблачить себя перед читателем, как будто у автора нет времени на то, чтобы задержаться, остановиться, подумать.

Создается впечатление, что писатель и не стремится здесь к полноте изображения человеческих характеров так, как стремится он к этому, рисуя образ Коли. Возможно, что Шаров сознательно противопоставил два принципа, два метода воспитания в обобщенном, обнаженном виде, прикрепив их чисто условно к двум различным фамилиям. Может быть, и так... Но ведь писатель сам опроверг этот метод, рассказав поучительную историю о старой белке и молодом художнике, о губитель-

ном для жизни и для искусства отношении «в общем и целом».

В образах Зайцева и Шиленкина торжествует как раз этот метод. Правда, не до конца. Как только выраженные в этих героях воспитательные принципы отражаются на Николае, на его судьбе, они тотчас же приобретают жизненную конкретность. При Зайцеве и расцветают в мальчике все его живые черты, он свободен в своих увлечениях, в своих опытах и наблюдениях. Мы видим, как он ухаживает за бобром, как делает свои маленькие открытия, как думает, исследует.

Приход в школу Шиленкина приносит первые страдания в жизнь Коли Колобова. Ему запрещают делать опыты и в наказание отнимают у него бобра. Тоска по зверю, боязнь за его жизнь и, наконец, смерть бобра — все это входит в характер мальчика.

Таким образом, и Зайцев и Шиленкин в конце концов оказались включенными в развитие внутренней темы повести, но только в конце концов и в преломленной, отраженной форме. Те же страницы повести, где эти два героя непосредственно характеризуются автором, сравниваются и противопоставляются друг другу (по нехитрому принципу контраста), принадлежат к наименее удачным.

Характер Коли Колобова, его строгое, деловитое и вместе с тем глубоко поэтическое ощущение природы наложили отпечаток и на общий характер повествования, особенно на описания природы — сдержанные, челоуечные, улавливающие каждый шорох в лесу, каждый всплеск ручья: «Всегда что-нибудь плыло по тугой и прохладной поверхности ручья. Это была дорога лесных переселений, как бывают дороги птичьих перелетов. Старые березы, липы и ивы склонялись над водой, как бы разглядывая своих детей, вспоминая далекое прошлое и думая о том, что увидит и испытает плывущая армия на длинном пути и что им, вросшим в землю, никогда не увидеть...»

Пройдет много времени, и где-нибудь закрепится легкое и веселое семечко тополя; дубовый желудь зароется во влажную прибрежную землю; флотилия семян липы причалит к освещенной солнцем пристани и, может быть, превратит парус в крылья, отыскивая на берегу лучшие места; молодая березка пустит корни среди степных

трав, вырастет и вечно будет покачивать кудрявой головой, сиюсья вспомнить лес, где она родилась».

Это рассказывает автор, но на всем описании лежит ответ характера героя. Именно Коля мог так точно увидеть каждое семечко, плывущее по ручью, и воссоздать, сочинить его будущую жизнь.

Но иногда в противовес этой главной — живой и строгой — линии повествования возникает в произведении какая-то совсем иная, ложно-красивая струя. Кажется порой, что идет она от образа художника, фигуры неясной и условной, не имеющей в произведении своего дела.

Однажды Лена рассказала Николаю о том, что она любит считать солнечные блики. «Николай тоже стал считать блики. Они были опаловые, объемные, прозрачные; золотистый оттенок просвечивал, как желтож сквозь скорлупку. Вероятно, они действительно походили и на птичьи яйца и на жемчужины, хотя бог их знает, как они выглядят — жемчужины».

Неясные, туманно-призрачные, как эти неуловимые солнечные блики, описания изредка прорываются на страницы повести, и тогда произведение лишается естественности и простоты, тогда возникают сравнения необычайно изысканные (например, «туман, подсвеченный солнцем, чуть желтоватый, был похож на скошенную траву», морковь, освещенная луной, «казалась яркой, как падающая звезда»), не передающие жизни, ее цвета и запаха.

И дело тут не только в отдельных неудачных сравнениях, их, в общем, не так

уж много в живой и поэтической ткани произведения. Дело в том, что на этих «бликах» возникла в произведении история Аллы Шиленкиной, написанная именно в этом мнимо-многозначительном, туманно-невнятном ключе.

Алла — красавица, в которую влюбляются все, кто ее ни увидит. Она как будто чего-то ищет, тоскует, стремится к какой-то высокой цели, но в то же время с легкостью бросает любящего ее мужа (это старший брат Николая), как только он попал в беду, и выходит замуж за удачливого Шиленкина. Но и это, оказывается, не просто расчет, а что-то иное, загадочное и, очевидно, глубокое. Все в этом образе построено на намеках, недоговоренности, пунктирных линиях. И, прочитав повесть, так и не узнаешь, кто же такая Алла — посредственная мешаночка или значительный человек, который почему-то не может изменить свою жизнь.

Учитель Зайцев сказал про Аллу: «не состоялась», имея в виду ее человеческое призвание. Мы можем повторить эти слова вслед за Зайцевым — Алла «не состоялась» как художественный образ. С ней вьрывается в живое произведение А. Шарова что-то невыраженное, невысказанное и очень уж литературное.

История Аллы не имеет в повести такого идейного и художественного значения, как рассказ о Коле и бобре с Холодного ручья, но она находится в противоречии с основным жизненным направлением талантливой повести.

А. БЕРЗЕР.

★

Когда герои свидетельствуют против автора...

Медицинская сестра Аллочка Наумова влюбилась в хирурга Брудакова. Аркадий Брудаков был «уже начинавшим полнеть средних лет пышноволосям шатеном, аккуратно подстриженным, с короткими, «испанскими» баками».

Любовь к шатену с испанскими баками оказалась для Аллочки роковой. Шатен обманул.

Это естественно. Он был мешанином. Таким его сделала мать, Клеопатра Ивановна. Сын называл ее «мамá». Как индивидуалист он начал формироваться

уже в колыбели, когда «чуть ли не с первого дня рождения Клеопатра Ивановна вдальбывала сыну, что он — особенный ребенок». Мещанство господствовало в доме. Достаточно сказать, что Клеопатра Ивановна, несмотря на то, что ей было за пятьдесят, пудрилась, подкрашивала волосы и делала маникюр. Завтракали они на белоснежной скатерти, кофе пили из серебряного кофейника и фарфоровых чашек. Эта удушающая атмосфера и породила карьериста и приспособленца Брудакова.

Клеопатра не боялась никого, кроме своего соседа Кузьмы Петровича. Только он сочувствовал Аллочке, на которой Бру-

даков женился, испугавшись общественного мнения (дело получило огласку). Клеопатра угнетала невестку. Кузьма Петрович поддерживал Аллочку — учил мыть шваброй пол и варить щи с наваром. Кроме того, он учил ее, как нужно протестовать против самодержавия свекрови. Это не помогло. Аллочка попыталась избавиться от своего будущего ребенка и чуть не погибла. Подлеца Брудакова исключают из партии.

В той же больнице в то же время работали другой хирург и другая сестра. В противоположность полнеющему и холемому Аркадию Брудакову Иван Орловский был «высокий, прямой, крутоплечий, с пучками черных бровей на скуластом обветренном лице». У крутоплечего, обветренного Орловского была совсем другая любовь. Ирину Петровну он любил самозабвенно. Ирина Петровна тоже любила его. Но их счастью мешал сын Орловского Юрка (от умершей жены у Орловского осталось двое сыновей). Юрка почему-то невзлюбил Ирину Петровну, и поэтому она решила, что им с Орловским не судьба быть вместе. А решить это ей было очень трудно. «Разумом понимая, что ей нельзя сходитьсь с ним, она влюбленным сердцем не хотела расставаться. И вот эти два слова — «нельзя» и «хочу» — жили в ней все это время, боролись, ненавидели, были самыми злыми врагами друг другу».

Эту внутреннюю борьбу Ирина Петровна выдержала с честью. Да и как же иначе? «Ирина Петровна Гудимова везде и всегда высоко несла звание рядовой, но лучшей труженицы — лучшей ученицы, лучшей студентки, лучшей медицинской сестры». Бог знает, как разрешилось бы это ее мучительное противоречие, если б не оказалось, что, во-первых, директор Юркиной школы Федор Васильевич Горбунов — ближайший друг Орловского по армии и что, во-вторых, Ирина Петровна — та самая сестра, которая спасла на фронте жизнь Федору Васильевичу. Юрка был посрамлен. Он раскаялся и полюбил Ирину Петровну.

Таков сюжет повести В. Дягилева «Крутизна».

Здесь есть все — любовь, страдание, обман, разоблаченный мещанин, верные друзья, общественное мнение, любовь, мнимая и настоящая, обывательская и подлинно человеческая. Автор карает и хвалит, возмущается и благодарит.

И все же нет здесь той позиции, той

первоосновы, вне которой немислим разговор о высокой морали.

Вот идет любовная сцена. Орловский и Ирина Петровна едут в командировку. Едут по ухабистой дороге в санитарной машине.

«— Садитесь с шофером,— предложил Орловский. Но Ирина Петровна отказалась, и они сели рядом на узкую скамейку, протянутую вдоль борта.

Машина тронулась, их качнуло — Ирина Петровна невольно упала на плечо Орловскому.

— Ну вот видите,— сказал он таким тоном, будто был виноват перед ней за ухабистую дорогу, и слегка отодвинулся.

А Ирине Петровне вдруг сделалось смешно. Ей захотелось пошалить, как девчонке, немножко подразнить его. Дорога шла по первопутку, сквозь сугробы и рытвины. Их бросало ежеминутно. И при новом броске Ирина Петровна совсем упала на грудь Орловскому.

— Извините,— сказал он виновато и опять отодвинулся.

Ирина Петровна едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. В кузове было темно, и он не видел ее лукавых глаз.

Снова толчок, опять падение, и вновь он зачем-то извиняется.

Потом «машину так качнуло, что они чуть не упали и стукнулись друг о друга».

Потом так же еще полстраницы.

Еще несколько подобных сцен, а их не несколько — лирические сцены почти все таковы,— и у читателя появляются сомнения. Ему понятна вульгарность Брудакова (хотя вряд ли стоило столь обильно цитировать брудаковские пошлости). Но все ли благополучно в отношении автора к своим героям?

В самом деле.

Брудаков внушает Аллочке, что все в больнице подлецы и верить никому нельзя. Автор хочет доказать обратное: все, кроме Брудакова (почти все), — хорошие, честные, чуткие. Он не жалеет хороших слов в адрес Орловского, Ирины Петровны, парторга Донских, всего коллектива больницы. Но беда в том, что все эти хорошие люди упорно не хотят подчиняться автору. И в то время, когда автор рекомендует их как сугубо благородных, они раскрывают себя совсем иными.

Ирина Петровна, по настойчивой рекомендации автора,— человек принципиальный и деятельный. Однако странно: ей не

нравится уход Аллочки из больницы, но она ничего не предпринимает, чтобы его предотвратить. Донских предлагает ей навестить Аллочку. Она мнетя. Почему? Аллочка как-то ее оскорбила. Уязвленное самолюбие звучит в этих обстоятельствах странным аргументом, тем более, если принять во внимание их разницу в годах и в жизненном опыте.

Донских настаивает. Ирина Петровна соглашается. И тут на нее низвергается каскад авторских восторгов. Она принадлежала к поколению, которое считало равнодушие предательством. Здесь за товарища отвечали, как за себя. Здесь всегда помогали друг другу. «Вот почему,— гордо пишет автор,— она не могла пройти мимо судьбы Аллочки. Вот почему считала партийное поручение боевым приказом». Но, право же, эти бравадные интонации звучат очень неуместно, если вспомнить, что Ирина Петровна отнюдь не реалась в бой. Да и бой-то она проиграла — не сумела найти общий язык с Аллочкой, как не сумела найти подход к сыну Орловского. В обоих случаях ее выручило отнюдь не отзывчивое сердце, а чистая случайность.

Романтизируются добродетели весьма скромные. Поэтизируются лирические сцены весьма вульгарные. Автор и его положительная героиня теряют право на возмущение обывателем Брудаковым.

Это право трудно признать и за коллективом больницы и за парторгом Донских.

Проследуем за героями на партийное собрание. Послушаем, как они разбирают персональное дело Брудакова.

Выступает Донских. Напряженный момент. Сейчас, как пишет автор, оратор подыскивает подходящие слова. Вот он «закинул руки за спину, а затем, очевидно, найдя слова нужные и правильные... сделал руки по швам, точно принял стой-

ку «смирно». Стоя в этой позиции, Донских сообщил: «Товарищи, укрепление семьи — это большая государственная проблема. Это — партийный вопрос».

«— В чем причина столь многочисленных разводов?» — поинтересовался далее Донских. Он «поднял руку и показал пальцем на Брудакова. Зал посмотрел сначала на этот палец...» Видимо, не найдя здесь ответа, зал посмотрел на Брудакова. «Брудаков сидел опустив голову и... икал (???), весь вздрагивая при этом», «Вот в ком причина», — подтвердил Донских догадку зала.

Затем Донских снова вернулся к теории. «Нам нужно заниматься каждым человеком... Разрешите привести такое сравнение. Вы все бывали в цирке, видели там сетку, ту, что подвешивают, чтобы артист не разбился. Так вот, я думаю, коллектив — это сетка, и если она целая, крепкая, ни один человек не должен разбиться».

Закончив, «Донских переступил с ноги на ногу, словно застоялся и ему не терпелось в путь», и сказал: «Вот, кажется, все, товарищи. Еще ни разу в жизни я не говорил таких длинных речей...»

Мы побывали всюду. Слышали споры героев, наблюдали их столкновения, но включиться в их борьбу нам было трудно, ибо выяснилось, что линия фронта, обозначенная автором, не соответствует действительному размежеванию добра и зла в повести. Те, кого автор назвал врагами Брудакова, по сути своей не так уж далеко от него ушли. Вероятно, поэтому трудная беседа отца с сыном в повести превратилась в сентиментальное воркованье, а нелегкая любовь Орловского стала неожиданно походить на грубый флирт. И, вероятно, поэтому же победа над Брудаковым не стала победой над брудаковщиной.

Ирина БОРИСОВА.

★

Книга о великом сатирике

Почти год прошел с тех пор, как серия литературных мемуаров, издаваемая Гослитиздатом, пополнилась книгой «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современ-

М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина. Редактор М. Сергиевская. 880 стр. Гослитиздат. М. 1957.

ников». И хотя в предисловии сообщалось, что «настоящая книга представляет собой первый опыт издания сборника воспоминаний и других свидетельств современников о великом русском сатирике, труд этот пска что не был удостоен критического отзыва».

Между тем, на наш взгляд, книга заслуживает всяческой популяризации. Автор

предисловия справедливо отметил, что, «несмотря на общепризнанность Щедрина, его относительно мало читают» и что во многом это объясняется теснейшей связью произведений сатирика с обступавшими его событиями и лицами, многие из которых с тех пор превратились в «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Нам кажется, что сборник воспоминаний о Щедрина не только способен сам по себе захватить читателя, но и толкнуть его к книгам самого писателя и развеять существующий, хотя и не высказываемый печатно, миф об их скучности, устарелости и т. д.

Поразителен уже сам человеческий облик Щедрина, встающий со страниц воспоминаний, самых различных по духу своему, проникнутых то живейшей симпатией, то почти нескрываемой неприязнью. Да, авторы некоторых мемуаров «пересластили» (вроде Ив. Щеглова), и от иных страниц, рисующих «сурового добряка», читатель с невольным удовольствием переходит к тем, где характер Щедрина раскрывается во всей своей неприкрашенной резкости. Но в целом перед нами возникает незабываемое лицо, такое же, какое смотрит с фотографии, сделанной Л. Ф. Пантелеевым, — полное потрясающей, страстной силы и трагизма и в то же время лишенное каких бы то ни было признаков любования своим страданием, лицо человека, с губ которого может слететь ядовитый сарказм или такая ворчливая реплика, которой отделялся Салтыков от посетителей в последние месяцы жизни: «Занят, скажите... Умираю...»

Не говорю уж о том, сколько удовольствия доставят читателю многие юристические выходы Салтыкова, о которых повествуют современники. Так, забываемы его рассказы, переданные разными людьми (правда, с некоторыми расхождениями в деталях), о встречах с членами «августейшей» фамилии, пожелавшими «лицезреть» знаменитого писателя в бытность его вице-губернатором. Многие мемуаристы засвидетельствовали также его необычайную человечность, столь причудливо сочетавшуюся с колючим нравом.

Судьба Щедрина-писателя — это почти символ положения русской литературы в прошлом. Его первые опыты были «отмечены» ссылкой, в конце жизни он вел героически неравную борьбу с наседающей победоносцевско-суворинской сворой. Измельчание и забвение высоких идеалов

шестидесятых годов, отступничество бывлых соратников, вроде Елисея и Жуковского, ощущение полного краха народнических иллюзий — вся эта окружавшая больного писателя атмосфера, явственно воссоздаваемая многими мемуарами, делает особенно понятной ту оценку, которую, по воспоминаниям С. Н. Кривенко, дал Щедрина Тургенев: «Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он».

И действительно, хотя в пору господства реакции литературная борьба была охарактеризована самим Щедриным как «так называемые «столкновения», в которых один толкался, а другой думал единственно о том, как бы его не затолкали вконец», — сам Щедрин остался верен до конца своему высокому назначению писателя.

Но только ли о Щедрина эта книга? Нет, на ее страницах запечатлелись и портреты современников и соратников Щедрина; как обаятелен, например, Глеб Успенский в его стеснительно-совестливом и влюбленном отношении к суровому Салтыкову, который честит его за торопливость и в то же время видит в нем «будущего великого русского писателя». Воспоминания о пребывании Салтыкова на службе дают нам ощутить предысторию многих его творений, а раздел «В редакции «Отечественных записок» знакомит нас с интересными эпизодами из истории русской журналистики, воссоздавая отнюдь не лишенную внутренних противоречий, но исключительно благоприятствующую развитию литературы обстановку этой редакции.

Разумеется, в воспоминаниях современников многое не только позабыто, но и сознательно недоговорено, опущено, а порой просто не понято или истолковано наивно, а то и превратно. И, конечно, далеко не всегда читатель сумел бы толком разобратся в тех бурях любви и ненависти, какие бушевали вокруг личности Щедрина и во многом определили звучание приведенных воспоминаний, если бы не наличие в книге отличных комментариев.

На обороте титульного листа написано: «Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина». Даже если не знать, что С. А. Макашин — автор капитальной биографии Щедрина, первый том которой был несколько лет назад высоко оценен нашей обще-

ственностью, стоит прочесть один лишь рецензируемый сборник, чтобы по достоинству оценить «скромный», «черный» труд, каким часто кажется литературоведение.

Обычно необходимость отправляться в конец книги, чтобы получить какое-либо разъяснение прочитанного (к тому же далеко не всегда окупающее усилия, затрачиваемые на перевертывание страниц!), раздражает читателя. И хотя комментарии к сборнику воспоминаний о Щедрина занимают больше ста пятидесяти страниц убогистого текста, они не только не надоедают, но временами, напротив, приобретают самостоятельную ценность, превосходно вводя читателя в курс интереснейших проблем, встающих при изучении творчества писателя, его биографии, общественной обстановки и литературной жизни того времени.

Таковы комментарии по поводу отношения писателя к первомаковцам, его знакомства с Лорис-Меликовым, некоторых его служебных дел и т. д. В свою очередь и те характеристики, которыми предваряются мемуары, вырастают в своего рода портреты, явно перерастая рамки «справки». Социолог В. И. Танеев, доктор

Н. А. Белоголовый, либеральный деятель А. М. Унковский и другие мемуаристы, чьи имена сравнительно мало известны или даже вовсе не известны большинству читателей, приобретают живые человеческие очертания под пером С. А. Макашина, который в то же время не изменяет своей строгой стилистической манере и вовсе не думает о красотах беллетризации. Читая предисловие, характеристики мемуаристов и комментарии, ловишь себя на мысли, что написанное С. А. Макашиным в этой книге не укладывается в сухое понятие «сведения справочного характера», а ощущается как готовые страницы следующего тома научной биографии Щедрина, воскрешающие драматизм и этой великой жизни и тех сложнейших общественных обстоятельств, в которых она протекала.

И оставлять без внимания эту книгу, сделанную, по скромному свидетельству С. А. Макашина, «с возможной для индивидуальных усилий составителя полнотой», а по нашему мнению — с поразительной добросовестностью и любовью, было бы очень несправедливо.

А. ТУРКОВ.

★

«Семья Тибо» и традиции реализма

Имя Роже Мартен дю Гар связано в представлении советских читателей главным образом с его многоотным, монументальным романом «Семья Тибо», первые части которого были изданы у нас еще в тридцатые годы, когда все произведение не было еще закончено французским писателем. Сейчас мы располагаем полным текстом романа, кончая «Эпилогом».

Мартен дю Гар посвятил созданию «Семьи Тибо» около двадцати лет напряженного и вдохновенного труда, притом труда, сознательно сосредоточенного не на полировке фразы, не на украшении стиля, а на углублении смысла, на максимальном приближении к жизни, какой ее видел и хотел воплотить художник. Это не значит, что он пренебрегал литературной формой, — это значит, что совершенства формы он искал в освобождении ее от все-

го того, что, отвлекая внимание к словесной вязи, мешает восприятию образа. Наш Горький восхищался прозрачностью стиля в произведениях Флобера. При всем различии между Мартен дю Гаром и Флобером их сближает такое, чисто реалистическое, отношение к одной из важнейших проблем художественного мастерства. Но еще явственнее и крепче в этом смысле связь романа дю Гар с реалистической традицией, идущей от Л. Толстого, — недаром сам дю Гар, говоря в своих «Воспоминаниях» о том, как много значил для него автор «Войны и мира», с восторгом отмечает удивительную простоту и естественность толстовского стиля, полную, органическую слиянность его с содержанием.

Забота дю Гар о простоте и естественности стиля, то есть в конечном счете о его правдивости, — лишь частное проявление тех поисков жизненной правды, какими отмечены и образы «Семьи Тибо», и общий замысел этого романа, и его многосложное идейное содержание, и сюжет, и композиция. Пафос правдивости, достоверности,

Роже Мартен дю Гар. Семья Тибо. Перевод с французского под редакцией А. Смирнова и Ю. Корнеева. Том I — 680 стр. Том II — 820 стр. Гослитиздат. М. 1957.

каким овеяно повествование о семье Тибо, позволяет уверенно причислить дю Гара к прямым наследникам реалистов XIX века — Бальзака, Стендаля, Флобера, Золя и опять-таки Льва Толстого. «Семья Тибо» — не «семейный роман», это история французского общества начала XX века, воспринятая через судьбы Оскара, Антуана и Жака Тибо и некоторых других персонажей из их окружения, обобщенная в их типических образах. Говоря об историзме «Семьи Тибо», нельзя не вспомнить о «Человеческой комедии» Бальзака, где он выступает, по собственному определению, как секретарь своей эпохи; и о романе Стендаля «Красное и черное», имеющем в подзаголовке слово «хроника»; нельзя не вспомнить и о «Ругон-Маккарах» Э. Золя, где, несмотря на ощутимое наличие натуралистического биологизма, персонажи, как справедливо заявляет автор, «своими личными драмами... повествуют о Второй империи, начиная от западни государственного переворота и кончая седанским предательством»; нельзя не вспомнить, наконец, о «Войне и мире» Л. Толстого.

Сближает дю Гара с реализмом XIX столетия, особенно с искусством Стендаля и Л. Толстого, и его внимание к психологической детали, к какой-нибудь малоприметной на первый взгляд черточке внешнего облика человека, к какой-нибудь, казалось бы, случайной частности в его поведении или его помыслах, — но такой черточке, такой частности, в которых вдруг раскрывается перед зорким глазом писателя вся сущность персонажа или какая-нибудь потаенная, но важная сторона его характера, его отношения к себе, к жизни, к людям.

В наследии реалистов XIX века нашла себе поддержку и высокая интеллектуальность творчества дю Гара: его герои не только действуют и чувствуют, но и много, упорно, часто мучительно для себя, размышляют (именно размышляют, а не рассуждают), и размышления эти не только не нарушают пластичности образов, но и придают им еще больше жизненности и реалистической достоверности. Как не вспомнить по этому поводу стендалевского Жюльена Сореля или Андрея Болконского и Пьера Безухова!

Убежденный продолжатель реалистических традиций XIX века, Роже Мартен дю Гар представлял собою в первой половине XX века довольно одинокую фигуру. Хотя

такое значительное произведение, как роман дю Гара «Жан Баруа», вышло еще в 1913 году, но подлинный расцвет его творчества относится к двадцатым и тридцатым годам, когда были созданы семь частей «Семьи Тибо» и завершающий их «Эпилог». Всем существом своего творчества писатель остался чужд модернистским течениям, так широко распространившимся во французской литературе этих лет. Страстное повествование о семье Тибо, о Франции перед первой мировой войной, о трагическом лете 1914 года, повествование, полное любви к человеку и гневной ненависти ко всему, что человеку враждебно, полное неутраченной тревоги о судьбах родины, о судьбах целых поколений, — все это не имеет ничего общего с искусством модернизма, безжизненным и холодным по самой сути своей.

В начале двадцатых годов Анатолий Франс, крупнейший из продолжателей французских реалистических традиций, уже заканчивал свою творческую деятельность. Да и в произведениях своих, созданных за предшествующие два десятилетия, великий сатирик, не изменяя реалистической правде, часто сознательно отказывается от правдоподобия и охотно отводит место причудливым гротескным образам, нарушающим привычные нормы повседневной жизни («Остров пингвинов», «Восстание ангелов» и др.). «Современная история», более близкая творчеству дю Гара и исторической документальностью своей и пластичностью образов, а по своей тематике перекликающаяся с его ранним романом «Жан Баруа», была закончена Франсом уже к 1901 году, то есть для создателя «Семьи Тибо» была довольно далеким литературным прошлым.

Из французских писателей, современных дю Гару, наиболее близок к нему Р. Роллан — и прежде всего обостренной чуткостью писательской совести своей. Эта близость подтверждается и письмами дю Гара и Ромена Роллана друг к другу. Во время первой мировой войны дю Гар, призванный в армию и уже успевший собрать немалый запас тех горьких наблюдений, какие легли потом в основу завершающей части «Семьи Тибо» — ее «Эпилога», с запозданием, случайно читает антивоенную статью Р. Роллана «Над схваткой» и, уступая непреодолимой внутренней потребности, пишет автору (с которым даже не знаком лично) о своем впечатлении от его

статьи: «Ах! Какой порыв свежего воздуха, наконец-то, наконец-то! Я чувствую себя преобразенным, помолодевшим, более чем когда-либо жажду дожить до дней будущего! Я не в состоянии сейчас судить, спорить. Не хочу. Только одно: первый глоток чистого воздуха, я могу даже сказать — единственный за этот год, если исключить несколько писем от очень немногих друзей, — дали мне вы, повторяю еще раз, вы. Мне было необходимо поблагодарить вас...»¹. И все-таки автор «Семья Тибо», издавна во многом близкий к автору «Очарованной души», тоже создававшейся в двадцатые — тридцатые годы, идет своей особой тропой. Это отмечает и сам Р. Роллан. «Спасибо, что вы дали мне возможность проследить до конца правдивую хронику семьи Тибо, — пишет он дю Гару в 1940 году, — и разрешите мне порадоваться вместе с вами, что вы завершили ее не дрогнув, как мастер.

Среди множества важнейших ее качеств есть одно, на которое способны не многие из нас: подчинение истине — истине, не подлежащей обжалованию, не считающейся ни с нашими желаниями, ни с нашими надеждами, ни с нашими мечтами, всегда готовыми сплутовать. (Как часто шла эта борьба во мне самом! И не всегда я выходил из нее победителем)»².

Уступая и А. Франсу и Р. Роллану в широте и многообразии литературной деятельности, Р. Мартен дю Гар, быть может, в некоторых отношениях еще в большей чистоте, чем они, хранит традиции реализма. «Семья Тибо» — своего рода эталон реалистического искусства XX века. Вот почему в последние годы, годы напряженной борьбы между защитниками и противниками реализма, ведется борьба и из-за творчества Мартен дю Гара: первые видят в нем одного из крупнейших писателей нового времени, вторые — либо пренебрежительно объявляют его метод устаревшим, либо искажают и смысл и всю художественную природу его произведений, отрицая в них наличие подлинного реализма.

Вопрос о жизнеспособности реализма «Семья Тибо», о его достижениях, возможностях и тенденциях, таким образом, приобретает в наши дни особую остроту.

Первый, суммарный ответ на этот во-

прос дается непосредственным, непредвзятым читательским восприятием. Как это ни парадоксально, казалось бы, но сейчас, через много лет после того, как роман полнотью, до конца, опубликован был во Франции (1940). читаешь его с еще более напряженным интересом, чем раньше. Это относится прежде всего к тематике седьмой его части, озаглавленной «Лето 1914 года» и повествующей о том, как буржуазные хищники готовились к кровавому пиру первой мировой войны, с каким негодованием, с каким отвращением и ужасом следили за их человекоубийственными политическими махинациями все честно мыслящие люди, как трусливо и подло вели себя после объявления войны многие из тех, что еще накануне, именую себя социалистами, выступали с антивоенными речами. По всему идейному и эмоциональному содержанию своему, по страстной убежденности тона, по реалистической документальности образов «Лето 1914 года» естественно включается в борьбу за мир, которую ведет нынешняя передовая литература Франции. Социалистический реализм обрел в традиционном реализме дю Гара верного и сильного союзника.

Но «Лето 1914 года» органически связано со всем замыслом, со всем миром художественных образов этого обширного романа, занимающего более полутора тысяч страниц и состоящего из ста семидесяти пяти глав. И больше всего «Лето 1914 года» связано с образом и судьбой главного героя романа — Жака Тибо. Именно то, что 1914 год изображен дю Гаром не только в своего рода политическом обозрении, но и через восприятие Жака, как этап его жизни, его идейных поисков, его борьбы, придает этой части романа особенную художественную убедительность и силу.

Антивоенным содержанием не исчерпывается актуальная для наших дней ценность реалистического романа дю Гара. Уже при чтении первых частей этого произведения мы следим за тем, как в Жаке Тибо, мальчишке школьного возраста, постепенно растет и крепнет дух борьбы. Оскорбленный в своих лучших, откровенно чистых чувствах, затравленный своими школьными наставниками, которые грубо овладели его заветной «серой тетрадь» и гнусно перетолковали его дружбу с Даниэлем де Фонтаненом, Жак Тибо уже на пороге жизни начинает понимать, как стра-

¹ «Иностранная литература», 1958, № 10.

² Там же.

шен и отвратителен окружающий его мир лицемерных аббатов, бездушных педагогов, честолюбивых благотворителей. Бурный протест мальчика против всего этого мира еще, конечно, далек от подлинного социального протеста, но, повествуя о бегстве Жака в Марсель, писатель внимательно подмечает в своем маленьком герое непримиримость и стойкость, составляющие необходимое качество подлинного борца. И то, что они проявляются у Жака в сочетании с чертами явного мальчишества, придает повествованию особенно подкупающую психологическую правдивость.

Можно, прочтя роман дю Гара, впоследствии позабыть некоторые его эпизоды — ведь их так много! — но нельзя позабыть страницы, посвященные жизни Жака в исправительной колонии, куда, после бегства в Марсель, его отправляет отец. Трагическая сила этих глав — не в описании одиночной тюремной камеры, тюремного режима, какому подвергается Жак, а в изображении страшного душевного одиночества этого юноши. Бытовые и психологические детали — то, как, разговаривая с пришедшим его навестить старшим братом Антуаном, Жак Тибо беспокойно поглядывает на дверной тюремный глазок; или как, отпущенный с братом на прогулку по компьенской дороге, он угрюмо глядит себе под ноги, не обращая внимания на восхитительный пейзаж; даже то, как оживляется он, жадно поглощая предложенные Антуаном пирожные, — все способствует жизненной подлинности этого тюремного эпизода. Поражает лаконизм психологического анализа в этом отрывке (как, впрочем, и на всем почти протяжении романа). О душевных муках юного Тибо, о жестокой закалке, какую на всю жизнь получил его характер в стенах исправительного заведения, ни автор, ни его герой почти не говорят. В беседе с Антуаном Жак очень немногословен, по большей части отмалчивается. Но именно в том, как упорно он отмалчивается, как он взвешивает свои скупые слова, как он осмотрителен и насторожен, особенно конкретно видны и горький опыт затравленного человека, и душевная собранность для предстоящей борьбы за свое достоинство и свою свободу.

Эта борьба, постепенно расширяя свой круг, превращается в борьбу за свободу и достоинство человека, борьбу социальную. Пускай Жак Тибо борется, страдает,

ищет, мыслит, надеется порою, казалось бы, в одиночку, но по существу, он не индивидуалист и не анархист. Он ищет себе соратников и единомышленников. Он жадно вглядывается в каждое человеческое лицо, как бы желая разгадать, враг это, или друг, или равнодушный свидетель его жизненных стремлений. Именно этими поисками соратников и единомышленников определяются по существу и его отношения с Женни, недолгое счастье их любви накануне гибели Жака. Именно этими поисками определяется, конечно, и его пребывание в швейцарской «говорильне» — в многонациональной среде социалистов, — и его пристальное внимание к деятельности и личности Мейнстреля. Иногда высказывается мнение, что бессмысленна гибель Жака Тибо. Но ведь гибель Жака — это подвиг пропагандиста, стремящегося помешать начинающейся военной бойне, бороться с милитаристским угаром. Можно ли назвать его подвиг бессмысленным? Пускай герой дю Гара погибает, даже не успев сбросить с самолета свои листовки, но писатель без навязчивых деклараций, всем дальнейшим развитием своего романа убеждает в том, что гибель Жака не бессмысленна. Память о нем живет в сердце и сознании Женни. Своего маленького Жан-Поля, даже не носящего имени Тибо, она хочет воспитать так, чтобы он был похож на своего отца. Антуан, в сущности не успевший и сблизиться с братом, пишет свой предсмертный дневник, где «скорбный лист» безнадежного больного, отравленного удушливыми газами, сочетается с научными заключениями врача, наблюдающего над собственным своим умиранием, с честно подводимыми итогами всей своей жизни — вернее, жизни семьи Тибо, — с завещанием ребенку Жан-Полю. И недаром же в этом дневнике Антуан, трезво переоценивший и себя самого, и свою деятельность, и устои буржуазного общества, которые он никогда не стремился пошатнуть, обращает к сыну Жака слова, полные глубиной, хотя и запоздалой, убежденности в том, что Жак избрал для себя верную дорогу: «Нащупывать пути самому, в потемках, не очень весело; но это меньшее зло. Худшее — покорно идти за тусклым светильником, который твой сосед выдает за светоч. Остерегайся! Память об отце будет тебе примером! Пусть его одинокая жизнь, его беспокойная мысль, вечно ищущая мысль, будет для тебя образцом честности

по отношению к самому себе, примером правдивости, внутренней силы и достоинства».

Значение темы Жан-Поля, возникающей в завершительной части романа, дю Гар, верный своему реалистическому лаконизму, выделяет в трех последних коротеньких строчках «Эпилога»,—Антуан, уже ощущая непосредственную близость смертного часа, подводит в своем дневнике окончательный итог:

«37 лет, 4 месяца, 9 дней.
Гораздо проще, чем думают.

Жан-Поль».

О глубоком смысле такой концовки романа и вместе с тем о ее связи с лучшими традициями реализма кратко, но очень верно говорит Р. Роллан в уже упомянутом письме к дю Гару (1940): «В последней строке — последнее слово надежды, возобновления: ребенок,— точно закрываешь «Войну и мир».

Жак Тибо еще не вполне воплощает в себе черты нового человека, того героя, образ которого создается в произведениях социалистического реализма. Жак еще смутно представляет себе то будущее, во имя которого он борется. В этом отношении характерно, что, отводя в романе столько места политическим материалам, вопросам социализма, изображению деятелей западного социалистического движения, так убедительно показывая предательство руководителей II Интернационала, Мартен дю Гар все же лишь бегло упоминает о большевиках, о революционной борьбе русского пролетариата, лишь отдаленно связывает эту тему с историей страстных поисков политической правды, которым посвящены последние годы жизни его героя. Мало связан Жак Тибо и с народными массами. Слияние с ними в могучем протесте против войны, испытанное им на грандиозном митинге в Брюсселе во время выступления Жореса,— лишь эпизод в его жизни (правда, вдохновенно изображенный писателем, который в создании этой массовой сцены проявил себя как блестящий преемник Эмиля Золя).

Но если не во всей полноте встает перед нами со страниц «Семьи Тибо» образ нового человека, то существенные качества его — непримиримая ненависть к старому миру и не знающее компромиссов устрем-

ление к будущему — даны в произведении дю Гар так правдиво, с такой художественной полноценностью! Читатель не испытывает даже мимолетного ощущения, что перед ним «голубой» герой, измышленный, приукрашенный автором. Это большая победа автора-реалиста.

Образ Жака помогает Мартен дю Гару полнее осуществлять и другую задачу своего реалистического искусства — разоблачение старого мира. Этот мир конкретнее всего воплощен писателем в отце Жака. Интересно, что портрет Оскара Тибо постепенно, черта за чертой, возникает перед нами впервые в связи с историей «серой тетради», захваченной школьным аббатом при обыске ученической парты Жака. Искусство характерной детали, которым дю Гар владеет с таким совершенством, проявляется уже в этом первоначальном портрете. «Одутловатое лицо с гтяжелыми, почти всегда опущенными веками», лицо, «скованное жиром», ничего не выражающее; острый взгляд, лишь изредка бросаемый на собеседника; мощная нижняя челюсть, внезапно выдвигаемая вперед,— вот скупые данные приметы внешнего облика Оскара Тибо. Так же скупы даны и психологические приметы. Когда из разговора с аббатом отец узнает о бегстве своего младшего сына, то сразу же восклицает: «Я ставлю жандармов разыскать его где угодно! Или во Франции больше нет полиции? Или у нас разучились ловить преступников?» Чувство отцовства проявляется в нем лишь на один момент — и то лишь как сознание материальной ответственности за ущерб, нанесенный Жаком школьному имуществу. «Это пустяки,— поспешил прибавить аббат в ответ на смущенный жест г-на Тибо»,— так кратко и так многозначительно говорит писатель об этой черточке отцовской психологии Оскара Тибо, уверенной рукой намечая образ типичного, законченного буржуа. Уже здесь можно угадать в г-не Тибо будущего тюремщика своего сына. Уже здесь можно почувствовать сильного, властного, напористого и предельно бездушного дельца, буржуа до мозга костей — человека того старого мира, от которого так решительно отказывается Жак.

В самом построении сюжета, в композиции романа мир Жака и мир Оскара Тибо противопоставлены один другому. Без каких-либо нарочитых указаний автора со-

поставляешь прекрасную гибель Жака и жалкую смерть г-на Тибо, животный страх его перед нею.

Опираясь на достижения реализма XIX века, Роже Мартен дю Гар показал себя не робким эпигоном его, но смелым преемником, творчески продолжающим его

дело. Роман «Семья Тибо» — одно из наглядных доказательств жизнеспособности старого реализма, могущего быть сильным союзником реализма социалистического в борьбе за мир, за построение нового общества.

Валентина ДЫННИК.

★

Политика и наука

Кузнецкий металлургический

В дни, когда страна готовится к XXI съезду партии, который наметит пути дальнейшего могучего развития народного хозяйства СССР, с особым интересом открываешь книги, возвращающие нас к годам первых пятилеток. К числу таких книг относится изданный Кемеровским издательством сборник, посвященный двадцатипятилетию Кузнецкого металлургического комбината.

В основе создания Кузнецкого комбината лежал смелый и плодотворный план комбинирования природных богатств страны, возможного лишь в условиях плановой социалистической экономики. Идея использования крупных запасов сибирских углей и уральских железных руд принадлежит В. И. Ленину и высказана им в работе «Очередные задачи Советской власти».

Строительство завода развернулось в нелегкое время. В стране ощущался крайний недостаток в строительных материалах и особенно в механизмах. Работы велись преимущественно ручным способом: землю копали лопатами и отвозили в тачках. «В минуты перерыва,— вспоминает один из авторов книги,— землекопы мечтали о машинах, которые работали бы за десятерых. Мы не знали тогда, что эти чудо-машины будут называться экскаваторами». В месяцы «пик» на всех участках Кузнецкстроя одновременно работало до семидесяти пяти тысяч человек. Обслуживание такой внушительной армии вызывало немалые трудности. Выручали товарищеская спайка и взаимопомощь, горячий энтузиазм. В книге приводится много интересных фактов о самоотверженном труде строителей.

Работы на площадке Кузнецкого металлургического завода начались в июне 1929

года. Через одиннадцать месяцев был заложен фундамент первой доменной печи, а в течение 1932 года были пущены все звенья, составляющие полный металлургический цикл: в феврале был выдан первый кокс, в апреле получен чугун, в сентябре — сталь, в ноябре блюминг прокатал первые стальные слитки, а 30 декабря прокатали первые рельсы. К этому же времени вступил в строй рудник Тельбесс. Даже в наше время, когда строители вооружены первоклассной техникой, темпы строительства Кузнецкого завода не могут не вызвать восхищения.

К проектированию завода были привлечены американские фирмы. Консультанты фирм оставались на заводе и в первый период пуска. Это дало повод буржуазной печати утверждать, что, собственно говоря, не мы сами построили восточные металлургические гиганты, а построили и пустили их американцы. В сборнике приводятся материалы, решительно опровергающие подобные утверждения. На этом, в частности, останавливается в своих воспоминаниях бывший главный инженер Кузнецкстроя, ныне вице-президент Академии наук СССР, академик И. П. Бардин.

«...Американцы,— пишет он,— приехали к нам после того, как прошло пятнадцать месяцев строительства завода. Кое-что уже было сделано — проложены основные пути, высились кожухи домен, усиленными темпами изготовлялись металлические конструкции мартеновского цеха, высились здания огнеупорного, мартеновского и котельного цехов и т. д. Приехавшие имели право критиковать и даже приостанавливать начатые работы, тем более что в Москве были люди, считавшие, что все, что сделано нами, сделано не так, как нужно... Американцы нашли наши проекты доменных печей отвечающими уровню тех-

ники того времени. Конструкции здания мартеновского цеха, изготовленные группой академика Шухова, также были одобрены... В общем никаких существенных замечаний не было».

А в период освоения иностранные консультанты скорее тормозили дело, чем двигали его вперед. Они дошли до того, что стали утверждать, будто в суровых условиях сибирской зимы металлургические агрегаты придется останавливать. Среди консультантов оказались и лжеспециалисты. В этом отношении большой интерес представляют воспоминания Б. Жеребина, ныне директора комбината. Он приводит такой факт. «Искусством прожигания летки кислородом они, как видно, не обладали. К моменту выхода на смену нашей второй бригады (Б. Жеребин работал тогда сменным инженером.— И. П.) чугун «достать» не удалось, а чугунная летка представляла собой большое, неправильной формы, отверстие — «берлогу», как говорят в таком случае доменщики. Застав такое положение, Л. К. Ровенский дал мне и мастерам Гончарову и Болгову указание «брать власть в свои руки» и продолжать «доставать чугун».

Л. К. Ровенский — один из учеников и соратников знаменитого специалиста доменного дела М. К. Курако — был на первых кузнечных домнах обер-мастером.

В наши дни пускают одну за другой гигантские домны, и «доставание» чугуна для советских доменщиков не представляет какой-либо проблемы.

Новая техника часто ставила трудные, необычные задачи. А иностранные консультанты утаивали производственные секреты, хотя это было грубым нарушением обязательств, принятых ими по контрактам. Советские металлурги добивались успеха настойчивым трудом и учебой.

О достижениях Кузнечского завода, о пути, пройденном им за четверть века, рассказывается в статье Г. Ермолаева, бывшего директора завода, ныне работающего в Кемеровском совнархозе.

«За двадцать пять лет Кузнечский металлургический комбинат дал стране 39,5 миллиона тонн чугуна, 52,7 миллиона тонн стали и 38,6 миллиона тонн проката... Вторая угольно-металлургическая база на Востоке сыграла решающую роль в победе советского народа в годы Великой Отечественной войны, когда на угле и металле Куз-

басса и Урала работала почти вся военная промышленность СССР».

В последние годы кузнечскими металлургами были разработаны новые, прогрессивные методы производства (паровоздушное дутье на домнах, автоматизация вагонных весов и воздухонагревателей, новые режимы варки стали, повышенные скорости работы прокатных станков). Об этом рассказывает в своей статье начальник технического отдела комбината Г. Шаров.

Сборник раскрывает еще одну важную черту, относящуюся, так сказать, к тактике экономического строительства в нашей стране. Кузнечский комбинат строился в расчете на магнитогорскую руду. Но тогда же вопреки «теории», что никаких перспектив на открытие в Сибири железорудной базы нет, были предприняты широкие поиски руды в Горной Шории и в других близких к новому заводу районах.

Руду нашли. Это удалось сделать не только благодаря недюжинной энергии молодых рудоискателей, но и потому, что они сумели установить правильные взаимоотношения с местным шорским населением. Один из основных железных рудников, ныне питающий своей рудой домны Кузнечка, носит имя шорских охотников Шерегешевых. О том, как братья Шерегешевы нашли железную руду, рассказывает в своих интересных заметках главный геолог горного управления Кузнечского комбината Я. Тунин. Другое, еще более богатое Шальмское месторождение указал охотник Кизирев, третье — Таштагольское — шорец Скворцов.

В настоящее время Горная Шория является главной кладовой Кузнечного металлургического комбината. Четыре пятых руды, переплавляемой в домнах Кузнечка, — местная, шорская и хакасская руда. Горную Шорию прорезала железная дорога, тайга отступила. В ней выросли новые благоустроенные рабочие поселки. В Горную Шорию пришел свет большой жизни.

Как всякий рассказ о трудовых достижениях людей, горячо преданных своей социалистической Родине, книга «Первенец сибирской металлургии», воссоздающая обстановку, в которой строились наши первые заводы-гиганты, имеет немалое воспитательное значение.

Вступающей в трудовую жизнь молодежи книга расскажет о том, как отцы и деды начинали бой за индустриализацию, будучи во сто раз хуже технически вооруженны-

ми, чем нынешние строители, для которых привычными стали и экскаваторы, и энергопоезда, и заводы-автоматы для изготовления бетона, и многое-многое другое. Советская страна располагает собственной могучей техникой, неисчерпаемыми запасами различных уже разведанных природных ископаемых, огромной армией высококвалифицированных специалистов.

Но и задачи, которые нам предстоит решить, поистине грандиозны. Залогом высоких темпов нашего роста является ясность цели, к которой партия ведет народ. Начав тридцать лет назад борьбу за решение исторической задачи — догнать и перегнать в экономическом отношении наиболее развитые капиталистические страны, — Советский Союз давно уже вышел по уровню промышленного производства на первое место в Европе и на второе — в мире. Сейчас он вплотную подошел к тому рубежу, с которого начинается решительное экономическое соревнование с наиболее могущественной капиталистической страной — Соединенными Штатами Америки.

Книга «Первенец сибирской металлургии» — несомненное достижение Кемеровского издательства. Тем более досадно видеть в ней недочеты.

Текст очерков неряшливо отредактирован. Приведем лишь один — правда, весьма выразительный — пример (стр. 56):

«...по мере того как производство расширялось, меняло свою колонизаторскую форму черепашьей эволюции и переходило на революционный темп — все наносное отпадало и ценность этих самородков признавалась всеми. Мы должны быть признательны им за создание многочисленных кадров нашей могучей техники». Понять здесь что-либо — трудно.

Подчас недостаточно продумана композиция книги. Так, вряд ли следовало в заключительный раздел, носящий название «Слово о нашей жизни», включать очерк «Хозяева блюминга», которому лучше бы соседствовать с материалами, посвященными техническому прогрессу. Неясно, почему в книге помещена «Баллада о трех коммунистах» Н. Тихонова. Такие недочеты нельзя оправдать спешкой, в которой делался сборник и о которой редколлегия ставит в известность читателей.

Однако не эти недостатки определяют лицо книги. В ней собраны очень ценные материалы, которые, несомненно, запомнятся молодым строителям. Может быть, среди читателей сборника окажутся и те, кто принимает участие в развернувшемся строительстве Западносибирского металлургического комбината — второго гиганта металлургии Сибири.

И. ПЕШКИН.



Искусство редактирования

В нашей стране в невиданных прежде размерах издается политическая, научная, художественная, техническая и производственная литература. Советские издательства ежегодно выпускают более миллиарда экземпляров книг. Как по числу названий, так и по тиражам выходящих в свет книг СССР опередил все страны мира. Тысячи авторов, многотысячные тиражи — это сегодняшний день советского издательства; десятки тысяч авторов, миллионные тиражи — его завтрашний день.

В связи с этим особо важное значение приобретает деятельность редактора, призванного способствовать повышению идейного и научного содержания нашей литературы. Но, к сожалению, проблемам

редакторского мастерства у нас еще не уделяется должного внимания. Работа редактора пока что не стала объектом пристального внимания и деловой критики. Издано очень мало пособий, рассматривающих вопросы теории и практики редактирования. И только в последнее время наметился некоторый перелом: появилось несколько работ, посвященных созданию книги, труду редактора. Они тепло встречены нашим читателем. Среди них заметное место занимает исследование Е. Лихтенштейна «Редактирование научной книги».

В этом труде, являющемся итогом многолетнего опыта работы автора в крупнейшем нашем научном издательстве — издательстве Академии наук СССР, рассмотрены общие и специальные вопросы редактирования научных книги, то есть той области редакторского дела, которая до сего вре-

Е. Лихтенштейн. Редактирование научной книги. Редакторы И. В. Латышев и Г. А. Виноградов. 272 стр. «Искусство». М. 1957.

мени почти не исследована. Книга имеет подзаголовок: «Некоторые вопросы издательской культуры». Но интерес, который возбуждает эта работа, многообразнее и шире: она заставляет задуматься над рядом проблем, связанных с книгой как продуктом творчества и как объектом исследования.

Рецензируемая работа имеет много достоинств. И главное из них — глубокое проникновение в сущность излагаемого материала. В книге сопоставляется множество изданий, обобщается опыт редактирования. Приводимые сведения и примеры систематизированы, и поэтому все принципиальные положения и выводы автора вполне убедительны.

Глубоко и всесторонне освещена деятельность В. И. Ленина как редактора. Приводя ленинские замечания о взаимоотношениях автора и редактора, о научных приемах анализа статистических данных, о библиографической работе, автор показывает их методологическое значение и способствует тому, чтобы слово Ленина, его многогранный труд редактора стали достоянием всех издательских работников.

Для книги характерна широкая филологическая основа рассмотрения вопросов редактирования, критики вообще и рецензирования в частности.

В первой главе, широко освещая опыт работы издательства Академии наук СССР, автор показывает многие стороны сложной, нелегкой и увлекательной работы редактора. Однако нам кажется, что здесь не уделено достаточного внимания горестному вопросу об ошибках в наших книгах. Речь идет об ошибках-путаницах, ошибках-неточностях, которые проникают в печать в тех случаях, когда редактор, забывая о своих контрольных функциях, всецело полагается на память автора. Пишущий эти строки на своем веку видел много такого рода ошибок. Рассказать о некоторых из них весьма поучительно. Так, в хорошей брошюре по истории армянской книги, вышедшей недавно, название средневекового романа «Парис и Елена» по недосмотру автора и редактора превратилось в «Париж и Вена». При публикации литературного наследия декабриста Н. Бестужева ему была приписана фраза: «художник по маслу должен...» Но кто когда-нибудь говорил про живописца, пишущего масляными красками, что он «художник по маслу»? При проверке ори-

гинала рукописи было обнаружено, что Бестужев писал: «художник, по-моему, должен...»

Большое внимание в рецензируемой книге обращено на научный аппарат изданий и технику редакторской работы. Целые главы посвящены проблемам составления таблиц, указателей, примечаний. И каждая из этих глав, помимо прикладной, практической, имеет большую теоретическую ценность.

Не меньшую ценность имеет и глава «Указатели». Несколькo неудачен, по нашему мнению, пример со стихотворением А. С. Пушкина «Возрождение». Не следовало рассматривать его только как отклик поэта на факт «реставрации» или неумелой переделки картины Рафаэля. Это стихотворение имеет, конечно, более общее значение.

Приводя пример различных способов набора указателя (стр. 93), автор включает в понятие «искусство» археологию, графику, ксилографию, эстетику, что неправомерно: понятие «археология» никак не входит в понятие «искусство». Ксилография является частью графики.

Третья глава книги, посвященная библиографии и другим элементам справочного аппарата, содержит ценные советы составителям комментариев и примечаний. Эти рекомендации помогут избежать многих недоразумений, еще имеющих место в наших изданиях. Приведем один трагикомический случай. В очень известном, ставшем классическим сборнике воспоминаний И. Е. Репина «Далекое близкое» упоминается некий немецкий художник Карл Моор. Составитель примечаний к первым советским изданиям «Далекого близкого», очевидно имея дело с карточкой, на которой было написано «Карл Моор», дал в примечании такое «пояснение»: «Герой драмы Шиллера «Разбойники». Составитель примечаний к последующим изданиям «Далекого близкого» обратился к пишущему эти строки за консультацией. Выяснилось, что здесь описка у Репина. Художник, которого он имел в виду, носил имя Карл Марр.

Поучителен разбор известных комментированных изданий прошлого (стр. 157—169). Следует лишь заметить, что автор имел все основания для более резкого осуждения академического издания Собрания сочинений Державина 1864—1888 годов под редакцией Я. Грота и издания Собра-

ния сочинений Пушкина под редакцией С. Венгерова, где примечания в буквальном смысле затопили всю публикацию.

Интересна глава «Таблицы, формулы, иллюстрации». Она начинается вопросом о статистике, и автор уместно приводит здесь критику, которой Ленин подверг антинаучные приемы анализа статистических материалов народниками. Критика эта особенно злободневна в наши дни. Как говорят англичане, существуют три рода лжи: простая неправда, чертовская (или дьявольская) ложь и... статистика. Советской общественности в ее борьбе против дезинформации и прямой клеветы со стороны наших врагов постоянно приходится сталкиваться с фальсификацией статистики.

Работа Е. Лихтенштейна оканчивается небольшой главой о научно-популярных и научно-фантастических произведениях, в которой содержатся рекомендации, касающиеся их редактирования.

В заключение хочется сказать, что задача, которую ставил перед собою автор: «хотя бы в какой-то части заполнить уже давно и остро ощущаемый пробел в пособиях по редактированию научной книги», успешно решена.

Труд Е. Лихтенштейна окажет большую помощь студентам редакционно-издательских отделений факультетов журналистики университетов и явится справочным пособием для авторов и редакторов научных произведений.

★

Бизнесмены от литературы

Юбилеи бывают разные. Зачастую они отмечаются не с целью напомнить современникам о тех или иных людях или событиях прошлого, а для того, чтобы прикрыть не всегда приглядные дела настоящего.

Такие мысли вызвала у нас рецензируемая книга, посвященная шестидесятилетнему юбилею так называемых бестселлеров, который был торжественно отмечен в Соединенных Штатах Америки.

Что же такое бестселлер?

Шестьдесят с небольшим лет назад на страницах журнала «Букмен» («Книж-

Отсутствие на нашем книжном рынке подобной литературы, мизерный тираж исследования Е. Лихтенштейна — четыре тысячи экземпляров, — а также интерес, который оно вызвало, обуславливает целесообразность его перенздания. И в связи с этим хочется высказать еще одно замечание.

Редакционная подготовка научных трудов по различным отраслям знания имеет свою специфику. Было бы желательно увидеть анализ этой специфики, а также особенностей различных типов научной литературы: монографий, сборников произведений классиков науки, собраний сочинений и т. п.

Давно настало время обобщить опыт, накопленный работниками советских издательств. Только тогда будет восстановлено в правах книговедение — научная дисциплина, изучающая книгу как средство общения людей. К изданию монографий и учебных пособий по истории издательского дела и редактированию различных видов литературы должны быть привлечены все те, кто содействует превращению рукописи в готовую книгу.

Таких исследований ждут авторы — писатели, ученые, специалисты промышленности и сельского хозяйства, новаторы производства — и первые читатели их произведений, их критики и консультанты — редакторы.

*Член-корреспондент
Академии наук СССР
А. СИДОРОВ.*

Alice Payne Hackett. 60 Years of Best Sellers. New York (Алиса Пейн Хэкетт. Шестьдесят лет бестселлеров. Нью-Йорк).

ник») был опубликован список книг, лучше всего распродающихся в крупнейших городах США. Список заинтересовал читателей. В редакцию приходили письма с просьбами и в дальнейшем помещать сведения о книгах, пользующихся наибольшей популярностью.

Списки стали публиковаться регулярно. С 1903 года число книг, приводимых в них ежемесячно, было ограничено шестью. При этом в названии списка, толкующего о «бест-селлерз букс» («наиболее хорошо распродающихся книгах»), слово «букс» для краткости опустили. Так родилось новое слово — бестселлер, вскоре получившее права гражданства в английском и некоторых других языках.

И поныне списки бестселлеров ежемесяч-

но публикуются в США. Их можно найти сейчас на страницах журнала «Паблিশез уикли» — органа книготорговцев и издателей. В конце каждого года ежемесячные данные о продаже книг суммируются и составляется общегодовой список бестселлеров.

К шестидесятилетию бестселлеров Алиса Пейн Хэкет собрала подробные статистические и библиографические данные о распространении книг в США и опубликовала их. Статистика бестселлеров весьма поучительна. Она позволяет сделать некоторые примечательные выводы о путях развития американского книгоиздательства.

Работа Хэкет состоит из двух основных разделов. В первом из них приведены суммарные сведения о книгах, разошедшихся наибольшим тиражом за последние шестьдесят лет. Во втором даны списки бестселлеров по годам. На первый взгляд, общие списки являются простой суммой ежегодных. Но это не так. Книги, упомянутые в общем списке, могли и не попасть в число бестселлеров отдельных лет. И наоборот, если книга пользовалась популярностью один-два года, а затем была забыта, у нее мало шансов попасть в общий список. Но, с другой стороны, книга могла и не считаться бестселлером, однако ее покупали многие поколения американцев из года в год. Покупали, правда, в небольших количествах, но количество распространенных экземпляров постепенно увеличивалось и сделало общий тираж книги весьма значительным.

Библиографический труд Хэкет открывается списком бестселлеров, каждый из которых разошелся в течение шестидесяти лет в количестве свыше одного миллиона экземпляров. В списке триста шесть названий (отметим, кстати, что триста шесть книг — «миллионеров», по нашим масштабам, не так уж много). При этом только девять книг имело тиражи, превышающие четыре миллиона.

Американский народ дал миру блестящую плеяду талантливых писателей. Вашингтон Ирвинг, Гарриет Бичер-Стоу, Эдгар По, Фенимор Купер, Марк Твен, Теодор Драйзер, Эптон Синклер... К удивлению, в списке, составленном Алисой Пейн Хэкет, мы не найдем ни одного из этих имен.

Наибольшей популярностью в течение последних шестидесяти лет пользовалась религиозно-мистическая повесть Чарльза

Монро Шелдона «По его следам». Любопытно отметить, что ни в одном из годовых списков бестселлеров нет названия этой книги, изданной впервые в 1897 году. Однако за прошедшее с тех пор время она была распродана колоссальным для США тиражом в восемь миллионов экземпляров.

Религиозная литература, вообще говоря, усиленно издается и пропагандируется в Америке. По мнению Хэкет, наиболее часто покупаемой книгой является библия. Однако несколькими страницами ниже можно прочесть, что большинство американцев предпочитает религиозной литературе... поваренные книги.

В общем списке бестселлеров мы найдем всего лишь одну книгу Джека Лондона, две книги Джона Стейнбека, две — Эрнеста Хемингуэя, одну — Перл Бак. Ни одно из замечательных произведений Марка Твена, ни один из романов Теодора Драйзера или Эптона Синклера не были за последние шесть десятилетий распроданы в количестве свыше миллиона экземпляров.

Не в чести у американских издателей иностранные писатели. В списке нет ни одного из имен великих мастеров слова, произведения которых знакомы нам с детства. Нет Диккенса, Бальзака, Толстого, Достоевского, Золя, Мопассана, Чехова. Нет Шекспира, Рабле, Мольера, Гюго... Нет даже Дюма или Конан-Дойла.

Зато в книге приведен список детективных романов, разошедшихся тиражом свыше полумиллиона экземпляров. В списке сто двенадцать названий. Ровно половина их принадлежит одному писателю — Эрлу Стенли Гарднеру.

Слава Гарднера началась в 1933 году, когда был издан его роман «Дело о бархатных фраках». Содержание романа составили приключения сыщика Пэрри Мэзона. Сюжетная линия была умело заверчена, однако особенными художественными достоинствами роман не отличался. Впоследствии Гарднер признавался репортерам, что роман был продиктован стенографистке в течение трех с половиной дней.

Книга выдержала тираж около двух миллионов экземпляров. Успех побудил Гарднера продолжать сочинительство. Так появилась серия романов о Пэрри Мэзоне. Детектив этот оказался весьма удачным. Перед его лаврами померкла слава Шерлока Холмса. Американские издатели считают, что знаменитый герой Конан-

Дойла чересчур «умен и рассудителен» для среднего американца. Общий тираж романов Гарднера — за двадцать три года им написано около восьмидесяти книг — достигает астрономической цифры: восемьдесят шесть миллионов экземпляров.

Названия романов о Пэрри Мэзоне нарочито однообразны и походят скорее на заголовки судебных отчетов: «Дело об опасной вдове», «Дело о черноглазой блондинке», «Дело о похищенной брюнетке» и так далее. Издательство Морроу, выпускающее романы Гарднера, заработало на них многие миллионы. Недавно им был издан рекламный очерк о Гарднере. Назван он не без остроумия: «Дело об Эрле Стенли Гарднере».

Американским литераторам остается лишь «завидовать» Гарднеру. Его ближайший соперник — Эллери Квин — может положить на чашу весов только тридцать две книги, изданные общим тиражом около тридцати пяти миллионов. Квин описывает свои похождения в трущобах и воровских притонах Нью-Йорка. В издательских кругах известно, что под псевдонимом «Эллери Квин» скрываются два предпримчивых и плодовитых литератора — Фредерик Дэнней и Манфред Ли.

В списке детективных бестселлеров упомянуто всего лишь семь книг Микки Спиллейна, но они возглавляют этот список. Спиллейн весьма примечательная фигура сегодняшней книжной Америки. Он более откровенен, чем Гарднер. Герои его более жестоки. Каждый из романов Спиллейна был распродан в количестве свыше трех миллионов экземпляров. Названий этих романов вполне достаточно, чтобы судить об их содержании и общекультурной ценности: «Крупное убийство», «Мой револьвер всегда наготове», «Целуй меня беспощадно!», «Мсть за мной»...

Спиллейн широко рекламируется. В одном лишь 1956 году было издано сто четыре перевода его книг. Львиная доля этого количества — восемьдесят девять изданий — падает на Турцию, верного оруженосца США на Ближнем Востоке.

Высокохудожественные литературные произведения имеют мало шансов стать бестселлерами в США. «Поэзия является падчерицей бестселлеров», — пишет Хэкет. — Отдельные книги стихов очень редко появляются в годовых списках бестселлеров». За шестьдесят лет она насчитала всего шесть таких случаев.

Плохо раскупаются и драматические произведения. «За шестьдесят лет, — отмечает Хэкет, — только три пьесы появились в годовых списках бестселлеров. Ни одна из них не вошла в общий список».

Произведения политической литературы могут стать бестселлерами лишь в том случае, если они носят сенсационный, а зачастую и откровенно клеветнический характер. Пропагандируются, например, гнусные книжонки предателей, изменивших своему народу.

Научная литература в США издается обычно тиражом всего лишь в три—пять тысяч экземпляров.

Исходя из данных, приведенных в книге Хэкет, можно подумать, что американцы читают почти исключительно детективную макулатуру да еще разве поваренные книги. Это не так. В США издается немало полезных и нужных книг. К сожалению, тираж их невысок. В стране существуют также прогрессивные издательства, в очень трудных условиях ведущие поистине героическую просветительную работу.

Обо всем этом Хэкет умалчивает. Оно и понятно. Устроители шестидесятилетнего юбилея бестселлеров хотели, в частности, доказать, что американскому народу якобы не нужны произведения классиков художественной литературы, не нужны доброкачественные политические и научные книги. Однако всем известно, что вкусы читателя воспитываются... Статистические и фактические сведения, собранные Хэкет, свидетельствуют о тенденциозной, соответствующим образом направленной издательской политике тех кругов, которые «делают погоду» в сегодняшней Америке.

Книга Хэкет, хочет этого автор или не хочет, говорит и о культурной отсталости США. Отсталость эта, как писал в мае этого года известный негритянский ученый Уильям Дюбуа, «значительнее, чем это представляют себе как американцы, так и русские. Я сомневаюсь в том, что из ста семидесяти миллионов американцев десять миллионов когда-либо видели хотя бы одну пьесу Шекспира... Для широких масс американцев практически не существует театра...»

Выход из положения Дюбуа видит в необходимости развивать культурные связи между народами.

С этим нельзя не согласиться.

Е. НЕМИРОВСКИЙ.

Враг, о котором нельзя забывать

История создания этой книги необычна. Ее автор, видный деятель американского рабочего движения, один из руководителей Коммунистической партии Соединенных Штатов, томится сейчас в застенке, куда его бросила реакция за то, что он последовательно отстаивает идеи марксизма-ленинизма. Однако идеи невозможно упрятать за решетку, и мужественный голос американского коммуниста звучит со страниц его книги.

«Забытый враг» — такое название дал Гилберт Грин своей книге. Он писал ее, находясь в глубоком подполье, куда после судилища на Фолли-сквер загнал его в июле 1951 года произвол маккартизма. В феврале 1956 года Грин вышел из подполья. В письме, направленном им в редакции крупнейших газет Америки, Грин заявил, что он решил «перестать скрываться от несправедливости и вместо этого стать ее пленником». «Прежде чем стальные двери политического изуверства захлопнутся за мною, я представляю свое политическое кредо высшему суду в стране — суду общественного мнения. Оно содержится в рукописи книги, которую я только что закончил... Я вступаю в тюрьму с высоко поднятой головой и с чистой совестью. Я не совершил никакого преступления ни против моих соотечественников, ни против моей родины. Я знаю, что придет день, когда вся Америка признает это. Я также убежден, что придет день, когда двери тюрьмы раскроются, так как больше не будет «холодной войны» и потому не будет больше и политических пленников «холодной войны».

«Забытым врагом» Грин назвал гигантские корпорации, наживающиеся на крови и поте американских трудящихся. Впрочем, название книги, говорит автор, не следует понимать буквально: враг не то что забыт, он скорее недооценивается. Анализу причин такого положения посвящены многие яркие страницы работы Грина.

История США наполнена борьбой простых людей против «американской элиты», против «большого бизнеса», пишет автор. Борьба против монополий является прогрессивной традицией американцев. «Вся-

кий раз, когда силы, представляющие господство обладателей несметных богатств, рассматривались как враг, народ объединялся для борьбы против них с боевым пылом и энтузиазмом... Когда же врага теряли из виду или недооценивали опасность, которую он собой представляет, — а это случалось неоднократно, — единство утрачивалось; новые движения, обладавшие вначале большой ударной силой, теряли свою энергию, становились вялыми или полностью распадались, и плутократы правили снова, еще более наглые и надменные, высокомерные и могущественные, чем прежде».

Кризис 1929—1932 годов и последующие годы экономической депрессии привели к значительной активизации борьбы американского рабочего класса. Налицо были все предпосылки для того, чтобы рабочий класс и его организации превратились в ведущую силу на политической арене страны. Однако, подчеркивает Грин, развитие всех этих тенденций было прервано войной. Перевод американской экономики на военные рельсы дал возможность монополистам полностью восстановить докризисное положение. К 1943 году, когда американская промышленность достигла высшей точки своего развития, в стране насчитывался всего один миллион безработных.

По окончании войны в США стал повсеместно наблюдаться страх перед экономическим кризисом. Эти настроения отражали всеобщее убеждение, что экономический подъем был лишь результатом войны. Но, по мере того как проходили годы, а серьезного экономического кризиса не возникало, появлялись новые теории, доказывавшие, что наконец-то удалось взять под контроль развитие экономического цикла. Когда падение производства в 1952 году сменилось подъемом 1955 года, миф о вечном процветании укоренился еще более.

Это позволило «большому бизнесу» расширить те экономические преимущества, которыми пользовались определенные прослойки мелкобуржуазной интеллигенции, профсоюзные лидеры, лица свободных профессий и высококвалифицированные рабочие. Хотя средний реальный доход всего населения не увеличился, доля, получаемая этими привилегированными слоями, выросла. Такова экономическая подкладка

Гилберт Грин. Забытый враг. Перевод с английского Н. Васильева. Под редакцией И. Микусона. 412 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1958.

теорий о прогрессивном характере американского капитализма.

Немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что американский господствующий класс использовал участие США в войне против гитлеровской Германии для того, чтобы облачиться в антифашистский наряд. Обещания относительно прочного процветания принимались за чистую монету.

Монополистический капитал США использовал благоприятную обстановку для организации невиданной по своему размаху пропагандистской кампании. Ее целью являлись обман и дезорганизация американского общественного мнения, которому внушалось, что «большой бизнес» — благодетель трудящихся, а Советский Союз и коммунисты — враги американцев.

Загугивая американцев несуществующей угрозой советской агрессии, монополисты, с их точки зрения, убивали двух зайцев. С одной стороны, они отвлекали американский народ от борьбы против его действительного врага — крупного капитала, а с другой — создавали обстановку военной истерии, которая является благодатной почвой для осуществления безудержной гонки вооружений.

Бессмысленный страх перед внешней угрозой, который сеют те, кто наживает на нем, породил и бессмысленный страх перед угрозой внутренней, указывает Грин. В результате самые стойкие борцы за права трудящихся выдаются за их врагов, а крупный капитал принимает обличье благодетеля и печальника рабочего класса.

Трубадуров монополий немало не смущает то обстоятельство, что в своей пропаганде они часто опираются на доводы и аргументы, взаимно исключающие друг друга. Так, часть американских экономистов утверждает, что крупный капитал не так уж крупен, что контроль над американской экономикой находится не в руках кучки финансово-промышленных воротил, а в руках массы акционеров. Зато другая часть твердит, что трудящиеся якобы обязаны своим процветанием лишь крайней степени монополизации.

Гилберт Грин на большом фактическом материале убедительно показывает полную несостоятельность всей системы аргументации, при помощи которой американская буржуазная пропаганда вводит в заблуждение миллионы американцев. Он не оставляет камня на камне от злостных

измышлений о «советской угрозе», показывает всю вздорность утверждений о «коммунистическом заговоре». Касаясь так называемой теории «изменения социальной ответственности», Грин разоблачает попытки изобразить дело так, будто бы монополии переменили отношение к организованным рабочим и только и думают о том, как бы установить с ними сотрудничество.

Однако если классовая борьба в Америке, пишет Грин, уступила место сотрудничеству капитала и труда, то почему, в таком случае, в США происходит больше стачек и в них участвует больше рабочих, чем в какой-либо иной стране мира? В период с 1945 по 1953 год процент стачечников был почти втрое выше, чем в двадцатых годах, и вдвое выше, чем в тридцатых годах. Где же здесь «исчезновение классовой борьбы», открытое реакционной пропагандой?

Столь же бесосновательны разговоры прислужников американских монополий о «народном» характере американского капитализма, о «миллионах акционеров», будто бы контролирующих американскую экономику. Автор книги «Забывтый враг» показывает, что цифровые данные, которые буржуазная пропаганда то и дело обрушивает на головы американцев, ровно ничего не доказывают. Лишь четыре с небольшим процента населения владеют какими бы то ни было акциями. Немногого же стоят все разговоры о «народном» характере американского капитализма!

В последние годы в США появилась обширная литература, которая тщится доказать, что наивысшая степень монополизации, имеющая место в экономике США, есть не зло, а величайшее благо. К числу такого рода книг принадлежит, в частности, работа видного американского экономиста Дэвида Лилиентала «Большой бизнес (новая эра)». Приводя всевозможные «доводы» о пользе монополизации, Лилиенталь, забывшись, приводит и такой довод: «Производительность при производстве громадного количества вооружений является важным критерием полезности крупных предприятий».

Грин разоблачает эти доводы буржуазной науки. Он подчеркивает, что зло не в размерах концентрации производства. В условиях капитализма сосредоточение производства в руках кучки монополистов неизбежно принимает империалистический характер, является экономической базой всяческой реакции. Многочисленные факты,

приведенные на страницах его книги, неопровержимо говорят о том, что наступление на права трудящихся, преследование профсоюзов, позорная дискриминация 17-миллионного негритянского населения и маккартистские бесчинства — все это и многое другое является непосредственным следствием всевластия монополий в США.

Гилберт Грин написал свою книгу в период, когда в американской экономике была налицо довольно высокая конъюнктура, безработица была сравнительно невелика и утверждения буржуазной пропаганды об «особом характере» американского капитализма, обеспечивающем якобы непрерывное процветание, казались значительной частью трудящихся основательными.

Однако в настоящее время ситуация изменилась. С осени 1957 года в американской экономике начал развиваться кризис перепроизводства. Монополистический капитал перешел в наступление на жизненный уровень и права трудящихся, стремясь переложить на их плечи все тяготы, связанные с кризисом. По указке монополий конгресс

принял новый антирабочий закон, получивший название «закона о контроле над профсоюзами». Предприниматели приступили к пересмотру многих коллективных договоров с профсоюзами.

Таким образом, маска добродушия, которую американская пропаганда пыталась напялить на злобное лицо монополий, стала сползать, и подлинный враг американских трудящихся показал свои волчьи клыки. В настоящее время в США происходят глубокие сдвиги в общественном мнении. Рабочий класс ищет пути для борьбы, для защиты своих интересов. О том, каковы эти пути, и рассказывает в своей книге Гилберт Грин. «...Сила, которая задерживает развитие Америки и угрожает ее будущему, не находится за пределами страны. Она находится здесь, среди нас, и именно здесь надо вести против нее борьбу и покорить ее». Таков основной вывод автора книги «Забывтый враг».

*Кандидат исторических наук
Вал. ЗОРИН.*



ПО ПОВОДУ «РЕПЛИКИ КРИТИКУ» М. ШКЕРИНА

Мои «Заметки критика» («Новый мир» № 11) вызвали «реплику» со стороны М. Шкерина («Литературная газета» от 11 ноября). Ни жалобы, ни тем более лирические воспоминания М. Шкерина не нуждаются в ответе. Но одно его утверждение заставляет меня дать некоторые разъяснения.

М. Шкерину кажется удивительным и непонятным мое критическое отношение к книге «Очерки о художественном мастерстве писателей», так как, по его словам, основная глава этой книги — «Логика развития характеров» — «под тем же названием была опубликована семь лет назад в журнале «Звезда», где я был тогда редактором отдела критики.

«Как все это понять?» — спрашивает М. Шкерин.

Но ему ли не знать, что глава «Логика развития характеров» не была опубликована в «Звезде» семь лет назад, что там (в 12-м номере

за 1951 год) была помещена его статья «О логике развития характера», не имеющая с главой из книги почти ничего общего.

В этом легко может убедиться любой читатель, и совсем без труда это могла бы установить редакция «Литературной газеты». Для этого, пожалуй, достаточно сопоставить эти произведения М. Шкерина чисто внешне. Глава «Логика развития характеров» занимает в книге «Очерки о художественном мастерстве писателей» 120 страниц, статья «О логике развития характера» занимает в «Звезде» немногим более 12 страниц. И если даже принять во внимание, что формат «Звезды» больше формата книги М. Шкерина и что напечатана статья петитом, то все равно разница между величиной главы и статьи будет огромная.

Еще более различно их содержание.

В статье читатель не найдет ни одной

цитаты и ни одного пассажа, которые были мною привлечены для демонстрации особенностей книги М. Шкерина. Только в книге и именно в главе «Логика развития характеров» появились и отступление о «брюханах», и утверждение о «недосмотре» М. Шолохова, и анализ «приемов» Ф. Гладкова, и упреки в адрес «Донбасса» Б. Горбатова, и характеристика «Кавалера Золотой Звезды» С. Бабаевского, и рассуждения о «сюжетных узлах» в романе Г. Шеина «Будни» — одним словом, все то, что свидетельствует об упрощенном подходе М. Шкерина к художественному мастерству.

Даже в тех немногих случаях, когда глава «Логика развития характеров» соприкасается со статьей, напечатанной в «Звезде», между ними сохраняется существенное различие. Так, в статье (как и в книге) идет речь о «Рудине» Тургенева. Но там не утверждалось, что Тургенев, рисуя образ героя этого романа, «творчески использовал прием Гоголя в изображении Плюшкина, значительно развив и обогатив этот прием». Так, в статье (как и в книге) идет речь о «Жатве» Г. Николаевой. Но там не было рассуждений о неудачном использовании писательницей «старых сюжетных ходов», но зато доказывалось, что достоинства ее произведения «очень велики», хотя «есть в романе «Жатва» и недостатки». Короче говоря, в статье не было именно тех суждений и утверждений, которые ныне «украшают» книгу М. Шкерина.

Наконец, статья и глава дают совершенно различное решение одних и тех же вопросов. Возьмем для иллюстрации важный вопрос о положительном герое в жизни и литературе. Как известно, по этому поводу велись и ведутся постоянные споры и среди литераторов, и среди читателей, и даже среди самих героев литературных произведений. Небезызвестный Орлеанцев, например, решительно утверждает, что «идеальных людей не существует. Каждый из нас одной стороной хорош, другой стороной непременно плох. Недаром критики секут

тех писателей, которые сочиняют героев без сучка и задоринки, так называемых идеальных героев».

И в статье и в книге М. Шкерина вопрос о положительном герое в жизни и в литературе занимает довольно существенное место.

Как решался он в статье? Тогда усилия М. Шкерина были по преимуществу сосредоточены на опровержении сомнений в существовании людей без изъянов, без сучка и задоринки, на полемике с теми, кто считает, «что положительный герой должен непременно иметь и некоторые отрицательные черты». Он утверждал, что наша жизнь и литература богаты героями «в полном смысле этого слова».

Как же теперь решается М. Шкериным вопрос о положительном герое? Теперь он настойчиво утверждает в своей книге (в той же главе «Логика развития характеров») нечто иное. По его словам, характер положительного героя не должен быть прямолинейным — «без сучка, без задоринки». В жизни таких людей попросту не бывает».

«В борьбе, — пишет М. Шкерин, — человек проявляет сильные стороны характера, но по необходимости выказывает и слабые...»

Вопрос, стало быть, сводится не к тому, может ли положительный герой иметь слабости — они неизбежны в каждом характере, — а к тому, какие слабости и как изобразить в положительном герое».

Как видим, важный вопрос о положительном герое решается М. Шкериным в статье и в главе по-разному. Это лишний раз доказывает, что эти произведения решительно отличаются друг от друга, и М. Шкерин не имел никакого права утверждать, что основная глава его книги — «Логика развития характеров» — была опубликована семь лет назад в журнале «Звезда». Это явная попытка ввести читателей в заблуждение.

А. ДЕМЕНТЬЕВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

АВГУСТ ЯВИЧ. Ранний свет. Повести и рассказы. «Советский писатель». М. 1958. 424 стр. Цена 7 р.

Много событий, людских судеб, много имен героев встретит читатель в книге Августа Явича «Ранний свет». Здесь есть рассказы, действие которых относится к временам гражданской войны, и к первым годам Советской власти, и к предвоенному времени. «Севастопольская повесть» посвящена бойцам одной зенитной батареи, защищавшим до последнего патрона, до последнего вздоха небольшую высоту под Севастополем. В цикле рассказов под общим заголовком «Калмыцкая степь» говорится о тех переменах, которые произошли за годы Советской власти в быту и во взглядах некогда отсталого и угнетенного калмыцкого народа.

Проблемы, связанные с изменением психологии людей под воздействием новых, социалистических отношений в нашем обществе, присутствуют почти во всех произведениях, помещенных в сборнике.

Автор стремится раскрыть в них духовный мир советских людей, показать высокую нравственность человека, воспитанного на благородных идеях коммунизма.

Л. КВИТКО. Лям и Петрик. Повесть. Перевод с еврейского. Гослитиздат. М. 1958. 288 стр. Цена 6 р. 10 к.

Книга Льва Квитко принадлежит к широко распространенному в нашей литературе жанру повестей о детстве. Написанная в 1929 году, эта книга сейчас в русском переводе предлагается вниманию широкого читателя.

Предреволюционные годы. Южное местечко, в котором, несмотря на его малый масштаб, есть свои богатей-эксплуататоры, есть страдающая беднота, есть своя передовая, идейная молодежь. В центре книги — два детских образа: еврейский мальчик Лям и его друг, украинский хлопчик Петрик.

Много тяжелых испытаний выпало на долю Ляма и Петрика — непосильный труд, издевательства сильных, скитания, — пока не вышли они на широкую дорогу революционной борьбы. Повесть написана лирично и свежо. Мелкие, как будто бы отрывочные и случайные эпизоды и зарисовки образуют в целом, как отдельные стеклышки в мозаике, яркую и впечатляющую картину времени и нравов.

С. КАРОНИН. Сочинения в двух томах. Гослитиздат. М. 1958. Том I — 612 стр. Цена 12 р. 15 к. Том II — 608 стр. Цена 11 р.

Один из самых ярких писателей-народников Н. Е. Петропавловский, писавший под псевдонимом С. Каронин, к сожалению, мало известен советскому читателю. Поэтому не может не порадовать инициатива Гослитиздата, выпустившего собрание сочинений писателя в двух томах.

Творчество С. Каронина занимает видное место в русской литературе конца XIX века. Активный участник народнического движения в период его подъема, С. Каронин обратился к писательской деятельности в годы его кризиса. В трудное время реакции восьмидесятых годов писатель сумел сохранить веру в народ и в то же время найти в себе силы и мужество сказать о современной действительности суровую правду, никак не мирившуюся с народническими иллюзиями и утопиями. Именно за это ценили С. Каронина Г. В. Плеханов и Максим Горький.

В новом издании собраны почти все произведения писателя: циклы «Рассказы о парашкинках», «Рассказы о пустяках», «Снизу вверх (История одного рабочего)», а также другие рассказы, повести, очерки и статьи.

Вступительная статья Г. П. Бердникова воссоздает творческий портрет писателя. В конце второго тома приведены полная библиография произведений С. Каронина и список избранной литературы о жизни и творчестве писателя.

БЫЛИНЫ. В двух томах. Гослитиздат. М. 1958. Том I — 564 стр. Цена 9 р. 75 к. Том II — 521 стр. Цена 8 р. 10 к.

Настоящее издание русских былин, осуществленное под редакцией проф. В. Я. Проппа и Б. Н. Путилова, является наиболее полным. Составители разделили издание на следующие части: «Древнейшие былины. Былины Киевского цикла» (былины о Волхе Всеславьевиче, Святогоре, Добрыне Никитиче, Илье Муромце, Алеше Поповиче, Дунае и Микуле Селяниновиче), «Новгородские былины» (о Садко и Василии Буслаевиче), «Поздний воинский эпос», «Былины сказочного содержания», «Былины новеллистического содержания. Баллады», «Позднейшие былинные новообразования» и «Былины-скоморошины».

Двухтомнику предпослана большая вступительная статья составителей об эпической поэзии русского народа. Кроме того, вступительные статьи предвзвоят каждый выличный цикл. Издание завершают ценные комментарии и словарь.

«Былины» будут незаменимым пособием как для литературоведа-фольклориста, так и для всякого любителя русского эпоса.

АВСТРАЛИЙСКИЕ РАССКАЗЫ. Перевод с английского. Гослитиздат. М. 1958. 528 стр. Цена 9 р. 40 к.

Австралийской новеллистике, с которой наш читатель почти не был знаком, за последнее время повезло: в конце прошлого года Издательство иностранной литературы выпустило «Сорок австралийских новелл», а в середине нынешнего Гослитиздат издал еще один объемистый сборник — шестьдесят пять коротких рассказов. В этом сборнике, как пишет в своем предисловии хорошо известный в Советском Союзе австралийский писатель Фрэнк Харди, «представлена наша литература за все время ее существования, начиная с Маркуса Кларка и Вильяма Этли (Прайс Уэрунг) и кончая современными писателями».

Харди считает этот сборник «одним из лучших сборников австралийских рассказов, когда-либо и где-либо издававшихся».

Почти все рассказы, помещенные в сборнике (составитель — Е. Домбровская), написаны о простых людях Австралии и для них. Они незамысловаты, естественны и написаны с таким глубоким проникновением, пониманием и сочувствием, которые возможны только тогда, когда писатель живет одной жизнью с народом. Это ощущение не покидает читателя на всем протяжении книги.

К. Ф. СЕДЛАЧЕК. Завод в тени. Карпелянская весна. Авторизованный перевод с чешского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 532 стр. Цена 15 р. 80 к.

«О главном герое этой новости нужно заранее сказать — он мертв», — такими словами начинает свою книгу Седлачек. Но это не совсем так. Инженер Налада мечтал о плотине тридцатипятиметровой высоты и гидроэлектростанции, которая будет давать столько же энергии, сколько вырабатывала довоенная Чехословакия. Налада действительно умер, но его идея все же стала реальностью. Поэтому герои книги — это те, кто сумел совершить столько трудных и героических дел, кто сумел осуществить замысел Налады.

Перед читателем проходит много человеческих судеб. «Завод в тени» — это книга о строительстве новой жизни в глухом лесном углу Словакии. Автор смело показывает темные стороны нелегкой жизни в первые годы существования молодой народной республики и то, как борются с ними энтузиасты нового строя. Напряженный сюжет, жизненность характеров действующих лиц и событий вызывают неослабевающий интерес читателя.

П. И. АБРОСКИН. Первый год. Ростовское книжное издательство. 1958. 130 стр. Цена 3 р. 15 к.

Председатель Ростовского совнархоза П. И. Аброскин рассказывает в своей книге, как была проведена в области перестройка руководства промышленностью и строительством.

На многочисленных примерах автор показывает новую систему управления в действительности. Запоминается рассказ о Ростсельмаше, о той помощи, которую оказал заводу совнархоз.

Перестройка способствовала росту инициативы и активности трудящихся области, появилась возможность лучше знать и привлекать резервы предприятий. В результате промышленность Ростовского совнархоза досрочно выполнила производственную программу 1957 года.

Автор останавливается и на трудностях, с которыми пришлось столкнуться в работе совнархоза. В заключение он говорит о перспективах развития промышленности и строительства Ростовского экономического района на 1959—1965 годы.

КРАТКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. Госполитиздат. М. 1958. 392 стр. Цена 11 р.

Книга эта привлечет внимание многих наших пропагандистов, публицистов, учащихся и всех читателей, интересующихся экономической литературой.

В словаре свыше девяти сот слов, в нем кратко разъясняются наиболее распространенные экономические понятия. Здесь даны определения общих категорий политической экономии, терминов из политической экономии социализма. Значительное место в словаре отведено конкретной экономике. Преимущественно это справки по экономике социалистических предприятий и отраслей народного хозяйства. Читатель узнает, что представляют собой основные фонды, оборотные средства, себестоимость, фонд предприятия и так далее.

В книге приведены справки биографического характера, а также некоторые сведения, относящиеся к истории политической экономии.

ЧЕМ ГРОЗЯТ ИСПЫТАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 192 стр. Цена 3 р. 55 к.

За прошедшее с 1945 года время испытания ядерного оружия в своей совокупности эквивалентны 2500 таких бомб, какие некогда были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Каждая взорванная бомба сыграла свою роль в повышении радиоактивности суши, моря и воздуха.

Книга написана сообща восемью видными английскими учеными. В ней рассказывается о том, как радиоактивные осадки, образующиеся при испытаниях ядерного оружия, заражая все живое на земле, оказывают пагубное воздействие на здоровье людей, ставят под угрозу жизнь будущих поколений.

В заключение авторы пишут: «...С любой точки зрения испытания ядерного оружия подлежат осуждению... Они обходятся чудовищно дорого и отвлекают одаренные научные кадры от более полезных занятий. Они сеют разногласия и недоверие между народами... Поразительно, что все еще встречаются люди, высказывающиеся за испытания ядерного оружия».

Предисловие к книге написал Бертран Рассел. В Издательство иностранной литературы книга прислана одним из ее авторов — профессором Дж. Берналом.

Л. УСПЕНСКИЙ, К. ШНЕЙДЕР. За семью печатями. Очерки по археологии. «Молодая гвардия». М. 1958. 280 стр. Цена 7 р. 30 к.

На скалах, на месте будущего Братского моря, недавно обнаружены весьма своеобразные

рисунки, выполненные многие тысячи лет назад. Один из них похож на топографическую карту Ангары. Может быть, это действительно так и есть? Значит, «географы» существовали еще в каменном веке, во времена неолита?..

Множество сложнейших вопросов встает перед археологами. Самые неожиданные загадки и удивительные ответы приносит их интересная работа, помогающая лучше узнать историю, заглянуть в далекое прошлое.

Писатели Л. Успенский и К. Шнейдер взяли на себя благодарную миссию рассказать о некоторых значительных археологических открытиях. Книга написана ярким, живым языком, хорошо иллюстрирована.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

В наступающем году Государственное издательство художественной литературы увеличивает выпуск собраний сочинений советских и зарубежных писателей.

Будет завершено издание собраний сочинений Вишневского, Гладкова, Иванова, Маяковского, Панферова, Тихонова, Франко, Упита, а также Гейне, Франса, Чапека и восьмитомное издание сказок «1001 ночи».

Продолжен будет начатый ранее выпуск собраний сочинений А. Толстого (тома 5—6), Арагона (тома 5—7) и Диккенса (тома 10—16).

Начнется и закончится в будущем году выпуск шеститомников Гоголя, Гончарова, Станюковича и трехтомника Некрасова. Издание Гоголя — юбилейное: в 1959 году исполняется сто пятьдесят лет со дня рождения великого писателя.

Появятся первые тома новых собраний сочинений Блока, Жуковского, А. Островского, Пушкина и Серафимовича.

Впервые предпринимается издание собрания сочинений А. Фадеева. В нем будет пять томов, куда войдут все художественные произведения писателя, а также его статьи и выступления по вопросам литературы и искусства.

Из девяти томов будет состоять собрание сочинений К. Федина. В это собрание впервые будет включен новый роман писателя «Костер», являющийся продолжением романов «Первые радости» и «Необыкновенное лето»,

В наступающем году исполняется сто лет со дня рождения Шолом-Алейхема. Подготавливаемое к печати собрание его произведений будет состоять из шести томов.

Собрание сочинений основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни будет состоять из шести томов. В первый том войдет роман «Рабы».

Ряд новых переводов и впервые публикуемых небольших произведений содержит собрание сочинений Марка Твена из двенадцати томов. В первых трех томах печатаются романы «Простак за границей», «Золоченый век» и путевые заметки «Путешествие налегке».

Десять томов составят собрание сочинений Томаса Манна. В будущем году выйдут романы «Будденброки. История гибели одного семейства», «Королевское высочество», «Лотта в Веймаре», «Волшебная гора». Впервые будут переведены на русский язык романы «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Ливеркюна, рассказанная его другом», «Избранник» и несколько новелл.

Собрание сочинений прогрессивной польской писательницы Марии Конопницкой (1846—1910) будет состоять из четырех томов. Все они выйдут в будущем году. Наибольший интерес представляет поэма «Пан Бальцер в Бразилии» — о трагической судьбе польских эмигрантов в Америке.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин Полное собрание сочинений. Том 1. 1893—1894. Издание пятое. 688 стр. Цена 6 р. 50 к.

Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918. 316 стр. Цена 6 р.

Ленин — мастер революционной пропаганды. 288 стр. Цена 6 р. 25 к.

И. М. Будницкий. Угольная промышленность. 184 стр. Цена 2 р. 30 к.

Великий Октябрь. Сборник статей. 744 стр. Цена 16 р. 50 к.

Роланд Гаук. Частная собственность крестьян на землю и социалистическое преобразование сельского хозяйства в ГДР. 136 стр. Цена 3 р. 40 к.

Л. Кудреватых. Под чужим небом, Записки советского журналиста. 112 стр. Цена 1 р. 40 к.

Новые документы из истории Мюнхена. Министерство иностранных дел СССР. Министерство иностранных дел ЧСР. 160 стр. Цена 4 р.

Морис Пианзола. Ленин в Швейцарии. 116 стр. Цена 3 р. 35 к.

Ф. Сейфуль-Мулюков. Рождение Иракской Республики. 80 стр. Цена 1 р.

Вальтер Ульбрихт. Борьба за мир, за победу социализма, за национальное возрождение Германии как миролюбивого демократического государства. Доклад на V съезде Социалистической единой партии Германии 10 июля 1958 года. 200 стр. Цена 2 р. 45 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Анов. Крылья песни. Роман. 420 стр. Цена 7 р. 70 к.

А. Барто. Про больших и про маленьких. Стихи. 116 стр. Цена 2 р. 75 к.

Годы великой битвы. Сборник. 804 стр. Цена 16 р. 10 к.

И. Грудев. Звезды в траве. Стихи. 112 стр. Цена 90 к.

М. Джангазиев. Новый сад. Стихи. Перевод с киргизского. 95 стр. Цена 1 р.

В. Дыховичный, М. Слободской. Бесплодные ископаемые. 116 стр. Цена 1 р. 60 к.

О. Литовский. Так и было. 248 стр. Цена 5 р.

Поэты XVIII века. Сборник. Том II. 564 стр. Цена 6 р. 65 к.

Ш. Рашидов. Кашмирская песня. Перевод с узбекского. 52 стр. Цена 60 к.

С. Росин. Избранное. Перевод с еврейского. 136 стр. Цена 2 р. 55 к.

В. Сафонов. Путешествие в чужую жизнь. 276 стр. Цена 5 р.

И. Строганов. Морские дороги. Стихи. 102 стр. Цена 1 р. 60 к.

Леся Украинка. Стихотворения и поэмы. 412 стр. Цена 4 р. 75 к.

Л. Фридланд. Начало мира. Повесть. 236 стр. Цена 1 р. 45 к.

М. Цагарев. Мои земляки. Повесть и рассказы. Перевод с осетинского. 280 стр. Цена 5 р.

С. Чилая. Галактион Табидзе. Критико-биографический очерк. 132 стр. Цена 2 р. 45 к.

М. Шейхзаде. Избранное. Перевод с узбекского. 160 стр. Цена 3 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

Баатр Басангов. В Калмыцкой степи. Перевод с калмыцкого. 167 стр. Цена 1 р. 65 к.

Николай Браун. Стихотворения. 370 стр. Цена 7 р. 65 к.

Эрих Вайнерт. Избранное. Переводы с немецкого. 486 стр. Цена 9 р. 30 к.

Остап Вишня. Избранное. Перевод с украинского. 391 стр. Цена 6 р. 95 к.

Дмитрий Гулиа. Избранные произведения. Перевод с абхазского. 511 стр. Цена 9 р. 20 к.

Джей Дайс. Вашингтонская история. Перевод с английского. 287 стр. Цена 6 р.

В. Ильенков. Большая дорога. Роман. Рассказы. 439 стр. Цена 8 р. 30 к.

Мустай Карим. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с башкирского. 223 стр. Цена 3 р. 30 к.

Иван Куратов. Избранное. Перевод с коми. 207 стр. Цена 3 р. 85 к.

М. Кургинян. Джордж Байрон. Критико-биографический очерк. 216 стр. Цена 6 р. 20 к.

Кубанычбек Маликов. Ала-Тоо — моя отчизна. Избранные стихотворения и поэмы. Перевод с киргизского. 191 стр. Цена 3 р. 15 к.

Сергей Обрадович. Стихи. 259 стр. Цена 6 р. 45 к.

Алыкул Осмонов. Избранное. Стихи и поэмы. Перевод с киргизского. 304 стр. Цена 5 р. 50 к.

Васко Пратолини. Виа де Магадзини. Семейная хроника. Перевод с итальянского. 247 стр. Цена 3 р. 75 к.

Абулхасан Рудаки. Избранное. Перевод с таджикского-фарси. 151 стр. Цена 1 р. 50 к.

Жорж Санд. Мопра. Роман. Перевод с французского. 328 стр. Цена 5 р. 35 к.

Владимир Сосюра. Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 287 стр. Цена 4 р. 20 к.

И. Тобилович (Карпенко-Карый). Пьесы. Перевод с украинского. 535 стр. Цена 7 р. 80 к.

Токтогул. Избранное. Перевод с киргизского. 279 стр. Цена 6 р. 60 к.

Эльза Триоле. Авиньонские любовники. Неизвестный. Авторизованный перевод с французского. 279 стр. Цена 3 р. 60 к.

Фараон Хуфу и чародеи. Сказки, повести, поучения Древнего Египта. Перевод с древнеегипетского. 263 стр. Цена 4 р. 95 к.

Ицик Фефер. Стихи и поэмы. Перевод с еврейского. 319 стр. Цена 7 р. 70 к.

Я. Фрид. Стендаль. Очерк жизни и творчества. 287 стр. Цена 7 р. 80 к.

Хамза Хаким-заде Ниязи. Избранное. Перевод с узбекского. 248 стр. Цена 4 р. 25 к.

Педер Хузангай. Избранное. Перевод с чувашского. 375 стр. Цена 5 р. 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Беляков. Юность вождя. 111 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. Бокков. Яр-хмель. Стихи. 208 стр. Цена 4 р. 20 к.

Г. Горбунов. Елецкие мореходы. 56 стр. Цена 75 к.

А. Жаров. Знаменосцы. Стихи. 319 стр. Цена 6 р. 75 к.

Н. Задонский. Денис Давыдов. Роман. 656 стр. Цена 16 р. 50 к.

В. Залужный. Комсомол в борьбе за технический прогресс. 176 стр. Цена 1 р. 55 к.

О. Игнатъев. Аргентина и аргентинцы. 93 стр. Цена 1 р. 70 к.

З. Кабдулов. Искра жизни. Повесть. Перевод с киргизского. 222 стр. Цена 4 р. 80 к.

А. Карник. Тайна «Принцессы Кашмира». 61 стр. Цена 90 к.

Ленинский комсомол. Сборник. 591 стр. Цена 11 р. 40 к.

Б. Карташев, В. Муравьев. Пестель. 336 стр. Цена 6 р. 65 к.

М. Мендельсон. Марк Твен. 384 стр. Цена 7 р. 60 к.

П. Москатов. Вместе с партией. 400 стр. Цена 6 р.

В. Николаев, В. Щербаков. Когда смерть не страшна. 111 стр. Цена 1 р. 55 к.

А. Пассар. Мокона. Стихи. 103 стр. Цена 3 р. 15 к.

Ф. Самохин. Чолпонбай. 112 стр. Цена 1 р. 65 к.

Счастье трудных дорог. Очерки. 128 стр. Цена 10 р. 35 к.

Твои старшие товарищи. Сборник. 208 стр. Цена 4 р. 30 к.

А. Токтомушев. Белый голубь. Стихи. Перевод с киргизского. 110 стр. Цена 3 р. 5 к.

Д. Файзиев. Зеравшанские песни. Стихи. Перевод с узбекского. 61 стр. Цена 2 р.

И. Шатуновский. Путешествие в страну Ланка. 46 стр. Цена 1 р. 70 к.

Г. Шминке. Модели-автоматы. 104 стр. Цена 3 р. 55 к.

Юность боевая. Сборник. 320 стр. Цена 6 р. 65 к.

ДЕТГИЗ

С. Бабаевский. Сухая буйвола. Повесть. 160 стр. Цена 3 р. 90 к.

Вопросы детской литературы. 1957 год. 256 стр. Цена 7 р. 55 к.

Н. Гернет. Ненастоящая девочка. Сказки-игры. 28 стр. Цена 2 р. 55 к.

З. Давыдов. Разоренный год. Историческая повесть. 208 стр. Цена 4 р. 35 к.

И. Иванович-Змай. Храбрый Ника. Стихи. Перевод с сербско-хорватского. 40 стр. Цена 5 р. 40 к.

Д. Мамед-Кули-заде (Молла Насреддин). Почтовый ящик. Рассказы. Перевод с азербайджанского. 144 стр. Цена 3 р. 35 к.

С. Маршак. Про царя и про сапожника. Не так. 29 стр. Цена 3 р. 25 к.

П. Мелибеев. Мастер золотого руна. Документальная повесть. 80 стр. Цена 1 р. 20 к.

К. Митро. Бхоббол-предводитель. Повесть. Перевод с бенгали. 176 стр. Цена 3 р. 35 к.

С. Могилевская. Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актере Федоре Волкове. 144 стр. Цена 2 р. 85 к.

Нгуен Нгюк. Страна поднимается. Повесть. Перевод с вьетнамского. 192 стр. Цена 4 р. 90 к.

Н. Носов. Веселые рассказы и повести. 688 стр. Цена 14 р.

Э. Огнецвет. Кличет ветер свежий. Стихи. Перевод с белорусского. 56 стр. Цена 90 к.

От поколения—поколению. Рассказы ветеранов революционного подполья и Великого Октября, участников гражданской войны и Великой Отечественной войны, людей разных профессий, отдающих свой труд на благо Родины. 312 стр. Цена 7 р. 60 к.

В. Смирнов. Открытие мира. Повесть. Книга вторая. 416 стр. Цена 9 р.

П. Тарасенка. Заколдованные сокровища. Авторизованный перевод с литовского. 128 стр. Цена 2 р. 70 к.

И. Халифман. Пароль скрещенных антенн. 256 стр. Цена 5 р.

Хан Юн Хо. Мальчик из села Бо Сен. Поэма. Перевод с корейского. 64 стр. Цена 75 к.

Хитопадеша, или Полезные наставления. Перевод с хинди. 160 стр. Цена 5 р. 90 к.

Э. Хогарт. Мафин и его веселые друзья. Перевод с английского. 128 стр. Цена 3 р. 55 к.

Японские сказки. 112 стр. Цена 4 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Р. М. Аваков. Французский монополистический капитал в Северной Африке. 236 стр. Цена 8 р. 15 к.

Археологические и этнографические работы хорезмской экспедиции 1949—1953 гг. 812 стр. Цена 43 р. 45 к.

В. И. Вейц, А. Г. Захарин, Н. А. Караулов, П. Я. Пирхавка. Местные энергетические системы. 294 стр. Цена 17 р. 15 к.

В. Годвин. О собственности. 260 стр. Цена 6 р. 25 к.

В. Гольдманский, Е. Лейкин. Превращения атомных ядер. 426 стр. Цена 12 р.

А. А. Дробков. Микроэлементы и естественные радиоактивные элементы в жизни растений и животных. 208 стр. Цена 3 р. 35 к.

С. И. Исаев, Н. В. Пушков. Полярные сияния. 126 стр. Цена 3 р. 25 к.

И. Н. Кобленц, Андрей Иванович Богданов. 1692—1766. Из прошлого русской исторической науки и книговедения. 214 стр. Цена 9 р. 90 к.

В. Н. Кондратьев. Кинетика химических газовых реакций. 688 стр. Цена 41 р. 70 к.

Литературное наследство. Новое о Маяковском. 630 стр. Цена 28 р.

Лукреций. О природе вещей. 259 стр. Цена 10 р. 30 к.

Н. И. Пьявченко. Торфяники русской лесостепи. 191 стр. Цена 9 р. 25 к.

С. Л. Рубинштейн. О мышлении и путях его исследования. 146 стр. Цена 5 р.

Н. П. Чижевский. Избранные труды. Том 1. 439 стр. Цена 21 р. 10 к.

ГЕОГРАФИЗ

С. Иванов. Без дорог. 173 стр. Цена 2 р. 75 к.

А. П. Казанцев. Гость из космоса. 237 стр. Цена 4 р. 45 к.

Р. Капо-Рей. Французская Сахара. 496 стр. Цена 18 р. 65 к.

Коллектив авторов. Грузинская ССР. 398 стр. Цена 13 р. 15 к.

Д. Конрад. Зеркало морей. 174 стр. Цена 2 р. 65 к.

В. М. Костенников. Экономические районы СССР. 168 стр. Цена 2 р. 50 к.

Г. Маунтфорд. Коричневые люди и красные пески. (Путешествие по дикой Австралии). 143 стр. Цена 2 р. 65 к.

Г. Мелвилл. Тайпи. 125 стр. Цена 2 р.

И. Саркизов-Серазини. По Старому свету. 189 стр. Цена 3 р. 70 к.

Н. Фрид. Улыбающаяся Гватемала. 368 стр. Цена 8 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»

В. С. Владимирцев. КПСС — вождь советского народа. 40 стр. Цена 60 к.

Ли Син Пхар. Строительство социализма в Корею. 24 стр. Цена 60 к.

А. А. Нетрусов. Внешнеэкономические связи Китайской Народной Республики. 32 стр. Цена 60 к.

Н. Н. Новоуспенский. Сокровища Русского музея. 32 стр. Цена 2 р.

А. А. Стручков. Ленин и народ. 30 стр. Цена 60 к.

А. Ф. Юденков. Международное значение опыта строительства социализма в СССР. 48 стр. Цена 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абл Аль-Ваххаб Аль-Баяти. Стихи в изгнании. Перевод с арабского. 107 стр. Цена 1 р. 50 к.

У. Бэрчетт. Вверх по Меконгу. Перевод с английского. 328 стр. Цена 8 р. 35 к.

Валлатхол. Избранное. Стихи. Подстрочный перевод с языка малайялам. 82 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ц. Гайтав. Песнь о Сухэ-Баторе. Поэма. Перевод с монгольского. 205 стр. Цена 4 р. 40 к.

Нарайон Гонгопадхайя. Лунный свет и другие рассказы. Перевод с бенгали. 158 стр. Цена 4 р.

Лен Дозрти. Сыновья шахтера. Перевод с английского. 269 стр. Цена 8 р. 90 к.

Забавные рассказы. Перевод с персидского. 239 стр. Цена 7 р. 25 к.

Ярослав Ивашкевич. Рассказы. Перевод с польского. 489 стр. Цена 14 р. 60 к.

Из итальянских поэтов. Сборник. Перевод с итальянского. 117 стр. Цена 2 р. 15 к.

Е. Квидам. Красные мантии из Карлсруэ. Перевод с немецкого. 210 стр. Цена 5 р. 20 к.

Китайские народные поговорки, пословицы и выражения. Перевод с китайского. 71 стр. Цена 1 р. 35 к.

Корейские народные пословицы и поговорки. Перевод с корейского. 70 стр. Цена 1 р. 40 к.

Корлис Ламонт. Свобода должна быть свободой на деле. Перевод с английского. 333 стр. Цена 8 р. 50 к.

Хоа Май. Вьетнамские легенды. Перевод с французского. 66 стр. Цена 90 к.

Георг Менде. Очерки о философии экзистенциализма. Перевод с немецкого. 252 стр. Цена 10 р. 30 к.

В. Сомерсет Моэм. Земля обетованная. Комедия в 4-х действиях. Перевод с английского. 99 стр. Цена 2 р.

М. Пеллэнк. Франция, прижатая к стене. Перевод с французского. 175 стр. Цена 2 р. 90 к.

Шандор Ридег. Испытание огнем. Роман. Перевод с венгерского. 215 стр. Цена 5 р. 70 к.

Современные китайские новеллы. Перевод с китайского. 534 стр. Цена 19 р. 20 к.

Емелиан Станев. Когда иней тает... Перевод с болгарского. 119 стр. Цена 3 р.

Эльза Триоле. Незваные гости. Роман. Авторизованный перевод с французского. 392 стр. Цена 11 р. 85 к.

Норберт Фрид. Картотека живых. Роман. Перевод с чешского. 464 стр. Цена 13 р. 85 к.

Чжу Чжи-хэ. Бирма. Перевод с китайского. 229 стр. Цена 6 р. 50 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

за 1958 год

★

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Нора Адамян. Девушка из министерства. Повесть. IX—92.

Чингиз Айтматов. Джамия. Повесть. Перевела с киргизского А. Дмитриева. VIII—3.

Нора Аргунова. Случай на линии. Рассказ. XII—160.

М. Армен. Песнь о моем городе. Рассказ. XI—103.

С. Бондарин. Малая земля. Из рассказов военных лет. VIII—109.

Иван Ботвинник. Человек идет вперед. Повесть. XII—108.

Леонид Вольтский. Кустанайские встречи. XI—3.

Ярослав Гашек. Два рассказа: Почетный диплом; Трус. Перевел с чешского Юр. Молочковский. IV—85.

С. Голубов. Птицы летят из гнезд. Роман. I—54; II—39; III—66.

В. Гоффеншер. Рассказы критика: Девочка и солдат; «Язык натюрель». II—121.

Ефим Дорош. Два дня в Райгороде. Из деревенского дневника. VII—3.

Е. Драбкина. Москва, 1918. IX—147.

Федор Егоров. Не склонив головы. Предисловие Константина Симонова. V—156.

С. Залыгин. Янцзы — бесконечная река. III—130. — Без перемены. Рассказ. XI—89.

Виктор Некрасов. Первое знакомство. Из зарубежных впечатлений. VII—142; VIII—123.

Валентин Овечкин. Навстречу ветру. Сцены из деревенской жизни. III—3.

В. Панова. Сентиментальный роман. X—3; XI—32.

Рудольф Петерсхаген. Принудительное пребывание в «свободном мире». Главы из книги «Мятёжная совесть». Перевела с немецкого Л. Рудная. VI—116.

Александр Письменный. Две тысячи метров над уровнем моря. Повесть. VII—38.

Е. Ржевская. Спусти много лет. Повесть. VIII—35.

Поль Робсон. На том я стою. Перевели с английского В. Бакаев и А. Ульянов. IV—96.

Р. Рома. Рассказы о детстве. V—89.

М. Симашко. В Черных Песках. Повесть. X—85.

Лев Славин. По ту сторону холма. Повесть. VI—41.

С. Славич. Тишина. Рассказ. VI—99.

Сергей Снегов. Взрыв. Повесть. IX—3.
Дмитрий Стонов. Текля и ее друзья. Повесть. IV—16; V—31.

Г. Тропольский. Кандидат наук. Повесть, отчасти сатирическая. XII—3.

Елена Успенская. Жена шагающего. Маленькая повесть. I—25.

ПОЭМЫ И СТИХИ

Григол Абашидзе. Я — поколение. Перевел С. Липкин (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—39.

Ираклий Абашидзе. Ни от чего не смог я отказаться... Перевел А. Межиров (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—41.

Субайылда Абдыкадырова. Белая берега. Перевел Ю. Гордиенко (Из киргизских поэтов). X—128.

Барпы Алыкулов, народный акын. Святой ишан; Глаза. Перевел Ю. Гордиенко (Из киргизских поэтов). X—122.

Шалва Амисулашвили. Два обелиска. Перевел Евг. Винокуров (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—43.

Мелих Джевдет Андай. Дерево, потерявшее покой; Хиросима. Перевел А. Янов (К конференции писателей стран Азии и Африки. Из турецкой поэзии). VI—174.

Реваз Асаев. Ночной пароход на Волге. Перевел с осетинского Юрий Левитанский (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—44.

Хута Бериулава. На Великой Китайской стене. Перевел М. Максимов (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—45.

Жан Бриер. Встреча; Он нежно вас любил... Перевел с французского М. Кудинов (Стихи поэтов Гаити). XI—121.

Петрусь Бровка. Из лирических стихов: Поэзия; Мой край озерный, край зеленый... Перевели с белорусского Н. Рыленков, И. Василевский. VIII—104.

Иньяцио Буттитта. Чудеса. Перевел Евгений Солонович (Из стихов современных итальянских поэтов). IV—81.

А. Ван-Коллем. Ленину. Стихи. I—21.
Константин Ваншенкин. Рабочий. Стихи. I—23.— Волки. Стихи. VI—39.

Орхан Вели. Даром. Перевел Р. Фиш. Я слушаю Стамбул (Отрывок). Перевел А. Янов (К конференции писателей стран Азии и Африки. Из турецкой поэзии). VI—174.

Андрей Вознесенский. Ленин; На открытии Куйбышевской ГЭС имени Ленина. Стихи. XI—30.

Кость Герасименко. Память: Портрет; Я любил профессора...; Беатриче. Стихи. Перевел с украинского Борис Иринин. Предисловие Максима Рыльского. V—131.

Вл. Гнеушев. На станции одной переговальной... Стихи. I—171.

Александр Гомнашвили. Солёные озера. Перевел М. Максимов (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—46.

Го Мо-жо. Цветы: Полиантовые розы (мэй хуа); Магнолии красные (му бии); Бальзамин (фын сянь хуа); Борцы (сэн се цзюй). Стихи. Перевел с китайского Александр Гитович. XI—101.

Иосиф Гришашвили. Бессмертное множество лет. Перевел Мих. Луконин (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—47.

Илья Гуцин. Два стихотворения: Ты хочешь розу...; Токарь делает звезды... IV—76.

Бернар Б. Дале (Берег Слоновой Кости). Ты — хозяин. Перевел с французского Л. Гинзбург. Осуши свои слезы!; Не люблю! Перевел с французского М. Ваксмахер (К конференции писателей стран Азии и Африки. Поэзия гнева и борьбы). V—13.

Рене Делестр. Я знаю слово. Перевел с французского М. Кудинов (Стихи поэтов Гаити). XI—126.

Давид Диоп (Сенегал). Цепи в агонии; Отступник; Коршуны; Африка; Волны. Перевел с французского М. Ваксмахер (К конференции писателей стран Азии и Африки. Поэзия гнева и борьбы). V—20.

Евг. Долматовский. В соловьином городе. Стихи. III—128.

Михаил Дудин. Как лодка, русло открываю... Стихи. I—53.

Юрий Ефремов. Ты — навсегда! Стихи. X—75.

Таир Жароков. Степь моя. Стихи. Перевел с казахского Александр Коренев. VIII—108.— Ала-Тау; Остановись; Верблюжий табун (Из казахских поэтов). Перевел А. Коренев. XII—157.

Н. Заболоцкий. Два стихотворения (Из стихов 1958 года): Закат; Не позволяй душе лениться!.. XII—106.

Фазиль Искандер. Пропагандист. Стихи. IX—145.

Римма Казакова. Мать; В клубе плачет старый партизан...; Здесь солнце нежаркое светит... Стихи. VIII—32.

Карло Каладзе. Лирические стихи: Вступление к книге; Глаза; Мой день; Притча о гуда и гуда-ствире; Семья справляет

рождение сына. Переводы с грузинского Константина Симонова. I—49.— По дороге в Тквибули. Перевел Евг. Евтушенко (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—48.— Ленин в Тбилиси. Стихи. Перевел с грузинского М. Максимов. IV—72.

Руссан Камилл. Надежда. Перевел с французского М. Кудинов (Стихи поэтов Гаити). XI—125.

Сальваторе Квазимодо. Возвращения. Перевел Евгений Солонович (Из стихов современных итальянских поэтов). IV—78.

Михаил Квливидзе. Маленькая баллада. Перевел Вл. Соколов (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—49.

Нази Киласония. Охотник. Перевел Евг. Евтушенко (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—49.

Н. Кислик. Первая молодость — первая рота... Стихи. V—144.

А. Коренев. Счастье; В девятнадцатом году...; Спутница. Стихи. III—125.

Давид Кугультинов. Двуступица; Поэт. Стихи. Перевели с калмыцкого Я. Козловский, Ю. Даниэль, С. Липкин. IX—143.

Михаил Кульчицкий. Перед грозой...; Красный стяг; Самое страшное в мире...; Баллада о комиссаре. Стихи. II—26.

Георгий Кучишвили. Из стихов разных лет: На могиле девяти надзаладевских братьев; Моим соратникам; Туман; Слезы улицы; Отстань!; Смех над мертвыми; Ответ на укор; Моей отчизне; День поэзии; Будь слугой рабочего класса; Октябрьское утро; Будем готовы; Праздник урожая; На улице; Великой Родине; Нашим поэтам; Только трусы...; Из нашей деревни; Кто меня чувствовал... Перевели с грузинского Евг. Винокуров, В. Соколов, Евг. Евтушенко, Мих. Луконин, М. Максимов, Константин Ваншенкин, Юрий Полухин. Предисловие Карло Каладзе. VI—85.

Нене Кхали (Французская Гвинея). Воздух Африки. Перевел с французского М. Ваксмахер (К конференции писателей стран Азии и Африки. Поэзия гнева и борьбы). V—22.

Мурман Лебанидзе. Зеленая песня. Перевел М. Максимов (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—50.

Георгий Леонидзе. Маленький камень в Патардзеули. Перевел Евг. Евтушенко (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—51.

Инна Лиснянская. Два стихотворения: От первого лица; И в городах и в селах энских... V—138.— Бал на нефтяных камнях; Город; Повитель; Гостиница. Стихи. VII—134.— Моя юность. Стихи. X—82.

Марк Лиснянский. Венок. Стихи. I—22.— Саша Кузнецов. Стихи. II—32.

Всеволод Лобода. Из фронтовой тетради: Дорога; Товарищ капитан; Павловская, 10; Начало. Стихи. II—23.

Ромоло Ломбарди. Последняя мечта. Перевел Евгений Солонович (Из стихов современных итальянских поэтов). IV—83.

Марк Максимов. Разведчица. Стихи. VIII—106.

Кубанычбек Маликов. Черная река; Тьма яблонь. Перевел Ю. Гордиенко (Из киргизских поэтов). X—126.

Реваз Маргиани. Латфари (Отрывок). Перевел М. Максимов (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—54.

С. Маршак. Из лирической тетради: Я помню день...; Как хорошо, что с давних пор...; Ты много ли видел...; Стихи о времени; «Счастье»; Невидимое море; Пожелания друзьям. XII—148.

Франческо Масала. Письмо из Саррабуса мужу-эмигранту. Перевел М. Исаковский (Из стихов современных итальянских поэтов). IV—79.

Мухран Мачавариани. Знакомая луна. Перевел Евг. Евтушенко (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—55.

Алио Мирихулава (Машашвили). Кузнец. Перевел Н. Гребнев (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—55.

Джубан Молдагалиев. Малый Турксиб. Из поэмы; Двадцать пять (Из казахских поэтов). Перевели Ярослав Смеляков, М. Луконин. XII—151.

Маквала Мревлишвили. С самолета. Перевел М. Максимов (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—56.

Сергей Наровчатов. Материки, народы, века... Стихи. III—124.

Поль Нигер. Я Африку такую не люблю. Поэма. Перевел с французского С. Болотин (К конференции писателей стран Азии и Африки). VI—178.

Иосиф Нонешвили. Когда танцуешь ты... Перевел А. Межиров (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—57.

Алыкул Осмонов. Школа в горах. Перевела И. Волобуева. Голос жизни. Перевел Ю. Гордиенко (Из киргизских поэтов). X—124.

Лев Ошанин. Раздумья: Душа; Друг; Три года не видеть...; В огне войны...; Хочешь — вприкуску, хочешь — внакладку... Стихи. IV—74.

Алексис Парнис. Разговор со звездами: Земной Мессия; Напутствие; Закон. Стихи. Перевел с греческого Н. Разговоров. IV—90.—Кочегар Иван Петрович уходит на пенсию. Стихи. Перевел с греческого Евг. Евтушенко. V—150.

Н. Перевалов. Две матери. Стихи. X—84.
Жак Рабеманандзара (Мадагаскар). Остров, одно только слово... Перевел с французского М. Ваксмахер (К конференции писателей стран Азии и Африки. Поэзия гнева и борьбы). V—26.

Флавьен Ранаиво (Мадагаскар). Советы новобратным; Песенка простодушного влюбленного. Перевел с французского В. Берестов (К конференции писателей стран Азии и Африки. Поэзия гнева и борьбы). V—27.

Борис Рахманин. Звездочка. Стихи. II—31.

Л. Решетников. Два стихотворения: За Карпатами, на развилке...; Венгерскому другу. II—29.

Октай Рифат. Уличные торговцы. Перевел А. Янов (К конференции писателей стран Азии и Африки. Из турецкой поэзии). VI—175.

Абульхасан Рудаки. Новые тексты: Двустипшия; Газели. Перевел с таджикского С. Липкин. X—130.

Жан Румэн. Песни человека. Перевел с французского М. Кудинов (Стихи поэтов Гаити). XI—121.

Эмиль Румэр. Страдаешь ты...; Оттого, что черна...; Завещание. Перевел с французского М. Кудинов (Стихи поэтов Гаити). XI—120.

Умберто Саба. Мое достоиние. Перевел Н. Заболоцкий (Из стихов современных итальянских поэтов). IV—80.

Д. Самойлов. Рубежи (Из поэмы «Ближние страны»); Крылья холопа; Извечно покорны слепому труду...; Дует ветер; Я наконец услышал море... Стихи. V—140.

Альдо Северини. Каменщик; Закат над портом. Перевел Леонид Мартынов (Из стихов современных итальянских поэтов). IV—83.

Вл. Семенов. Два стихотворения: Моя земля; Нет прежней щедрой красоты... VII—137.

Леопольд Седар Сенгор (Сенегал). Возвращение блудного сына (Отрывки из поэмы). Перевел с французского М. Ваксмахер. Ты долго в ладонях сжимала... Перевела с французского Е. Гальперина (К конференции писателей стран Азии и Африки. Поэзия гнева и борьбы). V—16.

Владимир Сергеев. Из чукотского дневника: Праздник в тундре; Девушка-каюер; Навстречу ветру; Она от страха сжалась...; Последний луч... Стихи. XI—83.

Марсиаль Синда (Конго). Свет зари. Перевел с французского М. Ваксмахер. Даба. Перевела с французского Е. Гальперина (К конференции писателей стран Азии и Африки. Поэзия гнева и борьбы). V—23.

Марио Сократе. Из книги «Рим в наши годы». Перевел Леонид Мартынов (Из стихов современных итальянских поэтов). IV—79.

Арчил Сулакаури. Весна. Перевела Елена Николаевская (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—58.

Галактион Табидзе, народный поэт Грузии. Наши знамена. Перевел Евг. Долматовский (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—59.

Иржи Тауфер. Героика (Из поэмы). Перевел с чешского Мих. Луконин. II—34.

А. Твардовский. Из лирики разных лет (1936—1958). VII—28.

Аалы Токомбаев. Надежда. Перевел В. Державин (Из киргизских поэтов). X—125.

Сергей Фиксин. В Корумду. Стихи. X—129.

В. Фирсов. Август. Стихи. VIII—122.

Фридон Халваши. Зрелость стиха. Вольный перевод Константина Симонова (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—60.

Отар Челидзе. Смерть кузнеца. Перевели Елена Николаевская, Ирина Снегова (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—60.

Симон Чиковани. Думы о Риони. Перевел А. Межиров (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—61.

Сандро Шаншиавили. Под солнцем Октября. Перевел Николай Тихонов (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—64.

Алеко Шенгелия. Завтра будет хороший день. Перевел Н. Гребнев (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—64.

Баграт Шинкуба. Сон. Перевела с абхазского Б. Ахмадулина (Грузинская тетрадь. Из стихов 1957 года. Предисловие Бесо Жгенти). III—65.

Борис Шумилов. Стихи комбайнера: Увидел я в кино недавно...; Майский дождь; Про зятёв; Село мое. VII—139.

Степан Шипачев. Два стихотворения: Могила матери; Сыновья. I—47.

Геворк Эмин. Три стихотворения: Богаче нет на свете человека...; Ты и ветер похожи...; Огни Еревана. Перевели с армянского Юрий Левитанский, В. Берестов. V—147.

С. Эралиев. Труженица. Перевел В. Семенов (Из киргизских поэтов). X—127.

Фахри Эрдинч. Разве: Наследство; Африка. Перевел Р. Фиш (К конференции писателей стран Азии и Африки. Из турецкой поэзии). VI—176.

Александр Яшин. Юг-река. Из лирических записей: Я услышал песенку с эстрады...; Я давно на родине не был...; Мне с отчимом...; Все, что было...; Сколько лет...; Весна — куда ни кинешь взгляд...; Я встретил женщину...; Да, отзывчивая, сердечная!. IX—87.

ОЧЕРКИ БОЕВЫХ ДНЕЙ

Нина Емельянова. Политработник. II—13.

А. Фадеев. Лётный день. II—3.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Д. Гамбург, кандидат химических наук. Разговор о химии. VI—26.

А. Литвак. Вступая в 1958 год... I—3.

Георгий Марягин. Большая руда. V—3.

Елена Микулина. ...Мы строим дом. IV—3.

Александр Михалевич. Из винницких дневников. VI—3.

И. Осипов. У нефтяников Татарии. VIII—170.

Виктор Панов. Лес в степи Казахстана. IX—211.

ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

П. Х. Х. Брайан. Сапожник из Пензанса. Перевела с английского В. Ефанова. XI—150.

Юсуф Идрис. Разве это игра? Перевела с арабского Е. Стефанова. X—138.

Тацукити Нисино. Горести Кэндзо. Перевела с японского Е. Пинус. VI—185.

Хильми Озген. Надгробное слово. Перевел с турецкого Р. Фиш. VII—192.

С. К. Поттеккатт. Маленькая хозяйка. Перевели с языка малайялам Чандра Сэкер и В. Ефанова. VII—182.

Тауфик Аль-Хаким. Чудеса и чудотворцы. Перевел с арабского К. Юнусов. VII—188.

Амин Заки Хулюф. Камера № 18. Перевел с арабского К. Юнусов. X—132.

Чжао-Шу-ли. Закаляться, закаляться надо!. Перевел с китайского Агей Гатов. XI—128.

Милан Яриш. Спокойная жизнь. Перевел с чешского Ю. Молочковский. VIII—160.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Борис Бабочкин. Месяц в Индии. IX—189; X—172.

Ф. Запорожский. Заметки о Японии. IV—142.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

А. Герасимова, К. Лебедев. Издается в Кабуле... Афганистан. «Кабул», двухнедельный литературный и общественно-исторический журнал. №№ 3—6. 1958. IX—242

Вал. Зорин. Тайна одного запоздавшего спутника. США. «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» («Новости Соединенных Штатов и мировые известия»), еженедельный журнал. № 21. Том XLIII. II—243.

К. Наумов. Проблемы перевода. «Бэбел» («Вавилон»), ежеквартальный журнал международной информации и изысканий в области перевода, том III, № 1—4, 1957. V—222.— Флаг не будет спущен. Италия. «Контемпоранео» («Современник»), ежемесечник, посвященный вопросам культуры, литературы, искусства, № 1—2. Апрель — май. 1958. XI—186.

Р. Орлова. Украшатели грязи. США. «Сатердей ревью» («Субботнее обозрение»), критико-библиографический еженедельник, № 3 от 18 января 1958 года. V—218.

Вл. Рубин. О том ли спор?... Англия. «Отор» («Автор»), ежеквартальный журнал. № 4, лето 1958 г. XI—192.

В. Стеженский. Ниспровергатель социалистического реализма из ФРГ. ФРГ. «Боннер рундшау» («Боннское обозрение»). Лотар фон Баллусек. «Поэты в услужении. Социалистический реализм в немецкой литературе». I—220.— В борьбе против

ревизионизма. ГДР. «Зоннтаг» («Воскресенье»), еженедельник по вопросам культуры, политики и развлечений. №№ 24—29. 1958. X—168.

Д. Усатов. Трибуна литераторов Кореи. Корея. «Чосон мунхак» («Корейская литература»), ежемесячный литературно-художественный журнал. № 7—8. 1958. X—164.

Р. Фиш. Что же отстаивает стамбульский «Енилик»? Турция. «Енилик» («Новь»), ежемесячный журнал искусства и мысли. №№ 49, 50, 53, 58. 1956—1957. I—223.

Л. Черкасский. Поэзия борьбы. Китай. «Шикань» («Поэзия»), ежемесячный литературно-художественный журнал. №№ 1—5. 1958. VII—239.

В. Якунин. Плодотворная встреча. Индия. «Ная патх» («Новый путь»), ежемесячный журнал на языке хинди. № 1. 1958. VII—244.

ПУБЛИЦИСТИКА

Томодзи Абэ. Японский писатель. Писатели и борьба за мир (К конференции писателей стран Азии и Африки). X—157.

Ваграм Апресян. На путях технического прогресса. XII—188.

Тарашанкар Банерджи. Бенгальский писатель. Несколько слов о бенгальской литературе (К конференции писателей стран Азии и Африки). X—159.

Олег Волков. Клад Кудеяра. VI—192.

М. Гаврилов, доктор технических наук. Некоторые проблемы автоматизации. X—224.

Б. Гафуров, член-корреспондент АН СССР, академик АН Тадж. ССР. Форум писателей Азии и Африки (К конференции писателей стран Азии и Африки). X—147.

Глазами иностранцев. Советская Армия в книгах зарубежных военных корреспондентов. II—208.

Го Сяо-чуань. Китайский поэт. Во имя счастья народов (К конференции писателей стран Азии и Африки). X—162.

А. Гусев, доктор физико-математических наук. Ледяной континент. I—173.

В. Дрозденко, секретарь ЦК ЛКСМ Украины. Тридцать семь комсомольских. X—191.

Александр Исбах. Двадцать четвертая, Железная... II—197.

Лю Бай-юй. Китайский писатель. Дорога к единству и дружбе (К конференции писателей стран Азии и Африки). X—156.

Мирсаид Миршакар. Таджикский поэт. «Будем братьями!» (К конференции писателей стран Азии и Африки). X—158.

Л. Михайлова. Молодая культура старого города. Поездка в Саратов. I—196.

П. Подляшук. Мастерской из Дорогомчлова (К сорокалетию ВЛКСМ). VII—224.

Ф. Рябов. Маркс и его любимые авторы. V—187.

Б. Светличный. Заботы градостроителей (Заметки архитектора). X—211.

Кара Сейтлиев. Туркменский писатель. Привет вам, дорогие гости! (К конференции писателей стран Азии и Африки). X—154.

Г. Соколов. У лукоморья. V—192.—Поговорим о садах. VI—204.

Я. Тавров. Дальневосточные записи. VII—211.

Иосиф Хотта. Японский писатель. Лицом к Азии (К конференции писателей стран Азии и Африки). X—160.

Б. Яковлев. Бессмертные страницы. Новые публикации литературного наследия В. И. Ленина в 1957 году. IV—181.

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

К. Жуков, кандидат архитектуры. На подмогу строителям идет химия. VIII—225.

А. Масевич, доктор физико-математических наук. Новые исследования астрономов (Заметки делегата Международного астрономического съезда). XI—178.

А. Плахотник, кандидат географических наук. Международный геофизический год. VIII—214.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

Всеволод Вишневский. Слово писателя — в боевом арсенале народа. II—236.

В Казанском кружке. IV—189.

А. Дерман. Воспоминания о В. Г. Короленко. VII—249.

А. П. Довженко. Из записных книжек. Заметки и материалы к «Поэме о море». Перевела с украинского Л. Михайлова. IV—194.

Ленин в Октябре (Из воспоминаний участников Октябрьской революции). XI—159.

Лидия Отмар-Штейн. Встречи с Фурмановым. VI—217.

Первая годовщина. XI—169.

И. Пешкин. О Серго Орджоникидзе. Из старых блокнотов. VI—224.

Посланцы партии. II—227.

Ю. Стеклов. Как я бежал из ссылки (Странички из воспоминаний). III—177.

К 140-летию со дня рождения Карла Маркса

Народные песни. Из альбома молодого Маркса. Предисловие Елены Ильиной. V—200.

Из неопубликованных писем К. Марксу. V—211.

В. Мосолов. Библиографические раритеты. V—214.

Советские писатели в Великой Отечественной войне. Библиографическая хроника. II—129.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ

Федор Гладков (К 75-летию со дня рождения). VI—171.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. Виноградов. Оптимистическая трагедия Родки Гулева. IX—247.

Г. Владимов. Деревня Огнишанка и большой мир. XI—216.

Е. Гальперина. Африка гнева и надежды (Заметки о современной африканской поэзии). VI—241.

М. Горький. С Всероссийской выставки. Публикация О. Семеновского.—К 90-летию со дня рождения А. М. Горького. III—240.

А. Громова. Герои нашего времени. IV—237.

Д. Данин. Испытание оптимизма (О романе Декстера Мастерса «Несчастный случай»). I—240.

А. Дементьев. Заметки критика. XI—228.—По поводу «Реплики критику» М. Шкерина. XII—269.

В. Дружинин. В мирные дни. II—247.

З. Кедрина. Дорогами жизни. I—228.

В. Лакшин. «Литературное» и «человеческое». X—243.—Возмужание героя. XII—197.

Мих. Лифшиц. «Философия жизни» И. Видмара. XII—210.

С. Машинский. В борьбе за классическое наследие. III—214.

В. Озеров. О пролетарском гуманизме и абстрактном морализаторстве. Полемические заметки. VI—232.

Первый учредительный... XI—197.

Вера Смирнова. О детях и для детей. VIII—232.

В. Соколов. У литературной карты России. XI—205.

Н. Трифонов. А. В. Луначарский в борьбе за развитие советской литературы (К двадцатипятилетию со дня смерти). XII—235.

Т. Трифонова. Книга, о которой спорят... (О романе Галины Николаевой «Битва в пути»). III—203.

А. Турков. Действенная летопись. X—233.

И. Эвентов. Эстетствующие ревизионисты и традиции Маяковского. V—229.

Трибуна писателя

Константин Ваншенкин. Перечитывая Твардовского (Короткие заметки). III—191.

Дневник писателя

С. Маршак. Заметки о мастерстве. VII—195.—Заметки о мастерстве. IX—226.

Назым Хикмет. В Ташкенте. XII—181.

Книжное обозрение

Литература и искусство

Иракий Андроников. Раскрытие подвига (С. С. Смирнов. В поисках героев Брестской крепости). II—254.

Н. Бабин. Свет в джунглях (Р. Кармен. Свет в джунглях. Заметки кинооператора). III—253.

Юрий Барабаш. Книга о поэте и революции (Л. Новиченко. Поэзия и революция). V—257.

А. Берзер. О старом бобре и молодой белке (А. Шаров. Ручей старого бобра). XII—248.

М. Блинкова. «Картины с пейзажами, фруктами и цветами...» (Г. Горбунов. Наши знакомые. Повесть). IX—258.

В. Блок. Живой Вахтангов (Н. Горчаков. Режиссерские уроки Вахтангова). VII—272.—Мысль и художественное единство (Алексей Попов. О художественной целостности спектакля). IX—260.

С. Борзенко. Герой Советского Союза. На одной читательской конференции (М. Колосов. Товарищ генерал. Повесть). II—266.

Инна Борисова. Когда герои свидетельствуют против автора... (В. Дягилев. Крутизна. Повесть). XII—251.

Евг. Босняцкий. Поиски ненависти (Генрих Бёлль. И не сказал ни единого слова... Роман. Перевод Л. Черной и Д. Мельникова. Предисловие Л. Копелева. Генрих Бёлль. Хлеб ранних лет. Повесть. Перевод Л. Черной и Д. Мельникова). VIII—247.

Александра Бруштейн. Подвиг любви и терпения (Ф. Вигдорова. Дорога в жизнь. Это мой дом. Повести). V—247.

Г. Бялый. В. Архипов против И. Тургенева (В. Архипов. К творческой истории романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»). VIII—255.

Виталий Василевский. Солдаты вернулись домой (Ганс Леберехт. Солдаты идут домой. Роман). II—260.

Арк. Васильев. Повесть о московской школьнице (Ирина Левченко. Повесть о военных годах). II—265.

Ф. Вигдорова. Братство честных и храбрых (Н. Ивантер. Жил-был мальчик). I—257.

Евгений Воробьев. Записки военного врача (В. Гиллер. Во имя жизни. Записки военного врача). II—270.

Б. Галанов. Один рассказ (В. Богомолов. Иван. Рассказ). IX—256.

С. Гиацинтова, народная артистка СССР. Назначение человека (Жорж Сориа. Гордыня и туча. Пьеса. Перевод с французского Н. Каринцева и Е. Тяпкиной. А. Кронин. Юпитер смеется. Пьеса. Перевод с английского М. Левиной и А. Гольдмана). I—265.—Любовь побеждает (Павел Когоут. Такая любовь. Пьеса. Перевод с чешского Н. Аросовой и С. Шмераль). VI—257.

Вл. Глоцер. Рассказы, оживляющие карту (Г. Снегирев. Рачок-мореход. Рассказы. Г. Снегирев. Бобровая хатка). X—257.

В. Гоффеншефер. Труд библиографа (Н. Мауев. Советская художественная литература и критика. 1954—1955. Библиография). V—255.

А. Громова. История одного комсомольского билета (Миервалдис Бирзе. И подо льдом река течет... Повесть. Авторизованный перевод с латышского Ю. Суровичева и М. Шноре). XI—242.

Ефим Дорош. Люди, которыми гордится Россия (В. Кожевников. Заре навстречу. Роман. Вторая книга). I—250.

Валентина Дынник. «Семья Тибо» и традиции реализма (Роже Мартен дю Гар. Семья Тибо. Перевод с французского под редакцией А. Смирнова и Ю. Корнеева. Том I. Том II). XII—255.

Л. Ерихонов. «Дедушка» болгарской литературы (Симеон Русакиев. П. Р. Славейков и руската литература. Симеон Русакиев. П. Р. Славейков и русская литература). IV—253.

В. Жданов. Повесть об Иване Никитине (О. Бубнова. Повесть о поэте). III—258.

А. Злобин. На главном направлении (Григорий Бакланов. Южнее главного удара. Повесть). VIII—239.

М. Злобина. Сказание об исландском народе (Халлдор Лакснесс. Летопись хутора Бреккукот. Роман. Перевод с исландского Н. Крымовой). X—260.

Александр Ивич. Единство замысла и выполнения (А. Шаров. Друзья мои коммунары. Повести и рассказы). V—253.

Н. Игнатьева. Творчество молодых (Творчество молодых. Альманах Всесоюзного государственного института кинематографии). I—262.

Анна Илупина. «Отелло» на грузинской сцене (Павел Хучуа. Балет «Отелло»). V—260.

М. Иофьев. Песня о горянке (Расул Гамзатов. Горянка. Поэма. Перевод с аварского Я. Козловского). XI—247.

Лариса Исрова. Один год (З. Шишова. Год вступления 1918. Повесть). III—256.— Необычный Чапек (Карел Чапек. Сказки и веселые истории. Иллюстрировали Иозеф и Карел Чапек. Перевод с чешского Б. Заходера). IX—266.

Ю. Капусто. Страницы юношеского дневника (Василий Кубанов. Идут в наступление строки. Стихи. Фельетоны. Дневники. Письма). VIII—242.

В. Кардин. Сквозь революрный лай... (Ванда Василевская. В борьбе роковой. Перевод с польского Эвы Василевской). XI—244.

В. Коротев. Как лейтенант Шилин стал дважды Героем Советского Союза (Михаил Брагин. Путь лейтенанта. Документальная повесть). II—267.— Счастье, добытое трудом (И. Комзин. Счастье строителя). IV—247.

Л. Лазарев. Время жить (Э. М. Ремарк. Три товарища. Перевод с немецкого И. Шрайбера и Л. Яковенко). XI—253.

В. Лакшин. Несостоявшийся поединок (Константин Лапин. Простая история). VIII—251.

К. Лапин. Правдивое повествование и банальный детектив (Борис Зубавин. Поединок. Записки офицера). II—263.

Л. Левицкий. Страницы советской поэзии (Из поэзии 20-х годов). IV—250.

Ю. Либединский. На жизненном пути (Анна Караваева. По дорогам жизни. Дневники, очерки, воспоминания). III—251.

Вл. Лидин. В гостях у Смирдина (Ник. Смирнов-Сокольский. Книжная лавка А. Ф. Смирдина). III—260.

Сергей Львов. В чем счастье? («Юность», 1958, № 7). X—249.

Р. Мессер. Сказание о народном герое (Микола Садкович. Повесть о ясном Стахоре). IV—252.

Л. Михайлова. В поисках неведомых сокровищ (Хабидулло Назаров. В поисках Карима Девоны. Повесть). VII—266.

О. Михайлов. Под степным небом (Владимир Фоменко. Человек в степи). X—255.— Стиль, отвечающий теме (Корней Чуковский. Люди и книги). XI—250.

И. Мотяшов. Кладовая творчества (Михаил Пришвин. Глаза земли). I—255.

Р. Орлова. Быль, ставшая легендой (Игорь Неверли. Паренек из Сальских степей. Перевод с польского З. Шаталовой). III—264.

Дмитрий Осин. Через бурные пороги (Алексей Зарыцкий. Праздник бурных порогов. Алексей Зарыцкий. Через бурные пороги). VI—255.

И. Питляр. Испытание временем (В. Герасимова. Избранные произведения). VII—261.

Юрий Полетика. Судьба Неда Гордона (Джеймс Олдридж. Герои пустынных горизонтов. Перевод Е. Калашниковой). VI—259.

Игорь Поступальский. Новый сборник Максима Рыльского (Максим Рыльский. Троянди й виноград. Нові поезії. Максим Рыльский. Розы и виноград. Стихи. Авторизованный перевод с украинского). VIII—244.— Певец революционной Италии (Giosue Carducci. Poesie scelte. Джозуэ Кардуччи. Избранные стихи). X—263.

В. Разумный, кандидат философских наук. Основоположники марксизма об искусстве (К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. Том I, том II). V—244.

Е. Ржевская. Люди переднего края (Фронтные очерки о Великой Отечественной войне. В трех томах. Составитель В. Катинев). II—258.

Б. Сарнов. Полнота жизни (Фазиль Искандер. Горные тропы. Стихи). V—250.

Михаил Светлов. Первая книга молодого поэта (В. Берестов. Отплытие. Стихи). VII—260.

А. Таланов. Улыбка до боли в щеках (У. Сароян. 60 миль в час. Рассказы. Перевод с английского Л. Шифферса). IV—254.

Т. Трифонова. Хозяева жизни (И. Забелин. Там, где сходятся тропы. Рассказы и повесть). VII—269.

А. Турков. Книга о великом сатирике (М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина). XII—253.

В. Филатов, пенсионер. Русские народные песни (Русские народные песни. Составитель А. Новикова). I—260.

Геннадий Фиш. Повести и рассказы Пентти Хаанпяя (Пентти Хаанпяя. Повести и рассказы. Перевод с финского). III—261.

Серго Чилая. Из недавнего прошлого Грузии (Ш. Дадиани. Семья Гвиргвиллиани. «Литературная Грузия» №№ 1—5, 1957, №№ 1—2, 1958). III—248.

В. Швейцер. Начало пути (Виктор Кеулькут. Пусть стоит мороз. Первая книга стихов. Авторизованный перевод с чукотского Н. Старшинова. Кеулькут. Моя Чукотка. Стихи Перевод с чукотского Л. Соловьевой). XII—246.

А. Шифман. Лев Толстой об искусстве и литературе (Лев Толстой об искусстве и литературе, т. I и II. Подготовка текстов, вступительная статья и примечания К. Ломунова). IX—263.

И. Эвентов. Роман в стихах (Илья Авраменко. Дом на Мойке. Роман в стихах). VI—253.

Политика и наука

А. Алиханьян, член-корреспондент Академии наук СССР. Научное наследие Жолио-Кюри (Фредерик Жолио-Кюри. Избранные труды. Фредерик и Ирен Жолио-Кюри. Совместные труды). XI—274.

Ю. Анненков. Книга о великом единстве (Дело трудящихся всего мира. Факты, документы, очерки о братской помощи и солидарности трудящихся зарубежных стран с народами Советского Союза). IV—264.

Ю. Арбатов. Хорошее начинание (И. С. Кон. Страх перед законами истории). X—267.

Н. Атаров. Воспоминания гроссмейстера (А. Котов. Записки шахматиста). I—275.

А. Байкова, кандидат исторических наук. Воспоминания немецких товарищей о Ленине (Unvergeßlicher Lenin. Erinnerungen deutscher Genossen. Незабываемый Ленин. Воспоминания немецких товарищей). V—262.—Новый журнал английской компартии (Marxism today. Марксизм сегодня). IX—267.

А. Бельская. Политика, противоречащая интересам народа (В. Г. Трухановский. Внешняя политика Англии после второй мировой войны (Краткий очерк). VI—273.

А. Биркенгоф, кандидат географических наук. Люди подвига (Я. Худзиковская, Я. Ястер. Люди великой отваги. Рассказы о польских путешественниках. Перевод с польского В. С. Кулеша и Л. В. Якубовича). X—270.

А. Бланк, кандидат исторических наук. Достойная страница истории немецкого народа (Erich Weinert. Das Nationalkomitee „Freies Deutschland“. 1943—1945. Bericht über seine Tätigkeit und seine Auswirkung. Эрих Вайнерт. Национальный комитет «Свободная Германия». 1943—1945. Отчет о его деятельности и влиянии). IX—274.

О. Блюмфельд, кандидат исторических наук. Из истории Дагестана (Ученые записки. Дагестанский филиал Академии наук СССР. Институт истории, языка и литературы имени Г. Цадасы. Тома I, II, III. 1956, 1957). V—264.

Я. Борисов. Эпос революции (Победа Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник воспоминаний участников революции в промышленных центрах и национальных районах России). XI—262.

Б. Боссарт. Книга о книге (Е. Немировский, Б. Горбачевский. Рождение книги). III—274.

И. Браславский. Гордость Советской страны (К. Т. Галкин. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР. А. С. Бутягин, Ю. А. Салтанов. Университетское образование в СССР. К. А. Иванович. Сельскохозяйственное образование в СССР). VIII—262.

А. Вольский, М. Цунц. Речи советских адвокатов (Защитительные речи советских адвокатов. Сборник первый. Сборник второй). I—272.

М. Восленский, кандидат исторических наук. Путь в Германию (Вольфганг Ганс цу Путлиц. По пути в Германию. Воспоминания бывшего дипломата. Перевод с немецкого). IV—266.

З. Гершкович, кандидат филологических наук. Прошлое русской периодической печати (Русская периодическая печать (1895—октябрь 1917). Справочник. Авторы-составители М. С. Черепанов, Е. М. Фингерит). VII—280.

С. Голяков. Конец черного режима (Га и б Фарман. Ирак в годы черного режима. Перевод с арабского А. Альбарди и Л. Сапожниковой). XI—276.

Г. Давыдов. Синтез — тема журнала («Наука и жизнь» № 3, 1958). VI—263.

Н. Денисов, полковник. Воздушный флот нашей страны (Полковник Б. Л. Симанков, полковник И. Ф. Шипилов. Воздушный флот Страны Советов. Краткий очерк истории авиации нашей Родины). II—277.—Мемуары С. М. Буденного (С. М. Буденный. Пройденный путь). V—265.

Г. Драмбянц. Генерал против арабов (A soldier with the arabs. By John Bagot Glubb. Джон Багот Глабб. Солдат с арабами). V—267.—Рыцари нефтяного бизнеса (J. Morris Sultan in Oman. Д. Моррис. Султан в Омане). VIII—272.

А. Ефремов, кандидат исторических наук, подполковник. Рецепт доктора Генри Киссингера (Henry A. Kissinger. Nuclear Weapons Foreign Policy. Генри А. Киссингер. Ядерное оружие и внешняя политика). II—278.—Циничная проповедь агрессии (Thomas K. Finletter. Foreign Policy: Next Phase. Томас К. Финлеттер. Внешняя политика. Следующая фаза). X—272.

В. Загорянская, доктор медицинских наук. Книга о советском здравоохранении (Сорок лет советского здравоохранения). VI—265.

Л. Зак, кандидат исторических наук. Французский автор о русской революционерке (Jean Gréville. Inessa Armand — une grande figure de la Révolution russe. Жан Фревилль. Инеса Арманд — видный деятель русской революции). IV—261.

Вал. Зорин, кандидат исторических наук. В американском «раю» (Л. А. Баграмов. Иммигранты в США). VIII—270. — Враг, о котором нельзя забывать (Гилберт Грин. Забытый враг. Перевод с английского Н. Васильева). XII—267.

Е. Ковалев. Великая дружба (Пэн Мин. История китайско-советской дружбы (на китайском языке). XI—271.

Д. Коваленко, кандидат исторических наук. Третий том «Истории гражданской войны в СССР» (История гражданской войны в СССР. Том третий. Упрочение Советской власти. Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны (ноябрь 1917 г.—март 1919 г.). II—272.

С. Козлов, полковник. Черты буржуазной военной науки (М. А. Мильштейн и А. К. Слободенко. О буржуазной военной науке). II—282.

И. Крамов. У истоков (А. С. Шаповалов. В борьбе за социализм). I—268.

М. Кулаев, кандидат технических наук. Человек на крыльях (М. Арлазоров. Человек на крыльях). VI—271.

Александр Лацис. Шестой «инсайд», или энциклопедия невежества (John Gupther. Inside Russia today. Джон Гантер. В России сегодня). X—275.

Н. Лебедев, полковник. К истории отрядов Красной гвардии (Е. Ерыкалов. Красная гвардия в борьбе за власть Советов. Н. И. Злодеев. Красная гвардия). II—275.

Д. Лебедев, доктор географических наук.

Л. Каманин, кандидат географических наук. История географических открытий (И. П. Магидович. Очерки по истории географических открытий). III—268.

Т. Леонтьева. Документы рассказывают... (Донесения комиссаров Петроградского Военно-революционного комитета). XI—266.

В. Ливенцов, кандидат философских наук. В. И. Ленин об Украине (В. И. Ленин про Україну). IV—257.

А. Литвак. Человек и его дело (И. Слепов. Индустриализация строительства и ее народнохозяйственное значение). VIII—260.

Е. Логинова. Эстафета поколений (Славные традиции. Сборник документов, очерков, воспоминаний). X—265.

Сергей Львов. Добрый спутник (Путеводитель по Ленинграду). VIII—274.

А. Макаров. Там, за Ладожским озером... (А. Таланов. В стране белых ночей). V—270.

С. Марлинский, И. Портной, кандидаты исторических наук. Очерк истории города-героя (Одесса. Очерк истории города-героя). VIII—264.

А. Мельников. Поляки — солдаты пролетарской революции (Wspomnienia polaków — uczestników Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Воспоминания поля-

ков — участников Великой Октябрьской социалистической революции). XI—270.

Ф. Молюк. Рассказ о Курте Конраде — друге Фучика (J. Japoušek. Kurt Konrad protivfašisticky bojovník, povínar a historik. Я. Янушек. Курт Конрад, антифашистский боец, журналист и историк). III—273.

А. Монгайт, кандидат исторических наук. Средневековая Москва (М. Н. Тихомиров. Средневековая Москва в XIV—XV веках). VI—269.

Э. Мурзаев, доктор географических наук. Страна меняет облик (Экономическая география Китая. Перевод с китайского). I—270. — Молодость древней столицы (Ху Цзя. Пекин). III—266.

А. Наркевич. Ученый-художник (В. Кальянов. Вдали океан). IX—272.

В. Невлер. Луиджи Лонго разоблачает Джолитти (Луиджи Лонго. Ревизионизм новый и старый. Перевод с итальянского. Общая редакция и предисловие Д. П. Шевлягина). IX—271.

Е. Немировский. Старый мир и новые звезды (Alte Welt und neue Sterne. Старый мир и новые звезды). V—272. — Бизнесмены от литературы (Alice Raupе Hackett. 60 Years of Best Sellers. Алиса Пейн Хэкетт. Шестьдесят лет бестселлеров). XII—264.

Ю. Овсянников. Слава русского фарфора (Юрий Арбат. Фарфоровый городок). I—273.

Д. Осин. Большевики Севера (М. К. Ветошкин. Становление власти Советов на севере РСФСР). XI—268.

И. Пешкин. Экономическая учеба в Норильске (С. Эпштейн. Заметки об экономической учебе). V—273. — Кузнецкий металлургический (Первенец сибирской металлургии). XII—260.

Олег Писаржевский. Искусство видеть мир (Д. Данин. Для человека. Публицистические очерки). VI—266.

В. Попов, кандидат исторических наук. Американская петля над Азией (Р. Каранджия. СЕАТО. Безопасность или угроза? Перевод с английского. Ю. Смирнов, В. Софинский. СЕАТО — агрессивный блок колониальных держав). VII—276.

А. Серeda. Дружба, скрепленная кровью (Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с народами Советской России (1917—1922). Документы и материалы. Сборник I). VII—273.

А. Сидоров, член-корреспондент Академии наук СССР. Искусство редактирования (Е. Лихтенштейн. Редактирование научной книги). XII—262.

А. Спекторов, кандидат юридических наук. В странах Арабского Востока (И. Левин и В. Мамаев. Государственный строй стран Арабского Востока). VII—278.

А. Хавин. От Октября к XXI съезду партии (Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов. 1917—1957 годы. Тома 1—4.

Составители В. Н. Малин и А. В. Коробов). XI—258.

И. Халифман, кандидат биологических наук. Русский предшественник Дарвина (С. Р. Микулинский. К. Ф. Рулье и его учение о развитии органического мира). IV—268.—Ценный вклад в литературу о жизни Ч. Дарвина (Чарльз Дарвин. Воспоминания о развитии моего ума и характера (Автобиография). Дневник работы и жизни. Полный перевод с рукописей Ч. Дарвина, вступительная статья и комментарии С. Л. Соболя). VIII—266.

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. Н. Крупская о библиотечном деле (Н. К. Крупская. О библиотечном деле. Сборник). IV—259.

В. Шрагин. Арабы в борьбе за независимость (Академия наук СССР. Институт востоковедения. Арабы в борьбе за независимость (Национально-освободительное движение в арабских странах после второй мировой войны). III—270.

М. Щедрин. В борьбе за мир (Я. Темкин. Большевики в борьбе за демократический мир (1914—1918 гг.). I—267.

ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

А. Бодрова. История одной рукописи. III—278.

Л. Владимиров. Судьба одного архива. VI—278.

Горький говорит с рабкорами. Публикация В. Земскова. III—276.

М. Кострова. Собрание книг с автографами. IV—270.

С. Орлов, кандидат филологических наук. Вальтер Скотт в переписке с Денисом Давыдовым. VIII—277.

Л. Светлов, кандидат филологических наук. Автор стихотворения «Декабристам». VI—276.

Е. Серебровская. Записка Николая I о казни декабристов. IX—276.

А. Старцев. Иван Тревогин — издатель «Парнасских ведомостей». IX—278.

А. Храбовцкий. Горький и Имре Мадач (Неизвестные письма А. М. Горького). VI—275.

А. Шифман, научный сотрудник Музея Л. Н. Толстого. Произведения Льва Толстого в Китае. V—275.

РЕПЛИКИ

Рина Зеленая. Кое-что о разговорной речи... I—277.

Н. Кузьмин. Посвяительство на грамматику. VI—281.

Павел Нилин, Лев Кассиль. Еще раз о разговорной речи. IV—276.

Геннадий Фиш. Из опыта Хельсинки... VI—280.

МЕЖДУ ПРОЧИМ...

А. М. Сестра своего отца. V—279.

А. Н. Новое в истории... V—279.

Н. Базиловский. Энциклопедия господина Бержо. I—280.

И. Беленький. Герцен, Ксанф и басни об Эзопе. III—280.

Б. Ю. Кто не знает?... V—278.

В. К. Перевод с французского... V—278.

И. К-ий, А. Иглицкий. Кое-что о переводах... IV—279.

С. Лурье, Н. Ильина. Минин и Пожарский ли? IV—279.

Александр Морозов. Об «идеале красоты». V—278.

Н. Сверчков. Пчелы роняют мед... I—279.

С. Л. Ребусы в журнале «Новые книги». I—279.

Коротко о книгах: I—281; II—285; III—282; IV—282; V—280; VI—282; VII—282; VIII—281; IX—285; X—282; XI—279; XII—271.

Сдаются в печать: I—284; II—286; V—283; VI—284; VII—285; VIII—283; IX—286; X—285; XI—282; XII—272.

Книжные новинки: I—285; II—287; III—285; IV—285; V—284; VI—286; VII—287; VIII—285; IX—287; X—286; XI—284; XII—274.

От редколлегии. XI—I.

Письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Б. Пастернаку. XI—III.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс, Б. А. Лавренев, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 17/X-58 г.

Подписано к печати 19/XI-58 г.

А 09854. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 1880.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Свирцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на 1959 год

на ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Н О В Ы Е М И Р

В 1959 году редакция «Нового мира» имеет в виду предложить читателю следующие произведения:

По разделу прозы

- А. БЕК — новая повесть,
П. ВЕРШИГОРА — Рейд на Сан и Вислу,
В. ГРОССМАН — За правое дело, роман, книга 2-я,
С. ЗАЛЫГИН — На половине пути, роман,
Э. КАЗАКЕВИЧ — новая повесть,
С. МАРШАК — Начало жизни, автобиографическая повесть,
В. ПАНОВА — новая повесть,
К. ПАУСТОВСКИЙ — Время больших ожиданий, повесть,
В. ТЕНДРЯКОВ — Завтра, повесть,
К. ФЕДИН — Костер, роман, 3-я книга трилогии,
В. ФОМЕНКО — Жизнь, роман.

А также повести, рассказы, пьесы, очерки: Н. Адамян, Чингиза Айтматова, С. Антонова, Н. Атарова, Ю. Балтушиса, Ю. Бондарева, И. Ботвинника, Л. Вольнского, Е. Воробьева, Е. Герасимова, С. Георгиевской, С. Голубова, О. Гончара, Г. Гулиа, Е. Дороша, Е. Драпкиной, Н. Дубова, Т. Журавлева, В. Закруткина, А. Злобина, И. Зыкова, Л. Иванова, Л. Кабо, Ю. Казакова, Б. Лавренева, Г. Маркова, Н. Михайлова, Ю. Нагибина, В. Некрасова, Д. Осина, И. Осипова, А. Письменного, Рытхеу, С. Сартакова, К. Симонова, С. С. Смирнова, Л. Соболева, И. Соколова-Микитова, В. Солоухина, Г. Фиша и других.

По разделу поэзии

Поэмы, стихи, переводы: И. Абашидзе, М. Алигер, Н. Асеева, М. Бажана, О. Берггольц, П. Бровки, К. Ваншенкина, Е. Винокурова, Р. Гамзатова, А. Гитовича, Д. Гулиа, П. Дорошко, Ю. Ефремова, В. Звягинцевой, В. Инбер, Б. Иренина, М. Исаковского, Р. Казаковой, В. Казина, С. Капутикян, А. Кулешова, К. Кулиева, С. Липкина, М. Луконина, М. Максимова, А. Малышко, М. Маркарян, А. Межирова, С. Наровчатова, С. Орлова, Алексиса Парниса, Л. Пеньковского, Л. Первомайского, А. Про-

(См. на обороте)

кофьева, Н. Рыленкова, М. Рыльского, М. Светлова, Паруйра Севака, Я. Смелякова, С. Смирнова, А. Суркова, А. Твардовского, Я. Ухсяя, Я. Хелемского, Назыма Хикмета, С. Чиковани, И. Шмуула, С. Щипачева, А. Яшина и других.

В журнале будут также публиковаться произведения писателей стран народной демократии и прогрессивных писателей капиталистических стран.

В РАЗДЕЛЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ со статьями и рецензиями выступают в числе других Н. Абалкин, акад. М. Алексеев, А. Анастасьев, И. Андроников, В. Асмус, И. Виноградов, Б. Галанов, акад. АН УССР Н. Гудзий, А. Дементьев, В. Дорофеев, В. Жданов, чл.-корр. АН СССР В. Жирмунский, А. Караганов, Е. Книпович, А. Кондратович, М. Кузнецов, В. Лакшин, М. Лифшиц, А. Макаров, А. Македонов, А. Марьямов, О. Михайлов, А. Морозов, Т. Мотылева, К. Наумов, В. Н. Орлов, Р. Орлова, З. Паперный, В. Рубин, В. Смирнова, Н. Соколова, Е. Старикова, Т. Трифонова, А. Турков, Е. Усиевич, И. Черноуцан, К. Чуковский, Л. Эйдли, Б. Эйхенбаум.

В РАЗДЕЛЕ ПОЛИТИКИ И НАУКИ — чл.-корр. АН СССР А. Алиханьян, акад. И. Артоболевский, акад. И. Бардин, чл.-корр. АН СССР В. Богоров, Г. Борисовский, Н. Воронин, О. Добролюбский, В. Дурденевский, чл.-корр. АН СССР А. Ефимов, В. Зорин, чл.-корр. АН СССР И. Исаков, акад. Н. Конрад, чл.-корр. АН СССР Ф. Константинов, акад. Г. Кржижановский, Я. Кронрод, акад. Л. Ландау, чл.-корр. АН СССР Л. Леонтьев, Б. Леонтьев, акад. М. Митин, Э. Мурзаев, акад. М. Нечкина, чл.-корр. АН СССР С. Обручев, акад. И. Орбели, чл.-корр. АН СССР А. Сидоров, Е. Смирнов, акад. А. Терпигорев, акад. М. Тихомиров, акад. А. Топчиев, С. Утченко, чл.-корр. АН СССР Н. Федоренко, чл.-корр. АН СССР Е. Федоров, И. Халифман, акад. Н. Цицин.

В журнале, как и в предыдущие годы, будут представлены следующие разделы:

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ
ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ
ПУБЛИЦИСТИКА
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Трибуна читателя
и другие.

Подписная цена на 1959 год:

без переплета: на год — 84 р.; на 6 мес.— 42 р.; на 3 мес.— 21 р.;
в переплете: на год — 108 р.; на 6 мес.— 54 р.; на 3 мес.— 27 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почталыонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, стройках, шахтах, железнодорожном транспорте, в совхозах, колхозах, МТС, учебных заведениях, учреждениях и организациях.

Цена 9 руб.